

НОВОБЫИ  
МИР

7

НОВОБЫИ  
МИР

1976

7



1976



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1976 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПЕТР ВЕГИН — Зимняя почта, стихи	3
ВЛ. ЛИДИН — Рассказы	8
ВАЛЕНТИН СОРОКИН — Ястреб, стихи	36
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Япония—46. Страницы дневника. Окончание	42
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Из лирической тетради, стихи	114
ТОРНТОН УАЙЛДЕР — Мартовские иды, роман. Перевела с английского Е. Гольшева	119
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
П. РЕБРИН — В колыбельных местах	180
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Поучительная страница истории	202
И. В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА — Социальные проблемы советского образа жизни	208
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ИВАН ГОЛИК — Поле дружбы, поле борьбы	222
В. ПОРУДОМИНСКИЙ — Не уклоняясь от добра и правды. К 150-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева	236
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Левин. «Весь мир воображеньем опоясан». — А. Бочаров. Не рвется цепь времен. — В. И. Кулешов. Книга живых идей и споров.	247
<i>Политика и наука</i>	
В. Мотяшов. С тревогой и надеждой. — И. Дрейцер. Величие и боль талан- та. — Эрнст Генри. Духовный облик Мао Цзэ-дуна.	262

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: В. Мамонтов.— Владимир Санги. Женьиба Кевонгов. Роман. ♦ Юрий Богданов.— Лев Озеров. Далекая слышимость. Книга стихов. ♦ А. Хорт.— Леонид Ленч. Избранное. ♦ С. Николаева.— Н. Байрамукова. Кайсын Кулиев. Очерк творчества. ♦ Л. Финк.— А. Зись. Искусство и эстетика. ♦ В. Пронин.— Д. Затонский. Зеркала искусства. Статьи о современной зарубежной литературе. ♦ Е. Краснощекова.— Н. Великая. Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов. ♦ Т. Мотылева.— Я. Фрид. Анатолий Франс и его время. ♦ В. Сутырин.— А. Агарышев. Гамаль Абдель Насер. ♦ Сергей Марков.— А. И. Алексеев. Судьба Русской Америки. ♦ Ю. Курсков.— Иностранские известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---



## СНЕГ НАД ВЕНЕЦИЕЙ

Снег над Венецией,  
 парашютно сносимый ветром,  
 перестающий быть снегом при первом  
 прикосновении  
 к венецианской воде,  
 тонущий, тающий, не достигающий земли.  
 Потому что земля Венеции — это вода.  
 За мосты и карнизы цепляясь акробатически,  
 снег висит над Венецией,  
 серебрясь как венец  
 над ее золотой головой.  
 Но никак ее камни  
 не превращаются  
 в серебряные слитки,  
 никак ее не охватит серебряный озноб...  
 Я вспоминаю тебя, стоя под этим снегом.  
 Понимаю все, что творится  
 между Венецией и снегом.  
 Сам становлюсь белым необратимым снегом,  
 но не пойму —  
 что происходит между тобой и мной?  
 Ты, конечно, прекрасней Венеции,  
 особенно волосы.  
 Да и мне отваги у снега не занимать.  
 Но никак над тобой  
 не вспыхивает  
 белое пламя,  
 никак тебя не охватит серебряный озноб —  
 всю,  
 чтобы только золото куполов и волос не белело...

## ЗАПОЛЯРНЫЕ КЛАДБИЩА

Крест за крестом,  
 крест за крестом...  
 Не считать упрямому.  
 Как будто вышивка крестом  
 по снегу домотканому.

Уткнись в треух,  
 сожми кулак.  
 У слова — сила мстителя.  
 Зачем вы так,  
 за что вы так  
 людей и снег обидели?

Мы не заплачем,  
 мы пойдем  
 январскою известочкой...

А где не вышито крестом,  
 там вышито все звездочкой...

\* \* \*

Свечи полуночные затеня,  
вижу, какой избежал я пропажи:  
скольких, слепец, принимал за тебя,  
думал — цветы, оказались — бумажные.

Да — обнимали, но душами — врозь.  
Думал — такое бесповоротно...  
Но слава богу, что в жизни нашлось  
время — тебя не проворонить!

«Новая?» — спросят. Улыбку Пьеро  
изображу.

Объяснишь ли подробно:  
чтобы добыть седьмое ребро,  
переломали все прочие ребра.

Блазнилось — божество. А соблазн  
до божества пострашнее, чем рыльце  
черта для Фауста.

Фауст горазд.  
Но в божество не запустишь чернильницей!

Так с человечеством было не раз.  
«Ты меня любишь?» — пытали веками.  
Но человечества нету без нас.  
Пусть же теперь это будет и с нами.

Верю в тебя — не в ворожбу.  
Нету в тебе ничего от иконы,  
только ладони к глазам подношу,  
как на свету — углекопы...

\* \* \*

Я тебя увел из-под венца.  
Наплевать, что заклеят, как лошадь,  
удальца приняв за наглеца.  
Мне тавро любви дороже!

Без тебя на свете не могу,  
это все равно что врозь с душою.  
Я желаю счастья жениху  
с кем угодно, только не с тобою.

Ты — невеста?

Подсудимая,  
арестантка в платье подвенечном!  
Некем заменить тебя и нечем.  
Посуди сама, любимая, —

приговор сильней, чем приговор.  
Чем же ты меня приговорила?  
Навсегда к себе приговорила.  
По заслугам получает вор!

Кто-то спер в Париже холст Пикассо.  
Ну а вдруг дублершею твоей  
с полотна

ожившая  
бросалась  
с шепотом: «Любимый, поскорей!..»

Полисмены ищут в Мулен-Руже  
на аукционах всех вещей.  
А искать-то надо там, где души:  
я — в твоей упряган, ты — в моей.

И цыганкам, видимо, уже  
надо соответствовать эпохе.  
Карты в людях понимают плохо.  
Погадайте лучше по душе!

### БЮРО ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ

Две недели бестолково  
выбивается из сил  
телефон.

Звонит — как колокол —  
по забытому в такси.

233 — спешила  
42 — в аэропорт  
25 — и позабыла  
бабка внуку «Луноход».

Фантастическая эра!  
Романтических людей  
что-то высшее, наверно,  
отвлекает от вещей.

Что упало — то пропало.  
Но устроено мудро,  
наподобье арсенала,  
это доброе бюро.

Горестные, как подкидыши,  
на пришедшего глядят  
богоматерь из-под Кидекши,  
плащ и киноаппарат.

Сто перчаток сиротливо  
стынут, страшного страшней,  
словно формы для отливок  
рук великих скрипачей.

Золотистая пичуга,  
позабыл тебя, как брошь,  
птицелов или пьянчуга —  
без него ты не поешь!

За сумятицей событий  
можно многое забыть,

но чтоб Совесть позабыли —  
как такое может быть?!

Третий год уже покоясь  
меж игрушек и шитья,  
неприкаянная Совесть  
ждет забывшего ея.

Умудрились — потеряли.  
На заказ нигде не сшить  
золотое одеянье  
человеческой души.

Как за куклой говорящей  
приезжал один актер,  
а за Совестью светящейся  
до сих пор еще никто...

Об одном я беспокоюсь:  
чтоб на свёрте бытия  
на вопрос:  
«Чья это Совесть?» —  
не сказали мне:  
«Твоя!»





---

ВЛ. ЛИДИН

★

## РАССКАЗЫ

### *Половодье*

**М**ать плакала, и тетя Паша тоже плакала, но скупно, вытирала время от времени уголком платка глаза, больше смотрела вдаль, и мать тоже смотрела сквозь слезы вдаль, а Волга широко лежала перед ними, словно и не текла никуда, а лишь покоилась в своей серебряной широте, еще не очнувшись после ледохода.

Было уже совсем тепло, тихая, еще в робких почках весна, и мать смотрела вдаль, на затопленный лес, а тетя Паша говорила:

— Сомневаться тебе нечего... раз родители твоего мужа объявляют согласие, сомневаться тебе нечего. Они все-таки поболее твоего в достатке, Варвара Григорьевна кассиршей в универмаге работает, а Петр Игнатьевич хоть и на пенсии уже, но пенсия у него хорошая, он много зарабатывал. Что ж теперь делать, Клавочка, если у тебя такое положение сложилось, надо искать выход для себя, Костику уход и питание нужны, а какой ты можешь дать ему уход и питание: целый день на работе, да и заработка твоего не хватит. Так что если родители мужа согласны взять Костика, это для тебя выход, а так намучаешься только, я тебе от души советую.

Тетя Паша говорила это и, наверно, от души советовала, если уж так сложилось у нее, Клавдии: совсем без совести оказался муж, пошел шататься по городам и пристаням со своей специальностью судового механика, а жену с сыном словно как багаж позабыл, но в бюро находок за ними не явится.

Клавдия прежде работала в разделочном цехе рыбного завода, но муж, Геннадий Иванович Ступин, сказал раз: «Насквозь рыбой пропахла» — и она оставила рыбный завод, она дорожила своим счастьем, поступила на аппаратную фабрику, но Геннадий сказал на этот раз: «От тебя химией пахнет»; и видно было, что, куда бы она ни поступила работать, все будет вызывать у него тоску, и с тоской так и получилось, когда он сказал однажды: «Зовут меня на теплоходе «Михаил Лермонтов» работать, я все-таки к плаванию больше склонность имею, чем в судовых мастерских на берегу коптеть». И он ушел в плавание на «Михаиле Лермонтове», плывал затем на «Академике Павлове» и уже второй год скоро неизвестно где и на каком теплоходе плавает, а письмо написал все-таки: «Ты моего скорого возвращения не жди, Клава. Во мне, должно быть, атаманская вольница сидит, может, от Стеньки Разина мой род» — и еще что-то написал такое, чего сквозь слезы она и прочесть не смогла, а тетя Паша сказала:

— Ждать тебе твоего Геннадия нечего... у иных луженая совесть, и у твоего Геннадия луженая.

А год назад за помощью и советом собралась она все-таки, Клавдия, поехала в Москву, всю ночь промаялась в вагоне, не могла уснуть, а мысли были одна другой труднее.

Свекровь, Варвара Григорьевна, с черными усиками на длинном худом лице, уже много лет работала кассиршей в большом магазине, знала жизнь со всех сторон, знала и расценку людям — один всех денег стоит, а за другого и двугривенного жаль.

— Я в ваши дела не имею права вмешиваться, — сказала она. — Люди вы взрослые, и судить не могу, кто из вас виноват, может, оба виноваты. А от внука я не отказываюсь, и Петр Игнатьевич тоже не отказывается. У нас Костику хорошо будет, воспитаем как надо, я на свои силы еще надеюсь. И насчет питания по крайности все будет в порядке, а в нашем гастрономическом отделе я своя, чуть что хорошее появится — сразу же угляжу, да и продавщицы подскажут. А нам с Петром Игнатьевичем внука при себе иметь хочется, все-таки кровный он.

Варвара Григорьевна говорила так, словно Костик принадлежит им по праву да и ответственный за него, нужно вырастить, чтобы не знал никаких недохваток, спросила между прочим:

— Ты сколько же получаешь, какая твоя зарплата? Ну вот видишь — девяносто рублей, а у нас с Петром Игнатьевичем до трехсот, а то и побольше набежит, он все-таки два месяца в году работает, да и у меня переработка или премиальные. Так что привози Костика, мы его в «Детском мире» обмундируем, ты его и не узнаешь. А через год в школу пойдет, напротив нашего дома хорошая школа, и я почти всех учителей знаю, они в наш магазин часто заходят. Завтра я с утра дежурю, ты приходи, у нас теперь самообслуживание, выбирай сама что пожелаешь и ко мне в кассу неси, я сама оплачу.

Варвара Григорьевна говорила деловито и уверенно, словно вопрос о том, что внук будет у них теперь, уже решен, а привезти Костика лучше к весне, у них хороший сад возле дома. И они так и решили, что к весне Клавдия привезет Костика, и в какой-то мере родители мужа оправдаются перед ней за поступок сына, хотя нужно еще поразобрататься, кто виноват, что расклеилось у них...

И вот прошел ледоход на Волге, а там и половодье, и деревья на набережной уже красновато набухли почками, а из иных почек уже торчат острые зеленые уголки.

«Теперь к весне, Клава, — написала недавно в письме Варвара Григорьевна, — у нас в Москве и совсем тепло стало, и цветы уже продают на улицах. Я с восьмого мая в отпуске буду, да и по отгулу у меня еще неделька набежала, так что привози Костика. У нас теперь дачка, правда маленькая, но потеснимся, и садик небольшой, но и малина и черная смородина есть».

Варвара Григорьевна писала, в общем, хорошо и добро, однако так, будто лишь их, родителей мужа; касалась судьба Костика, а она, Клавдия, должна быть только довольна такому обороту судьбы, одной ей полегче будет, снимут с нее заботы о сыне.

А тетя Паша сказала, когда она прочла ей письмо:

— Они, конечно, вину Геннадия перед тобой и Костиком признают, только никогда не признаются, а ты и не жди этого признания. Прими все как есть.

Тетя Паша, Пелагея Саввишна Теплова, работала на той же ап-ретурной фабрике, с которой Геннадий принудил Клавдию уйти, морщился, когда она возвращалась с запахом химии, однако Клавдия уже знала, что морщится он не от запаха, а оттого, что не любит ее. Но теперь и она сама уже не любила его, перегорело все внутри, ос-

талась только жалость за свою судьбу и за сына, а один из знакомых речников спросил как-то Пелагею Саввишну, правда осторожно:

— Что же, племянница ваша или разошлась с мужем? Мой сын его в Дубовке с новой женой повстречал, он теперь на «Николае Некрасове» плавает.

Но Пелагея Саввишна не выразила удивления, скрыла свою боль, ответила:

— Они уже давно в разводе.— Потом добавила: — И у Клавдии новое семейное положение, тоже речник.— Чтобы не казалась та брошенной.

А дома Пелагея Саввишна сказала:

— На «Некрасове», говорят, Геннадий теперь... всех писателей на свете пересчитал да академиков прихватил.

Она сказала это с сердцем, но Клавдии было уже все равно, на каком теплоходе или хоть на буксире или просто на барже плавает Геннадий, давно уже уплыл из ее сердца...

И они сидели на набережной, смотрели на серебряный океан Волги и плакали потихоньку, а Костик стоял у парапета рядом с их соседом, бывшим машинистом Егором Яковлевичем Толмачевым, и Егор Яковлевич, прежде чем закинуть удочку, плевал на червяка или малька, дал раз поплевать и Костику, а вскоре взметнул в воздух окунька с красными плавниками, и это был его, Костика, окунек, не поплевал бы на червяка, может быть, ничего и не поймалось бы.

Он еще не знал, что его скоро отвезут в Москву и начнется для него совсем другая жизнь.

— Ты ко всему относишься со спокойствием,— говорила Пелагея Саввишна между тем.— Тебе всего тридцать четыре года, твоя молодость еще не ушла от тебя, а Геннадия с новым счастьем и не вспомнишь, дети от хорошего человека будут, еще узнаешь материнское счастье.

И получалось так, что Костик не составлял ее материнского счастья, был как бы случайным в ее жизни и нужно искать свое теперь.

Пелагея Саввишна была невысокая, когда-то красивая, должно быть, но отяжелевшая с годами, а глаза у нее были совсем синие, словно время и не коснулось их, но из-под косыночки выбивались седые волосы, через два года выйдет на пенсию, уедет к сестре в Барнаул, и будут они вдвоем век вековать.

— Конечно, пока я работаю, все-таки помогаю тебе другой раз, а уйду на покой — тогда как? Ты об этом тоже подумай. А бабушка с бабушкой все-таки верное дело, хоть это и не твои родители. Но раз они принимают внука — значит, у них решение твердое, так что не сомневайся.

Пелагея Саввишна, однако, сама сознавала, что говорит это не из глубины души, не от силы своего чувства, а так нужно для устройства жизни Клавдии и в таких случаях всегда лучше проявить рассудительность.

Но Клавдия не слушала ее, она глядела в ту сторону, где Костик помогал Егору Яковлевичу удить рыбу, плевал иногда на червяка для счастья, и смотришь — блеснуло оно в воздухе, такое милое счастье, такая милая радость для детского нехитрого сердца.

— Вы, тетя Паша, не торопите меня с этим,— сказала она.— Я, конечно, с вами во всем согласна, только не торопите меня с этим.

— Это не я тороплю, а твоя свекровь торопит... они на дачу скоро собираются, ты должна понять, не обременяй их, раз они с таким решением, с уважением отнесись к нему.

— Я и отношусь с уважением,— ответила Клавдия, но совсем безучастно.— Мне еще Костика подготовить нужно к этому.

— А чего готовить? Скажи — поедешь к бабушке и бабушке в Москву, в зоологический сад пообещали сводить, ему только интересно будет.

И Клавдия не повторила, чтобы не торопили ее с этим.

Потом Пелагея Саввишна взглянула на свои ручные часики:

— Мне еще в местком заглянуть надо, наградили меня путевкой в санаторий, хочешь не хочешь, а поезжай.

Но она была довольна, видимо, что ее наградили путевкой. Оставлять, однако, племянницу было жалко, сидела такая подавленная со своими мыслями, маленькая и худенькая, как подросток, с синеватым, несмотря на теплый день, и совсем скорбным лицом.

— Я на полчаса только, — сказала Пелагея Саввишна, — а ты подожди меня тут, подыши хорошим воздухом.

И Клавдия осталась одна, сидела на скамейке, сложив между коленей худые, слабые руки; а скоро поплывут по Волге гудки пароходов, пойдут белые красавцы, как лебеди, гордые в своей речной красоте, пойдут и «Михаил Лермонтов», и «Академик Павлов», и «Николай Некрасов», а Геннадий, может быть, лишь из окошечка своей каюты посмотрит на их город, но про то, что оставил здесь, и не подумает, а если и подумает, то вскользь, через несколько часов будет уже другой город и другая пристань...

Егор Яковлевич свернул удочки, а ведро с двумя окуньками отдал Костику, сказал:

— Это твоя добыча, тебе досталась, поплевал здорово. А ведро потом занесешь.

И он ушел, а Костик подсел на скамейку румяный и довольный, накупался в речной свежести, и ничего еще не знающий, ничегошеньки...

— Мы с тобой, Костик, скоро в путь-дорогу соберемся, — сказала Клавдия. — Поедем к бабушке и бабушке, поживешь у них.

— А ты? — спросил он сразу же.

— А я назад вернусь, у меня работа здесь.

— И я с тобой вернусь, — сказал он.

— Нет, ты у бабушки с бабушкой останешься, у них хорошая дача под Москвой, бабушка пишет — и малина и черная смородина есть, поешь всласть ягод осенью.

— Я у них не останусь, — сказал Костик. — Я с тобой вернусь.

Клавдия помолчала, а кончики ее пальцев были ледяными.

— Трудно нам жить, Костенька... тебе и молоко и питание нужно, и уход за тобой нужен, а я целый день на работе.

— Егор Яковлевич обещал всегда брать меня с собой, когда пойдет ловить рыбу. Он говорит, ему со мной везет. Мы с ним на остров поедем, там судаки, а здесь только окуньков поймаешь.

И он поглядел в ведро, где плавали два окунька, один уже как-то боком, показывая свои красные плавники.

— Трудно нам с тобой, — повторила мать, — так трудно, Костенька... там поживешь, я писать тебе письма буду, а через годик в школу пойдешь, научишься писать — сам мне письмецо напишешь.

Но он вдруг притих в своей речной, розовой свежести, вдруг напрыгся, словно услышал в словах матери то, что стояло за ними.

— Я к бабушке и бабушке не поеду, — сказал он. — Я с Егором Яковлевичем буду рыбу ловить, он и нам обещал на обед ловить.

— Нужно ехать, Костенька, — вздохнула она. — Ты сейчас еще маленький, конечно, подрастешь — сам поймешь, что нужно было ехать. Я одна вырастить тебя не смогу, а бабушка с бабушкой помогут.

Но теперь, казалось, он услышал и то, что стояло не только за словами матери, он услышал, что придется им жить в разлуке, предстоит постепенно привыкать к новому порядку в своей жизни, предстоит забывать помалу мать, забывать и Егора Яковлевича с его удочками, забывать и Волгу с ее простором, а там позатянется самое главное, что должно было бы вести его.

Но думал так, конечно, не он — думала она, Клавдия.

— Нельзя так, Костенька,— сказала она неуверенно.— Я за тебя в ответе, мне тебя вырастить надо, сознательным сделать, я за тебя в ответе.

Но он сидел молча, насупившись, красный от волнения, и Клавдия лишь косилась на него, но что-то поднялось в ней из самой глубины, что-то поднялось в такой благодарности за верность этого детского сердца, еще ничего не испытывшего, но готового мужественно отвергнуть все то, что могло бы задеть или обидеть мать.

— Знаешь,— сказал он вдруг,— я молоко совсем и не люблю, а рыба у нас будет, Егор Яковлевич обещал, что каждый раз, как поймает, нам одну хорошую штучку отдаст. А я, наверно, и сам скоро научусь ловить рыбу... ты купи мне хорошую удочку, знаешь какую, из бамбука. Мы с тобой вместе выберем, я уж знаю, какую выбрать.

Клавдия хотела повторить с материнской настоятельностью, что нужно ехать в Москву, так нужно по их жизни, все-таки полегче станет на душе, если за ним, Костиком, будет хороший уход, да и питание ему нужно хорошее в его годы. Но она не могла повторить это, и казавшееся уже навсегда ушедшим из ее жизни словно возвращалось, иначе, в другом виде, но возвращалось.

— Как же так — не поехать, сынок? — сказала она уже беспомощно.— Как же обидеть дедушку с бабушкой, они ведь ждут тебя.

— Я с тобой буду,— сказал он с такой твердой уверенностью, словно незачем и возвращаться к этому.

И Клавдия испытала вдруг ту легкость, то освобождение, перед которыми отступали все трудности жизни, все обиды жизни, все потери, а есть только этот речной океан с затопленными лесами, с половодьем, полным гулкой свежести, с летящими перед вечером утками, а накануне с гоготаньем пролетели гуси к низовьям Волги, к местам, где зацветают лотосы и бродят по отмели розовые фламинго; когда-то, в детстве, отец, работавший икряным мастером в Гурьеве, показывал ей все это...

— Живем мы с тобой на знаменитой реке.— сказала она.— Ты волгарь, должен гордиться этим.

— Я горжусь,— ответил он неуверенно, не очень то понимая, что значит волгарь.

— И гордись. И всем на свете гордись, и тем, что мы с тобой вдвоем и вовеки не потеряем друг друга,— и этим гордись.

Клавдия сама не понимала, откуда берутся эти возвышенные слова, но они были не возвышенными, а простыми, из сердца, и нельзя было найти какие-нибудь другие слова.

— Я и сама сомневалась, стоит ли тебе ехать в Москву.— сказала она.— Проживем, Костик, как-нибудь проживем... когда два сердца рядом, все не страшно, а если врозь — то так страшно! Проживем, Костик,— повторила она,— теперь-то я уж наверно знаю, что проживем... все-таки ты пообещал обеспечить нас рыбой. Купим хорошую удочку, а Егор Яковлевич научит тебя удить. И так славно заживем мы с тобой, Костик, всегда готова уха или окуньков поджарим на сковородке... а еще лучше в сухарях их потомить, тогда ко-

сточки у них совсем мягкие становятся, можно прямо с косточками есть.

И она смотрела на сына, смотрела на его щеки, уже переставшие пылать, а только розовые от речного воздуха. Вот он сидит, ее сын, со своим мужским плечом, на которое так надежно можно опереться даже уже и сейчас, когда первый класс школы еще только впереди, но даже уже и сейчас...

Пелагея Саввишна вернулась чуть смущенная, но довольная все же, председатель месткома Яковенко сказал ей: «Мы для вас путевку в хороший санаторий на юге достали. Отдохните, Пелагея Саввишна, мы вашу многолетнюю работу ценим».

— Чудно,— усмехнулась она.— Хотела было отказаться, да не слушают.— Но она была довольна, что ее не послушали.— Так что разведемся мы на двадцать четыре дня, а вы за это время в Москву съездите, вернусь — ты уже будешь на месте, Клабочка.

— Нет,— ответила Клавдия, но так беспечно, так туманно в счастливой беспечности,— надумали мы с Костиком никуда не ехать, будем жить как жили, а рыбой он обеспечит нас, завтра купим мы с ним бамбуковую удочку. И так хорошо порешили мы, право, тетя Паша, право, миленькая, вы ведь сами понимаете, что нельзя нам в разлуке жить, нам вместе — и море по колено, а наша Волга и по-давно.

Пелагея Саввишна молчала, но она и сама понимала, что необходимость — это одно, а сердце — это совсем другое...

— Событие и меня с пути,— сказала она только.— Уйду на пенсию, куда же я вас, двух дураков, тогда дену... придется нам втроем горе мыкать, а может, и не горе, но счастье, а счастье не мыкают. Ты как на этот счет, Костик?

И она тоже посмотрела сверху на розовую щеку Костика, посмотрела и на окуньков в ведерке, залог будущего изобилия.

— Я — за,— ответил он, а за что «за», не знал, но, должно быть, за что-то хорошее, судя по голосу тети Паши, за что-то, от чего и она повеселела вдруг...

## *Разговор берез*

### **Разговор берез**

В свое время Анна Михайловна дала себе слово, что, если сын вернется с войны, она посадит возле родильного дома, в котором работала врачом, какое-нибудь деревце.

Сын вернулся с войны, и она посадила деревце, маленькую тихую березку, дерево мира и красоты России.

Сын Александр Рогов сразу же принялся наверстывать пропущенное за годы войны, несколько лет спустя окончил медицинский факультет, получил назначение сюда же, в районный центр, где столько лет работала мать, стал сначала молодым врачом, потом опытным врачом, потом понемногу пожилым врачом, а там и заслуженным. Мать к этому времени давно умерла, но многие женщины, следуя ее примеру, тоже давали себе слово, что если все будет благополучно с ними, то посадят березку в честь сынка или дочки, и постепенно возле родильного дома возникла рощица, получившая несколько нескладное, но глубокое по своему смыслу название — Материнская роца, а потом, когда построили новый родильный дом, роцу переименовали в парк Победы, и большинство деревьев в нем, преимущественно берез, посажено было руками матерей.

После войны прошло уже свыше тридцати лет, и заслуженный врач Александр Александрович Рогов давно стал сам отцом, а там и дедом, водил иногда в свободный день внушек в парк Победы, а внушки ничего не знали о том, что парк возник из Материнской рощи и что их мать тоже посадила в свое время два деревца, когда родились они, девочки, Таня и Саша, по воле судьбы одногодки.

Теперь маленькие саженцы, походившие больше на прутики, стали большими деревьями с серебряными с чернью стволами, на многих были скворечники, в которых селились не только черные скворцы, до осени шнырявшие по газонам, но и воробьи с их жаждой жизни и деятельности, и всегда воробьи напоминают о том, что человек должен быть жадным к жизни, к тому же со стойким чувством товарищества.

Мать умерла несколько лет спустя после окончания войны, и Александр Александрович выбирался нередко в свободный часок, который не так-то часто выпадал, посидеть на скамейке возле той березы, которую посадила мать в память того, что вернулся сын с войны, повоевал с честью и хоть был дважды ранен, все же вернулся.

Теперь уже никто не знал, какое деревце посадила в свое время Анна Михайловна Рогова, принявшая столько новорожденных, что через ее руки прошла, наверно, добрая треть нынешних граждан их районного центра, ставшего уже городом с построенными в нем спичечной фабрикой и гвоздильным заводом.

Выбрался он, Александр Александрович, и на этот раз посидеть в уединенной предзимней тишине, когда в парке безлюдно, только синички и воробьи копошатся на облетевших деревьях и лишь на верхушках берез еще держатся ржавые венички.

Казалось самому себе странным, что вот выбрал часок столь всегда занятый главный врач городской больницы, за которым во время обходов тянутся следом другие врачи и медицинские сестры, а больные смотрят на него с затаенной надеждой, но вместе с тем и с затаенным страхом, как бы, простукав и выслушав их, врач не нахмурился, скрыв, однако, выражение своих глаз...

По дороге, когда шел он сюда, многие узнавали несколько грузного, в очках, с седыми кудряшками по бокам берета старого врача, почтительно кланялись ему, и он кланялся им, не зная нередко, с кем раскланивается: может быть, с тем, кого лечил когда-то...

Александр Александрович еще издали приветствовал кивком головы ту, которая была посажена руками матери: он знал ее, и она, казалось, знала его, шевелила ветками, когда он приходил, и опустит, наверно, один-другой глиняно-желтый листочек на его плечи, пока посидит он с полчасика в раздумье над тем, что давно ушло, но все же было когда-то.

Береза и на этот раз пошевелила ветками, когда он подошел, правда почти голыми, сквозь которые просвечивало небо, чуть сывороточное от рыхлых белесых туч.

На скамейке, где он обычно посиживал, сидел сейчас мальчик с бледным фарфоровым личиком, несколько похожий на того отрока, которого изобразил когда-то художник Нестеров. Александр Александрович, слегка недовольный, что на скамейке сидит еще кто-то, сел, однако, рядом, покосился на мальчика, а мальчик смотрел куда-то в сторону, ввысь, и Александр Александрович увидел большую красивую птицу на ветке дерева, редкую в городском парке иволгу.

Александр Александрович посидел минутку молча, отдуваясь в свои толстые седые усы, потом спросил мальчика:

— А ты знаешь, какая это птица?

— Иволга,— сказал мальчик уверенно.

— Ты юннат, наверно?

— Да, мы в этом парке ведем наблюдения. А вы тоже наблюдаете? Я вас знаю, вы врач. Вы мою маму лечили, проходили раз мимо, а мама сказала: «Это хороший врач, он меня вылечил», а вы не заметили ее.

— Все возможно,— повинулся Александр Александрович,— иногда и не знаешь, с кем поздоровался. А прихожу я сюда не наблюдать за птицами, я еще не юннат, не дорос до этого, а слушать разговор берез.

— Какой разговор берез? — спросил мальчик, впрочем не очень удивившись, привыкший уже, наверно, к тому, что природа то и дело подкинет какую-нибудь тайну.

— Прекрасный разговор, такой по душам... все-то они вспомнят и порасскажут. Сколько лет дереву, возле которого мы с тобой сидим? Как ты думаешь?

Мальчик взглянул вверх, на рыжий оставшийся венчик.

— Лет тридцать, наверно.

— Ты способный юннат,— одобрил Александр Александрович.— Почти точно определил возраст этой березы. Приходи и ты когда-нибудь послушать ее. Она расскажет тебе, что посадила ее моя мать в память о том, что я вернулся с войны, а потом многие другие матери сажали в честь своих детей деревья. Может быть, и твоя мать посадила когда-нибудь деревце, спроси ее, а если и не посадила, то знает, конечно, что прежде это место называлось Материнской рощей. А березы ведут друг с дружкой разговоры о том, что была наша с тобой родная земля в огне, но не сгорела, это вечная, гордая наша с тобой земля! Тебя как зовут?

Но отрока звали не Варфоломеем, как на картине Нестерова, а Мишей Берестовым.

— Это гордая наша с тобой земля, Миша Берестов,— повторил Александр Александрович.— И все, что произрастает на ней, шевелит ветками или клонится, если это, скажем, пшеница,— все в ее честь, нашей с тобой земли. Я старый врач, можешь мне поверить.

— Я верю,— сказал Миша Берестов.

Иволга вдруг снялась, задержалась на лету над дощечкой одной из кормушек, склонула, наверно, ягоду рябины и полетела дальше, сказав доброе слово юннатам, и Александр Александрович спросил:

— Ты слышал, что сказала иволга? Она сказала — мерси, это очень вежливая птица.

— Теперь скоро улетит в Африку.

— Все-то ты знаешь,— сказал Александр Александрович с уважением.— Давай время от времени встречаться на этой скамейке. Послушаем птиц, как они благодарят за добрую заботу о них, послушаем и разговор берез. Я научу тебя разбираться в их языке, это красивый, живой язык. Есть у меня две внучки, Таня и Саша, хотя и смысленные, но сколько ни учил их разбираться в разговоре берез, сидят только и болтают ногами. Впрочем, это хорошая пора, когда человек болтает ногами... и я сам поболтал бы, да болят в суставах, отложение солей.

— Пройдет,— сказал Миша Берестов уверенно.— У мамы тоже болели ноги... знаете, как она вылечила их? Держала перед сном в теплой воде с горчицей.

— Надо будет попробовать,— согласился Александр Александрович.— Видишь, сколько я от тебя полезного узнал.



И они еще посидели; дунул вдруг ветер, береза стряхнула на плечи Александра Александровича несколько листочков, и он сунул один в карман пальто как словечко из той речи, которую произнесла береза напоследок.

— Значит, будем встречаться,— сказал он Мише Берестову, и тот кивнул головой.

Эта скамейка давно служила ему для наблюдения за птицами, принадлежала юннатам, но отчего же не впустить в свой круг старого врача, к тому же знающего язык берез, знающего и то, о чем они говорят друг с дружкой...

### На пастушьей заре

Утром трава в седом глянце, каждая травинка, облитая росой, почти объемна, это роса того рассветного часа, когда утренний ветерок гасит одну звезду за другой — до вечера, чтобы они не теряли зря свои силы, а к ночи их снова зажгут. И час-другой великая тишина над землей, пролетит тот тихий ангел, про которого сложена не одна присловица, и в этот час, кажется, сильнее растут травы в своем росном, нежном серебре.

Я внял совету Ивана Прокофьевича Скорблева, старого колхозного пастуха ныне, а некогда веселого, лихого человека, однако я только слышал, что он был таким когда-то, но этой его поры уже не застал.

— Будет вам бока пролеживать,— сказал Иван Прокофьевич как-то, когда я проходил мимо пастбища, а он сидел на земле, чуть привалясь к стволу двух сросшихся берез, так что развилок служил ему как бы спинкой спокойного кресла. Он был в большой соломенной шляпе с пасеки и с соломенными усами и бородой, словно выгорел на солнце, но это была желтоватая седина и, наверно, до конца такой и останется.— Будет вам бока пролеживать... сколько утренних часов вы проспали, а что проспийшь — того не найдешь больше. Приходите на зорьку, на пастушью росу... в эту пору чисто, а что было как-нибудь не так вчера, уже позади осталось, и для скота лучше этого часа ничего нет, травой только похрустывает и в то же время росой заливает. Это пир для него, я тебе верно говорю. А ты спишь в эту пору — смотри, все на свете проспийшь, а потом и не ухватишь вовсе.

И я послушал его раз, поставил будильник на три часа ночи; июньской, теплой, убывающей в своем сроке ночи, с растущими днями, а до летнего солнцестояния было еще далеко... правил Ярило — бог солнца и любви.

Я вышел из спящего дома, запер за собой дверь, все вокруг тоже спало еще, только какая-то проснувшаяся до времени пичуга неуверенно спела две нотки и, наверно, снова заснула птичьим своим сном. Ногам даже сквозь кожу обуви стало сразу прохладно от мокрой, ртутно блестящей травы, а в поле, на выгоне, лежал тонкий туман, провозвестье сильного летнего утра во всем его блеске, с колесницей Фазтона, огнедышащие кони которого едва не спалили землю в свое время. Но она была цела, земля, в пастушьей росе, с персиково-розовой полоской утренней зари, и теперь эта зорька, в пору которой я пролеживал обычно бока, была и в моих руках.

А Иван Прокофьевич, которому я пообещал накануне, что приду, поджидал меня, но, может быть, не очень-то надеялся, что я поборю дрему, когда лучше всего спится и когда кажется, что главное для человека — это хорошо выспаться.

— Ты мне спасибо произнесешь,— сказал Иван Прокофьевич, когда я подошел к той березе, которая издавна, наверно, служила ему спинкой рабочего кресла с мягким сиденьем из набросанной веточки, чтобы не застудить крестца.— Ты мне спасибо произнесешь,— повторил он.— Ты сейчас весь в чистоте, отоспал то, что вчера было как-нибудь не так,— и вот она, вся наша земля, перед тобой... живи, дыши, поменьше грехи — и тебе лучше с людьми будет, и люди останутся довольны тобой. Я сейчас, конечно, пастух, однако по инвалидности третьей степени пастух, этим войне я обязан, понесло меня как-то от бомбы с самолета по воздуху и не так-то аккуратно на землю назад положило... рассольник, ничего не скажешь, хорош, но только когда не из человеческих потрохов, а у меня с моими потрохами получился, и что куда сдвинулось — этого и в госпитале не объяснили мне. Ну что мне делать оставалось — на завалинке кости греть,— я без работы не могу... а пастухово дело не только коров утром выгонять да к вечеру обратно пригонять, пастухово дело — это целый день ты под небом со своими мыслями, так что никуда от жизни я не ушел, и по правде — утешение мне вышло. А сейчас я один и вовсе, дочь замужем, в районном центре живет, у нее свои заботы... а я хотя и один, да не совсем один. Ты думаешь, скотина человека не чувствует и не понимает его,— она все понимает и чувствует. Другой раз телится корова, трудно ей, вздохнет глубоко и на меня человеческим глазом глядит, я ей близкий в этот час, вроде наставника. И смотришь — стоит телок или телочка, еще мокрые, ноги дрожат, подгибаются, тычется к матери, не сразу поймет, как к делу приступить... Подладишь как нужно — приступила телочка, нашла что искала, а корова на меня уже материнским глазом глядит, хоть и не помог я ей в трудности, но все-таки рядом был. А еще через недельку-другую уже поскачут телок или телочка, уже жизнь играет в них, и об этом тоже подумаешь.

Иван Прокофьевич хотел внушить мне, что на утренней зорьке лучше пораздумаешь о том, как жизни дано действовать, а что было накануне как-нибудь не так — это уже вчерашнее и утро во всей своей чистоте перед тобой. А степенные ярославки — черные, с белой головой и лайковыми черными сосками тяжелого вымени — жадно поедают траву, по временам отрываются, смотрят в сторону с торчащей травинкой между теплых губ и принимают снова, молоко к полудню, когда подойдут доярки, должно быть уже готово, молочный завод недалеко, а ясли и детский сад совсем близко, и в полдень стакан парного молока перед каждым, а в стакане вместе с молоком и утренняя зорька.

Может быть, все эти мысли приходят по утрам к Ивану Прокофьевичу, когда оглядывает он свою жизнь, и тогда пастухово дело становится в его понимании необходимой частью всеобщих дел.

— Ты не жалея, что недоснилось тебе чего-нибудь нынче. Еще разок-другой придешь покалякать со мной в эту пору — и в лучшем виде доснишься. Я и не думал, например, остаться жить, когда несло меня по воздуху и все внутри перетрясло... какая тебе жизнь осталась — я про это не одну думу в госпитале продумал. Какая жизнь осталась тебе, Иван Прокофьевич? И пожалел я тогда, что меня крепче о землю не стукнуло. А потом нашел все-таки свою стежку, а другой раз и стежка на большую дорогу выведет. И в твоём деле, наверно, тоже так: начал с одной строчки, а там, смотришь, пошел и стежке этой еще спасибо скажешь за ее укромность, в укромности свою думку лучше продумаешь. Белый гриб тоже в укромности растет, да еще листочком прикроется, а я еще люблю слушать птиц,

как они просыпаются... сначала только голоском прощупают, началось ли уже утро, как он звучит, голосок, это у них проверка идет, а потом потренькали еще — и пошло. Сейчас, конечно, уже поздно, это в мае нужно слушать, когда самочка яйца высидит, а папаша во весь голос старается, развлекает жену, ей трудно, этому и человеку поучиться не грех, а бывает — мужу скучно становится: отяжелела, некрасивая стала, докучает со своей тревогой — и нет-нет, а на сторону норовит с дружкой посидеть, а то и похуже. А в птичьем царстве иначе, там порядок, там свою обязанность каждый понимает.

Иван Прокофьевич как бы своими руками прощупал все правила природы, утренние ее силы всегда были на виду перед ним, и слышал он то, что дано услышать, когда природа доверяет человеку, подошлет ему и утренний голосок славки, и густое мычание напивших росы добрых ярославок, а бык носит в носу кольцо, похожее на ритуальное, охранитель материнства подвластного ему племени.

— Будешь про войну писать, напиши обязательно — несет иногда взрывная волна человека, кажется — и ничего от тебя больше, а смотришь, если только не весь рассыпался, можешь еще людям дать от себя, а по нашей жизни никакой малости нет, людям все нужно.

— Напишу и о том, что если дети в колхозных ваших яслях или в детском саду ждут в полдень по стакану молока, значит, благодаря и вашим трудам поднимается новое поколение.

— Это ты расширил для меня, — задумался Иван Прокофьевич, и что-то новое, наверно, прибавилось к его пастушьей заре.

А день тем временем поднялся, роса просыхала постепенно, превратилась в те алмазы и яхонты, которыми издревле полна для человека кошница, если он умеет находить не для одного себя радость, но делиться ею и с другими.

Я простился с Иваном Прокофьевичем, сказал ему: «Спасибо за побудку»; а за выгоном уже рыжела поспевающая рожь, по временам ложилась полуволнами, утренний ветерок принялся шевелить и ветки деревьев, на которых копошились подростившие птенцы второго выводка, а первый выводок уже давно летал под июньским небом.

### Сей неведомый цветок

Куст роз цвел за лето трижды и на прощание поднес мне последнюю карминно-красную розу, чуть стеклянно-волглую от заморозка, выбелившего на днях траву и прикрывшего простынками скамейки в саду. Роза была из группы ремонтантных, и я срезал ее, положил под стопку книг, чтобы она высохла и даже сплюснутая напоминала Казанлык, в долине роз которого привелось мне побывать как-то осенью, когда розы со своим нежным великолепием пошли на эфирные масла и духи.

Найдутся люди, которые скажут: нашел о чем писать — о цветах — в век бурь и мировых потрясений. Но бури и потрясения и происходят именно потому, что человек хочет мирно вдыхать и запах роз, кстати способствующий его труду. Я помню одну ткацкую фабрику, где в цехе стояли растения в горшках, кротко цвели бегонии и бальзамины, и ткачихам казалось, что они трудятся в саду: работа всегда идет лучше, если природа, хотя бы и в скромном виде, рядом с тобой...

А когда роза под тяжестью книг высохла и сплюснулась, на земле была уже зима, падал снег такой сплошной, будто его вытряхивали

из мешка, и на московских улицах тяжело работали уборочные машины.

Я послал эту розу одной старой женщине, Марии Степановне Ага-неровой, бывшей библиотекарьше, написал в письме, что это последняя роза, последний дар могучего в своей силе куста, посоветовал положить цветок в ящик стола, чтобы хоть совсем слабо, но утешительно пахло розой.

А вскоре я получил от Марии Степановны ответное письмо:

«Спасибо вам сердечное за то, что вы поняли, какую радость может доставить мне ваш бесценный подарок. В библиотеке, где я проработала свыше тридцати лет, всегда стояли цветы, даже немного походило на оранжерею, и это составляло как бы некий микроклимат для книг, по временам казалось, что в окружении цветов они лучше себя чувствуют. Напишите при случае, как глубоко может взволновать человека и утешить его даже высохший цветок, который всегда хранит память о том, как пчела пробиралась в него и несла затем его нектар в соты, а соты — дело общественное, как и книги, и хотя я и смешиваю разные понятия, но вы поймете меня».

Я и вправду понимал Марию Степановну, для которой книги и цветы объединились в одно общее представление о тех радостях, какие не только утешают человека, но и помогают его труду, и, значит, даже в эпоху бурь и мировых потрясений можно написать о цветах, о том, как с удивительной силой трижды за лето цвел куст роз, и едва срезались осыпавшиеся, на новых побегах уже краснели листочки, среди которых вскоре зазеленеют крохотные луковички бутонров, потом в их трещинках появятся зеленые полоски, а однажды после теплой ночи с дождиком, приснувшим на рассвете, отойдут в сторону створки — и появится еще тугая, медвяно пахнущая роза. В такое утро лучше работается, словно сила цветения напомнила о том, что и в твоём труде должно быть так, чтобы рука человека потянулась к написанному тобой... и ничего, кроме этого, не нужно писателю, ничегосеньки.

Мне захотелось поделиться этими своими размышлениями с Марией Степановной, она-то уж знает, к каким книгам тянется рука читателя и какие оставляют его равнодушным... а в основе этих размышлений была лишь роза, напомнившая и о Казанлыке и о болгарских странствиях, напомнившая и о том, что в войну прислала мне однажды на фронт любимая рука цветок настурции, и он и поныне хранится у меня в конверте с номером полевой почты.

А в Казанлыке к нам подошла старая болгарская женщина, старая болгарская мать, узнавшая, что мы едем из Плевена и что мы из тех русских, которые оставили в Плевене пирамиды черепов и костей, сложенных ныне в усыпальнице, протянула мне маленькую стеклянную трубочку с розовым маслом, и дивным запахом казанлыкских роз пахнет и поныне один из ящиков моего рабочего стола. А плевенскому военному музею я посылаю время от времени книги — воспоминания славных наших полководцев о минувшей войне, а на память о плевенском музее в моем книжном шкафу хранится маленькая модель того девятифунтового орудия, с какими русские войска, освобождая Болгарию, брали Шипку...

Значит, можно писать о цветах, если они пробуждают столько чувств и воспоминаний, значит также, что поздняя, почти остекленевшая роза выполнила свое назначение... цветок засохший, безуханный вдохновил Пушкина написать навеки благоухающие строки о том, как сей неведомый цветок наполнил его строки мечтой странной.

### Песенка

Игнатий Ильич заглянул в комнату, и из темноты его сразу же позвали:

— Дедушка!

— Ты чего не спишь? — сказал он, подойдя. — Чего ты не спишь? У мамы сегодня собрание, придет поздно. Спи, пожалуйста.

— А ты посиди рядом, дедушка, тогда я засну. И знаешь чего — спой мне немножко.

— Спеть? — ужаснулся Игнатий Ильич. — Да у меня сроду голоса не было.

— Как же у тебя не было голоса, раз ты говоришь? Спой, дедушка.

— Неудобно как-то... неудобно без голоса петь, к тому же я академик.

— Ничего, — сказала она, прощая ему, что он академик, — спой.

Мать не раз говорила, что дедушка ученый человек, известный ученый.

— Видишь ли, таких задач я никогда не решал. Если что-нибудь насчет высокомолекулярных соединений или дисперсных систем — это могу, а петь не могу.

— Тогда я не засну, — сказала капризно та, которую звали Васюткой, а взрослое имя было чуть тучное — Васса. — Я тогда до утра не засну и завтра тоже не засну. Ты ведь ничего не делаешь — спой.

— Как это ничего не делаю? — возмутился Игнатий Ильич. — Это я-то ничего не делаю?

— А что ты делаешь?

— Могу изобрести перпетуум-мобиле.

Она помолчала, дед, наверно, придумывал непонятные слова, потом сказала снова:

— Если не споешь мне песенку, я не засну.

— Ну и особа, — вздохнул он. — Ну и особа. Ладно, подвергну себя величайшим испытаниям, но чтобы без обмана — сейчас же в сон, с руками и ногами в сон.

В темноте тихо прошелестело — наверно, она засмеялась, Васютка. И Игнатий Ильич, подумав и чуть откашлявшись, начал, тут же ужаснувшись, как фальшиво и сипло звучит его голос, но это тебе не лекцию об управлении коллоидальными процессами читать и не с докладом выступать, а поответственнее дело.

— На море на океане, на острове Буяне, — спел он, сфальшивив на последнем высоко взятом слове так, что, будь рядом учитель пения, наверно, ударил бы его камертоном по голове. — На море на океане жил один старый король... старый дед, — поправился Игнатий Ильич. — Жил себе да жил, а кругом было море.

И больше он ничего не мог придумать, но его ждали, и он продолжил:

— Была у него внучка Лизавета... Лизавета, Лизавета, спой про это, — включил он какой-то вспомнившийся игривый мотивчик, — а на острове Буяне жила муха на аркане.

— Что такое аркан? — спросила вдруг та, которой по уговору положено уже засыпать.

— Ты будешь наконец спать? — спросил Игнатий Ильич угрожающе. — Ты песню мне испортила. — И он продолжал: — На аркане, на аркане... — Горопливо искал рифму: — И скучала по таракане.

И хотя получилось в рифму, однако размер был нарушен, и случись быть рядом поэту, тот, наверно, тоже стукнул бы линейкой по голове.

Он помолчал, прислушался, дыхание было тихое, нежное, единственное в мире дыхание, хотел было еще посидеть, чтобы покрепче заснула, но совсем трезвый, совсем дневной голос сказал повелительно:

— Пой дальше!

И нужно было не упрекать, а петь дальше, петь самозабвенно, не останавливаясь перед размером, или рифмами, или событиями, о которых поешь, петь так, чтобы ни на минуту не умолкать, заворачивая своим пением, и он, давая петуха за петухом, пел и пел:

— А у той Елизаветы подписались на газеты,— тут же вспомнив, что идет подписка и нужно подписаться.— На газеты, на газеты, хоть для той Елизаветы муха лучше, чем газеты... но на острове Буяне нет газет, нет газет, и так плохо без газет, без газет.— Он перевел дыхание, подумал лишь один миг, останавливаться было нельзя, и продолжил:— А на острове Буяне жили просто тараканы,— уподобив тараканов народу или племени,— жили просто без жилья,— вспомнив тут же, что вчера не успел заплатить за квартиру,— жили просто без жилья, так как не было жилья. Ах, жилье, жилье, я куплю себе ружье... буду Вассу сторожить, буду Васеньке служить, это вправду, а не в шутку, драгоценная Васютка.

Теперь можно было сделать паузу, маленькую остановку, чуть наклонить голову, прислушаться к дыханию, и море с островом Буяном, и с тараканами, и с Лизаветой, Лизаветой укачали все-таки, спит себе, не думает, на какой позор обрекла академика, члена нескольких академий и в других странах, заслуженного деятеля науки, автора добрых двух десятков книг по его специальности, а над шкафом, где его книги, висят портреты великих учителей Бутлерова и Менделеева, про которого Васютка однажды спросила: «Это твой дедушка, дедушка?» «К сожалению, не мой,— ответил он.— А хотелось бы иметь такого дедушку. Тебе таблица элементов ничего не говорит?» «Говорит»,— ответила она. «А что говорит?» — поинтересовался он. «Не скажу». И с этой тайной и ушла к своим детям — куклам Машеньке и Матильде, Машенька была с черными волосами, а Матильда белокожая, как и полагается свойственнице Лорелеи.

Она заснула все-таки, Васютка, заснула под его песню, заснула, может быть, с улыбкой, и он, наклонившись, чтобы послушать дыхание, вообразил эту улыбку, за которую можно отдать все на свете, отдать Джоконду с ее улыбкой, отдать самого себя со всеми своими учеными потрохами, званием, и премиями, и заслугами.

Он постоял еще немного и пощел на цыпочках, размахивая руками для плавного хода, к двери, остановился на пороге, но его не окликнули, и он прикрыл дверь.

Ай да Игнатий Ильич, ай да певец, ай да молодец, и не знал сам, что такой дивный голос у тебя, проспал за своими коллоквиумами, проморгал свой талант, а теперь поздно, ни в один театр не примут, скажут сожалеюще: «Перезрели, папаша, для певца, раньше нужно было думать об этом». А дочери, когда она вернется с собрания, доложит: «Распелся сегодня... прорезался у меня голос, так распелся!» И он сказал дочери, когда та вернулась с собрания и сразу же спросила: «Как Васютка?»:

— Спит. Заснула под одну дивную песню... я сам чуть было не заснул под нее. Жалко, что не сообразил включить магнитофон, осталось бы и для других. Отец у тебя еще ничего, если может петь такие песни.

С дочерью всегда было общее, и она понимала обратную сторону его шуток, а ее отец был отцом и Васютке, дедушкой и отцом в одно время, так сложилось, и лучше об этом не вспоминать и не касаться этого.

— Давай пить чай, папа,— сказала она.— Ужасно затянули собрание, такой мямля председатель.

— Чайник на плите.

Игнатий Ильич принес чайник, и они сели пить чай вдвоем, как обычно, а если пораньше, то втроем, у Васютки была своя чашка с пастушкой и овечками в духе ее Матильды.

— Все-таки что значит песня,— сказал Игнатий Ильич.— Какие дивные сны, наверно, она приносит!

Теперь ему действительно представлялось, что он пел хорошо, если Васютка, которую ничем не вгонишь в сон, заснула под его песню, с руками и ногами нырнула в сон под его песню, и Игнатий Ильич, помешивая в чашке чай, запел песню так фальшиво, таким страшным голосом запел, особенно страшным потому, что хотел петь тихо, только бы не разбудить Васютку, спел всего один куплет:

— Как на острове Буяне жили, жили таракане.

И дочь сказала:

— Правда, папа, я совсем не знала, что у тебя такой отличный голос. Может, поступишь в Большой?

— Не примут. Певцы не любят соперников. А я их несомненно затмю.

И он сам остался доволен своим могуществом. Все же главное — для кого поешь, а остальное не важно.

## Ли́ра

Я подошел к заброшенному дому, столь ветхому, что бревна, из которых он был сложен, наверно, не годились даже на топливо, вспомнил: «Вот мельница, она уж развалилась...» — но безумный мельник не появился на пороге, а вылетела из-под застрехи какая-то пичуга, или запоздавшая улететь, или, может быть, прилетевшая зимовать, а до зимы было уже недалеко.

Окна домика были забыты, но на одном окне доски кто-то оторвал, видимо рассчитывая, что в доме что-нибудь осталось. Я заглянул в темное, затхлое нутро, заглянул лишь потому, что на фронто́не дома между двух окон была прибита деревянная золоченая лира, хотя позолота уже полуоблетела от времени.

Если пишешь книги, то и сосновая шишка с растопыренными чешуйками, просыпавшими семена, может побудить к работе воображение, а золотая лира на доме, видимо давно оставленном, и давно встревожит мысль: может быть, эту дачку построил для себя композитор и там, где сейчас темнота и заброшенность, звучал, примеряясь, рояль, кто знает, как создается музыка? А может быть, в доме жил любитель поэзии и в знак своей склонности к ней заказал плотнику вытесать лиру, плотник попался хороший, и лира была обработана как ей положено.

Я все же протиснулся между оторванных досок окна, дал глазам освоиться с темнотой, большая комната была пуста, лишь на полу среди груды бумаг было и несколько книг, а для того, кто за книгой не поленился взобраться по пожарной лестнице или спуститься в подвал, ничего не стоило, конечно, пролезть в окно, чтобы понюхать запах хоть, может быть, и ненужных книг... Книги действительно оказались ненужными, какие-то разрозненные приложения к «Ниве», но среди них нашелся клавир оперы «Тоска» и один из романсов Чайковского, выпущенный музыкальным издательством Гутхейля: кто-то играл на воображаемом рояле или под его аккомпанемент пел, и я убедился, что именно пел. На романсе Чайковского «Ты скоро меня

позабудешь» была надпись: «Прекрасному певцу Константину Андреевичу Лященко от В...»; и где-то в глубине своей памяти я нашел имя Лященко, хорошего тенора, которого слышал не то в опере, не то в записи на граммофонной пластинке, а в опере «Тоска» он, может быть, исполнял роль художника Марио Каварадосси...

И то же воображение, которому нужна иногда лишь сосновая шишка, чтобы представить могучую столетнюю сосну, обратило к тому времени, когда молодой певец Лященко с успехом пел и Ленского, и Индийского гостя, и Лознгина. А ныне вокруг были дачи актеров, музыкантов и писателей, и, наверное, не один из них, взглянув на домик с лирой на фасаде, тоже кое-что домыслил, а возможно, лишь подумал: мало ли какие фантазии приходили людям в прошлом? Однако мне хотелось поглубже заглянуть в судьбу того, для кого лира была не только украшением, и кто же та В., которая подарила ему романс Чайковского, а слова романса выражали и ее судьбу? Может быть, прелестной и мечтательной была эта В.— эта Вера или Валентина,— сначала лишь бывала на концертах любимого певца, а потом он заметил ее и в этом доме прошли их счастливые годы.

Отчего не вообразить этого, ведь чем лучше, поэтичнее вообразишь, тем глубже и напишешь об этом,— и вот можно вообразить, что не один год жила старая женщина в этом домике, где когда-то звучал для нее любимый голос, или, может быть, она аккомпанировала певцу, и все было разучено именно здесь, где весной широко открывали окна и майский холодок входил в них со своим ландышевым запахом...

Я захватил с собой пахнувшие сыростью клавиры и романс Чайковского, а на лесной просеке встретил старого знакомого, садовника дома отдыха с поэтическим, несколько глухим названием «Урочье», Василия Петровича Баранщикова, и мы остановились поговорить минутку.

— Набрел сегодня на один дом,— сказал я,— с лирой на фронто-не, как-то ни разу не замечал этой лиры.

— Вы имеете в виду, наверно, дом Виталии Сергеевны,— сказал Василий Петрович.— Ее внук все покупателя ищет, а кто станет покупать труху, разве только ради участка. Я Игорю Михайловичу хотел в этом деле посодействовать. Приезжал один художник, сказал — только на дрова, а потом предложил продать ему лиру, но Игорь Михайлович сказал: «На лиру у вас денег не хватит», а что имел в виду — я и не понял. Еще одну зиму простоят, может быть, а там под снегом сам развалится.

— Наверно, все же Игорь Михайлович сказал правду, что денег не хватит купить эту лиру... это знаете какая лира? В ней, может быть, две человеческие жизни заключены, и Чайковский заключен в ней.

— Скажете тоже,— усмехнулся Василий Петрович.— Ей сорок копеек цена, если отодрать, а начнете отдирать — развалится.

— Это оттого, что она никому в руки не дастся... она только одним рукам принадлежит, хотя и нет этих рук ныне.

Василий Петрович подумал, потом спросил:

— Вы что же, что-нибудь знаете?

— Конечно,— сказал я уверенно.— Я всю историю, как этот дом построили и как лиру прибили, знаю. Как-нибудь напишу об этом, тогда дам почитать.

— Выдумщик.

И Василий Петрович с некоторым сожалением посмотрел на человека, у которого есть время выдумывать, когда самая пора выкапывать клубни георгинов, дел по горло, и он пошел дальше, а я воз-



вратился домой утешенный, что набрел в тишине осени, среди опавших листьев на мельницу, которая уже развалилась, и мельник вышел из нее с лирой в руках и великодушно поднес мне, чтобы и я побряцал: отчего не оказать уважение человеку — пусть побряцает, если у него много досуга, когда другие не знают, как бы поспеть управиться с делами...

### Раскрытие вещей

Серенькая птичка, хромая и распластав одно крылышко, будто оно перебито, побежала вдруг впереди меня, изредка словно из последних сил подлетывая, и я понял, что это славка отводит от своего гнезда на земле, чтобы лучше погибнуть самой, чем дать погибнуть ее птенцам.

Я замедлил шаг и пошел в другую сторону, а славка на всякий случай проковыляла еще немного — весной со своим говорком из нескольких щебечущих слогов, а сейчас немая в материнском самопожертвовании.

«Раз мы уверены в том, что ничто создаваться не может из ничего, то вернее пойдем мы предмет изучения», — утвердил некогда мудрый Лукреций, доказывая, что все тельца, начиная с атома, имеют друг с другом причинную связь и существуют как различные силы в едином теле.

О судьбе Марии Стодоли я узнал уже после войны. В большом, наполовину молдаванском селе на выжженной августовским солнцем Одессщине Мария Стодоля, еще статная и красивая зрелой степной красотой, нарядилась однажды в свое лучшее платье, надела на шею монисто, зазывной походкой пошла к одиноко стоявшей клуне в степи, и немецкий фельдфебель, поселившийся накануне в ее доме, несколько оторопело смотрел вслед тугим, играющим на ходу бедрам, а свою семнадцатилетнюю дочь Галю, к которой подбирался он ночью, спрятала на горище, где хранилась кукуруза, и пока Мария Стодоля шла своей зазывной походкой к клуне, взглянув раз через плечо на неуверенно последовавшего за нею фельдфебеля, соседка увела ее дочь к себе... А что было в клуне, никто не узнал, потому что Стодолю нашли с резаной раной в боку, может быть для того, чтобы прикрыть все молчанием, а может быть и потому, что со всей силой женской ненависти она отвергла фельдфебеля.

Я узнал о ней, когда ее имя стало почти легендарным, в том большом селе на Одессщине стоял в ее память обелиск, и, конечно, следовало бы кому-либо из поэтов написать о ее материнской самоотверженности.

Припадающая к земле, временно охромевшая славка как бы раскрыла природу великих нравственных сил на земле, она повела за собой повесть о мужестве, эта крохотная пичуга с пепельно-серой головкой, а существуют еще и славка-черноголовка и славка-завирушка, или мельничек, с ее как бы деревянной трелью, с ее «кле-кле-кле-кле-кле-кле», и уже по одному этому любовному определению можно почувствовать, что с нежностью где-то в самой народной глубине дали этой птичке ее название.

А когда я ушел, славка, наверно, вернулась к своему гнезду, где сидели ее взъерошенные, жадно раскрывающие клювики птенцы, которые никогда не узнают, как мать спасала их... Впрочем, может быть, и Галя Стодоля, если осталась жива, не узнает, что ради нее мать пошла на поругание и даже на гибель.

Возле рабочей столовой поселка, где обычно находят корм голуби и воробьи, пожилой сизый голубь заторопился в сторону слетев-

шей голубки. На нем был старомодный, с длинными полами серо-сиреневый пиджак цвета извозчичьего армяка, но голубь был совсем неинтересен голубке со своими повадками вдовца, долго томившегося в одиночестве, или старого вожделеющего холостяка, она жадно склевывала черные лакированные зерна арбуза, загораживая их от вздыхателя, и он беспокойно топтался возле, даже не пытаясь помешать своей соблазнительнице склевать все зерна.

И я вспомнил, как поздно женившийся на молодой вздорной женщине садовод Александр Петрович Модестов выращивал в своем саду самые лучшие цветы и ставил в комнате жены пионы, среди них выведенный им сорт «Афродита», богини любви и красоты. Но и «Афродита» не нужна была той, которая только для устройства своей жизни вышла замуж за человека, совсем безразличного ей, а он любил ее, Александр Петрович Модестов, срезал для нее ненужные ей пионы, и на маленькой терраске всегда пахло покинутостью.

Александр Петрович копался в своем саду, а жена была в Москве, работала в женском ателье моделью, и однажды показывали по телевизору, как молодые, уже с изученными приемами женщины выходили на эстраду, демонстрируя модные платья, и поворачивались, упершись рукой в бок, чтобы зрители могли со всех сторон оценить модель платья или костюма. Среди них была и Алла Севастьянова, для которой муж срезал ненужные ей цветы, только иногда, пригнувшись к вазе, понюхает для его утешения, скажет: «Прелесть как пахнут», но и этого для любящего сердца было уже достаточно.

Я поглядел на голубя, все еще вздыхавшего возле той, которая не дала ему склевать ни одного зернышка арбуза, потом вдруг увидевшей что-то в стороне и мгновенно улетевшей, а он, стыдясь перед целым светом, потоптался еще в одиночестве, несколько раз клюнул корку арбуза и, наверно, для меня, наблюдавшего за ним, представил-ся навсегда этой площадке возле рабочей столовой.

Александру Петровичу Модестову, конечно, не могло бы прийти и в голову, что голубь может напомнить кому-то о его существовании, все более одиноком, по мере того как шли годы. Но годы шли и для Аллы Севастьяновой, и она не хотела ничего упустить для себя, а крыша и верный человек никуда не уйдут, к ним можно будет в свое время вернуться.

Листья деревьев падают осенью каждый со своим норовом: большой, лапчатый, лиловый или багряный лист клена спадает томно, немного паря, березы подолгу не срывают ни одного листочка, потом начнут сыпать в нервической спешке, словно бояться отстать от других, а про осину Александр Петрович, знающий также и породы деревьев, сказал мне однажды:

— Осина оттого дрожит, что на ней с начала века печать... Иуда на осине повесился.— Как будто кто-то из свидетелей или из подручных апостолов оставил запись об этом.

Осины дрожат даже в тихую погоду и под осень одними из первых принимаются сыпать серо-черные, словно обугленные, на утренниках листочки.

А над полем, ставшим столь просторным, словно вся осень была только на нем, вдруг поплыл тугой, почти трубный гул, похожий на гул парохода или речного буксира с баржой, и хотя это прошел электропоезд, казалось все же, что буксир ведет баржу, а на ней во весь могучий свой рост, в соломенной шляпе с большими полями стоит, налегая на кормило, может быть, Василий Буслаев.

«Небо — наш общий отец. От него плодоносная мать наша сырая земля насыщается каплями влаги. Злачные нивы рождает земля, и привольные рощи, и человеческий род; создает и звериное племя».

И было также к месту вспомнить Лукреция, что в природе вещей все во взаимосвязи: и древние гимны Небу и Солнцу, и языческое почитание бога солнца и любви.

Наверно, летом в сильный ветер или грозу свалило дерево, ту белоствольную с чернью березу, о которой сложено столько народных песен всегда со славословием ей, русской березоньке...

Деревья ревниво оберегают тайну своих верхушек, которые первыми встречают утреннюю зарю, и она сначала полежит на них и лишь потом спустится на землю. Иногда они клонятся от силы воздушного тока, когда низко идет на посадку или набирает высоту самолет, и первыми узнают, кто прилетел из Ташкента или кто улетел в Хабаровск и, может быть, и дальше, в Магадан.

А теперь береза была повержена, и возле одной развилины лежали остатки гнезда, сотканного по всем правилам ткачества из сухих травинок, каких-то перышек или подкрыльного пуха, гнездо младенчества тех, кто давно вывелся и летает или даже уже улетел на юг.

Я принес это гнездо домой, положил на свой рабочий стол и лишний раз подумал о том, сколько усилий в самые лучшие, сильные годы тратит человек, чтобы свить свое гнездо, иногда, однако, лишь до первого сильного ветра.

Лушу, недавнюю девчоночку, которая помогала мне собирать грибы, говорила басом: «Боровик, боровик, лезь в кузовок» — или сбивала шляпку: «Ах ты, поганка!» — Лушу ее мать, тихая и степенная Татьяна Гавриловна, работавшая няней в детском соматическом санатории, выдавала замуж, и, наверно, в память наших грибных совместных поисков Луша прислала мне в конверте отпечатанное красивое приглашение: «Приглашаем Вас на торжественный вечер, посвященный нашему бракосочетанию, который состоится...» — и дальше следовали день, час и адрес.

Это значило, что Луше уже около двадцати лет, а ей было семь, когда мы вместе собирали грибы, — и как же проскочили эти тринадцать лет? Но они не проскочили, а шли своим чередом, Луша училась в школе, а теперь для нее самое трудное впереди — суметь свить свое гнездо, и я подумал: будь это возможно, ничего лучше в качестве свадебного подарка не придумаешь, чем то гнездо, которое я нашел в развилке упавшего дерева. В гнезде было и синее небо, и облака, и летняя гроза с державным трезубцем молнии, если это была ночная гроза, в гнезде было и материнство, когда мать, представляясь хроменькой или подбитой, ковыляла возле самых ног, уводя все дальше и дальше от своих беспечных птенцов...

На свадьбу Луши я не пошел, послал с ее матерью то, что полагается для пиришества, но мне было все же жаль выкинуть найденное гнездо, и я положил его рядом с созревающими яблоками на подоконник террасы. Гнездо и яблоки дополняли друг друга, это была природа вещей, их взаимосвязь, их следствие одного из другого, как сумел в свое время написать об этом Лукреций, и вот его далекое слово представало в наглядности — в тесном единстве всего сущего под Небом — нашим общим отцом, и на плодоносной матери — Земле, которая от него насыщается каплями влаги.

### Снежная ветка

Выпал снег, полежал и растаял. По дороге я встретил вдову писателя Спешнева, она сказала: «Вот и зима»; я тоже сказал: «Вот и зима»; и мы постояли и посмотрели вдоль аллеи, по обе стороны которой белели продольные перекладыны заборов, образуя как бы рельсовый путь.

— Грущу,— сказала Спешнева,— а как только выпадет снег — и совсем грущу. Без Николая Ивановича не знаю за что и приняться. Ушел — и ушел.

— Как же так — ушел? А его книги... сколько у него осталось книг?

— Не помню... около тридцати, наверно.

— Это значит, что вот мы с вами стоим сейчас на дороге, а в эти минуты кто-то читает, может быть, какую-нибудь его книгу — может быть, девушка с синими глазами, или полковник в отставке, или ученый где-нибудь в доме отдыха, а то и геолог захватил с собой в экспедицию. А может быть, генерал без всякой отставки и ученый без всякого дома отдыха. Книги живут своей жизнью, а печалиться — по русской пословице, день меркнет вечером, а человек печалью... а вы живая душа, отдавайте что можете людям, хотя бы в память Николая Ивановича.

Я помнил Веру Георгиевну Спешневу еще совсем молодой, красивой отражением своего счастья в больших карих глазах,— теперь она несколько высохла, легли морщинки возле рта, те полудужки, которые у женщин как следы былых улыбок, и следует и принять их как следы былых улыбок.

— Конечно, не нужно забывать, что у Николая Ивановича остались книги,— сказала она.— Но кто знает, может быть, и не читают их.

— А вы зайдите в какую-нибудь библиотеку, спросите одну из книг вашего мужа, на переплете внутри есть кармашек для абонементной карточки, а на карточке все сказано, кто и сколько раз читал эту книгу. Для писателя самая суровая проверка... случается — знаменит, а карточка чистенькая, как крыло ангела.

Спешнев был хороший писатель, и я не усомнился, что карточка в его книге сможет оказаться чистой.

— Это хорошая мысль,— сказала Вера Георгиевна, вдруг вся как-то потеплев.— Можно ведь зайти и в местную библиотеку.

— Конечно, а библиотекари обычно любезные люди, любят литературу, а если узнают, что вы интересуетесь книгами вашего мужа, то будут только довольны. Ведь Слово — это такая птица, она не улетает на зиму в теплые края, она всегда рядом, если только это настоящее Слово. Впрочем, библиотекари на этот счет первые ведуньи.

Вера Георгиевна постояла еще рядом, ее лицо стало вдруг таким, каким я знал его столько лет назад, и я лишнюю раз подумал о том, что душа человека подобна багульнику с его удивительным свойством расцветать даже зимой, если поставить ветку в воду...

— Но ведь и правда, разве не осталось это? — спросила Вера Георгиевна, но больше саму себя, как-то отрешенно кивнула мне на прощание, а я постоял еще и поглядел ей вслед.

Она несла с собой все тридцать книг, написанных Николаем Спешневым, несла его записные книжки, его начатые рукописи, его замыслы, несла их почти двадцатилетнюю совместную жизнь, несла свою любовь, а одна из лучших книг Спешнева посвящена была ей...

Она несла все это в своей женской, никогда не слабеющей памяти, а белые полосы снега на поперечинах заборов по обе стороны дороги ходили на рельсы, уходящие к западу, и оттуда хлынул вдруг последний, прощальный свет октябрьского солнца, облил мягкой бронзой и латунию ветки берез, еще не облетевших, и дорога, по которой шла Вера Георгиевна, тоже осветилась.

Сегодня уже поздно, конечно, но завтра с утра Вера Георгиевна зайдет, может быть, в поселковую библиотеку, спросит какую-нибудь книгу Спешнева и незаметно, чтобы не увидела библиотекаря, прижмет к груди абонементную карточку, с одной стороны всю исписан-

ную, заполненную и с другой уже на треть... и, значит, он не ушел, Николай Спешнев, а идет рядом с ней по дороге, глядит на снежные ветки, снег остался лежать в канавках, первая запись зимы, как бывает запись в записной книжке писателя, и смотришь — из записи возник и рассказ.

### Виолончель

Осень выполнила свои обязанности, оголила деревья, высветлила дали и теперь после трудов своих ждет зимы, как и я после своих трудов жду зимы. Но осень спокойна за свою работу, все прибрала, сложила в амбары и разве только тревожится, хорошо ли ляжет снег, а то начнется гнилая мокрядь, за которую винят обычно осень, хотя это вина запоздавшей зимы.

И вот мы идем мирно рядом, от сжигаемых в садах опавших листьев поднимается голубой дымок, и она говорит: «Есть в осени первоначальной...» — как бы напоминая, что хорошо знает стихи своих поэтов — Пушкина, Тютчева или Фета, а я докладываю ей, что успел сделать в ожидании ее прихода.

— Ладно, посмотрим, что получилось, — говорит она сдержанно, скидывает с березы несколько листочков и, глядя, как они падают, напоминает сама себе, что пора начинать.

— К книгам обычно пишут концовки. Я напишу всего полстранички о том, как мы ходили по твоим владениям, ну и добавлю, конечно, что ты любимая пора поэтов, да и прозаики у твоих ног.

— Не очень-то ублажай меня, а то дуну так, что у летящей вороны перо подниму: ворона борется с ветром, отчаянно машет крыльями, а ветер дует ей в спину, закидывает перо на голову, и она хохлота, как курица... дарю тебе эту деталь.

— Так как концовка, которую хочу написать, будет посвящена тебе, она должна носить какое-нибудь музыкальное название... между прочим, эхо в оголенном тобой лесу походит на густой голос виолончели.

Ответа я не получаю, название — дело сугубо авторское, а за ночь она выполняет то, что посулила накануне: утром трава овчинно-бела, на верхушках деревьев лежит медный обруч прорвавшегося солнца, вскоре меркнет, идет мелкий снег, пока лишь примеряющийся, пока лишь как первые нотные знаки зимней оратории.

Выполнил и я то, что посулил накануне: написал совсем маленькую концовку, но если в ней есть яблочный привкус осени или мятый привкус первого снега, то этого именно я и искал.

### Гнездове

К Балашовой пришла одна смиренная, тихая старушка вся в черном, в белой платке, как у монастырки. Балашова, работавшая на бисквитной фабрике, и сама вся как бы сдобная, пахнущая ванилью, однако не только сдобная, но и сильно раздобрившая, подозрительно и зорко посмотрела на старушку, неизвестно откуда и зачем явившуюся и лишь случайно подгадавшую, что застанет ее дома.

— Никак Мышакова? — спросила она приглядевшись, но словно не доверяя своим глазам.

— Я самая, — сказала старушка робко и как бы виновато.

— Не узнала тебя, богатой быть. Ты какими же судьбами?

Мышакова была соседкой по дому в некогда родном селе, из которого Балашова уже давно ушла, правда наезжала время от времени посмотреть оставленный дом с забытыми досками окнами, жилье

про запас, хотя в Москве жила в новом доме, построенном фабрикой для своих рабочих. В ее большой комнате все было чисто, блестело, четыре подушки одна на другой лежали в углу постели возле висевшего над ней ковра с изображением купальщиц у пруда.

— Какими же судьбами?— повторила она выжидательно, полагая, что последует какая-нибудь просьба.

Сын Мышаковой Михаил погиб на войне, и с тех пор материнское сиротство легло на ее плечи, так и оставшись до старых годов, но и ей самой, Балашовой, было уже недалеко до пенсии.

— Я к вам с великой просьбой, Неонила Федотовна,— сказала Мышакова робко, так робко, что скорее даже прошептала.— Внучка моя, Валюша, сейчас дома, в наше село вернулась, будет теперь в колхозе агрономом работать, а жить ей негде... председатель колхоза Козлов обещает — справимся, дом для учителей и агронома построим, а у меня одной не повернуться, а у Валюши книги все-таки, по вечерам читает, такая усердная, в отца пошла, Миша у меня тоже с усердием был.

Мышакова сидела в углу дивана, согбенная своей неудавшейся жизнью, еще в сорок два года, когда погиб сын, стала вроде монашески и ничего больше не нашла в своей жизни, а муж еще до войны уехал куда-то на заработки да заработался так, что домой и не вернулся, прислал путаное письмо, а после войны никаких слухов о нем не было, и так и кануло.

— Что-то я не пойму, о чем ты речь ведешь,— сказала Балашова, уже недружелюбно оглядев маленькую, сухонькую фигурку старушки.

— Неонила Федотовна, у вас дом забитый стоит, дом — это ладно, а еще пристроечка отдельно, хотя зимой, наверно, и не натопишь ее. Пустите Валюшу на время пожить, а дом для учителей и агронома через год непременно построят. Валюша аккуратная, все в целости и порядке будет, и так поможете нам, так облегчите, вы ведь моего Мишу помните, наверно? Он с вами в одних летах сейчас был бы... и нравились вы ему в свое время, я это хорошо знаю.

— Я его помню, конечно... он ничего был, Михаил,— сказала Балашова,— а война — что ж теперь делать, война не одну тебя обидела.

Мышакова несмело взглянула на нее, ожидала, что скажет та дальше, но Балашова сначала ничего не сказала, а потом сказала так твердо; словно давно уже думала об этом и давно решила для себя:

— Не могу я пустить никого в свой дом... это гнездо мое, а твоя внучка не кукушка.

И хотя и жестко это было сказано, Мышакова все же не могла представить себе, что могут ответить ей так.. все-таки отец Вали сложил голову за то, чтобы люди хорошо жили, есть и его усилия в том, что живет она, Балашова, в новом доме, а на торты, которые выпускает их кондитерская фабрика, другой раз удивишься: столько красивого старания в цветах из сливочного или шоколадного крема, а то и надпись из крема, если подношение.

— Я за свой дом страховку плачу,— сказала Балашова почти с недоумением: как может кто-нибудь не понимать этого?

— Да ведь пустой стоит,— посмела ответить Мышакова.

— Как это — пустой? Сегодня пустой, а завтра, может быть, полный будет. У моего сына семья.

Но она сама не поверила, что захочет сын, инженер на глиноземном комбинате, вернуться в село, где делать ему нечего, да и квартира у него и дача от завода под городом Ачинском, на берегу реки Чулым.

— Я твоему положению, Мышакова, конечно, сочувствую... но ведь у каждого свое. У тебя свое и у меня свое.

Балашова хотела было добавить: «Я удивляюсь даже, как ты с этой просьбой пришла, да еще через столько лет, что и не узнала тебя сначала. Я — ни к кому с какой-нибудь просьбой, и правильно будет, если и ко мне — никто». Но она лишь подумала так — не в прямое осуждение, а больше с недоумением, что давно совсем позабытая старушка польстилась на чужое жилье, а попробуй пусти только — потом и не выживешь, и построит ли еще колхоз дом или не построит — это тоже вопрос.

Мышакова сидела опустив голову, сидела в такой печали, хотя, наверно, заранее ждала, что откажут ей, и Балашова представила себе, как в слепой своей надежде ехала та почти от самой Рязани, а внучка, может быть, и не знает ничего.

— Я тебе сочувствую, конечно, — сказала Балашова, — но сама посуди: не виделись мы с тобой лет двенадцать, а то и поболее, а ты ко мне с просьбой, насчет которой и родная сестра задумается. Как это получается?

— Я и не надеялась, Неонила Федотовна, — сказала та, но тоже скорее прошептала. — Я ни в жизнь для самой себя не поехала бы, а Валюшу мне жаль, росла без отца и без матери: после того как пришла похоронная на Мишу, Дуня, конечно, погоревала год-другой, а потом нужно было свою жизнь устроить, вышла замуж, уехала с мужем в Казахстан, а девочка при мне осталась, при мне и выросла и школу хорошо кончила, а потом и техникум, и все при мне. Мать хоть и пишет время от времени, но только не та мать, которая родила, а которая выходила. Отсохло, как сучок... а со мной — все, так что вы должны понять меня, Неонила Федотовна.

— Я понимаю, — ответила Балашова.

Но стало уже скучно, собиралась пойти в гости вечером, еще пообедать нужно, воскресенье только накануне длинным кажется, а начнется — и нет его. Она хотела было предложить Мышаковой пообедать вместе, но подумала, что приблизит ее внутренне, а этого делать нельзя, нужно сразу определить дистанцию.

— Ты пенсию получаешь? — спросила она.

— А как же... мать героя войны, у Мишеньки ведь три ордена было да еще медали.

Но так далеко это ушло, сейчас только смутно вспомнишь Мишу, хоть и учились с ним в одной школе, а у нее, Балашовой, разлад с мужем вышел, начал своевольничать, а она на фабрике выделилась со своими способностями, не захотела терпеть этого слабовольного, попивающего Семена Балашова, хоть и хорошего механика, сейчас и совсем опустился, приходил в канун Октябрьских праздников жалкий, наверно, хотел попросить взаймы, но не решился, посидел только, спросил о сыне, и она жестко, без всякой жалости ответила ему: «Нет у тебя никакого сына. В свое время относился ко мне без уважения, а меня, между прочим, люди уважают, так что с себя спрашивай». Балашов сидел униженный, и все, что было в комнате вокруг — и телевизор «Рубин», и сервант с хорошей посудой, и ковер с купальщицами у пруда, и ножная машина, и холодильник «Север», — все это было по ее стараниям, а с ним ничего не приобрели. Сын об отце никогда и не спрашивал, а если по правде, то и матерью не очень-то интересовался и веки, конечно, не поедет в село, где стоит ее материнский дом...

— Я, между прочим, продала бы свой дом, если бы подходящий покупатель нашелся, — сказала она. — Может, прослышишь на селе — имей в виду... а тебе за хлопоты процент будет, подработаешь немного к своей пенсии.

— Сейчас Валюша начнет хорошо зарабатывать,— сказала Мышак ова поспешно,— так что обойдемся.

— Это ты зря так,— упрекнула Балашова.— Я по-хорошему, а не для того, чтобы смягчить как-нибудь. Мой отказ на разуме построен, а в разуме мне пока никто не отказывал.

— Я что ж... я ничего,— сказала Мышак ова.— Я уважаю вас, Неонила Федотовна.

И что-то все же поднялось вдруг из глубины.

— Ты с каким же поездом приехала?

— Я в семь часов утра выехала... это председатель меня подтолкнул, сказал — поезжай, не откажут тебе в твоей просьбе.

— Как колхозные дела решает,— почти обиделась Балашова,— а это, между прочим, совсем не его дело.

Она подумала, однако, что Мышак ова уехала, наверно, натошак, следовало бы все-таки предложить ей пообедать, но теперь, когда и председатель колхоза знал о цели ее поездки, а может, Мышак ова лишь ссылается на него, Балашова и вовсе настроилась против этой тихой старушки.

— Что же так — мать героя, а в тесноте живешь... что же он, колхоз, обошел тебя, солдатскую мать?

Балашова спросила об этом насмешливо, но Мышак ова ответила с кротостью:

— Живу — и живу... у нас в прошлый год зима без снега выдалась, померзли озимые, пересевать пришлось, а до этого засуха была, так что у колхоза забот хватает.

И Балашова порадовалась своей зоркости: как же, так внучке Мышак овой и дали квартиру в новом доме, да еще попрекнут, если попросишь освободить пристройку, найдутся защитники, скажут: сама не живет и других выживает, очень просто, если поддаться слабости, посочувствовать на свою голову.

— Так что, Мышак ова, ты не обижайся на меня... да и перед своим сыном я ответственна, может, захочет в родном доме пожить. Птицы и те из дальних краев прилетают, а человек и подавно. Чайку не выпьешь? — спросила она, поколебавшись.— Все-таки возобновили мы с тобой старое знакомство.

— Спасибо, Неонила Федотовна, только я обратно поеду... мне в Москве и податься некуда, так что я прямо на вокзал. А Валюше я сказала, что к сестре в Мещеру съезжу, я и рассчитала так, чтобы к вечеру вернуться назад.

— Ты, Мышак ова, со мной в игру не играй,— сказала Балашова вдруг,— а ты играешь... обиделась на меня и играешь. А какие у тебя основания обижаться на меня? Мы с тобой больше двенадцати лет не виделись, я и не узнала тебя поначалу. Почему же ты могла рассчитывать, что я для тебя на все готова?

— Я не рассчитывала. только на ваше сочувствие полагалась,— сказала Мышак ова.— Такая грудная у меня жизнь получилась.

— Я в сочувствии тебе не отказываю. Меня еще никто, слава богу, в жестком сердце не упрекал. Но сердце — это одно, а разум — другое, он на моей стороне. Ты иди к председателю, скажи в полный голос: желаете своего агронома иметь, обеспечьте ему жилье, пожалуйста... а обещания — это не квартира, в них не перезимуешь. Ты пришла ко мне, и я тебе совет даю, я по своему опыту совет тебе даю.

Мышак ова ничего не ответила, слушала строгое слово, сказала:

— Так я пойду, Неонила Федотовна... обратный поезд в шестнадцать часов уходит, как раз успею к этому поезду.

— Погоди... я тебе на дорогу кое-что дам. Вот возьми крендельки с сахарной пудрой, только недавно начали выпекать, фирменные.



Возьми, внучку угостишь... эти крендельки и для Москвы еще. новинка.

Она положила в бумажный пакет крендельки, но Мышакова сказала:

— Не нужно, Неонила Федотовна... я сладкого из-за зубов не ем.

А о внучке не упомянула: может, и не захочет даже попробовать их, если узнает, куда и зачем бабушка ездила...

— Зря,— сказала Балашова,— зря, и сорсем не к месту свою гордость проявлять. Как хочешь, Мышакова, я от души, а ты как хочешь. Все-таки мы с тобой из одного гнездовья, хоть и разные у нас жизни вышли.

Но Мышакова молчала, не поняла ее чувства, и Балашова положила руку ей на плечо, сказала напоследок:

— Ты в своем требовании не уступай, добивайся, а на обещания рассчитывать нечего, ты свое в жизни заслужила.

И она осталась довольна собой, что проявила твердость, не поддалась чувству, которое то ли приведет куда-нибудь, то ли уведет совсем в обратную сторону, постояла еще на площадке, пока, подслеповато нащупывая ступени, Мышакова спускалась по лестнице, а пальцы рук были в сахарной пудре от крендельков, и она вернулась и обмыла их под краном.

## Жалейка

Игнатов сказал: «Посидим» — и они сели и посидели втроем — он, Игнатов, жена Саша и сын Гаврик, — посидели перед дальней дорогой, такой дальней для сына, перед десятилетней дорогой для него, и какой еще окажется эта дорога, к какой цели приведет? А пока они лишь посидели, и Игнатов повел сына в школу, повел в тот храм науки, как определил Патрикеев, когда-то в давние времена пастух, потом хороший шорник и сапожник в их селе, а сейчас на пансионе, как тоже определил он, на пансионе с мундиром, но и с мудрым знанием жизни и всего того, что приходится встретить человеку на своем пути...

И ведя сына в школу теплым сентябрьским днем сначала широкой дорогой поселка, потом мимо пруда уже с зеленой ряской, лежавшей подобно вышивке гарусом, Игнатов вспомнил и свою первую дорогу, только отец не вел его — остался лежать где-то на дорогах войны, — а шел он один в перешитой из отцовской гимнастерки курточке, нес учительнице три цветка мальвы, но впереди была зима, когда каждому пришлось приносить полешко...

А теперь Гаврик идет с отцом в новую, хорошую школу, несет в руке букет астр, и вся его дорога перед ним, а за десять лет, когда мирная жизнь кругом, столького достигнешь.

— Ты кепку в гардеробе оставишь, а учительнице, как войдешь в класс, первым «здравствуйте» скажи и цветы сразу же поднеси.

— Я знаю, — ответил Гаврик так, будто зря его поучают.

А несколько дней назад, оглядев сына в купленном для него школьном костюмчике, мать сказала не то горестно, не то счастливо:

— Что только из тебя получится, Гаврик... может, летчиком станешь, и не углядишь тогда, где ты в небе носишься.

— Углядишь, — обнадежил он. — Я космонавтом стану. Буду с тобой по гелевизору разговаривать, и, наверно, какие-то тесемочки поплывут рядом как живые, а самого себя нужно будет привязывать, чтобы не подняло с сиденья...

И Игнатов вспомнил еще, как пусто и голодно было после немцев, а Патрикеев сделал раз по старой памяти берестяную жалейку, какой скликал когда-то коров, но коров не было, ни одной коровенки не осталось, все поел или угнал враг, и Патрикеев играл для них, мальчиков, на жалейке, выводил четыре певучих звука, и они плыли и уплывали в чистом воздухе осени.

В школу он с сыном не зашел, а постоял в стороне, — и вот остались позади для Гаврика и тихие утра, когда можно посидеть с удочкой у пруда или вернуться из леса измазанным черникой, да и мало ли какие радости приходятся на детские годы, пока не зашагаешь в храм науки с его строгими правилами.

На работу в свою мастерскую Игнатов вернулся чуть попозже, еще накануне предупредил, что поведет сына в школу, а вскоре уже стоял за своим верстаком, струганул два раза по заготовленной планке, оглядел ее на вытянутой руке, прищурив левый глаз, еще раз струганул и отложил в сторону.

Учитель Захар Никитич, вернувшийся с войны без кисти левой руки, сказал тогда, когда собралась их первая смена, мальчиков и девочек, на добрую половину безотцовых, обобранных войной, — Захар Никитич сказал тогда: «На вас, ребятки, теперь вся надежда... вырастете — станете нашу страну восстанавливать, так что учитесь и учитесь». А культипка у Захара Никитича в пустом обшлаге рукава, наверно, болела, потому что по временам, особенно если была сырая погода, он поводил плечом, но школьники делали вид, что не замечают этого.

А теперь он, Игнатов, сказал сыну в свою очередь:

— Учись хорошо, Гаврик... слава богу, растешь в мирное время, государство на тебя надеется.

Он нарочно сказал эти возвышенные слова, чтобы лучше дошло до Гаврика с его черной челочкой и черными живыми глазами, с его школьной формой, которую ездил покупать в районный центр, — чтобы лучше дошло до него это. Но Гаврик уже сам понимал, чего ждут от него, переговаривался по телевизору с космонавтами в космосе, восторженно следил, как сами собой порхают в воздухе какие-то тесемочки, а на космонавтах пояса, чтобы и сами не начали порхать, — все уже было у него в руках, у сына: и космос, в котором пообещал он матери и самому побывать, и новая школа, которой присвоили имя их земляка летчика Григория Жукова, направившего свою горящую машину на немецкие танки. А портрет Жукова в комбинезоне, со сложенным парашютом за плечами, снятого рядом с его «МИГом», висел над верстаком, который сделал Игнатов для сына, и уже и пилить и строгать умел Гаврик: пригодится это, даже если станет летчиком, а инженером станет — и вовсе пригодится.

А у бригадира Терентьева пошла в школу дочка Нюся, которую без ее тряпичных кукол и не представишь себе, — пошла в коричневом платице, с белым фартучком, тоже с цветами в руке, и, может быть, посадят их за одну парту, Гаврика и Нюсю, чтобы рядом начали новую жизнь.

Терентьев — еще совсем моложавый, и не представишь себе, что уже пошла в школу его Нюська, рассталась со своими куклами, — Терентьев распилил фанеру, оглядел ее, о чем-то думая, потом сказал, о чем думал:

— Нам с тобой, Игнатов, скоро в старики записываться, дети наши уже в школу пошли, подумать только, быстро это делается нынче.

И, наверно, им обоим казалось, что их дети выросли быстрее, чем росли они, отцы, а в школе и того быстрее станут расти.

— Я свою Нюську в агрономы метить буду, у меня жена агроном,— сказал Терентьев.— Земля — дело верное.

— Да ведь и воздух в наше время тоже верное дело,— отозвался Игнатов.— Мой Гаврик в космонавты целит, никак не меньше, в такое время мы с тобой живем.

И они согласились, что живут в такое время, когда не только земля, но и воздух — верное дело, да и все верное дело, за что ни возьмется человек.

Потом, попилив, построгав и поклеив, сели они на край своих верстаков отдохнуть, свесив ноги и сложив между коленей натруженные руки, а громкоговоритель в углу мурлыкал и наговаривал что-то... наговаривал, может быть: «Славные рабочие люди, здравствуйте... так приятно поговорить для вас, порассказать, что в мире поспокойнее стало, прояснилось немного, стал кое-кто понимать, что войной ничего не добьешься, только себя разоришь, если не погубишь совсем, так что лучше сообща строгать, пилить и клеить... жилища хорошие строить, мебель для них создавать, детей своих в школу отводить, и чего лучше, когда вернутся после занятий твой сын или твоя дочка, расскажут, что задали на завтра, а там, смотришь, и сам задачку не решил, поотстал с твоими знаниями, и Гаврик или Нюська снисходительно скажут: «Ты не так решаешь, папа», тогда только слушай их. А впоследствии доживем, может быть, до той поры, когда станет дочь улучшать тощающие земли вашего или хотя бы и не вашего района, кислым почвам известь, как хлеб человеку, нужна, а сын из космоса поговорит по телевизору, но можно и без космоса, просто приедет на побывку, строит где-нибудь в Сибири или Казахстане новый завод, и это тоже хорошо. А там дочь выйдет замуж, сын женится, и кто знает, вдруг как раз Гаврик и Нюська поженятся, а лучшего ничего и не желать...»

Может быть, совсем не это бормотал и наговаривал громкоговоритель, может быть, они, родители, сами наговаривали это для себя, и Игнатов сказал:

— По правилу, надо бы нам отпраздновать, что дети наши в школу пошли.

— Отпразднуем, конечно,— ответил Терентьев.— Нам с тобой и в дальнейшем предоставят наши дети что праздновать.

И они согласно думали о том, что если за своих детей отцы спокон века в ответе, то и детям нужно оглядываться в сторону отцов, а сделали отцы — дай бог, и войну выиграли отцы...

Возвращаясь с работы, Игнатов зашел по дороге в продовольственный магазин, купил конфет, все же в семье был праздник, а возле своего дома на лавке у ворот сидел Патрикеев с серой клокастой бородой, уже совсем серой, и в очках с металлической оправой.

— Присядь-ка,— сказал он, знавший Игнатова еще подростком, как знал и многих других молодых мужчин подростками, а войну Патрикеев прошел всю от начала до конца, прошел с царицей пехотой от Москвы через все поля, и дали, и овраги, и балочки, а потом и через немецкие города, только до Берлина не дошел немного...

И Игнатов присел рядом, а его отца Патрикеев знал еще совсем молодым, и вся его судьба и судьба семьи была в его памяти.

Но и Игнатов помнил, как утешал Патрикеев их, безотцовых мальчиков, играл для них на жалейке, и протяжные, певучие звуки плыли в свежести осеннего воздуха.

— Я, Иван Миронович, вашу игру на жалейке всегда вспоминаю,— сказал Игнатов.— А мы хоть и мальчики были, но знали, почему вы играете.

— А почему? — спросил Патрикеев.

— Безотцовство наше утешали.

— Все возможно,— согласился Патрикеев.— Пройди-ка в дом,— добавил он, подумав,— принеси мою брёлку, она на грубке лежит.

Патрикеев давно овдовел, жил один, и Игнатов зашел в его пустое жилище и достал с грубки памятную с детства жалеюку.

— Нынче у ребят школьный день начался, поиграю для них, может, интересно им будет.

И как тогда, в детстве, поплыли в воздухе сентября четыре — один следом за другим, то выше, то ниже — певучих звука, а некоторое время спустя подошли хоть и не школьники, а женщины, жившие по соседству, подошли и те, кто лишь через год-другой пойдет в школу, но и из школьников подошел кое-кто.

А Патрикеев играл на своей брёлке, своей жалеюке, пробуждавшей не только воспоминания, но как бы обращавшей и к будущему со всем тем, что должно принести оно — не ему, конечно, Патрикееву, а тому племени, что вошло сегодня в храм науки, начало десятилетнюю дорогу, в конце которой — и земля, и воздух, и космос, может быть... все то, чего хотят отцы и о чем смутно мечтают дети с их воображением.

И Патрикеев, казалось, сам был доволен, как звучит жалеюка, не совсем ушел он в прошлое, может и поныне тронуть в человеке то, что звало его некогда, на пороге детства...

Пруд, мимо которого шел затем Игнатов, был уже темно-неподвижный, мелочь подросла и ушла в глубину, теперь до новых мальков целая зима впереди, а дома Гаврик уже снимал свою школьную форму, еще почти дитенок в своей голубой рубашечке, сказал оживленно:

— Нас Клавдия Васильевна сегодня нули учила писать.— И с гордостью показал тетрадку с нулями, похожими на тех карасиков, которых вылавливал он, отец, когда-то.

— Хороши... по всей форме у тебя нули, ничего не скажешь,— одобрил Игнатов.— С такими нулями далеко пойдешь.

И Гаврик хитро, хоть и несколько снисходительно поглядел на него, не уверенный, что и отец может так же хорошо выводить нули.

— Это никак Патрикеев разыгрался сегодня? — спросила жена, спросила Саша, спросила та, с которой он вместе собирался отпраздновать первый школьный день сына, как отпраздновали в свое время день, когда вернулся с женой из родильного дома.

— Он самый... свою молодость вспомнил, наверно,— ответил Игнатов.

А про то, как со звуками жалеюки прошла и перед ним вся его жизнь со всем тем, что было утрачено, но и найдено, так верно, так надежно найдено, ничего не сказал.



---

ВАЛЕНТИН СОРОКИН

★

## ЯСТРЕБ

Пахнут дымной соломой поля.  
Тихо-тихо шуршит кошанина,  
Почернелая, будто щетина,  
Что оставили, наспех спалю..

Дует северный ветер зимы.  
Может, мышшь,  
  может, редкое яство  
Оком хищника высмотрел ястреб,  
Из туманной поднявшийся тьмы.

День насуplen, а все же светло.  
И настырная серая птица  
То висит, то дрожит, то кружится,  
Ударяет крылом о крыло.

А за рощей промокших берез,  
С перепугу земли не касаясь,  
По колдобинам прыгает заяц  
И в несжатый ныряет овес.

Брызнул дождь, замерцала роса.  
И к ногам, как грибы из ушата,  
Так посыпались вдруг лягушата ---  
Впрямь, наверно, худы небеса!

\*.\*

Ходят, бродят тучи небесами  
Двадцать суток без пяти минут  
Где-то за полями, за лесами,  
Ну а к нам никак не завернут.

Вся земля потрескалась от муки.  
Ничего счастливого не ждя,  
Яблони заламывают руки,  
Просят умоляюще: «Дождя!»

Солнцем истомленная пшеница  
Жадно шепчет:

«Ну пролейся, дожди!» —

На ветру звенит и серебрится,  
Сбрасывая огненную дрожь.

И когда замечется он, звонок,  
В непокорных ветках дубняка,  
Из гнезда привстанет соловьинок,  
Лебедью заплещется река.

И трава разбойная проснется.  
Град проскачет в пляске круговой.  
Колос мягко колоса коснется  
Мокрой золотою головой.

\* \* \*

Ни громов, ни ливней буйных.  
Тихо, тихо в каждом доме.  
От дождей тяжелоструйных  
Солнце прячется в соломе.

Утром галки пролетали  
И накликали туманы.  
По краям холмистой дали  
Хмуру бродят океаны.

И в согласие с небесами  
На земле трепещут браво  
Что ни скирд — под парусами,  
Что ни колок, то дубрава!

Крепнут реки, ветры свищут.  
Налилось багрянцем лето.  
Нет земли светлей, и чище,  
И крылатей для поэта.

Ну зачем же хмурить брови  
От обид, кричащих грубо,  
Не на счастье ли до крови  
Я прикусываю губы?..

Здравствуй, август яснозрячий,  
На ладонь твою,  
  как сердце,  
Каравай упал горячий  
С золотого полотенца!

\* \* \*

Там, где в небо врывается лес,  
На равнине обветренно-голой,  
Возбудив у людей интерес,  
Кужовать тренируется голубь.

Он кукует, но звуки не те,  
 Нету резкости, ясности, грусти,  
 Словно голос прозяб в темноте,  
 В позабытом сыром захолустье.

А вокруг по багряным буграм  
 Догорает ботва и солома.  
 Ребятишки к незлобным кострам  
 Убегают под вечер из дома.

Пахнет утро холодным дождем,  
 Солью, хлебом, щетиной паленой.  
 Солнце прячется — мы подождем,  
 Будет день, как всегда, накаленный.

Пусть сизарь понатешится всласть,  
 Поволнуется и поликует.  
 Есть примета: козь снегу упасть,  
 По-кукушечьи голубь кукует.

\* \*\*

Не береза, так осина  
 Через холм сбегает к логу.  
 Пахнет хлебом и бензином  
 Деревенская дорога.

По бокам медвянит клевер,  
 Рожь звенит,  
                                 поет пшеница.  
 То на юг, а то на север  
 Синь июльская струится.

Теплый лист едва трепещет.  
 Тучи ходят над садами.  
 Ширь колышется и блещет  
 Чуть остывшими прудами.

Как проститься по-иному,  
 Без тоски и боли, с летом,  
 Коль душа моя — что омут,  
 Взятый холодом и светом?..

Не ветра стучат в окошко,  
 Не гроза колотит градом —  
 Это осень желтой кошкой  
 Пробежала по оврагам.

\* \*\*

Нет, не лебеди, и не гуси,  
 И не вещей клик журавлей —

Это стонут седые гусли  
В синих глубях родных полей.

Облака, облака над лесом,  
А за лесом тем ковыли.  
Чертом батюшкой,  
  мелким бесом  
Воет ветер в сырой дали.

Пошатнулось и все поплыло  
В пропасть,  
                                в бездну,  
  в тартарары.  
Но не тут, но не тут-то было  
Взять нас в колья да в топоры!

Не лодчонка плывет во греки —  
Корабля в океане тень...  
И составов стальные реки  
Наполняют громами день.

Стонут гусли под перелеты  
Звезд, посорванных с якорей,  
И лежат на холмах ометы,  
Как подушки богатырей.

\* \* \*

Эта роща старинных дубов  
От старинной усадьбы осталась.  
За войною господ и рабов  
Небу, полю да ветру досталась.

Половина дубов полегла  
Под пилой,  
                        а другая собою,  
Сбереженная вольной судьбою,  
Украшает окрестность села.

По-над рощей вблизи и вдали  
Пролетали в Сибирь журавли  
И тонули в иртышском просторе,  
Но опять укликало их море.

Утром ветер к той роще принес  
Трав движенье и грохот колес.  
И встряхнув огневые их чубы,  
Зашумели о чем-то дубы.

Зашумели, и шум их зеленый  
К морю теплему, в край опаленный  
Побежал через горы и реки,  
И с волною он слился навеки.



## УТРАТА

*Памяти Вячеслава Богданова.*

Лунная седеющая прядь  
В небесах колышется упруго.  
До чего же тягостно терять  
Первого товарища и друга.

Будто нашу юность пополам  
Черною рукою раскололи.  
И уносит ветер по волнам  
Горький жар смятения и боли.

Вот какая страшная напасть.  
Чудится — опять из круговерти  
Высунулась проклятая пасть  
Нагло ухмыляющейся смерти.

Потому я на юру стою,  
Не сгибаюсь от невзгод железных,  
Что друзей без боя не сдаю,  
Ну а здесь — сражаться бесполезно.

Плачется ромашке луговой.  
Жизнь всегда полна непостоянства.  
...Над его горячей головой  
Разомкнулось вечное пространство.

И едва затихли поезда,  
Колгота дневная размутилась,  
Сам я видел — новая звезда  
На ладонь судьбы моей скатилась.

И по склонам грозовой ночи  
Синева отблесками стали,  
Ломкие и резкие лучи  
Долго, долго в травах трепетали.

## НА ЗАРЕ

Снова солнце кружится  
Над землей молодой,  
И, сверкая, трепещет  
Синева над холмами.  
Где-то скачет царевич  
За живою водою,  
Где-то тянет ручонки  
Мальчик радостно к маме.

Дорогая, святая  
И родная планета,  
Ты меж звезд пролетаешь  
От рожденья, от веку.  
Этот вздох тополиный,  
Эту песню рассвета

В добрый миг отдала ты  
Навсегда человеку.

Почему, расскажи мне,  
До сих пор беспокойно:  
Сколько слез у соседей,  
Сколько горя у близких?  
Вон вчера рокотали  
Уходящие войны,  
Поднимались из пепла  
На заре обелиски.

И живу как дышу я,  
И пишу я как плачу  
Об отчизне своей,  
Много видевшей муки.  
Пожелайте мне счастья,  
Пожелайте удачи,  
Пусть родятся под сердцем  
Вдохновения звуки!

За солдат за убитых,  
За погибших поэтов,  
Верных братьев моих  
По бесстрашному слогу,  
Мне положено вспомнить  
Все, что ими не спето,  
Я поклялся быть честным,  
Выступая в дорогу.

Очи сильно устали  
От жары и от жажды.  
Притупляются чувства  
И в бореньях и в горе.  
Если б глянули в душу,  
То увидел бы каждый —  
Мои думы, как скалы,  
Мои страсти, как море.

Снова солнце кружится  
Над землей молодой,  
И, сверкая, трепещет  
Синева над холмами.  
Где-то скачет царевич  
За живую водою,  
Где-то тянет ручонки  
Мальчик радостно к маме.



---

---

КОНСТАНТИН СИМОНОВ



## ЯПОНИЯ — 46 \*

*Страницы дневника*

2—8 февраля 1946 года. Деревня Канеда

**В**ыполняя обещание, данное старому Хидзикате, мы поехали к нему в деревню. Выехали часов в двенадцать дня. Хотели выехать раньше, но снегопад, который начался накануне, привел нас в некоторое смятение духа, и пока не выглянуло солнце и снег не начал таять, мы просто не решались ехать.

Нужно сказать, что снегопад здесь вообще внушительный: улицы покрываются толстым слоем снега за каких-нибудь два-три часа; снег рыхлый, мокрый и, не успев еще упасть, какой-то грязноватый. Японские сосны с их густыми, параллельными земле ветвями очень декоративны и словно приспособлены специально для снега, снег на них ложится как-то стоя, кусками.

До дома Хидзикаты мы добрались уже довольно поздно, в седьмом часу вечера. Я не разобрал в темноте, как дом выглядел снаружи. Мы вошли в переднюю — огромную комнату, занимавшую полдома, напоминавшую декорацию из какой-либо пьесы вроде «Укрощения строптивой». В ней было все, чему в таких случаях полагается быть на сцене: наверху была балюстрада во всю комнату, на нее вела узкая деревянная лестница, на прокопченных балках висели какие-то мешки с овсом, который сушился таким образом, чтобы его не сгрызли мыши, стояли подсвечники из черного железа, в балки неизвестно для чего были ввинчены крюки, стоял грубый обеденный стол со скамейками и тут же — плита. Сюда, правда, больше подошел бы очаг, но это была нормальная металлическая плита.

Посредине комнаты, как везде и всюду в Японии, стояло хибати, своим присутствием напоминая, что жилище это все-таки японское.

В доме никого не было, все ушли, не дождавшись нас. Нас встретила только непрерывно смеявшаяся девочка лет шестнадцати; она хихикала, взвизгивала и заливалась смехом. Все это по-японски признак не веселья, а большого смущения — она первый раз в жизни увидела европейцев. В секунды особенно сильного смущения она высовывала язык и задирала его к кончику носа.

Как перевел мне ее повизгивания Хидзиката, оказалось, что отец и мать были по случаю деревенского Нового года в гостях у одного из крестьян. Что же до младшего брата, то он пошел куда-то в клуб организовывать самодеятельный театральный кружок. По невылазной грязи и в полной тьме мы тоже отправились пешком в деревню.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

Как я уже говорил, в деревне повсеместно встречают Новый год по старому календарю, ровно на месяц позже, чем горожане. Так как это самый большой в году праздник, то это производит всюду и везде в Японии массу неудобств. Школа, например, работает по городскому календарю и дети в феврале ходят учиться, родители же празднуют. А в январе, когда дети свободны от школы, родители, наоборот, заняты. Кроме того, если человек приезжает в город между 1 и 7 января, он там ничего не может сделать, а если вы приезжаете в деревню между 1 и 7 февраля, то вы ничего не можете сделать в деревне.

В доме крестьянина, где, конечно, пришлось снимать ботинки, была довольно просторная, устланная циновками комната. Там, кроме самого хозяина, молодого крестьянина, одетого в кокумин и не сидевшего за столом, а прислуживавшего гостям, находилось следующее общество: сам старший Хидзиката в клетчатом костюме и с бородкой а-ля Генрих IV, его жена в берете и лыжных штанах и господин Накамура, пожилой и весьма respectable человек, бывший раньше заведующим литературным отделом в «Асахи», а теперь, после эвакуации из Токио, живший здесь в какой-то каморке и преподававший английский язык крестьянам.

Еда была праздничная, специальная, какая бывает на Новый год у крестьян: домашняя, бесконечная, как спагетти, лапша, сделанные из протертого риса не то блинчики, не то клецки и еще одна вещь, замечательная в японской деревне сыр,— это заквашенные и протухшие соевые бобы, гнилые, покрытые слизью и, должно быть, совершенно несъедобные для тех, кто не ест гнилых сыров, а для тех, кто их любит, это настоящее лакомство, очень похожее на рокфор.

Мы проболтали около часа на разные темы, а потом напрямик, поем, пошли домой к Хидзикате.

Теперь я смог осмотреть весь дом. Кроме холла, о котором я говорил, в нем было четыре комнаты: одна наверху, куда вела лестница, типично японская комната, где жила мать старшего Хидзикаты, рядом две ниши для спанья, выходявшие прямо на балюстраду; внизу три комнаты — гостиная (довольно просторная комната с книжными шкафами, тахтой, европейскими креслами, низкими столиками и каминном), маленький кабинет Хидзикаты, тоже заставленный книгами, и спальня.

Меня потащили помыться, как мне сказали, в ванну.

Ванна была устроена так: в цементном полу была сделана круглая выемка сантиметров семьдесят в диаметре и глубиной в метр, облицованная бетоном, в эту выемку наливалась горячая вода и влезали вы, если вам предстояло купаться. Вы могли влезать туда любым способом: ногами вниз, тогда вы попадали в воду до пояса, или головой вниз, тоже примерно до пояса. Сесть было почти невозможно — слишком узко. Я, правда, после некоторых мук кое-как приспособился и, елико возможно поджав под себя по-турецки ноги, погрузился в эту ванну до горла.

После ванны я заснул как убитый, чем и закончился первый день этой поездки.

Следующий день состоял из двух частей. В первой его половине я вместе со старшим и младшим Хидзикатой был в деревне, где, как они мне сказали, коммунистами и сочувствующими крестьянами был организован крестьянский союз.

Руководителей крестьянского союза оказалось четверо. Из них мне особенно запомнились двое.

Первый — Канной, крестьянин лет тридцати пяти, как я понял — единственный здесь коммунист. Это человек с повадками, похожими на повадки нашего низового партийного работника, немножко угрю-

мый, угловатый, деловой, немногословный, видимо, волевой и хладнокровный, не верящий на слово и хорошо знающий тонкости деревенских отношений.

Другой — заведующий хозяйственной частью крестьянского союза и, по-видимому, второй человек после Канноя, Хираока, впоследствии стал проводником во всех наших путешествиях по деревне. Это человек с лукавым лицом, этакий, в переводе на японский, хозяйственный мужичок, который блюдет свою и «общественную» пользу. Выглядит он моложе своих лет: на самом деле ему пятьдесят пять, а на вид лет сорок пять. Он отсидел во время войны несколько месяцев в тюрьме за какие-то неосторожно сказанные слова против войны. Кстати, он самый состоятельный из всех: у него что-то около четырех чо земли, из которых он даже полтора или два чо сдает в аренду. Этакий сельский активист из крепких середняков, которого никто не обманет и не проведет. Он знает всех и вся в деревне, знает что почем, и хотя он тихохонько и смирихонько сидел все время в углу, когда я говорил с кем-нибудь, но если неожиданно посмотреть на него в то время, как один из моих собеседников беззастенчиво врал мне, то можно было заметить на лице Хираоки не усмешку (усмешка — слишком грубое слово для определения выражения на японском лице), а некую тень тени усмешки, но все же, как тень тени, совершенно очевидную.

С этими людьми мы просидели в холодном крестьянском доме с дырявыми бумажными дверями несколько часов. Угощали нас чем могли. Подали деревенское кушанье — праздничную болтушку, — поили слабым и кислым рисовым самогоном, который, когда его пьешь, вначале еще напоминает собою напиток, а уже с середины бутылки оказывается просто немножко отдающей алкоголем кашей из риса, в общем, странная штука, к которой я, впрочем, потом даже привык.

Первый наш разговор с этими людьми, начинавшими свою деятельность в крестьянском союзе, получился не похожим на другие. Рассказывать мне о старом казалось им неинтересным, а о новом рассказывать было еще почти нечего. Оно только-только начиналось для них. И вообще им было интересней спрашивать меня, чем отвечать на мои вопросы. Я довольно быстро смирился с этим и только жалел, что им в моем лице попался такой неудачный собеседник, меньше всего другого знавший именно то, что их интересовало — жизнь нашей деревни. Они думали о своем будущем, и я не имел права, отвечая на их вопросы, упрощать наше прошлое, поэтому за недостатком собственного жизненного опыта старался держаться поближе к «Поднятой целине»...

Недалеко от деревни Канеда был довольно большой аэродром и рядом с ним тренировочное поле. Этот аэродром и поле сейчас распались, причем об обстоятельствах этой распушки ходили самые разные слухи: не то там действовали какие-то приехавшие из других мест крестьяне, не то демобилизованные вообще, не то демобилизованные из той воинской части, которая во время войны стояла на аэродроме. Руководил всем этим, по слухам, какой-то майор.

Мы решили посмотреть на все это своими глазами и во второй половине дня поехали на аэродром. Проехав восемь или десять километров по очень извилистой дороге, мы неожиданно попали в целый военный городок, расположенный в довольно глухом лесу.

Здесь были конюшни, легкий, наспех построенный гараж, мрачные длинные японские казармы, лишённые всего, кроме настланных на высокий помост циновок для спанья. Кое-где сушилось белье. Видно было несколько детей и несколько взрослых, одетых в затасканную военную форму.

Из начальства никого не оказалось. Майор уехал в город на праздник. Его заместителя тоже не было. Наконец, пробродив добрых полчаса по городку, мы зашли в один барак, где, очевидно, были мастерские. Там стояли вилы, грабли и прочие нехитрые сельскохозяйственные инструменты.

За столом сидел человек в хаки, грязный, с грязными руками и довольно интеллигентным лицом. Оказывается, он по профессии был чем-то вроде агронома и ведал технической частью общества, распахивавшего здесь землю. Он долго рассказывал нам о том, как возникло «общество по распашке государственных земель», но история эта показалась мне не очень понятной и, пожалуй, даже подозрительной.

В государственном масштабе ведала этим делом, по словам нашего собеседника, какая-то компания по распашке земель — получастная-полугосударственная. Государство дало ей на откуп земли, в частности аэродромные поля.

Компания организовала общества по обработке каждого такого поля, обещала предоставить этим обществам инвентарь и позволила им распахивать и обрабатывать землю исполу, с тем что впоследствии, если не ошибаюсь — после трех урожаев, земля перейдет к тому, кто распахал ее.

Я заинтересовался организацией общества.

Во главе общества стоял майор, а всего в нем было около ста двадцати человек. Делилось общество на звенья, во главе которых стояли начальники звеньев.

Я стал выяснять состав общества. Оказалось, что большинство членов — демобилизованные солдаты. Добиться, откуда они — местные или приезжие, я не смог. Я спросил, есть ли в обществе офицеры. Наш собеседник ответил, что, кажется, есть несколько. Я спросил его, не офицеры ли начальники звеньев. Он сказал, что не знает, может быть, да, а может быть, нет.

— Заключался ли какой-нибудь договор с компанией? — спросил я.

— Нет. От компании просто приезжал представитель и обещал те условия, о которых я уже рассказал.

— Что же, вы так просто верите компании?

— Да, просто так верим.

— Но ведь это государственная земля?

— Да, государственная.

— Но каким же образом вы владеете ею исполу?

— Так нам сказали в компании.

— А куда же пойдет вторая половина урожая, если земля государственная? Почему она пойдет компании?

Он не знает.

— Компания так сказала.

— А кто из представителей компании это сказал?

Он не знает по фамилии, это был кто-то из города Уцуномия.

Словом, добиться толку было невозможно.

В середине разговора пришел какой-то человек, видимо солдат, одетый в полную солдатскую форму, и, вытянувшись, положил перед нашим собеседником пачку газет. Мне пришло в голову, что сидевший перед нами человек был офицером.

Еще в деревне я слышал, что в этом обществе происходят недоразумения между офицерами и солдатами, ибо солдаты хотят, чтобы земля обрабатывалась всеми, а офицеры претендуют на земельный надел, не работая, а только обеспечивая, так сказать, руководство.

Трудно сказать, что из того, что я слышал, было правдой и что неправдой. Очевидно, государственная компания по распашке земель

была правдой. Очевидно, в состав этого товарищества по обработке невозделанных земель входило много демобилизованных. Очевидно, что в руководстве товариществом участвовали офицеры. Но были ли это попросту военные поселения или состав этих товариществ и в самом деле был смешанным — мне выяснить не удалось, так же как не удалось выяснить вопрос, какие полномочия от правительства имеет компания и на каких основаниях она работает.

А внешне все, вместе взятое, выглядело очень угрюмо: угрюмый собеседник, угрюмые бараки с выбитыми стеклами и вырванной бумагой, какие-то угрюмые люди кругом, грязь, запустение...

С аэродрома мы заехали к брату жены старшего Хидзикаты.

Мы вошли в холодный, неуютный дом, откуда слышалось детское многоголосье. Сам хозяин был в Токио, жена его к нам не вышла. Видимо, отношения между ними и Хидзикатой были не самые лучшие. Нас встретили две дочери хозяина со своими мужьями.

Детские голоса объяснялись очень просто. Оказывается, этот помещичий дом был одним из тех тридцати или сорока помещичьих домов в провинции, куда во время войны эвакуировались так называемые императорские дворянские школы.

Несколько слов об этих школах. Они были организованы при императоре Мэйдзи сейчас же вслед затем, как были установлены титулы и создано новое японское дворянство.

Дворянство в Японии — класс весьма небольшой, ибо тут действует право майората. Титул переходит только к старшему мужчине в роду, а дворянином считается только тот, кто имеет титул. Титулы в Японии последовательно: барон, маркиз, граф, князь и принц крови, причем только у принца и князя вторые сыновья получали баронское звание, у остальных же все другие сыновья, кроме старших, не дворяне. Если в роду не было сыновей и не было приемного сына, то род терял свое дворянское звание. Это, конечно, было сделано для того, чтобы не допустить раздела земель и обеднения дворянских фамилий.

Дворянские школы были первоначально созданы для детей дворян, причем отдельно школы мужские и женские. Постепенно к детям дворян присоединились дети генералов, а в последнее время в дворянские школы могли поступать вообще дети состоятельных родителей, хотя практически это было очень сложно, ибо их принимали в последнюю очередь и срезали на экзаменах, так что на девяносто процентов школы оставались дворянскими и по сей день. Кроме того, тут нужно еще учесть силу традиций в Японии. Стремление японца-недворянина к тому, чтобы его сын или дочь учились в дворянской школе, считалось, в общем-то, неприличным.

И вот такая дворянская школа с учителями и учительницами разместилась в дворянском доме в провинции. Сейчас она постепенно реэвакуировалась. В доме, куда мы пришли, раньше жило чуть ли не три класса, около сорока детей. Здесь они питались на средства, присылаемые родителями, здесь учились и жили вместе с учителями. Сейчас из сорока детей остались только восемь девочек в возрасте примерно от девяти до двенадцати лет; они пресмешно, как грибы, сидели вокруг большого котла и хором здоровались и прощались, когда мы проходили через их комнату.

Примерно с полчаса мы посидели в одной из комнат, разговаривая с молодыми хозяевами дома. Оба мужа дочерей были дети состоятельных родителей, оба были по профессии инженерами — один химик, другой экономист; оба недавно вернулись из армии, оба были морскими офицерами. Один из них — бледный юноша в очках — мало вмешивался в разговор. Другой — бойкий парень в гольфах, в клетчатых

носках, в туфлях, в элегантной фуфайке, породистый, красивый, с несколько презрительной манерой держаться — главным образом и подерживал с нами разговор.

Мне хотелось узнать некоторые подробности о земельных делах их семьи. Они рассказали мне, что семья имела около тысячи чо полей, что за последние годы распродано пятьсот чо и что в связи с новым законом они собираются продать остальное, оставив себе только немного лесу.

Я спросил об арендной плате. Они мне назвали заведомо уменьшенные цифры; сравнив их в уме с полученными из других источников, я понял, что они не то чтобы совсем уж далеки от действительности, но и не то чтобы слишком близки к ней.

Потом они исчислили сумму, которую должны получить за отчуждаемую у них землю, и опять-таки сумма получилась слишком мизерная, примерно раза в два — два с половиной меньше, чем должна была быть в действительности по моему представлению. Словом, откровенничать со мной они явно не хотели.

Потом зашел разговор о будущем Японии. И тут я услышал так называемую швейцарскую версию. Дескать, теперь Японии, когда она лишена всего — Кореи, Маньчжурии, всех своих сырьевых источников, большей части каменноугольных и нефтяных ресурсов, — остается только одно: заняться ремеслами, возродить мастерство старых художников и вообще стать Швейцарией, страной туризма.

Потом следовали рассуждения о перенаселении страны, о том, что японцам невозможно жить на островах без сырья и без достаточного количества продуктов.

Я сказал, что все это было бы верно, если необходимым условием существования государства считать полную автаркию, добавив, что, скажем, в Бельгии или Голландии плотность населения еще больше, чем в Японии, однако они не выдвигают этот аргумент. Но наши собеседники опять упорно склоняли слово «Швейцария», и я понял, что эти двое юношей, видимо, органически не видят возможности иного пути как путь реванша и отвоевания потерянного. На очередном упоминании моем об автаркии, а их — о Швейцарии мы и расстались, в достаточной мере недовольные друг другом.

Вечером этого дня мы долго сидели у камина. Было уютно, тепло. Все немножко выпили, что способствовало оживленности разговора. И Хидзиката-старший пустился в воспоминания о своих предках. Какая-то странная смесь откровенного сочувствия и в то же время откровенной иронии все время слышалась в его рассказе. Я вспомнил об этом рассказе, когда Хидзиката-старший прочел мне свою танку, написанную по поводу императорского указа о лишении его звания графа за самовольную поездку в Советский Союз. Он написал тогда:

Слишком трудно играть в двух театрах сразу.  
Один из моих театров закрылся.  
Тем лучше: я смогу играть только в одном.

Первый театр — это, конечно, все прошлые семейные традиции. Дед Хидзикаты-старшего и прадед молодых Хидзиката был выходцем из самурайского клана с острова Сикоку. Он, как тогда водилось, по переписке дал согласие на брак с бабушкой Хидзикаты, но когда они встретились, они не понравились друг другу: он был слишком маленький, а она слишком длинная и «черная», то есть смуглая. Они, сразу же не понравившись друг другу, были недовольны друг другом всю свою жизнь, но судьба не позволяла им расстаться. Дедушка не обращал внимания на бабушку, а бабушка с горя стала горькой пьяни-



цей и всегда в рукаве своего кимоно носила бутылку с сакэ или каким-нибудь другим более крепким напитком.

Что касается дедушки, то он молодым человеком участвовал в войнах эпохи Мэйдзи и со временем стал министром двора, то есть одним из виднейших лиц в государстве. Это именно он составил закон о майорате, препятствовавший младшим сыновьям получать титулы. Мне показали книгу, изданную после его смерти друзьями покойного. Это была большая книга в толстом переплете, на хорошей бумаге, с несколькими портретами министра двора графа Хидзикаты. На последнем из них он стоял уже старый, грузный, в форме, с многочисленными звездами и орденами и казался величественным, потому что фон был подобран так, чтобы ничто не указывало на его малый рост. Он весело жил всю жизнь. Огорченный раз навсегда своей свадьбой с бабушкой, он увлекался женщинами, и морщины преждевременно избороздили его лицо.

По ассоциации с дедушкой Хидзикаты я вспомнил одну забавную деталь. И сегодня сватовство даже в интеллигентных кругах Японии происходит так же, как происходило почти сто лет тому назад. Один молодой агроном, с которым мы виделись накануне, собирался жениться. Жена Хидзикаты взялась за сватовство и написала письмо одной своей молодой родственнице, вернее ее маме, сообщая, что есть хороший жених. В ответ пришло письмо с полной биографией невесты и фотографией весьма милостивой девушки. А на следующий день, уже при мне, привязав к перилам лошадь, явился взволнованный молодой агроном и, долго и низко кланяясь, принял в руки вышеупомянутое письмо. Теперь ему предстояло познакомиться с биографическими данными невесты, посмотреть фотографическую карточку, после чего послать свои биографические данные и фотографическую карточку. Если оттуда придет благоприятный ответ, то предстояло свидание двух будущих влюбленных. И в этом было отличие от эпохи Токугавы. Во-первых, тогда свидание до самого дня свадьбы не считалось необходимым, а во-вторых, такое чудо техники, как фотография, еще не было изобретено. Я полагаю, что именно из-за этого и произошла в роду Хидзикаты небезынтересная драма с маленьким дедушкой и черной бабушкой.

Кстати, в знак того, что они друг другу понравились и будут женихом и невестой, жених дарит невесте оби, а она ему материал для кимоно, но цена подарка жениха должна быть в два раза больше цены подарка невесты.

Сын дедушки, отец Хидзикаты-старшего, окончив императорское военное училище, выехал в Германию, там окончил германскую военную академию, прожил в Германии много лет, был капитаном артиллерии и в конце девяностых годов прошлого века, когда японская армия переходила на немецкие уставы и образцы, был вызван в Токио. Он уже совсем забыл свою родину, привык к немцам. В Германии у него была жизнь, служба, любовь — все. Он вернулся на родину с тяжелым сердцем.

Он блестяще женился, кажется, если не ошибаюсь, на сестре принца Коноэ, и перед ним открывалась великолепная карьера, но случилось несчастье.

Приехал в Японию русский великий князь Кирилл. В его честь должен был состояться парад. Перед парадом Хидзиката, не знавший новых правил в японской армии, спросил своих товарищей-офицеров, в какой форме надо выводить на парад солдат. Кто-то, видимо из его недоброжелателей, сказал, что все равно в какой, что это не важно. Хидзиката вспомнил приезд русских великих князей в Германию — там устраивались учения в повседневной форме, и вывел свой баталь-

он, в котором он стажировался, в повседневной форме. Все остальные были в парадной форме, и только один его батальон — в повседневной. Это было воспринято как скандал и демонстрация. Дождавшись конца парада, он уехал домой, несколько дней сидел взаперти, думая над своим положением, и наконец на пятый или шестой день застрелился.

Его жена осталась вдовой, и будущий режиссер имел всего три месяца от роду, когда отца его не стало. Он вспомнил, как семилетним мальчиком поступил в дворянское училище, начальником которого был знаменитый во время русско-японской войны престарелый фельд-маршал Ноги. Неизвестно почему, то ли потому, что он считал правильным и благородным поступок отца Хидзикаты, то ли, наоборот, потому, что считал, что Хидзиката — мальчик с дурной наследственностью, но Ноги обращал на него особое внимание, лично обучал его фехтованию на самурайских мечях и вообще шпынял его так, что тот вспоминает это до сих пор.

Кстати, о Ноги. Хидзиката рассказал мне, что Ноги был товарищем детства императора Мэйдзи. В одну из войн во время переворота Мэйдзи он был знаменосцем не то роты, не то полка, и неприятель отнял у него боевое знамя. Ноги заперся у себя дома и хотел покончить жизнь самоубийством. Тогда император запретил ему это и сказал, что он ему нужен. Ноги ответил, что он не может пережить своего позора. Тогда Мэйдзи возразил: «Но я же пережил позор этого проигранного сражения, в котором ты потерял знамя. Отложи свое решение и живи по крайней мере до тех пор, пока я живу». И Ноги жил до тех пор, пока жил император Мэйдзи, и сделал себе харакири, как только Мэйдзи умер.

А вдова капитана Хидзикаты, застрелившегося в 1898 году, живет сейчас в этом самом доме, где мы сидим, наверху, в единственной во всем доме японской, устланной циновками комнате с маленьким синтоистским алтарем. Туда ей приносят кушанье, или она сама спускается за едой и уходит к себе. Там она ест палочками с японских подносиков и тарелочек. Она высокая, еще не совсем седая, со следами былой красоты, тихая, очень спокойная и очень вежливая. Она кланяется довольно низко и немножко набок и, чуть-чуть шипя, спрашивает: как ваше здоровье, не простудились ли вы вчера, не правда ли, холодная погода? Вы отвечаете, что да, вы себя хорошо чувствуете, что вы не простудились и что погода правда холодная. Она опять кланяется низко и немножко набок и, постукивая своими деревянными колодками, медленно всходит по высокой и узкой лестнице к себе наверх, исчезая до завтрашнего дня, когда выйдет опять так же медленно и так же наклонит голову и спросит то же самое, что вчера. Сорок восемь лет назад застрелился ее муж. И с тех пор она живет вдовой. К ней сватались, но она не вышла больше замуж и живет здесь, у своего сына.

Сегодня днем я поехал к самому крупному из окрестных помещиков, князю Ояме, старшему сыну знаменитого маршала Оямы, командовавшего японскими войсками в русско-японскую войну.

Этому визиту предшествовала краткая предыстория. Еще в первый день приезда вечером я заговорил о том, что хочу посетить кого-нибудь из японских лендлордов. Хидзиката — муж и жена — долго перебирали в памяти разные имена и потом вдруг оба вспомнили о князе Ояме. Госпожа Хидзиката когда-то училась вместе в школе с госпожой Ояма. Выяснилось в итоге, что, как большинство аристократов Японии, они были в каком-то бесконечно дальнем родстве.

После коротких переговоров было решено, что госпожа Хидзиката завтра заедет к госпоже Ояма, передаст мою визитную карточку и попросит разрешения нанести визит. Так и сделали.

Между прочим, в тот же день мы проезжали мимо имения Оямы и даже останавливались на четверть часа неподалеку от имения — там, где был расположен небольшой сад, в котором покоился прах маршала Оямы.

Сад был окружен низкой каменной стеной. Мы постучали, вручили привратнице свои визитные карточки, после чего она отперла нам маленькую дверь, вделанную в стену, и мы вошли внутрь сада. Сад был небольшой, метров сто на сто, с небольшими аллеями, низкими соснами, растущими вдоль стен. Уложенная каменными плитами дорожка вела от входа прямо к противоположному концу сада, где у стены стояло три мавзолея: один большой, напоминавший собой, пожалуй, больше всего чернильницу с круглой крышкой, но очень большую и сделанную из серого камня; рядом стояла точно такая же чернильница, но немножко меньше, а с другой стороны — мавзолеем другого типа, но примерно такого же размера, как и меньшая чернильница. Справа было четыре или пять маленьких мавзолеев, обычного кладбищенского японского типа. Под большим мавзолеем был похоронен маршал Ояма, а с двух сторон мирно покоились его две жены — первая и вторая. Под маленькими мавзолеем были похоронены умершие сыновья и дочери маршала Оямы.

В саду было тихо и пустынно. Привратница со связкой ключей молча стояла, прислонившись к дверям, и ждала. Как видно, здесь не часто бывают посетители.

Мы немножко постояли, помолчали и вышли.

Это было вчера утром. А в середине дня, едва успев уехать, госпожа Умеко Хидзиката уже вернулась оживленная и довольная: князь был весьма любезен и просил приехать завтра в три часа.

Итак, мы покатали сегодня к дому князя. Дом стоял посередине огороженного парка и состоял из двух частей: большого низкого японского дома, видневшегося в глубине, и крыла в европейском вкусе, где находился главный подъезд. Это был красивый с белым кирпичный домик, больше всего похожий на богатый дом в немецкой деревне.

Мы подъехали к самому крыльцу. Из дверей навстречу нам вышел немолодой человек, одетый в старый кокумин и в шлепанцы; может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что на ногах у него были защитного цвета обмотки, а если не обмотки, то такие узкие старые штаны в обтяжку, что они создавали впечатление обмоток. К моему удивлению, оказалось, что это и есть князь Ояма, старший сын маршала Оямы.

Следом за ним шли его сын — молодой худощавый человек, тоже одетый в кокумин, — и его дочь, одетая в традиционное кимоно. В передней мы разделись, и я хотел снять ботинки, но князь сказал, что мы можем пройти в ботинках, и сразу же из передней открыл дверь направо.

Мы вошли в довольно большую комнату с низким потолком и камином, в котором горели дрова. Эта комната заслуживает того, чтобы ее описать. Если дом снаружи производил впечатление дома богатого немецкого крестьянина, то внутри это была какая-то странная смесь обстановки именно такого дома с обстановкой комнаты какого-нибудь старого ленинградского холостяка из бывших, доживающего свой век после революции.

Здесь была плюшевая мебель стиля модерн девяностых годов и какая-то вышитая салфеточка на подставке для цветов, салфеточка, на которой я ждал и ожидал прочесть какое-нибудь немецкое изречение, включавшее в себя «херц» или «глюклих». В углу стояла козетка той же эпохи, причем в головах лежал свернутый футон: видимо, тут спали. Стол, заваленный книгами, залез куда-то в угол

комнаты — очевидно, в комнате теснились и передвигали мебель. Низкий столик стоял у камина, а около него было смешение разных кресел: одно глубокое новое, два старых плюшевых, еще какой-то неудобный стул и тут же маленький пуфик, на который, подав нам чай, примостилась дочь хозяина.

Когда мы сели к камину, я мог не спеша рассмотреть князя. Это был среднего, а для японца, пожалуй, даже скорее высокого роста человек, очень худой, с тонкими сухими руками, узкой грудью, с начинавшими лысеть стриженными волосами и некрасивым и нервным лицом, выражение которого, как я заметил во время разговора, обычно соответствовало словам, которые он произносил, что у японцев бывает не так часто.

Сначала я ему сказал, как водится, несколько вежливых слов о том, что я был у мавзолея его отца и с уважением снял там шляпу, ибо, несмотря на то, что воспоминание о его отце не есть приятные воспоминания для русских, но тем не менее воинская доблесть и т. д. и т. п. Князь это выслушал с любезным равнодушием умного человека; он знал, что я должен сказать это, а он должен все это выслушать. Надо же было чем-то мотивировать свой приезд к нему.

Потом разговор перескочил на него самого, и выяснилось, что он ученый, археолог, специалист по каменному веку, что это его конек на протяжении всей жизни.

Я уже раньше знал о недоразумениях, которые произошли в свое время между маршалом и его сыном из-за нежелания последнего остаться на военной службе, но сейчас я услышал эту историю из первоисточника.

После окончания военной школы молодой князь в 1909 или 1910 году был отправлен в Германию помощником военного атташе. Он еще до этого не хотел быть военным, занимался археологией в Японии, а в Германии окончательно посвятил себя этой работе. Однако министерство требовало отчетов от своих военных агентов, он составлял отчеты на месяц вперед и исчезал, ездил в разные города к разным ученым, потом и вовсе поступил учиться в какой-то из немецких университетов, продолжая посылать в министерство фиктивные отчеты.

Эта история кончилась для него в конце концов большими неприятностями. Он вышел из армии, кажется, в чине капитана и стал ученым. Последнее время он преподавал в Токийском университете и вел там кафедру археологии. Сейчас с начала учебного года, то есть с апреля, его приглашали опять на кафедру. У него были какие-то колебания, но он, видимо, все-таки собирался ехать. Здесь, вокруг своего имения, где как раз когда-то было становище людей каменного века, он производил раскопки, о которых знали все в окрестности. Среди разговора он вдруг встал, пошел в угол комнаты, вынул оттуда большую картонную коробку, в которой было десятка два кусков разных камней, и с торжеством показал их мне. Камни были как камни. При большом полете воображения можно было признать, что один похож на топор, а другой на наконечник стрелы. Но если бы я увидел их просто валявшимися на дороге, то, даю голову на отсечение, ничего особенного в них не заметил бы. Итак, эти камни были вырыты вокруг имения князя, но это была, так сказать, не профессия, а любительская страсть самому копать в земле. Вообще же он был, видимо, серьезным ученым.

Подойдя к письменному столу, он порывался в нем и вытащил большую пыльную книгу. Это был первый том его археологической истории Японии. Я спросил, сколько должно быть всего томов. Он сказал, что всего должно быть восемь томов, и спокойно добавил:

— Но я, наверное, напишу только пять, больше не успею. У меня

был уже собран материал на все пять томов. Перед началом войны два тома были уже вчерне написаны, но рукописи эти, опасаясь бомбежки, я увез из своего дома и спрятал. Однако мой дом остался цел, а то место, куда я спрятал рукописи, сгорело. Между прочим, последнюю главу этого тома,— он похлопал по книге,— я написал за трое суток.

— Почему?— спросил я.

— Я пострадал из-за своего отца,— сказал князь,— пал, так сказать, жертвой пропаганды. В сорок третьем году был очередной призыв резервистов. Мне оставалось всего две недели до срока, до пятидесяти пяти лет, и если бы я не был сыном своего отца, меня бы, конечно, не взяли в армию. Но в газете нужно было написать, что вот даже престарелый князь Ояма, сын того самого Оямы, пошел в армию. Меня призвали. Конечно, я не поехал на фронт, меня отправили служить в спокойный город на Хоккайдо, но служить я был обязан. И надо было ехать туда в общем порядке. До отъезда мне оставалось всего три дня, а книга была не закончена. Так я за три дня написал ее последнюю главу.

Я спросил о взглядах князя на будущее Японии. Что бы он сделал, если бы завтра, например, оказался премьер-министром и ему предстояло бы решать это будущее?

— Во-первых,— усмехнувшись, сказал он,— сейчас, если бы я и был премьер-министром, я не мог бы решать это будущее. Во-вторых, если все же предположить такую возможность, я в первую очередь объявил бы мораториум по государственным долгам и принял бы меры против спекуляции.

— Ну а потом?

— Потом...— Князь сделал долгую паузу.— Ну что же, потом я стал бы заботиться о возрождении Японии.

— Как вы представляете себе это возрождение?

— Я буду откровенным,— сказал князь.— Тодзио начал эту войну как дурак. И все, кто его поддержал, дураки. Япония не должна была воевать со всем миром, это глупо. В положении Швейцарии Япония не может находиться и не будет. Рано или поздно все равно встанет вопрос о том, что Японии нужны выходы на материк, и даже не из-за проблемы эмиграции, а из-за экономики. Речь идет необязательно о территориальных захватах, но, во всяком случае, об экономическом влиянии, в принципе поддержанном возможностью применения оружия. Прошедшая война — не последняя, через какой-нибудь промежуток она повторится, но только надеюсь, что ее будет вести не дурак вроде Тодзио и что Япония не будет воевать с теми тремя державами, с которыми воевала, а будет воевать в союзе с одной или двумя из них против одной или двух других. Так я думаю о будущем, если говорить вполне откровенно, так будет, и вне этого я не вижу возможности полного возрождения Японии.

Князь закончил свою речь и облегченно вздохнул. Казалось, он выговорил то, что хотел выговорить.

— Я японец,— добавил он,— и не намерен, как многие другие, скрывать свои взгляды. Я сам не военный и терпеть не могу всего, что связано с войной, но вне этого я не вижу возрождения Японии.

Все точки над «и» были поставлены и говорить дальше было, собственно, не о чем. Как всегда в таких случаях бывает, начали с подбрасывания дров в камин и разливания чая, а потом князь спросил, не хочу ли я посмотреть его хозяйство.

— А что именно?— спросил я.

— Коровник и печь для обжигания угля.

Я отказался, сказал, что не интересуюсь ни коровником, ни печами

для обжигания угля, что моя единственная цель была повидать его самого и я благодарен ему за откровенность.

— Да, сейчас в Японии вы не так-то часто встретитесь с откровенностью, — сказал он и добавил, что жалеет, что не может показать мне дом, ибо у него живут сейчас тринадцать эвакуированных из Токио дворянских семей дальних родственников и знакомых, а сам он со всей семьей переселился вот в эту единственную комнату, где и спит. Он указал на козетку, на которой я раньше заметил свернутый futon.

Мне ничего не оставалось, как только проститься и покинуть эту странную комнату, в которой, так сказать, на казарменном положении жил сын маршала Оямы, археолог и предсказатель будущей войны.

Сегодня во второй половине дня мы поехали к местному богачу — фабриканту сакэ. Его заводик и дом помещались на отшибе от деревни, километрах в двух.

Дом, в котором он живет, был довольно большим и вполне приспособленным для коммерческих целей. Мы вошли в большую комнату, разделенную пополам возвышением примерно в полметра высотой. Это возвышение занимало ровно половину комнаты, было застлано циновками, там лежали подушки, а дальше шли раздвижные стены, за которыми помещались остальные японские комнаты. Ближайшая же ко входу половина комнаты была вполне европейской. Впритык к настилу стоял круглый столик, три кресла, и пол был земляным, по нему можно было ходить в ботинках. Таким образом, когда вы приходили и садились в кресло, то ваша голова была на уровне головы хозяина, который сидел на своем настиле по-японски, а стол в одинаковой мере мог служить вам обоим.

Когда мы вошли, на настиле около стола сидел похожий на Будду хозяин — торговец сакэ. Это был большой человек с полным, спокойным, очень красивым лицом, пухлыми белыми руками, в темном, очень хорошем кимоно. Он пригласил нас сесть.

Через минуту появилась его мать — немолодая, высокая и, кажется, властная женщина, должно быть не меньше сына заправлявшая всеми делами. Она принесла поднос с бутылочками горячего сакэ и чашками, где лежала мелко нарезанная редька и дыня — не соленая и не маринованная, а, как оказалось, вымоченная в отходах от сакэ, этакая пьяная закуска, острая и вкусная.

Дом был украшен глиняными и фарфоровыми сосудами из-под сакэ, многочисленными грамотами и какими-то деревянными кругами с печатями. Все это были дипломы за производство сакэ. Венцом комнаты был громаднейший несгораемый шкаф, стоявший непосредственно сзади хозяина. Хозяин закрывал его, так сказать, своей спиной.

Беседа с торговцем была короткой и интересных фактов в ней не так уж много, хочется только сказать об общем ощущении. За всю поездку я впервые встретил совсем не пошатнувшегося человека. Чувствовалось, наоборот, что у него все хорошо, что он вернулся живым и здоровым из армии, что и там он, так и не попав на фронт, наверное, неплохо жил, что дела его, которые во время его отсутствия вели его мать и жена, шли и идут прекрасно, что спекулянты с сакэ в полном разгаре. У него были ослепительной белизны зубы, он весь сверкал довольством. Он был вполне спокоен за свою судьбу, и это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом звуке его голоса. Он даже не считал нужным, как делают здесь все и по всем поводам, жаловаться и петь лазаря. Он был из людей, по-моему, нажившихся на войне и продолжающих наживаться сейчас, людей, которых не смущали ни хэйкю (продовольственный паек), ни обычаи, ни законы, ни, пожалуй, даже положение Японии; они рвали и брали и надея-

лись рвать и брать и в дальнейшем, и чем дальше продолжится беспорядок и неразбериха, тем больше они вырвут.

Внешне он был совсем не похож на шелкового фабриканта из Такасаки и в то же время похож на него по существу; похож тем, что он был доволен и богат и все, что происходило, было ему на руку.

С утра пошли в деревенскую школу. Это довольно большое одноэтажное здание посредине большого пустого двора. Бедность и убожество удивительные, отчасти оттого, что потолки сняты, ибо во время бомбардировок были случаи, когда «зажигалки» застревали в потолке и от этого сгорело несколько зданий. Поэтому было приказано в школах снять потолки, так что когда вы входите в класс, то видите прямо стропила и крышу. Старые ободранные столы, грубо сколоченные из трех досок. Никаких книг, никаких учебных пособий. Разбитые стекла заклеены различными поучительными картинками на бродячие сюжеты. Например, отец перед смертью зовет к себе трех сыновей и сначала приказывает им сломать пучок веток, связанных вместе, и они не могут этого сделать, а потом разбирает этот пучок на отдельные ветки, велит им сломать в отдельности каждую ветку, что им легко удается. Отсюда следует мораль, что братьям надо держаться вместе.

Как-то странно было видеть этот знакомый с детства сюжет, где вместо седебородого крестьянина и его трех сыновей в деревенских рубахах действовали японцы в кимоно.

Девочек учат шитью. Это единственный класс, устроенный на японский образец, с циновками и без парт. Здесь же устроена кухня, в которой девочек старших классов учат домашнему хозяйству и приготовлению пищи. Продукты для этого приносят из дома.

Учительская — большая комната, холодная, несмотря на стоящую в центре большую печку. В приемной, где нас принимал директор школы, один стол, несколько стульев и никаких украшений, кроме висящего на стене рескрипта императора Мэйдзи. В учительской над дверью десятка два гвоздиков, на которых висят дощечки с именами всего начальства, к которому приходится обращаться и писать по разным поводам: министра, вице-министра, префекта, вице-префекта, начальника отдела просвещения префектуры, начальника сельского управления и т. д. и т. п. Я спросил, почему это все здесь висит. Мне объяснили, что это результат японской системы смены кабинетов. Кабинеты сменялись в Японии так часто, что трудно было запомнить имена вновь назначенного начальства, и поэтому для удобства, чтобы не путаться и не адресовать очередное прошение предыдущему чиновнику, существовали эти сменяющиеся дощечки, которые в точности соответствовали положению дел на каждый день.

В конце школьного двора, как во всех школах Японии, стоял маленький домик, где хранились портреты царствующего императора и императрицы. Как мне объяснили, они были там спрятаны, никто их не видел, выносились они оттуда и вывешивались в школьном зале только по большим праздникам. Процедура эта происходила следующим образом. Директор школы читал манифест, вывешенный на стене, после этого открывалась занавеска на портрете, все смотрели на портрет, потом низко кланялись, занавеска закрывалась и портрет относился обратно в домик до следующего праздника. Когда я выразил желание посмотреть портреты, мне сказали, что их сейчас в домике нет, потому что император переменял форму. Раньше он всегда был в военном, а теперь его официальные портреты должны быть в штатском. Старый портрет не годится, а новый еще не прибыл к месту назначения.

Еще несколько запомнившихся деталей.

Когда я вошел в один из классов, то вдруг увидел, что на полу рядом с одной из учениц сидит маленькая девочка, лет двух-трех. В классе шел урок. Девочка сидела абсолютно тихо, как мышка. Я спросил, почему она здесь. Мне сказали, что это младшая сестренка ученицы, что ее не с кем оставить дома и старшая сестра привела ее с собой в класс.

— И часто так бывает? — спросил я.

— Не очень часто, но всегда, когда нужно, тогда и бывает, — просто сказал мне директор.

Еще одна, по-моему, примечательная вещь. Дети приходят в школу за полчаса до начала занятий, это официальный срок, к которому они должны являться, и сами протирают мокрыми тряпками свои классы и парты. То же самое они делают и после окончания занятий, и эти полчаса тоже включены в расписание.

Детское любопытство в связи с нашим приездом достигло в школе таких пределов и мальчишки так облепили наш «джип», что он, до этого будучи необыкновенно грязным, заляпанным глиной, к моему удивлению, когда я вышел, оказался совершенно чистым, вытертым со всех сторон.

После осмотра школы мы около часа просидели с директором, причем я имел намерение с ним побеседовать по душам, а он, особенно поначалу, был не очень склонен к этому. Но все-таки довольно многое из того, что я хотел узнать, я узнал.

А узнать мне хотелось следующее.

— Мне известно, что в японских школах после капитуляции намечались большие перемены в демократическом духе. Был изъят ряд старых учебников, пересматривались программы. Однако, как говорит опыт, для того чтобы учить детей, надо самому иметь в душе определенные убеждения. Но убеждения за один день не меняются. Что же сейчас творится в душах учителей, как и чему они могут сейчас учить ребят? — спросил я.

Директор сказал, что сейчас японцы, хорошо осознав, что страна проиграла войну, стараются милитаристские и шовинистические традиции, которые существовали у них, пересмотреть на демократический лад.

— Но это, конечно, не очень еще удастся, — добавил он.

Я спросил, как будет теперь с идеей божественного происхождения императора. Верил ли он сам в нее? Оказалось, что когда сам учился в школе, то верил, а когда вырос, то считал, что это относится к области мифологии. Но при этом он полагал, что одним рассудком человек жить не может, он должен верить во что-то. Таким совпадением веры и разума и является, по его мнению, отношение к императору.

— И именно так вы говорили детям в школе?

— Нет, я говорил там, что императорская власть божественного происхождения. Я считал правильным именно так воспитывать детей. Да и инструкции министерства просвещения этого требовали.

— А что говорите вы сейчас?

— Сейчас, когда пришли приказы об изъятии учебников, история вообще не преподается и я совсем не касаюсь этого вопроса.

— Но если, предположим, дома ваш собственный сын спросит вас насчет божественного происхождения императора, что вы ему ответите? Ведь сам император в своем январском рескрипте отрекся от божественного сана, заявил, что он обыкновенный человек.

— Я скажу сыну так, как объяснил император в манифесте.



— А не кажется ли вам, что этот манифест был вынужденным? Что, не будь капитуляции, его не было бы? Более того — не возьмет ли император свои слова обратно, если положение переменится?

— Конечно, манифест был опубликован потому, что Япония проиграла войну...

После паузы, так и не дождавшись продолжения фразы, я стал расспрашивать директора о том, как он относился к войне, как отнесся к капитуляции и т. д. и т. п. Он твердо отвечал, что капитуляцию рассматривает не как наказание за агрессию, а как несчастье, что войне он сочувствовал, считал ее справедливой и соответственно этому учил детей. Ведь население Японии растет очень быстро, говорил он. При таком огромном приросте страна не может дальше существовать на своих островах. Японцы должны получить где-то определенную территорию, но мирным путем, и жить там с местным населением дружно, без вражды.

— Но где же найти эту территорию?

— Может быть, в Маньчжурии или других окружающих Японию странах...

— Но вот Япония довольно много лет владела Маньчжурией, и, однако, за все эти годы туда переселилось всего триста тысяч японцев. Почему же так мало?

— У японцев своеобразный, «островной» характер, они плохо сходятся с людьми других национальностей.

— А что же, потом это качество изменится?

— Вероятно, в результате поражения многое в характере японцев изменится.

— Кстати, об отношении к людям других национальностей. В Японии было принято считать, что японцы — высшая раса. Как вы сами относитесь к этому вопросу?

— С научной точки зрения, вероятно, нельзя утверждать, что японцы являются одним из лучших в мире народов, но я считаю, что в духовном отношении японцы стоят наиболее высоко — взять, например, хотя бы их способность к безоговорочному подчинению приказам. Когда я еще был молодым, — продолжал он, — в Японии много говорили о свободе и равенстве. Тогда я плохо понимал эти слова. Сейчас они становятся мне более понятны. Непонятно пока одно — как найти равновесие между гордостью за свой народ и чувством равенства с другими?

— Если вернуться к соседям, то в Корее, между прочим, почти такая же плотность населения, как в Японии, а по сравнению с Хоккайдо даже куда большая. Почему же в свое время японцы занимали Корею, а не переселялись на принадлежащий им Хоккайдо?

— На Хоккайдо производится картошка, а в Корее рис. Тогда было выгоднее ввозить в Японию корейский рис, чем картошку с Хоккайдо.

— Но разве самим корейцам не нужен был рис?

— Ну, не знаю, почему заняли Корею, но это было нужно тогда.

— А как быть, если соседние страны не согласятся добровольно, чтобы к ним переезжали японцы?

— Если в переселении откажут и если при этом торговля не будет разрешена, то японский народ не сможет жить...

В заключение мы снова вернулись к тому, с чего началась беседа. Война окончилась поражением и всеми теперь — во всяком случае, официально — расценивается как захватническая. Директор лоялен ко всем новым демократическим и антимилиитаристским начинаниям, но что же при этом делается в душе у человека, который ведь вчера только сочувствовал войне и считал ее справедливой?

— У меня в душе боль. Я согласен подчиниться приказам, но в душе у меня — боль...

Из школы мы поехали к повивальной бабке. Ей принадлежал крошечный домишко на углу деревенской улицы. Домик был очень бедный, двери все в дырках, видимо, не было денег даже купить бумагу, но внутри маленькой комнатки царил абсолютная чистота.

Сама бабка была крошечной старушкой, и когда она, сидя на корточках, кланялась, то превращалась в нечто совсем игрушечное; казалось, что это не человек, а маленькое изображение человека.

Еще подходя к дому, я заметил сквозь открытую дверь, что в алтаре — то кономе — висит большой траурный портрет какого-то военного. Когда мы вошли, вернее, влезли в комнату, я увидел, что портрет висит там же, но повернут лицом к стене, так, что его не было видно. Я спросил, в чем дело. Оказалось, что она перевернула портрет потому, что, может быть, гостям будет неприятно смотреть на портрет мертвого человека. Это была чисто японская вежливость.

Сын хозяйки воевал пять лет в Маньчжурии, потом тяжело заболел на фронте — простудился — и умер в больнице двадцати семи лет от роду. Осталось у нее еще два сына, самый младший живет с ней (муж умер, когда дети были еще маленькими).

Поглаживая рукой полевую сумку погибшего сына, старуха говорит, что, если бы не война, у нее был бы хороший сын. До сих пор она не может примириться с тем, что вот она одна, без мужа, с трудом вырастила троих сыновей — и теперь одного из них нет. Она ненавидит войну. Говорили, что японцы завоевывают Маньчжурию для того, чтобы тут всем лучше стало жить. Но и после взятия Маньчжурии жизнь ничуть не стала дешевле или лучше, ничего не изменилось.

Сейчас они с сыном, который женился, арендуют три тана земли у помещика и с этого живут, получая еще и хайку. Сын работал восемь лет в промышленности, но после войны потерял работу. Они хотели бы купить землю, но никто не продает, вот они и арендуют.

Продолжает старуха заниматься и своей основной профессией, которой посвятила себя давно, смолоду. Раньше она была единственной повивальной бабкой на всю округу, принимала всех рождающихся детей, и никогда у нее не было никакой ошибки, неудачи. Теперь в деревнях есть профессиональные акушерки и врачи. Из-за хайку, чтобы получить добавочный паек по беременности, женщины теперь обязаны обращаться к врачу. И при рождении ребенка тоже надо звать врача. Так что нынче бабка идет принимать ребенка лишь тогда, когда речь идет о жизни и смерти роженицы, и то только если ее попросят три раза.

О приближающихся выборах и о том, что на них женщины будут иметь избирательное право, она слышала. Она пойдет посмотреть, ей это интересно, но не уверена, что будет голосовать, разве только в том случае, если имена на бюллетенях будут написаны к а т а к а н о й, потому что в иероглифах она не разбирается.

— А как вы выучили катакану? — спросил я.

— Муж меня по ночам учил писать катаканой.

— По ночам?

— Да, когда мы лежали вдвоем и нам никто не мешал.

— Пожалуй, ночью есть занятия получше, чем учить катакану? — не слишком удачно пошутил я и испугался, что она обидится.

Но старуха рассмеялась и стала рассказывать, что, когда она была молодой, ей очень хотелось учиться, но ей говорили, что женщине это ни к чему, что она должна уметь шить и готовить — и это все. После замужества соседи стали нашептывать мужу, что она некраси-

вая, маленькая, да еще и читать не умеет. И чтобы они не говорили ему, что она неграмотная, он и стал ее учить.

Крошечная старушка оказалась очень бойкой и разговорчивой. Она, так и не поднимаясь с корточек, как ящерица, мгновенно передвигалась по комнате, угощая нас чаем и какими-то деревенскими сладостями, к которым я никак не могу привыкнуть; кажется, это единственная еда в Японии, которая мне не по нутру.

Разговаривала она очень живо, чувствовалась бывалая женщина. Глаза ее блестили молодым блеском.

Во все дыры в бумажных дверях просовывались глаза и носы. Хираока, который сопровождал нас, несколько раз отворял двери и увещевал местное население, однако проку из этого никакого не было.

Пробеседовав с бабкой около часа, мы поехали в буддийский храм. Он помещался за окраиной деревни, в лесу, и с ним при помощи галереи был соединен довольно большой дом священника.

Это был среднего размера деревянный буддийский храм, состоявший из двух помещений: собственно храма и пристроенного к нему в виде ножки у буквы «т» алтаря. Там стояло красное священническое кресло. По бокам на полках в несколько рядов стояли золоченые стандартные алтарики с поминанием усопших. Это были, так сказать, фамильные миниатюрные склепы. На некоторых из них были рамки, куда было уже вставлено довольно много дощечек, — видна была крайняя с именем последнего умершего в семье, вернее, с двумя именами: с его именем при жизни и с именем, согласно правилам буддийской религии данным ему после смерти, причем обычно это последнее было раза в четыре длиннее того, которое он носил при жизни. Алтарики были все стандартные по форме, и только их большая или меньшая величина свидетельствовала о большей или меньшей состоятельности семейства.

По стенам храма висели портреты погибших солдат и унтер-офицеров — жителей деревни, окруженные траурными подношениями. Вдоль карниза были прикреплены узенькие дощечки с именами жертвовавших на построение храма. У тех, кто жертвовал одну иену, были узкие дощечки, кто жертвовал пять иен — более широкие, а кто жертвовал пятнадцать — еще шире. Ширина дощечки точно соответствовала широте жеста дарящего.

В середине алтаря стоял небольшой бронзовый Будда, а между Буддой, креслом и полками с алтариками были свалены вещи детей, эвакуированных в этот храм из Токио. Сами дети жили в двух, если их можно так назвать, притворах церкви. Налево и направо от центра церкви помещались два больших низких стола с котацу и огромными футонами, и вокруг этих столов сидели по одну сторону мальчики, а по другую девочки, человек по десять в возрасте от восьми до двенадцати лет. Все они смиренно сидели вокруг котацу и по своему поведению ничем не отличались, скажем, от такого же количества мудрецов из секты дзэн, сидящих за подобным же котацу и пребывающих в состоянии самопознания. Спали они тут же, у стен лежали их футоны. Как нам объяснил ученик священника (кстати, его сын), служба в церкви, когда она проводилась в праздники, шла без того, чтобы выселять детей. Дети находились по сторонам, а служба производилась в центре.

Дети и питались в храме. Наняты были две кухарки. Продукты выдавались в сельскохозяйственной конторе и, кроме того, добавляли родители — учитель ездит к ним в Токио и привозит. Всего тратится около ста иен на ребенка в месяц.

Кроме кухарок, есть две учительницы и еще одна женщина, которая смотрит за детьми, когда они возвращаются из школы.

Во всем этом чувствовалась истинно народная японская традиция поддержки и взаимопомощи, причем эта взаимопомощь, насколько я успел заметить, оказывается очень просто, без пышных фраз и вообще без лишних разговоров.

Вскоре появился сам священник. Это был рослый, кряжистый человек, немножко сутуловатый, коротко остриженный и сильно небритый. Он неловко, непривычно сел на стул, засунув руки в карманы штанов в мелкую клетку. Я стал расспрашивать его, не мешают ли дети отправлять богослужения. Он отрицательно покачал головой и печально сказал, что сейчас количество служб сильно сократилось — во время войны необыкновенно усилилось влияние синтоистских храмов, там проводились моления о победе, о благополучии японских солдат, хотя, по его мнению, они не должны были этим заниматься, ведь синто не религия, а государственный дух. Стали распространяться слухи, что буддийские храмы — только для похорон мертвых, поэтому люди перестали ходить туда. К тому же сейчас не устраивают больших праздников поминовения близких — ведь для этого надо приготовить много кушаний, а с продовольствием плохо.

Я поинтересовался, как обстоит дело с продовольствием у него самого. Он, оказывается, засекает для своих нужд четыре тана церковной земли, остальную церковную землю сдает в аренду крестьянам. Деньги за аренду идут на нужды храма, и еще он получает мешков восемь риса лично для себя как добавление вместо хайку. Ведь у него семья в одиннадцать человек и этого всего очень мало.

Дальше разговор коснулся вопроса, сколько течений, или сект, имеется в буддийской религии. Оказывается, целых тринадцать, да и они еще подразделяются на пятьдесят три мелких течения. Единоглавы всей буддийской церкви в Японии нет. Храм, который мы посетили, относится к секте сингон.

Чтобы стать священником, надо несколько лет прослужить в качестве ученика священника и потом, выдержав испытание, которое проводит специально созданный совет священников, получить место, если оно есть и свободно. Если же в храме, где служил ученик, умирает священник, а ученик еще не вполне готов, то можно все-таки получить это место, внеся определенную сумму личных денег в верховный духовный совет. Каждые три года священник повышается в духовном чине, те же, кто имеет высшее религиозное образование, движутся по этой лестнице много быстрее.

Беседа со священником была для меня весьма интересной, ибо, насколько я мог судить, он был довольно искренен и, я бы сказал, не без некоторого чувства юмора повествовал о замещении священнических должностей, которое представляло из себя самую примитивную и циничную куплю и продажу мест с той чисто японской особенностью, что эта система, свидетельствующая об откровенном взяточничестве и вымогательстве в пользу верхушки церкви, никак не пряталась в Японии, наоборот, о ней рассказывалось с полной откровенностью, как будто так и надо.

При этой первой встрече со священником я испытал ощущение, от которого потом уже никак не мог отделаться, сколько бы я ни разговаривал с самыми разными духовными лицами. У меня ни разу не возникло ощущения, что хоть один из них верующий человек. Мне все время хотелось говорить с каждым из них как атеисту с атеистом. У меня не умещалось в сознании, что кто-нибудь из них может верить в бога — настолько это были деловые, знающие свое дело, как правило, умные, часто веселые чиновники, работающие в области религии.

Так как везде меня угощали тем или иным видом самогонки, то не избежал я этой участи и в доме священника, только здесь я пил

сладкую самогонку, которая, как оказалось, сделана уже не из риса, а из манной крупы. Это напоминало разведенную на воде манную кашу, в которую долито чуть-чуть денатурата и добавлено немного сахарного песка.

От буддийского священника мы поехали к священнику синто. Он жил на самом конце деревни, недалеко от маленького храма, стоявшего в священной рощице.

Мы подошли к дому и увидели уже довольно дряхлого старика с седой узкой бородкой, сидевшего у стены дома и что-то клеившего; по-моему, он наклеивал бумагу на оконную раму. Одет он был грязно и бедно, в какое-то рубище. Оказалось, что это и есть священник. Он болел, у него что-то случилось с ногой, он едва ходил, а сейчас сидел и грелся на солнышке. Однако когда мы объяснили ему цель своего визита, он раздвинул сзади себя стену и перешел в комнату, а мы вслед за ним.

Дом был построен на манер старых японских домов на севере. Слева было стойло, где стояла лошадь, и было другое отделение, где лежали разные хозяйственные предметы и припасы. Посреди комнаты было большое квадратное углубление, нечто вроде открытой печки, где горели угли; над ним на прокопченном куске бамбука висел огромный чугунный чайник.

Старик и его жена — женщина с неподвижным лицом Будды — сидели около очага и грелись. Возможно, что они сидели так целыми днями. Сзади была раздвижная стенка, за которой скрывалась другая комната.

Помещение, в котором мы находились, производило впечатление крайней бедности. Я уже готов был расчувствоваться, как вдруг вспомнил, что в стойле у него стояла лошадь, в Японии вещь редкая и свидетельствующая, во всяком случае, о состоятельности крестьянина.

Старик стал священником поздно, лет в сорок. Мне показалось, что случилось это не от нравственного сдвига в его душе, а просто оттого, что он только к сорока годам сообразил, что это, в общем, выгодное занятие, или только к сорока годам сложились такие обстоятельства (например, умер предшественник), что он решился, не бросая крестьянского труда, устроить себе еще побочный священнический заработок. Его образование — начальная школа и еще два дополнительных класса. Он взял маленький учебник, который издает общество священников в Токио, готовился по нему самоучкой в течение года, потом выдержал испытание и стал священником.

Землю его, восемь тан, теперь обрабатывает его старший сын, а он получает плату за требы от верующих — от трех до шести иен за один праздник, праздников же бывает немного. Еще он получает хайкю, семья тоже, так как их урожая на восемь человек не хватает.

Старик был очень спокойный, видимо, неглупый и говорил очень хладнокровно.

Когда я спросил его, как он относится к приказу об отделении синтоистской церкви от государства, он ответил:

— Надо подчиняться течению времени...

А в ответ на вопрос, что он ощущает теперь в душе (ведь он верил в божественное происхождение императора, а император в последнем своем рескрипте заявил, что это неверно, — как же думать теперь ему, священнику?), он с трудноописуемым равнодушием на лице сказал, что он человек старый и ему, в общем, все равно, что там написано в последнем рескрипте, а он как верил, так и будет верить. Он слишком старый человек, чтобы что-нибудь менять в своих мыслях.

— Участвовали ли вы раньше в выборах в парламент и пойдете ли на предстоящие? — спросил я.

Ответ на этот вопрос был, видимо, обдуман давно.

Нет, он никогда не участвовал в избирательной кампании, так как священник, по его мнению, не должен заниматься политикой, не пойдет он и сейчас. Ведь как священник он должен ко всем людям относиться одинаково, так как же он может предпочесть одного кандидата другому?

Из дома священника синто мы поехали к деревенскому торговцу, продававшему во время войны и сейчас разные мелкие предметы для сельских нужд, а самое главное — хайкю, то есть именно через его посредство в деревне шло распределение нормированных продуктов.

Лавка была еще открыта. Там сидела его жена, но самого торговца мы не застали: оказывается, он уехал в город заключать сделку на легковую машину, которую купил себе. Видимо, несколько лет торговли хайкю не прошли для него бесследно, ибо, для того чтобы сельский торговец мог купить сейчас машину, да еще при этом мог рассчитывать на покупку (по спекулятивным ценам) горючего, — для этого по нынешним временам надо быть богатым человеком.

Мы сказали его жене, что зайдем к нему позже, и перебрались в полицейский участок.

Это был более или менее стандартного типа японский полицейский участок в деревне: маленький домик, состоявший из, так сказать, сеней, где стояло два велосипеда, принадлежавших полицейскому, и где не нужно было снимать ботинки, из официального помещения участка — крошечного закутка, где стоял стол и по обеим сторонам его приделанные наглухо к стене скамейки, и из третьего помещения — задней комнаты, откуда слышался детский писк и где жил сам полицейский с женой и не то восемь, не то девятью детьми.

Полицейский своим видом почему-то напомнил мне какого-нибудь немецкого полковника, взятого в плен где-нибудь в белорусских лесах. Он был угрюмый, обросший, напуганный и вместе с тем озлобленный и производил впечатление человека опустившегося, но выдавшего некогда и лучшие времена. Что он видал некогда лучшие времена, в этом можно не сомневаться. Но сейчас ему приходилось плохо, почва уходила из-под ног.

Он рассказывал о непослушании властям и постепенно в разговоре от состояния испуга переходил к состоянию поисков сочувствия. Привычка брала свое: он начал беседу как «друг демократии», а кончил ее как человек, возмущенный распушенностью нынешних нравов и падением морали.

На обратном пути в лавку нас встретил запыхавшийся торговец. Оказывается, он встревожился, что к нему приходили какие-то иностранцы и сказали, что придут еще, и поспешил за нами, говоря, что готов рассказать все, что нас интересует относительно продажи хайкю.

Я поблагодарил его за любезность и не без яду, но очень вежливо осведомился, как прошла у него сегодня покупка машины — надеюсь, удачно? — и, кажется, окончательно его встревожил этим вопросом насчет покупки машины, заданным сразу после его предложения рассказать о продаже хайкю.

Он сказал, что сделка прошла хорошо, и начал без моих приглашений подробно рассказывать всю систему продажи хайкю — с тысячными долями процентов, вытаскивая в доказательство какие-то бумаги, справляясь в записных книжках, стараясь доказать мне, что он не вор, а вполне честный человек, что распределение хайкю есть священный долг и трудная, неблагоприятная обязанность и т. д. и т. п.

Он говорил бы на эту тему еще часа два или три, но в конце концов, поставив ряд вопросов, я выяснил все интересовавшее меня, и мы пошли домой.

Последний вечер мы провели с деятелями крестьянского союза, которые трогательно прощались с нами. Происходило это в доме у Хираоки. Сначала нас угостили самым большим деревенским лакомством — курицей с рисом. Потом на прощанье все расписались, поставили свои иероглифы на большом листе рисовой бумаги и отдали его мне. И наконец Хираока поднес мне старинный самурайский короткий меч.

Как потом сказал мне Хидзиката-старший, рассматривавший этот меч, он имел по крайней мере трехсотлетнюю давность и был родовым мечом в доме Хираоки, который, видимо, происходил из рода давно обедневших самураев. Таких крестьян, по словам Хидзикаты, не так уж мало в японской деревне, причем они обычно толком сами ничего не знают о своей генеалогии.

Хираока, вручая мне этот меч, посетовал, что не может подарить два меча, потому что большой меч он вынужден был после оккупации сдать по закону как оружие.

Мы вернулись в дом Хидзикаты уже ночью. Оказывается, там нас совершенно неожиданно для меня уже ждал какой-то бойкий корреспондент «Майнити» по Уцунумии. Он приехал из города на велосипеде и, едва поздоровавшись, с ходу начал задавать мне вопросы.

У него была казавшаяся ему, наверно, хитроумно построенной целая система вопросов, с помощью которых он намеревался узнать мои впечатления о японской деревне, мое мнение о крестьянском союзе и о том, не может ли он перерасти в колхозное движение. Заодно он, кажется, хотел выяснить мою политическую физиономию.

Я сказал, что только начал знакомиться со страной и единственное, о чем я пока могу рассказать ему, это о красотах японской сельской природы, которые произвели на меня сильное впечатление.

Сделав вид, что примирился с этим, он задал мне два-три невинных вопроса, после чего вновь вернул что-то насчет колхозов.

Тут я сказал ему, что если он журналист, то и я тоже журналист и он может быть спокоен: того, о чем я не собираюсь говорить, он от меня не услышит, так что не стоит и мучиться. Если он хочет спрашивать, то пусть спрашивает меня о том, о чем я готов с ним сейчас разговаривать, то есть о сельской природе, а если не хочет спрашивать о природе, пусть ничего не спрашивает.

Он помаялся с полчаса, хлебнул горя и уехал в ночь, в снег и ветер на своем велосипеде, крайне недовольный мною. Хотя он исписал все-таки половину блокнота, но, само собою разумеется, беседа его со мной не появилась в «Майнити». Может быть, у него хватило ума ее и не посылать.

Утром часов в одиннадцать мы выехали из деревни обратно в Токио. К тенту «джипа» был подвешен подаренный мне в деревне японский звоночек для скота. Он звенел на каждом ухабе. А в Уцунумии, чьей специальностью является производство всяких изделий из тыкв, я купил для всей нашей команды по одной тыкве, сделанной в виде корзинки. Их мы тоже подвесили к тенту и дальше до самого Токио ехали, как пожарная команда: на всех ухабах тыквы с грохотом стучались друг о друга, звонок колотился о них и неумолкаемо звенел, а испуганные прохожие шарахались в стороны.

Мы выехали в прекрасную погоду, а приехали в Токио, как это здесь часто бывает, в дикий дождь и снегопад, на последней капле

бензина и по колено в снегу. Вдобавок еще Хидзиката взял на «джип» несколько кулей угля для своего городского дома, и все мы, слезая с машины, были черны, как негры.

### 11 февраля 1946 года. Токио

За четыре дня, с 8 по 11 февраля, между приездом из деревни и отъездом в Киото, с точки зрения визитов, свиданий и разговоров не произошло ничего особенно существенного.

10 февраля поехали на киностудию. Собрались посмотреть две картины, но не успели, посмотрели только одну под названием «Школьное сочинение». Эта картина вышла зимой 1937 года, перед началом широкой японской интервенции в Китае. Это был переломный год, с которого началась не только большая война, но и полная милитаризация всего японского искусства.

Ставил картину режиссер, сидевший во время просмотра с нами рядом и дававший кое-какие пояснения. Мысль сделать эту картину пришла одному из известных японских сценаристов, который натолкнулся на правду жизни в сочинениях одной школьницы. Школьница в простоте душевной описывала все, что случалось в ее жизни. На основании этого сочинения он и написал оригинальный сценарий.

Действие происходит на окраине Токио, в беднейшем из беднейших кварталов, в беднейшей из беднейших семей. Она состоит из отца, рабочего-упаковщика, его жены, двух маленьких мальчиков и четырнадцатилетней дочери, которая учится в начальной школе. Кроме этой семьи, действуют следующие лица: сосед, который иногда дает работу упаковщику, другой сосед с женой и учитель в школе — вот и все.

Перед нами проходит кусок жизни примерно в полгода длиной. Картина идет на тексте сочинения, которое читает девочка за кадром, а в это время на экране происходит действие, идут реальные разговоры. Смонтировано все это весьма талантливо и по духу очень близко к русскому искусству: внимание и любовь к незаметной жизни, к незаметным людям, к ничем не примечательным, казалось бы, деталям их быта, отсутствие всякого внешнего сюжета — словом, течение жизни такой, какая она есть.

Актерский ансамбль отличный. Особенно превосходно играет девочка, исполнительница главной роли. Когда картина делалась, ей было столько лет, сколько и надо было по роли, — четырнадцать, а начала она сниматься в кино еще совсем ребенком, с шести лет.

Картина сентиментальна, но не слащава. Она не прячет никаких темных сторон жизни и не делает только одного: не объясняет их причин. Она начинается ни с чего и кончается почти ничем, просто девушка заканчивает начальную школу и уходит работать на завод.

Потом в беседе режиссер мне сказал, что картина была позволена в таком виде потому, что она хотя и показывала жизнь бедных людей, но не подчеркивала никаких контрастов, не показывала, например, наряду с этим жизнь богатых. Картина была признана в то время лучшей картиной года, и, очевидно, имела к этому основания. И в этой картине и в той, что я видел раньше — «Пятеро мужчин в Токио», — я почувствовал тенденцию к реализму, к правдивому изображению быта, к отсутствию стандарта и сюжетности в американском понимании этого слова.

После просмотра картины нас позвали позавтракать. Мы сидели за холодным длинным столом, накрытым ледяным стеклом, в абсолютно ледяной каменной комнате — приемной дирекции, на ледяных металлических креслах. Температура в комнате была значительно ниже нуля. Чай в чашках остывал в течение минуты.



Минут через десять за столом появилась киноактриса, которая играла главную роль в фильме. Теперь ей было двадцать три года. Это была совсем молодая и милостивая женщина. Ее посадили во главе стола. Она, как и все мы, тоже сидела без пальто и сразу замерзла. Пришла она со своими фотографиями, которые быстро стала всем нам подписывать.

И пока она, бедняга, подписывала их в этом лютном холоде, я в своем воображении быстро все это перевернул и представил себе, как на нашу киностудию где-нибудь на Потылихе приезжают иностранные писатели вроде нас, грешных, и как им показывают кинофильм, и как режиссер или директор студии звонит на дом актрисе и говорит: «Милая Катенька (или Сонечка), приезжай, пожалуйста, ты нам очень нужна». «Зачем?» — спрашивает не выспавшаяся после ночной съемки Сонечка. «Видишь ли, приехали какие-то идиоты из-за границы, смотрели кинофабрику, потом показывали им твою картину. Ну приезжай». «Куда тебе опять ехать?» — рычит сидящий рядом муж. «Я не поеду», — говорит Сонечка. «Ну Сонечка, милая, золотко, на пять минут. Ты приедешь, подпишешь этим идиотам свои фотокарточки и сейчас же уедешь. Машина тебя уже ждет. Пять минут сюда, подпишешь карточки — и пять минут обратно». «Меня Петя не пускает», — говорит Сонечка. «Дай Петю». «Ну чего вы ей покою не даете? — рычит в телефон Петя. — Сколько можно?» «Ну Петя, пожалуйста, на пять минут, ей-богу, вот те крест! Подпишет карточки и через полчаса будет дома». «Эх, — сокрушенно говорит Петя, — безжалостные вы люди!» И Сонечка, наспех попудрившись, сонная и злая, едет на киностудию, чтобы, улыбаясь, подписать три фотокарточки этим идиотам писателям, которые навязались на ее шею как раз тогда, когда она хотела выспаться после съемок.

Примерно такая ситуация, вероятно, была и с этой киноактрисой, которую вытащили на Токийскую киностудию. Во всяком случае, она сдержала слово, действительно подписала фотографии и, выпив чашку чая и коротко, но мило поулыбавшись, немедля исчезла.

## 12 февраля 1946 года. Киото

Мы приехали в Киото 12-го на рассвете. На платформе нас встретил капитан Соркин — американский еврей, в прошлом газетчик, а сейчас работник отдела печати американской армии, человек, в общем, очень милый, хотя и обременявший время от времени и себя и нас некоторыми излишними вопросами, которыми, видимо, интересовался не столько он сам, сколько другие через его посредство.

Три-четыре дня у нас ушли на достопримечательности города — императорскую дачу, знаменитый сад камней, сад мхов, золотой и серебряный павильоны, киотский императорский дворец.

Осмотрели мы и самое высокое деревянное строение в мире — большой буддийский храм, вернее, два храма. Они добротно сделаны, как все подобного рода сооружения Японии, действительно громадны и, в общем, красивы, в особенности издали. Около них, конечно, стоит очередная американская доска, где написано, сколько в них футов длины, сколько ширины, сколько высоты — словом, подписью и печатями удостоверено, что это действительно самое высокое деревянное строение в мире.

Но наибольшей достопримечательностью Киото являются, на мой взгляд, киотские улицы, формально, конечно, не причисленные к этой категории. За исключением трех-четырех самых центральных улиц, которые застроены японскими домами вперемежку с домами европейской архитектуры, все остальные улицы Киото — чисто японские, узкие, в которых далеко не всегда и не всюду могут развезаться две

машины. На город не было сброшено ни одной бомбы, и он остался своеобразным заповедником старой Японии.

Город шумен, говорлив, даже криклив и очень цветаст. Целые кварталы представляют собой то, что у нас в простоте называют толкучкой. Десятки кварталов заняты ларьками и лавчонками мелочной торговли. Здесь вы можете встретить всякие магазины, начиная от тех, где продаются буддийские курения или всех видов и размеров золоченые алтарики для умерших, и кончая магазином, где торгуют травами, кореньями, сушеными костями рыб, порошком из ящериц, где в окне стоит громадная банка с двумя десятками глядящих прямо на вас заспиртованных обезьяньих голов,— это магазин, где торгуют лекарствами и снадобьями тибетской медицины.

В городе можно купить все, кроме того, что нужно для жизни. Целые улицы магазинов, где продают только приспособления для чайной церемонии — чашки и чашечки, блюдечки и чайники, бамбуковые мешалки и специальные салфетки; магазины, где продают только кимоно, начиная от грошовых из вискозы, кое-как сметанных через край, и кончая громадными, подбитыми пухом, вышитыми сверху донизу и сделанными из мягчайшего и тяжелого, как железо, самого дорогого шелка.

Есть улицы, где через каждый дом идут магазины с изделиями из лака. Когда проезжаешь мимо них на машине, их витрины поражают своей красотой. Но нет более чудовищной амплитуды, чем амплитуда стоимости этих изделий: они стоят от пяти до пятидесяти тысяч иен.

Кстати, об одной особенности японских магазинов. В Японии существует женская наука и к э б а н а — подбора цветов и составления букетов, но наука устройства витрин поистине на не меньшей высоте. Витрина самого дрянного магазина издали выглядит сказочно красиво — так хитро и контрастно по цвету скомбинировано на ней всего каких-нибудь пять или шесть выставленных предметов.

И наконец, очаровательные лавки старьевщиков, где есть все, начиная от громадного медного гонга и кончая соломенной ручкой от чайника. Я никогда и нигде не видел такого количества никому ни для чего не нужных вещей. Но если бы вы вздумали в этом городе, где есть, пожалуй, больше десятка тысяч магазинов и где, кажется, все поголовно занимаются торговлей, найти себе пару носков, ботинок или пару белья, все ваши попытки не увенчались бы ни малейшим успехом, если не считать того, что, промаявшись целый день, вы нашли бы наконец какой-нибудь носильный предмет чудовищного качества, который закончил бы свое брэнное существование если не через сутки, так через неделю, после того как вы опрометчиво втиснулись в него.

Среди всяких прочих магазинов особенно красочно выглядят зеленные и рыбные лавки, в которых большая часть товаров выставлена снаружи и покрывает полтротуара впереди себя.

Красочные ресторанчики и харчевни. Если большие японские рестораны, которые внешне очень скромны и ничем не отличимы от других домов, кроме маленькой дощечки у входа, внутри оборудованы чисто по-японски, то мелкие забегаловки, встречающиеся на торговых улицах почти на каждом шагу, внутри устроены по-европейски, с двумя-тремя грязными столами и лавками, а вместо всяких надписей на их всегда открытых дверях висят белые, синие, красные полотнища, похожие на развешанное на веревке разноцветное белье или кимоно.

Между прочим, кимоно, оказывается, стирают своеобразно. Кимоно кроится так, что у него есть только прямые швы, которые сшиваются через край, всегда вручную и легко порвутся. Когда японка

хочет выстирать кимоно, она непременно его распарывает до основания, стирает и потом, не глядя, прилепляет его мокрым к большой, хорошо отполированной доске (так у нас иногда на зеркале сушат платки). Потом эти куски снова сшиваются в кимоно.

Возвращаясь к пестрым, шумным, сплошь торгующим улицам Киото, которые по большей части застроены довольно старыми домами, часто сто- и полторасталетними. Во многих из них в раздвижные двери уже вставлены стекла, но очень много домов более старого типа, где все эти дверные решетки заклеены белой или провощенной бумагой. Если забрести в узкую старую улочку, то иногда можно представить себя в старом Киото времен Токугавы: те же дома, те же полотнища ресторанчиков, те же кимоно на женщинах, а часто и на мужчинах (чего, кстати сказать, не увидишь в Токио) и только промелькнувший вдруг японец на велосипеде, в кургузом европейском пиджачишке нарушит это впечатление.

Поскольку речь зашла об архитектуре, придется сказать несколько слов о Наре, в которой я был недавно и не стал писать о ней, надеясь побывать еще раз. Однако это мне, к сожалению, не удалось.

Нара расположена километрах в пятидесяти от Киото. Сам город — центр префектуры того же названия и одновременно центр движения этá — этих своеобразных японских париев, которых как раз в этом районе особенно много.

Кстати, чтобы охарактеризовать их положение, только одна подробность: до сих пор считается неприкрытым и стыдным для японцев пить с ними вместе чай или сакэ.

Городок небольшой и ничем особенно не примечателен. Интерес представляет только та часть Нары, где расположен парк, в котором когда-то помещалась резиденция императора. Гражданских сооружений здесь не сохранилось.

Главных достопримечательностей три: старинный буддийский храм, старинный синтоистский храм и старинная буддийская пагода.

В буддийском храме находится самый большой в Японии Будда. Не берусь сказать, из чего он сделан: из бронзы, из камня или из чего другого — такой он старый, темный и непонятный. Он сидит по-турецки на полу, и голова его упирается как раз в своды храма, очень высокие. Я не видел здесь дощечки с американской надписью — она, конечно, есть, но я ее не заметил, — поэтому, к великому сожалению, не могу сказать, сколько точно футов в этом Будде, во всяком случае он гигантский, гораздо больше, чем камакурский Будда, и, как мне кажется, гораздо лучше сделан.

Перед Буддой стоят громадные цветы лотоса из черного железа. Они достигают двух или трех человеческих ростов и сделаны превосходно, как резкие черные тени на белой стене. По бокам Будды в нишах — два колоссальных, но рядом с ним кажущихся маленькими воина-хранителя. Они деревянные, грубо раскрашенные, вооруженные до зубов и очень страшные. В храме все огромно, вплоть до деревянных, высотой в пять человеческих ростов дверей, которые со скрипом открывал и закрывал за нами старый крошечный сторож.

Синтоистский храм не столько хорош сам по себе, сколько хороша аллея, ведущая к нему. С двух сторон сплошные кущи деревьев и по бокам довольно узкой дороги тысячи и тысячи разного размера каменных фонарей. Они теснятся с двух сторон, как монументы на старом кладбище, и, должно быть, когда во время празднеств в них по ночам зажигались плашки с маслом, это было зрелище необыкновенной красоты.

Сам храм представляет собой огромную квадратную низкую красную галерею. Когдаходишьвнутри двора, то все кажется не очень большим, но когда выходишь снова наружу и начинаешь обходить галерею кругом, тогда понимаешь обширность всего сооружения. Пожалуй, я нашел точное выражение: именно не величину, а обширность. И это же свойство отличает, кстати сказать, и императорский дворец в Киото, и многие частные дворцы и дома с их оградами огромной длины.

Третья достопримечательность — пагода, очень небольшого сечения, очень высокая, во много этажей, и видная за много километров от Нары, замечательна тем, что она самое старое деревянное сооружение в Японии. Кажется, до постройки храма в Киото эта пагода была не только самым старым, но и самым высоким деревянным сооружением.

Но самая приятная, на мой взгляд, достопримечательность Нары — это не храмы и не пагода, а древний парк с его желтоватой низкой травой и растущими прямо из нее громадными вековыми черно-зелеными соснами. По всему парку, не боясь и не сторонясь людей, то стадами, то в одиночку ходят красавцы олени, поджарые и тонконогие, с нежной пятнистой песчано-коричневой шкурой. Все это, вместе взятое, так хорошо, что хочется сесть под сосной на траву и по крайней мере несколько часов молча смотреть и никуда не уходить отсюда.

#### 14 февраля 1946 года. Киото

Утром мы были у одного из известнейших художников японской школы, господина Домото. Нас угостили чаем в европейского стиля комнате, а потом мы перешли в японскую комнату, где, уже сидя на подушках, беседовали и рассматривали развешанные по стенам картины. Все они были сделаны в виде какемоно, то есть картина, как в раму, была вставлена в длинное шелковое или парчовое полотно, которое при помощи двух деревянных валиков закатывалось в трубку. В обычное время такие картины в скатанном виде помещаются в длинных ящиках. Сейчас они были вынуты и развешаны.

Домото, хотя, как он сказал, изредка и писал маслом, в общем, является художником сугубо японским и традиционным. Краски — желатиновые, материал в девяноста случаях из ста — шелк. Рисунок за исключением нескольких «грехов молодости», сделанных, совершенно очевидно, под влиянием французов, очень японский, скупой, четкий, тонкий, прекрасно отработанный технически.

Несколько картин мне понравилось: ветка клена с листьями, нарисованными как гамма, от одной противоположности до другой — от карандашного полусилуэта до детальнейшего рисунка в красках, все вместе очень интересно; хороша также картина, изображающая сплав леса по осенней реке. Картина закончена, но производит впечатление наброска: раннее утро, ярко-багровый лес, испаряясь на солнце, как бы дымится.

Но вообще-то надо сказать, что японские картины много теряют, когда они выставлены специально. Японская картина — предмет, деталь убранства частного дома; она обычно заказывается в соответствии с этим домом и целиком существует только внутри него, а вне ей чего-то не хватает. Пространство заранее определено: это или свиток, который должен висеть в углублении токономы, или ширма, или бэбу — тоже нечто вроде маленьких ширм определенного размера, или раздвижные стены-двери. Отсюда вытянутость, определенные габариты, отсюда незаполненность всего пространства живописью, ибо иначе картина вступила бы в противоречие со своим предназначением. И когда картина на выставке висит как картина она все равно, по су-

ществу, остается свитком для токономы или рисунком на ширме или дверях. Она призвана дополнять, а не существовать сама по себе. И чем больше смотришь таких картин, даже самых хороших, тем это очевиднее.

Сам Домото — человек лет пятидесяти с лишним, благообразный, несколько мрачноватый, одетый с головы до ног традиционно по-японски. Во время нашей беседы присутствовал его младший брат, тоже благообразный, но юркий человек в европейском костюме, как выяснилось, так сказать, администратор при брате. Он принимает заказы, продает картины, договаривается о ценах. Судя по всему, работа у господина Домото поставлена на довольно деловую ногу, причем в тех случаях, когда он делает картину не по прямому заказу, роль посредников и перепродавцов играют владельцы мастерских, где оформляют картины. Это в Японии немаловажное дело. Картина — существенный предмет обихода, и в ней ценится не только искусство и самый рисунок, но очень важно, каким шелком она обложена, на какие палочки накручена — просто на деревянные или на деревянные с наконечниками из слоновой кости. И наконец, играет даже некоторую роль, в какой ящик она положена — в один или в два, в полированный или в простой. Случается, что картина, неважная сама по себе, но хорошо отделанная, в этом смысле стоит дороже картины лучшей, но беднее оформленной.

Домото в разговоре был очень осторожен и сдержан. Когда же речь зашла о заработках, то, несмотря на то, что он был вполне профессионалом, я тем не менее почувствовал себя в положении человека, допустившего своим вопросом неловкость, — так это было воспринято. Домото сразу ушел в свою раковину и выставил вперед брата, а брат бормотал что-то демонстративно невнятное.

Вообще сколько бы я ни заговаривал с представителями японского искусства на эту тему, они всегда спешат обойти ее. В кукольном театре, например, мне просто сказали, что это тайна. Думается, что если не всегда, то часто тут присутствует некая доля ханжества, проистекающая из сочетания деячества как практики и разговоров об искусстве для искусства как теории.

## 22 февраля 1946 года. Киото

Я обратился к местному корреспонденту «Асахи» с просьбой организовать мне встречи с несколькими смертниками. Он взялся за это и сказал, что первую встречу может устроить очень просто, ибо его младший брат тоже был смертником. Я попросил его прислать брата ко мне в тот же день вечером. Он согласился, но с условием, что будет присутствовать при беседе.

Часов в восемь вечера они пришли ко мне в гостиницу. Брат корреспондента — очень маленького роста, очень сосредоточенный мальчик, одетый в очень аккуратенькую чистенькую студенческую курточку с беленьким подворотничком, очень аккуратно, коротко подстриженный. Он учится в последнем классе специальной юридической школы. Придя, он молча как по команде сел и держался так замкнуто и, как мне показалось, настороженно, что я сначала подумал, что из беседы ничего не выйдет. Казалось, что он собрал себя в один горький комок нервов. Но, против ожидания, беседа получилась очень откровенная и очень для меня интересная.

Мальчик был мобилизован в 1943 году, когда ему исполнилось семнадцать лет и он еще учился в гимназии. Он попросился добровольно в военную авиационную школу, где проучился около двух лет. А оттуда перешел в часть смертников. Если бы американские десанты приблизились к берегам Японии, эти мальчики должны были надеть водо-

лазные костюмы, взять с собой баллоны с кислородом и, прицепив особую мину к длинному бамбуковому шесту, войти в воду на глубину десять — пятнадцать метров и ждать в местах возможной высадки подхода десантных барж. Услышав звук винта, они должны были взорвать миной баржу и с ней вместе себя да и всех, кто находился рядом, — ведь стояли бы эти мальчишки на расстоянии пяти метров друг от друга.

Набор в смертники производился таким образом: учеников авиационной школы созывали для беседы, где им говорили, что война очень тяжелая, что учиться на летчиков надо долго, а время не ждет, что сейчас изобретено новое оружие, очень сильное, и что они должны первыми пойти на эту опасную операцию — кто хочет, пусть подает заявление о зачислении в смертники. Написать надо было всего одно слово — «желаю» или «не желаю» — на обычной маленькой бумажке.

Все каждый раз писали согласие. Из них выбирали людей для данного набора. В первый раз отобрали человек двести. Всего за девять месяцев у них было четыре таких набора.

На мой вопрос, что было бы с тем, кто написал бы «не желаю», он ответил, что его, наверное, вызвали бы к командиру и говорили отдельно. Ему, пожалуй, трудно было бы жить дальше среди товарищей, потому что все они были молоды, стремились скорее попасть на передовые позиции и считали, что умереть за родину — это высшая честь.

После отбора проходили медицинский осмотр — брали самых здоровых и, кроме того, из многодетных семей. Тот, кто был единственным сыном или должен был стать наследником дела, тех не брали.

— А не приходило вам в голову, — спросил я, — почему вас, проучившихся уже почти два года и могущих стать квалифицированными летчиками, посылают на верную гибель? Это же нецелесообразно. Может быть, у Японии было мало самолетов и летчики просто были не очень нужны?

— Да, — спокойно отвечал он. — Мы знали, что самолетов мало, что, окончи мы школу, нам все равно не на чем было бы летать, но это соображение второстепенное. У меня была твердая решимость умереть, и когда меня отобрали в четвертый набор, я обрадовался.

Отобранных учеников сейчас же отвезли в отряд, где занимались изучением нового оружия. Он назывался «Отряд спрятанного дракона» и находился на Кюсю. В отряде была почти тысяча человек. Руководил всем полковник, а непосредственно с ребятами занимались лейтенант и старший лейтенант — вместе с ними они должны были участвовать и в операции. Семья ничего не должна была знать.

Учение состояло в знакомстве с водолазным костюмом (их было мало, так что под воду ребята спускались только один раз, по очереди) и приемами сухопутного боя: те, которым не хватило бы водолазных костюмов, должны были вести бой на суше. Кому идти в воду, а кому оставаться на берегу, должен был решить командир роты.

Бамбуковых шестов с минами было столько же, сколько костюмов. Правда, мины были еще без взрывателей, так что, если бы внезапно подошли американцы, отряд вообще ничего не мог бы сделать.

Для сражения на суше примерно у трети отряда были автоматы, а у остальных бамбуковые пики.

— И вы были уверены, что с таким вооружением могли бы отбить десант?

— Нет, я не был уверен в этом, но я думал только о том, чтобы убить как можно больше врагов и умереть с честью.

— А как в отряде отнеслись к речи императора о капитуляции?

— Сначала мы были убеждены, что нас обманули, что это говорит не император и что надо продолжать войну.

— А как вы думаете сейчас?

— Я думаю, что решение о капитуляции было правильным, сейчас я уже понимаю, что война была несправедливая. Если бы я тогда умер, то это было бы просто ни за что.

Было видно, что моему собеседнику тяжело говорить о прошлом, потому что, в сущности, это была история оплеванной юности, разрушенных надежд, несостоявшегося героизма и осмеянного самопожертвования.

Я бы не сказал, что он был озлоблен, но так откровенно, с таким отчаянием может говорить только человек, в котором, несмотря на его двадцать лет, что-то сломалось. Видимо, это был юноша хороший, честный, серьезно веривший в те идеи, в которых его воспитали, и сейчас в его сердце постепенно воцарялась пустота. Состояние же пустоты в сердце — опасное состояние, и если такие мальчики не пойдут налево и не заполнят сердце чем-то новым и противоположным всему, в чем они воспитывались, то они пойдут резко направо и через сколько-то лет могут создать почву, на которой может вырасти фашизм, неояпонский фашизм, не обремененный никакими традиционными добродетелями, никакими приличиями, никакими феодальными пережитками вроде почтительности или честности и, может быть, еще более страшный, чем немецкий. Дай бог, чтобы этот прогноз не оправдался.

После трехчасовой беседы юноша встал, опять как по команде безмолвно поклонился и ушел, такой же аккуратенький, весь крепко свинченный, чистенький и таящий в себе горечь и безнадежность.

Второй смертник, с которым я говорил, был не вполне смертником, как это выяснилось, хотя и не сразу.

Вообще нужно сказать, что в Японии, как я разобрался, было несколько категорий смертников. Попробую их перечислить.

Первая категория — смертники, которых сажали на планеры, нагруженные большим количеством взрывчатки. Эти планеры подвешивались с двух сторон под крылья больших бомбардировщиков. В виду цели их отцепляли, и летчики направляли свой планер прямо на цель и взрывались вместе при ударе.

Вторая категория — тот же самый принцип, только с той разницей, что на планере устанавливался маленький дешевый моторчик с запасом горючего на десять — пятнадцать минут. В остальном все происходило так же.

Это две категории абсолютных смертников.

Третья категория — это, так сказать, смертники на девять десятых, летчики, которые летали на «гробах», то есть на самолетах устаревших типов, и вылетали с приказом таранить с воздуха любое встреченное ими неприятельское судно. Естественно, что и по характеру задания и по качествам самолета они в девяноста случаях из ста были обречены на смерть при первых же вылетах.

Четвертая категория, к которой принадлежал человек, с которым я разговаривал, состояла из летчиков, работавших на новейших типах скоростных истребителей-бомбардировщиков. Они брали с собой восемьсот килограммов бомб и должны были, встретив неприятельское судно, бомбить его обычным образом, но встретив авианосец, обязаны были таранить его.

Из авиации смертничество перешло в морской флот, и там появились свои две категории смертников, будем называть их пятой и шестой.

Пятая категория — это смертники на маленьких подводных лодках. На лодку их полагалось один или двое. Это так называемая живая торпеда. Обычно эти лодки выходили к месту назначения на буксире больших лодок. Вероятность смерти тут, конечно, была стопроцентная.

В ожидании вторжения в последний год войны таких смертников готовилось огромное количество, строилось множество таких лодок, сконцентрированные во всех угрожаемых пунктах побережья, они должны были выйти в море навстречу десантному флоту.

И наконец, последняя, шестая группа, к которой принадлежал брат корреспондента «Асахи», это «люди-мины», отряды людей, снабженных водолазными костюмами и минами на длинных шестах.

Может быть, были и какие-нибудь другие категории, но я перечислил те, о существовании которых мне пока удалось узнать.

Отец второго смертника был ресторатором на окраине Киото. Когда мы приехали в их дом, то через садик и внутренний двор прошли в одну из комнат ресторана, где нас встретил сын владельца заведения. Это был среднего роста худощавый молодой человек в нескладно сидевшем костюме, с испитым болезненным лицом и нелепо торчавшими в разные стороны клоچьями волос. Он принес с собой газету, в которой было написано о том, как его сочли погибшим, как семья получила извещение о смерти и как он вернулся.

Сев на корточки, он положил перед собой газету и, поминутно поглядывая на нее, сухо отбарабанил тридцать стандартных фраз: были там-то, получили приказ тогда-то, вылетели туда-то — словом, весь тот набор, который иногда и у нас на войне выпадал неразговорчивый летчик не умеющему с ним разговаривать корреспонденту.

Он отбарабанил текст и, очевидно, думал, что на этом беседа закончилась, но я стал задавать ему вопросы, ответов на которые явно не содержалось в газетной заметке. Он несколько раз встревоженно заглянул в газету, но, ничего не обнаружив там, принужден был отвечать. Отвечал он сухо, по-военному и, как переводчик мне сказал, на сугубо военном жаргоне.

Он рассказал о том, что во время войны был летчиком и сначала летал на фоторазведку. Потом он выразил желание быть смертником, и ему дали современный бомбардировщик с восемьюстами килограммами бомб и приказ: если увидит авиаматку, то таранить ее — ведь при таране и пробивная сила будет больше и попасть можно наверняка. Но при первом же вылете — это была середина апреля — он был атакован четырьмя вражескими истребителями. У него был пробит бак с горючим, отказал мотор, и самолет упал у самого берега острова Окинава. Его, раненого, спасли японские солдаты, прятавшиеся там (их было человек сорок), и он около четырех месяцев прожил с ними в землянке. Остров почти целиком был занят американцами, и дома о нем ничего не знали. Интересно, что извещение о его смерти пришло родным в день капитуляции. И только в середине января этого года им стало известно, что он жив.

О капитуляции они услышали 21 или 22 августа в радиопередаче с американских кораблей. Сначала они подумали, что это уловка врага, потом командир, бывший в этой же землянке, послал одного офицера проверить. Он пошел, вернулся и все подтвердил. Но все равно были среди них люди, которые не поверили сообщению или не хотели подчиниться и собирались покончить с собой. Но старший командир в землянке, имевший высокий чин, убедил их этого не делать, а сдаться.

Американцы еще за полмесяца до конца войны обнаружили их землянку, но не стали нападать. Сил у японцев было мало, начать наступление они не могли, к ним же подойти можно было только с



моря, высадив десант, что потребовало бы больших жертв со стороны американцев. Ели они там консервы, которых было много, для питья собирали дождевую воду и вообще могли продержаться долго — до тех пор, пока японские войска не пришли бы к ним на помощь. Мой собеседник считал, что это было возможно, если бы не капитуляция.

Юноша этот был характерным типом. Как выяснилось, он плохо учился в школе, в жизни знал только игру со смертью и выпивку на отдыхе, потом, случайно оставшись живым, вернулся и теперь находился в состоянии абсолютной бездеятельности, полного нежелания что-либо предпринять. На разговор он пришел так, как будто его не то стащили с постели, не то оторвали от бутылки. Он был угрюм, так же как и его отец и дядя, присутствовавшие при нашем разговоре.

В токономе, там, где в японском доме обычно стоит какая-нибудь ваза, под стеклянным колпаком лежал какой-то странный предмет яйцеобразной формы, величиной с человеческую голову. Оказалось, что это засушенное осиное гнездо, обнаруженное на участке при постройке дома. Оно мне показалось подходящим символом для этой семьи.

Простившись, молодой человек мгновенно исчез, и нас провожал до машины его отец. По дороге он жаловался на то, что сын беспробудно пьянствует, бьет и крошит все, что попадает под руку. Психологически это было похоже на немецких отпускников последнего периода войны. После войны из людей, подобных второму смертнику, часто вырастают фашисты без особенных идеологических глубин в голове, но с револьвером в кармане.

Третий смертник, с которым я встретился, был в прошлом студентом литературного отделения Токийского университета, хотел стать писателем и уже опубликовал несколько произведений. В 1943 году он был мобилизован и попал в пехоту. Он думал, что сразу же будет сражаться за родину, но их стали долго учить и муштровать. Обстановка в части была тяжелая, люди, в том числе и офицеры, окружавшие его, были грубы и необразованны. За ошибки его даже били. Тогда он подал просьбу перевести его в авиацию, надеясь, что так скорее сможет принять непосредственное участие в войне. Его зачислили в авиационную школу при истребительной части. Психологически там ему было гораздо легче, так как все ученики этой школы были люди, которые учились в университете или окончили специальную высшую школу, ему хоть было с кем разговаривать. Но потом он заболел и был демобилизован. Приехал домой, начал было снова учиться в университете, но вскоре был послан вместе с другими студентами работать в информационное бюро Западного штаба на острове Кюсю. Там его прикомандировали к базе морского воздушного флота, где все летчики были смертниками.

Между прочим, и сам он, пока находился в авиационном училище (он был там семь месяцев), тоже стал смертником. Нельзя сказать, чтобы это произошло совсем уж по его желанию. Просто школа была реорганизована из школы пилотов-истребителей в школу торпедоносцев. Ученикам сказали, что за полгода или год они не смогут стать хорошими пилотами-истребителями, поэтому они будут учиться выполнять более легкие задания. А для того чтобы их выполнить совершенно точно, нужно вместе с самолетом врезаться в неприятельский корабль. Уже потом, недели через три после переименования школы, учащиеся построили и спросили, хотят ли они отдать жизнь за родину. Если да, пусть сделают шаг вперед.

— И все сто тридцать пять человек сделали этот шаг?

— Да.

— А если бы кто-то остался на месте?

— Ну, ему бы пришлось, наверное, не очень хорошо. Его, очевидно, били бы.

— Начальство?

— Если вспомнить тогдашние чувства, то и товарищи...

С этого дня в школе многое изменилось. Улучшилось питание, стали давать мясо, жиры, вино стало появляться на столах почти каждый день. Они стали тренироваться в воздухе, совершать пикирующие и бреющие полеты.

— А что вы лично чувствовали тогда, когда делали шаг вперед?

— Я сделал его почти машинально. Это уже привычка в армии.

— Были ли у вас какие-нибудь разговоры среди товарищей на эти темы?

— Разумеется. Вообще было три мнения. Иные протестовали против своей судьбы — между собой, конечно. Некоторые были согласны, а у большинства было такое чувство: ну что же, раз так, то так. Я принадлежал как раз к этой группе. Почти все, с кем я учился в этой школе, погибли потом на Филиппинах и Окинаве.

Дальше мой собеседник рассказал о том, как воевали на Кюсю летчики-смертники, рядом с которыми он провел три месяца. Они должны были таранить авиаматки, это была их главная цель. Когда он прибыл на эту базу, там было от ста двадцати до ста тридцати самолетов, а ко дню капитуляции их почти не осталось.

Его задача как работника информации заключалась в том, чтобы слушать разговоры летчиков и освещать их в своих рапортах начальству, а кроме того, организовывать встречи и представления театральных трупп, которые приезжали в части. Информировать надо было о душевном состоянии летчиков, чтобы давать материал — и только положительный — для пропагандирования их жизни. Шпионить за ними не требовали.

— А какие разговоры были в последний месяц?

— Центром всего служила будущая битва за Японию. Летчики говорили, что вот мы идем умирать как смертники, а все равно это ничего уже не изменит. Зная, что я могу выжить, они меня уверяли, что тем, кто останется жить, будет труднее, чем тем, кто умрет.

— А не бывало ли таких случаев, что летчик, будучи один в воздухе, не таранил свою цель, а, вернувшись, говорил, что не нашел ее или погода помешала?

— Такие случаи бывали, но к концу все меньше, потому что фронт был все ближе и врать было все труднее. Начальство знало о таких вещах, но ничего не предпринимало — ведь все равно они все должны были умереть.

— А как летчики восприняли капитуляцию?

— О капитуляции нам стало известно на день раньше, чем об этом объявил император. Были такие, которые все равно после этого вылетали, чтобы броситься в море и разбиться, и это продолжалось еще дней пятнадцать.

— А вы лично как думали о войне перед самой капитуляцией? Хотели, чтобы она кончилась?

— Нет, я хотел бороться до конца.

— Но вы понимали уже безнадежность положения?

— Да, но все равно; ведь Япония до сих пор никогда не проигрывала войн. Япония может быть побеждена только тогда, когда в живых не останется ни одного японца.

— А сейчас вы тоже думаете, что правительство неправильно сделало, пойдя на капитуляцию? Вы, должно быть, сильно ненавидите победителей — американцев и русских?

После долгой паузы он сказал:

— Сейчас совсем ничего не понятно. Меня просто несет течением времени. Я так растерян и такая пустота в душе, что нет сил даже на ненависть.

### 23 февраля 1946 года. Киото

Среди многих других научных учреждений Киото числится так называемый институт изучения западной культуры. Как выяснилось, до мая 1945 года этот институт именовался институтом японо-немецкой культуры — так называли его японцы, или просто институтом немецкой культуры — так называли его сами немцы, так значилось и на обложке институтских ежегодников (текст ежегодника по-японски, обложка и оглавление по-немецки).

Так как деятелям института, видимо, не особенно улыбалась встреча со мной, то ее пришлось довольно долго организовывать. К сожалению, у меня как раз в этот день одна встреча следовала впритык за другой и время было ограничено. Однако свидание вышло все-таки любопытным.

Мы приехали на окраину Киото, в небольшой скромный домик господина Симуры, профессора Киотского императорского университета, специалиста по германской филологии и литературе. Симура был одним из учредителей этого исследовательского института, а с мая прошлого года, после того, как в предвидении будущих неприятностей немецкое руководство попросили удалиться в отставку, Симура стал руководителем института. Председателем же общества, финансирующего институт, остался все тот же человек, что и раньше, — господин Уэно, бывший редактор «Асахи».

Мы сидели в небольшой аккуратной комнате, где за открытой дверью виднелись шкафы с книгами; в токоном висела хорошая старинная картина и стояли курения. Сам Симура был небольшого роста старик лет семидесяти, с худым востроносим личиком и все время зябнущими от волнения длинными пальцами.

В моем присутствии он чувствовал себя неуютно и, видимо, согласился на свидание только потому, что уж слишком откровенно был замешан в совместной работе с немцами и отказаться прямо или сказаться больным значило только подчеркнуть это.

Вскоре к господину Симуре присоединился его сын, тоже специалист по немецкой литературе, сорокалетний доцент императорского университета господин Ояма, длинноволосый худой человек в больших очках, какой-то весь мягкий, бессуставный, «чистый ученый» и «специалист по Гёте» и, как мне почудилось с первого взгляда, может быть, самый яркий фашист из всех присутствовавших на нашей беседе.

Беседа изобиловала увертками, недоговоренностями и попытками оставить меня в дураках, изобразив из себя чисто научное учреждение.

Этот институт, конечно, был японо-германским только постольку, поскольку в нем вместе с немцами работали и японцы. По целям же своим это было чисто немецкое учреждение, построенное жестко на немецкий лад, руководимое твердой рукой работника немецкого посольства и специалиста по японской музыке доктора Эккерта, учреждение, целиком содержавшееся на немецкие деньги, очевидно по бюджету ведомства Розенберга, а впрочем, может быть, и по ведомству Геббельса.

В центре внимания стояла пропаганда новой немецкой философии и доказательств того, что фашистская культура является прямой преемницей старой немецкой культуры. Кроме того, институт занимался и

прямой фашистской пропагандой уже вне всякого наукообразия, устраивал приемы и встречи и т. д. и т. п.

Организовался институт почти немедленно по приходе фашистов к власти, в 1934 году, и окончил свое существование под старым названием в мае 1945 года вместе с капитуляцией Германии.

Характерно то бесстыдство, соединенное с чисто японской наивностью, с которым написан манифест и программа института в его новом качестве. В программе не обойдены факты, поставлены правильные даты организации и преобразования института и вполне бесстыдно сказано, что в мае 1945 года деятели японской культуры стали недовольны активным участием немцев в работе института и решили удалить немцев и взять руководство на себя. А совпадение во времени этого благоразумного решения с капитуляцией Германии обойдено полным молчанием.

Общее ощущение от людей, которых я увидел в этот вечер, самое неприятное. Мне трудно судить, насколько они действительно ученые-специалисты, очевидно, в известной степени это так, но главное в них сегодня — это психология многолетних содержантов германского фашизма, вдруг потерявших хозяина и растерявшихся и морально и материально. Они уже привыкли жить на этом содержании, и даже если бы они этого искренне хотели, им психологически трудно из особы публичной стать особой во всех отношениях приличной. Сейчас они переменили вывеску и ищут, что бы такое можно было изучать, за что снова платили бы. Они ищут нового хозяина. Если их наймет Херст, мне кажется, что они будут служить ему верой и правдой, так же как служили Розенбергу.

В тот же день состоялась беседа с профессором русского языка в осакском и киотском институтах иностранных языков. Мы побеседовали около двух часов, и впервые за всю поездку переводчик смог отдохнуть, потому что профессор прекрасно говорил по-русски. Это был интеллигентный человек средних лет, хорошо одетый и хорошо державшийся до тех пор, пока я не задал ему одного спугнувшего его вопроса. Вопрос этот был о русском исследовательском институте в Токио. Я знал, что институт этот финансировался наполовину генеральным штабом, наполовину министерством иностранных дел и представлял собой одну из наиболее враждебных, прямо связанных с японской военной организацией, и задал я свой вопрос в весьма осторожной форме, но мой профессор все равно насторожился и начиная с этого момента ежился уже до конца беседы.

После этой беседы у меня возникло одно общее соображение относительно людей в Японии, знающих русский язык.

Я бы условно разделил их на четыре категории. Во-первых, это коммунисты и левые, когда-то бывшие в России и привезшие свой русский язык оттуда. Во-вторых, это профессиональные переводчики русской литературы, люди, ориентировавшиеся на русскую культуру искренне и в меру своих возможностей изучавшие русский язык здесь, в Японии. В-третьих, это люди, так или иначе связанные разными торговыми взаимоотношениями с Россией, иногда работавшие при торгпредствах, чаще — в рыболовных концессионных компаниях (таких особенно много на Хоккайдо) или связанные с акционерным камчатским обществом АКО, а в известной степени и с работой на ЮМЖД и КВЖД. Четвертая категория — специальные переводчики и работники министерства иностранных дел и генерального штаба, главным образом сухопутного, ибо морской ориентировался на английский язык. Эти последние две категории — главным образом выходцы

из института иностранных языков, в то время как первые две в большинстве самоучки.

После капитуляции наблюдается, конечно, вполне закономерное явление. Две последние категории людей, знающих русский язык (кстати, между ними трудно провести четкую грань), стараются всеми силами соединиться с двумя первыми категориями и организовать нечто неопределенно-бесформенное — вроде общества людей, вообще знающих русский язык и вообще изучающих и любящих Россию. Среди этих новоявленных русофилов вы можете найти кого угодно, начиная от чиновников ЮМЖД и кончая уволенными работниками министерства иностранных дел и демобилизованными офицерами генерального штаба.

К этой именно категории неорусофилов, на мой взгляд, и принадлежал профессор, с которым мне довелось вести беседу.

### **25 февраля 1946 года. Киото**

Позавчера я узнал о существовании в Киото районных и городского союзов владельцев публичных домов и выразил желание встретиться с председателем городского союза. Выяснилось, что сегодня как раз будет обед, который председатели этих союзов дают представителям полиции и медицинскому отделу префектуры.

Председатель городского союза владельцев публичных домов господин Сато Мино согласился приехать туда на полчаса раньше и побеседовать со мной. Вот вкратце описание этого короткого, но примечательного визита.

Контора союза владельцев публичных домов помещается в центре Киото, в квартале Геон, о котором я уже упоминал. В том же доме помещается самый большой в Геоне ресторан.

Не снимая ботинок, ибо ресторан был европейского типа, мы вошли в какую-то комнату, которая, как я впоследствии понял, была залом заседаний союза. По дороге мы проходили мимо полуоткрытых дверей, за которыми сидели канцеляристы, щелкали на счетах, что-то писали; видно было окошко кассы, где, видимо, выплачивались деньги служащим, несгораемые шкафы — словом, все, что бывает в каждом уважающем себя учреждении.

Комната, в которую мы вошли, была довольно просторная и длинная, с длинным столом и полутора десятком кресел вокруг него.

В конце комнаты на маленьком пышном диванчике около хиба-ти особнячком сидел сам господин Сато Мино, сейчас же, впрочем, поднявшийся нам навстречу. Я ему дал свою визитную карточку, он мне свою, где, как мне потом объяснил переводчик, все так досконально и было написано, что он — имярек — является председателем союза владельцев публичных домов города Киото. Мы присели, и я имел возможность наконец разглядеть и его и остальное общество, находившееся в комнате.

Что касается господина Сато, то это был маленький аккуратный старичок, слегка пухленький, с небольшим брюшком, розовым, хорошо бритым лицом и дряблыми, начинающими обвисать щечками, с небольшой седенькой головкой, на которой волосы стояли чуть-чуть торчком. Одет он был прилично, в не слишком новый и не слишком старый европейский костюмчик (говоря о господине Сато, хочется все время употреблять уменьшительные слова: «костюмчик», «волосики», «щечки»). Было ему, по-моему, лет семьдесят; во всяком случае, он был самым старшим среди присутствовавших.

Я подумал, что если с кем-нибудь надо стесняться, то уж с вла-

дельцами публичных домов, пожалуй, меньше всего, и довольно бесцеремонно оглядел по очереди всех сидевших за столом.

Поистине это была кунсткамера. Если бы я не знал, куда попал, я бы, пожалуй, не догадался, что это, так сказать, «вожди» и «общественные деятели» проституции, но я бы долго ломал себе голову над тем, что из себя представляет собрание этих страшных масок. Господин Сато был самой благообразной из всех.

Собравшиеся были одеты по-разному: одни в европейские костюмы, другие в кимоно. Особенно мне запомнилось несколько лиц.

Огромный человек в сером кимоно напоминал фигурой тех гигантских японских борцов, которых я часто видел на экране. Это был толстый человек с бритой головой, с лицом, которое не метафорически, а буквально было больше в ширину, чем в длину, с глазами, где-то так далеко спрятанными между лбом и мясистыми щеками, что казалось, будто их долго забивали туда вглубь долотом. Рукава кимоно были засучены выше локтей, и огромные мясистые руки, как два куска говядины, неподвижно лежали на столе.

Недалеко от него сидел второй, тоже в кимоно, но черном, со спущенными рукавами, весь как бы наглухо закрытый. Из этого черного, наглухо закрытого тюка вылезала только голова, коротко стриженная, вся в каких-то буграх и шишках, с лицом, которое, казалось, кто-то гигантской рукой взял в кулак, сжал и потом отпустил. На этом лице был какой-то скомканный, неестественно перевернутый нос, красные, словно выжженные глаза и вывороченный рот. Лицо было каторжное и монументально неподвижное.

Третий тип, который мне запомнился, это очень высокий, очень худой человек, чрезвычайно прямо сидевший на своем стуле, одетый в длинную визитку. Под визиткой у него был грязный стоячий воротничок с отвернутыми уголками, засаленный галстук и какой-то невыразимый жилет. Голова его — очень узкая, с короткими бакенбардами, с прямым пробором и блестящими, словно намазанными лампадным маслом волосами по обе его стороны — держалась прямо, как посаженная на палку. Лицо было нечистое, узкое, абсолютно желтое, со словно нарисованными в ниточку бровями и глазами, заглянуть в которые можно было, только улегшись на пол: так низко были опущены веки.

Остальные были немногим лучше — какой-то лабазник, седой, весь в перхоти, в огромном сером пиджаке, с лицом, напоминавшим свиное рыло; маленький кривобокий старичок, запавший куда-то на дно глубокого кресла и, как утопленник, судорожно выбрасывавший то одну, то другую ручку, цепляясь ими за высокие подлокотники...

Словом, это была кунсткамера.

А над ней над председательским местом, с которого господин Сато перешел на диванчик, чтобы побеседовать со мной, висела огромная, во всю стену, длинная рама, в которую были вставлены портреты людей в кимоно и визитках. Эти старцы, изображенные на портретах и, видимо, приукрашенные фотографиями, выглядели весьма внушительно. Половина их была снабжена почтенными седыми бородами, другие увенчаны ретушированными сединами. Они висели горжественно и недоступно и имели вид, по крайней мере, кабинета министров.

Как выяснилось, это была галерея портретов покойных председателей киотского городского союза владельцев публичных домов. Дух предков осенял присутствующих.

Самое интересное для меня в этой комнате было именно зрительное впечатление. Разговор наш с господином Сато был очень ко-

ротким, ибо, по существу, все основное, что меня интересовало в области организации того дела, которым занимался господин Сато, было мне уже известно из многих предшествующих разговоров. Добавились лишь некоторые детали.

Во-первых, я узнал от господина Сато, что в городском союзе объединены не только председатели районных союзов публичных домов, но и председатели районных союзов домов гейш, потому что в коммерческом отношении принципиальной разницы господин Сато здесь не видит. Во-вторых, я выяснил, что выборы председателей районных союзов производятся раз в два года путем подачи бюллетеней тайным голосованием. Голосуют только мужчины — владельцы публичных домов, а женщины не допускаются к голосованию.

Я спросил господина Сато, не потребуют ли хозяйки публичных домов, основываясь на нынешнем равноправии женщин, равенства и при выборах в союз. Господин Сато торопливо сказал, что да, они это учли и что следующие выборы у них будут демократическими, с участием женщин.

Я заинтересовался, когда и кем был создан союз. Оказалось, что он был создан на пятом году эпохи Мэйдзи по приказу полиции, для того чтобы помогать ей в организации такого важного государственного дела, как публичные дома.

Наконец я спросил: что союз думает делать в связи с приказом Макартура от 2 февраля, запрещающим существование публичных домов и освобождающим девушек от долгов, связанных с продажей их?

Я ожидал, что господин Сато замнется и скажет что-нибудь невразумительное, но он очень спокойно и уверенно сказал, что они этот вопрос обсудили и решили, что теперь проститутки свободны от старых долговых обязательств. Они будут теперь заниматься проституцией индивидуально и сами получать деньги от своих клиентов; что же касается владельцев публичных домов, то они будут получать с проституток деньги за предоставление им места для жилья и места для свиданий.

И по тому, как он спокойно ответил мне на этот вопрос, я понял, что закон от 2 февраля едва ли хоть в малейшей степени подорвал моральные и финансовые прерогативы могучего сословия владельцев публичных домов, все дело сведется к перемене вывесок.

Этот вопрос был последним; наше не слишком затянувшееся свидание закончилось, так как почтенному собранию вскоре пора было приступать к своему деловому обеду. Я поблагодарил господина Сато за беседу и встал. Все владельцы публичных домов тоже встали, я им отвесил низкий поклон, они мне отвесили низкий поклон и стояли, пока я не прошел через всю комнату. Там я еще раз отвесил низкий поклон, они тоже.

## **26 февраля 1946 года. Киото**

Сегодня, в день отъезда, у меня была беседа с графом Отони — главой буддийской церкви, секты синсю.

Из предыдущих встреч и разговоров (с крестьянами, священниками и другими) я убедился, что синсю — самая распространенная в Японии из всех буддийских религий. Мне было интересно узнать о духовной и организационной стороне этого учения из первоисточника, от главы церкви.

Граф Отони жил в большом, просторном доме, недалеко от своей пятиэтажной канцелярии и храма. Мы подъехали к широким дверям дома по усыпанной гравием дорожке. Нас встретил мажордом,

а может быть секретарь, в рыжем штатском пиджачке и брюках и, заставив всех снять ботинки, провел в большую приемную.

Это была комната метров в восемьдесят, не слишком холодная, с огромными раздвигающимися стеклянными дверями и открывающимся через них видом на пруд и парк, примыкавшие к видневшемуся недалеко храму. Посреди комнаты стоял круглый стол, несколько глубоких кресел и несколько электрических хибати, по два около каждого кресла, так что можно было греть сразу обе руки. Впрочем, повторяю, в комнате было не особенно холодно, видимо, ее подогрели с утра.

Через несколько мгновений появился граф Отони в черном полукимоно-полусутане, с узкой, похожей на воротник, свисавшей до середины груди парчовой лиловой полосой, означавшей принадлежность к духовному званию и одинаковой у всех буддийских священников. Секретарь подал по первой чашке чая и исчез, плотно закрыв за собой дверь. На протяжении нашей последующей четырехчасовой беседы он появлялся только несколько раз на считанные минуты, уносил чашки и приносил новый чай.

Примерно полтора часа ушло на вопросы Отони о русской церкви и на мои ответы. Главное, что его интересовало, это количество верующих, количество ходящих в церковь, процент их по отношению ко всему народу, связь церкви с государством, система организации управления церковью и т. д. После этого начал спрашивать я, а Отони рассказывать. Вот примерно то, что я узнал из этой беседы.

Основой всей организации секты синсю являются храмы, к которым прикреплены верующие. Таких храмов в Японии около пятнадцати тысяч. Административный центр секты, а также ее центральный храм находятся здесь, в Киото. Здесь собирается церковный парламент, состоящий из шестидесяти девяти человек: пятнадцать из них назначаются центром, а остальные избираются в префектурах священниками, имеющими право голоса, то есть совершеннолетними. Священником может стать тот, кто кончил гимназию и выдержал религиозный экзамен. Существуют и курсы, где подготавливают людей для получения звания священника, есть четыре религиозных школы, в том числе три женских (так что в этой секте женщина может стать священником), есть один религиозный университет.

Главой церкви является граф Отони. Эта должность наследственная, она передается от отца к сыну; если в семье не рождался мальчик, брали приемного сына у родственников. Вот уже семьсот лет как во главе секты синсю стоит род Отони.

Мой собеседник вообще был «един в трех лицах»: во-первых, он был главой церкви как высшее духовное лицо, так сказать, наместник бога на земле, во-вторых, был главой административного центра церкви и, в-третьих, главой центрального храма секты.

У Отони есть несколько помощников, условно говоря, министров, в чьих руках сосредоточены все церковные дела, с премьер-министром во главе. Этих «министров» подбирает и рекомендует ему группа советников — нечто вроде совета старейшин, — но формально их назначает сам Отони. Парламент собирается раз в год, его заседаниями руководят председатель парламента и его заместитель.

Вся организация этой церкви очень напоминает организацию японского государства в целом.

В связи с демократизацией Японии, о которой сейчас заботятся все, включая руководителей союза владельцев публичных домов, секция синсю тоже задумалась над этим вопросом. Был созван церковный парламент по вопросу о том, удобно ли графу Отони совмещать дальше три должности. Как я понял, предполагалась следующая про-



цедура: граф Отони должен был заявить о своем отречении от одной из этих трех должностей, кажется от должности административного главы церкви, а парламент должен был не принять этой отставки и выбрать его снова на эту должность, но уже не в качестве человека, назначенного по традиции как глава рода Отони, а как человека, демократически избранного в церковном парламенте. Так в действительности все и произошло.

Я поинтересовался финансовыми делами церкви. Первоначальный фонд организации, сложившийся издавна, составляет примерно сорок миллионов иен. Ежегодный бюджет — от трех до четырех миллионов. Доходы церкви складываются из взносов верующих, платы за религиозные требы и доходов от образования, то есть платы за учење, за экзамены, за вступление в должность священника и т. д. В отличие от других сект синсю не имеет доходов от сдачи в аренду земель: при храме синсю земли нет. Это исторически так сложилось — синсю возникла как религия малоимущих, она не находилась, как другие, под покровительством крупных феодалов — даймё, которые дарили церквям земли, имущество и т. д.

Во время последней войны священники, если они были призывного возраста, подлежали мобилизации и участвовали в войне как солдаты или офицеры — в зависимости от образования. Таких было примерно двенадцать тысяч, треть всех имеющихся в секте.

Буддийских же священников как таковых при воинских частях было мало — только по личному желанию священника и с разрешения командующего дивизией. Их было мало потому, что армия в целом была настроена синтоистски. В центре всего воспитания армии была вера в божественную власть императора. А все религиозные церемонии во дворце императора совершались по синтоистским канонам. И в народе все религиозные отправления были синтоистские. Моления о победе или праздник по случаю взятия того или другого города — все это делалось под руководством военных властей и правительства и проводилось в синтоистских храмах. Поэтому не только буддизм, но и другие религии, кроме синто, не играли большой роли во время войны.

Я попросил графа Отони помочь мне разобраться в разнице между этими двумя религиями — буддизмом и синтоизмом и в том, почему они сравнительно мирно уживаются между собой и не ведут борьбы.

Несколько дней назад, разговаривая с мастером-керамистом и самобытным философом господином Каваи, я спросил его: как он считает, какая из нынешних религий — буддизм или синто — больше отвечает потребностям души современных японцев? Каваи ответил, что он в этом случае назвал бы синсю — ту секту буддизма, которая наиболее глубоко проникла в народ.

Тогда я сказал ему, что уже говорил и с буддийскими и с синтоистскими священниками, но ни те, ни другие, в общем, так и не ответили мне до конца на вопрос: как органически может совмещаться в душе одного человека, не мешая друг другу, и вера в религию синто и вера в буддизм? «Очень просто! — не задумываясь ответил мне Каваи. — Буддизм и синтоизм — это в конечном счете одно и то же. Когда вы молитесь синто — вы благодарите. А когда молитесь Будде — вы просите. В синтоистском храме вспоминают и благодарят своих предков, а в буддийском просят спасти или помочь. Синтоизм и буддизм свиты в одну веревку единого японского духа...» Так объяснил это господин Каваи, кстати сказать, посоветовавший мне встретиться с графом Отони.

И теперь я спрашивал о том же самом главу секты синсю.

— Восточная идеология не любит открытой борьбы и выявления противоречий, — ответил мне Отони. — Поэтому буддизм не отрицает других религий, к тому же, — добавил он, — синтоизм — не религия в полном смысле этого слова, и он не мог мешать буддизму. Ведь религия должна иметь теорию, спасающую душу человека, а в синтоизме нет речи о спасении души. Это учение основывается на почитании предков и на вере в некое сверхчеловеческое существо, стоящее у власти. До эпохи Мэйдзи синтоизм существовал как чаша без подставки, переворот Мэйдзи подставил под нее подставку, и он стал государственной религией. Сейчас, после рескрипта императора, этой подставки снова нет. Однако до тех пор, пока у японцев будет существовать чувство уважения к своим предкам, до тех пор будет существовать и религия синто — в том качестве, в каком она была до переворота Мэйдзи.

Независимо от своего официального положения, буддизм продолжал оказывать большое влияние на психику людей, в том числе и солдат. Спокойное, порой даже безразличное отношение к собственной смерти — одно из проявлений этого.

— Отрицает ли религия синсю вообще войну? — спросил я.

— В этом отношении буддийская религия не отличается от христианской: теоретически она против войны, но если война начата, она не будет вести антивоенную пропаганду и преследовать тех, кто участвует в войне.

— Присутствуя при многих дискуссиях о будущем Японии, я слышал со всех сторон разговоры о перенаселенности страны и невозможности для нации при дальнейшем приросте населения существовать на имеющейся территории. Мне было бы интересно узнать, как к этому относится руководитель церкви, объединяющей свыше десяти миллионов человек.

— Да, Япония находится в очень трудном положении и в отношении продовольствия и в отношении промышленного сырья. Если возможность международной торговли реальна, если можно будет получать продовольствие и сырье, перерабатывать его здесь, а изделия продавать, то будущее для Японии есть. Второе решение вопроса — мирное переселение японцев в другие страны. Такие прецеденты в истории бывали. Если же и тот и другой способы невозможны, то японскому народу остается только одно — самоубийство.

— Или новая война?

— Пожалуй...

— Значит, только что окончившаяся война не была вообще последней войной, как о ней сейчас говорят?

— Думаю, что утверждать так никто не может. Человек не бог, и неизвестно, чего он в следующий исторический момент захочет. Могу только добавить, что сейчас у Японии нет сил повторить войну.

Дальше разговор вновь вернулся к религиозным вопросам, и я спросил, не приходила ли ему, человеку столь высокого духовного сана, мысль о возможности объединения всех буддийских церквей в Японии. Он сказал, что эта мысль ему не приходила и не может прийти в голову, ибо разница между буддийскими сектами в Японии не меньшая, а может, большая, чем разница между церквями католической, православной и протестантской на Западе, и что вера в единого Будду объединяет эти церкви не больше, чем признание единого бога западными церквями.

Я спросил его, какая из буддийских сект является наиболее далекой и, так сказать, противоположной секте синсю. Подумав, он ответил, что самой далекой по догматам от синсю является секта тэнда й. Тогда я попросил его рассказать мне так, как он рассказал

бы простому крестьянину, какова разница между верованиями обеих сект.

Он ответил приблизительно следующее. Как секта синсю, так и секта тэндай признают существование божества — Будды, а также признают многобожие, то есть считают, что задачей человека является в течение его жизни методом самосовершенствования стать самому Буддой. Но кардинальная разница между обеими сектами — в понимании путей к этому. Секта тэндай считает, что для того, чтобы человек стал Буддой, нужны объективные условия, человек может и должен создать эти объективные условия, то есть он должен делать все для того, чтобы стать Буддой, и это в его власти. Секта же синсю считает, что возможность стать Буддой лежит вне человека, что это есть его судьба и что человеку не следует делать нечто специальное, для того чтобы стать Буддой. Сила, которая превратит его в Будду, не поступки, а само это желание стать Буддой, и оно предопределяет все его поступки. То есть в каждом человеке содержится зерно Будды и человек при помощи своего желания (а наличие такого желания тоже проявление судьбы и тоже идет от Будды и находится вне человека) постепенно растит в себе это зерно, которое превращает в конце концов человека в Будду.

— И, в сущности,— добавил он,— возможно, что секта синсю, признающая всесильность Будды и силу божьего промысла, олицетворенно в судьбе человека, гораздо ближе к некоторым из христианских религий, чем секта тэндай, тем более что христианская религия, формально не признавая многобожия, по существу узаконивает его в форме причисления людей к лику святых.

Я спросил: допускает ли учение синсю существование злых сил и в каком качестве — отдельно, независимо от Будды, или в качестве сил, которыми сам Будда позволяет действовать на земле наряду с добрыми силами?

— Нет,— сказал он,— злые силы существуют вне Будды и вне его власти.

— Но будет ли им конец на земле? — спросил я.

— Да,— сказал он,— конечно.— И добавил: — В том идеальном случае, когда каждый человек станет вполне Буддой. Тогда они должны исчезнуть, потому что злые, так же, как и добрые, духовные, силы могут иметь место только в человеческой душе, а если душа каждого человека будет целиком занята Буддой, то, значит, злые силы должны будут исчезнуть.

Секта тэндай упрекает секту синсю за то, что она якобы отрицает необходимость самосовершенствования человека и необходимость делать добро.

— Но это неверно,— сказал Отони.— Мы не отрицаем необходимости для человека делать добро, но считаем, что совершаемое им добро — не только результат его воли, но прежде всего результат воздействия на него Будды.

Я спросил его, в каком положении находится сейчас религия. Он сказал, что в последние годы, в частности в годы войны, заметно падение веры среди народа, а в связи с нынешними житейскими условиями — и сокращение тех очевидных проявлений веры, какими являются посещение храмов, пожертвования и сборища в храмах в праздники. Он не без горечи упрекал японскую школу, говоря, что там все внимание уделялось синтоизму, и не как религии, а как проповеди государственного духа, и что хотя учителя и не занимались антирелигиозной пропагандой, но само отсутствие всякой буддийской религиозной пропаганды уменьшало среди молодежи количество верующих.

**27 февраля 1946 года. Токио**

Записываю пропущенное, то, что не успел записать в Киото.

Не помню уж какого числа, не то 20-го, не то 21-го, я был в киотской художественной школе. Эта школа принадлежит городу Киото и существует на его средства. Основана она была в эпоху Мэйдзи, кажется в 1880 году.

Это старейшая художественная школа в Японии. Она состоит из средней школы с художественным уклоном и из высшей школы, то есть, по существу, из художественной гимназии. Средняя школа не дает никаких специальных прав, в ней только более расширенно ведется преподавание рисования.

В высшей школе преподается живопись и прикладное искусство; живописью занимаются две трети учеников, остальные — прикладным искусством. Это главным образом лак, разрисовка тканей, глины, фарфора. Две трети учеников высшей школы, переходя в нее прямо из средней школы, имеют то преимущество, что на экзаменах рисуют лучше других и тем самым имеют больше шансов на поступление.

Большинство студентов — дети людей среднего состояния, очень много детей интеллигенции и, что особенно любопытно, очень много детей священников. Интересно объяснение, какое мне дали по этому поводу сами студенты.

— Священники, — сказали мне, — имеют, может быть, самый стабильный заработок и могут не беспокоиться о будущем своих детей. Поэтому их средние и младшие сыновья очень часто идут в эту школу без того опасения, которое есть у многих из нас: если из нас не выйдет художников, то мы не будем иметь куска хлеба.

Интересно еще одно обстоятельство. Сейчас в школе занимаются наравне юноши и девушки.

— Давно ли так? — спросил я. — После капитуляции?

— Нет.

Оказывается, этот вопрос был поставлен еще во время войны.

Первый набор девушек произошел в апреле прошлого года. Это, пожалуй, единственный случай в Японии. Как выяснилось, при создании школы в эпоху Мэйдзи было разрешено женщинам и мужчинам учиться вместе, и в школе училось довольно значительное количество женщин, но постепенно эта традиция забылась и министерство просвещения официально запретило совместное обучение мужчин и женщин и в этой школе. Однако указ об образовании школы оставался, и его в апреле прошлого года восстановили, так что в высшей художественной школе сейчас учатся пятьдесят девушек.

В центре внимания живописного отделения школы — собственно живопись, причем живопись японская. Учащиеся проходят целый курс изучения японской живописи. Есть два преподавателя, которые занимаются со студентами работой с масляными красками, но это только один из этапов обучения, и очень небольшой.

После окончания высшей школы некоторые идут в нечто вроде аспирантуры при школе. Срок аспирантуры пять лет: еженедельная проверка работ профессорами и вольное слушание лекций. Некоторые не удовлетворяются этими пятью годами и повторяют их. Так, есть, например, люди, которые занимаются в этой аспирантуре пятнадцать лет.

До войны в художественной школе директор школы читал курс лекций о европейской живописи, главным образом на основании собственных впечатлений от поездок по Европе. Во время войны этот курс отменили, и до сих пор он не возобновлен. Я спросил, какие были к тому причины, не было ли соответствующей инструкции мини-

стерства. Меня настойчиво уверяли, что инструкции не было, а просто было много обязательных военных занятий, из-за которых не хватало часов и пришлось сократить именно европейскую живопись и историю всемирного искусства. Однако думаю, что едва ли это было так.

После высшей художественной школы некоторые студенты становятся художниками, большинство же идет на прикладную работу в художественное производство, чрезвычайно распространенное в Киото.

Плата для учеников средней школы — шестьдесят иен в год, а для учеников высшей школы — восемьдесят пять, то есть хотя, конечно, и меньшая, чем в университете, но все-таки довольно высокая, затруднительная для бюджета квалифицированных рабочих, дети которых, кстати сказать, почти и не учатся в этой школе.

После разговора в дирекции мы осмотрели школу. Она довольно грязная и неуютная. В одном из классов пять или шесть девушек рисовали бюст Вольтера карандашом, в другом классе три или четыре студента писали акварелью традиционные ветки вишни и сливы с натуры.

Потом меня повели в библиотеку и показали несколько лучших работ выпускников. Вдруг я увидел, что, пока мы разговаривали, в комнату ввалился человек пятьдесят или шестьдесят студентов и расселось вокруг стола. Не успел я спросить, что это такое, как директор обратился ко мне с просьбой сказать несколько слов студентам. Это не входило в мои планы, но делать было нечего. Я решил, что нет худа без добра, и экспромтом прочел собравшимся двадцатиминутную доморощенную лекцию о том, что нужно изучать всемирное искусство, что искусство чужого народа — не заразная болезнь, которой надо опасаться, а источник силы и обогащения своего искусства, и еще кое-что в этом же духе.

Боюсь, что я не доставил удовольствия ни директору, ни профессорам, ибо в течение двадцати минут говорил вещи, надо думать, не совпадавшие с тем, что они говорили студентам в течение последних нескольких лет. Студенты поджимали губы, качали головами — словом, делали все то, что обычно японцы делают в подобных случаях, и мне, как почти всегда, было трудно разобраться, абсолютно ли согласны они со мной или абсолютно не согласны.

Желая получить представление о нравах киотского общества, я попросил организовать встречу с одним из известнейших адвокатов Киото по гражданским делам, господином Кугэ, но, приехав к нему, к своему удивлению, застал там сразу четырех адвокатов. Один из четырех был сам господин Кугэ, очень молчаливый человек средних лет, это все, что я могу сказать о нем, ибо, хотя свидание у меня было назначено именно с ним, он за всю четырехчасовую беседу не открыл рта в буквальном смысле этого слова.

Второй, господин Носэ, прибыл почему-то в костюме парашютиста тоже в буквальном смысле этого слова, только без парашюта.

Третий, господин Сасаки, был высокий человек в черном кимоно, в пенсне, по внешности слегка напоминавший императора, по крайней мере его портреты.

Четвертый собеседник, господин Фукуи, был маленький благообразный старик, одетый по-европейски, с некоторой старомодной чопорностью. Остальные адвокаты относились к нему с сугубым почтением — то ли из-за его преклонного возраста, то ли потому, что он только недавно перешел в сословие адвокатов из сословия судей,

а адвокаты в Японии, насколько я успел заметить, пока что побаиваются судей. Суд держит их в черном теле.

Сначала я уточнил у собравшихся некоторые детали японского судопроизводства, которое обычно имеет крайне затяжной характер. После того как арестованного допрашивают в полицейском участке, до суда проходит три-четыре месяца, и все это время он сидит. Если он обжалует решение суда, то до рассмотрения дела в высшей инстанции проходит еще год-два. Адвокату почти никогда не удается ускорить судебный процесс в интересах подсудимого. Один из собеседников сказал, что самый длинный на его памяти процесс длился пятнадцать лет, и когда он кончился (это была денежная тяжба), общественное и экономическое положение сторон так изменилось, что для того, кто выиграл процесс, результат уже ровно ничего не значил. Вообще японские адвокаты находятся в худшем положении, нежели европейские. Они не могут сами собирать доказательства, так как все это сосредоточено в руках полиции, и даже бывают вынуждены не встречаться со своим подзащитным во избежание подозрений в том, что они научили его давать ложные показания.

Считая, что многие черты психологии и морали народа находят отражение в различных судебных историях, я попросил присутствующих рассказать какие-нибудь особенно запомнившиеся дела.

Господин Носэ рассказал о процессе против киностудии в Киото. Снимали какой-то исторический фильм и в качестве натурры использовали одну старинную крепость, считавшуюся государственной ценностью. По ходу действия там должен был быть инсценирован взрыв. Но эффект плохо рассчитали, примененное взрывчатое вещество оказалось слишком сильным, в результате была разрушена часть стены и погиб человек. Режиссер фильма был привлечен к ответственности за порчу государственной собственности. Адвокат же настаивал на том, что режиссер отвечает лишь за художественную сторону картины, а за организационную и техническую — начальник съемочной экспедиции. Впоследствии этот режиссер был оправдан, но пока тянулось дело, он семьдесят дней просидел в заключении.

— Самое большое количество дел, — говорит господин Сасаки, — связано с отказами от выплаты денег по страхованию.

— А какое место занимают разводы или споры о наследстве?

— Японцы считают эти дела внутрисемейными и не любят жаловаться в суд по таким поводам. Лет десять тому назад была создана специальная арбитражная комиссия и в нее — именно потому, что там споры разбираются за закрытыми дверями, — стало обращаться очень много людей. Вот одно из дел. Муж и жена дружно жили сорок лет, вместе трудились, накопили достаточное количество денег и занялись продажей риса. И вот однажды между ними возник спор. Повод был таков: у мужа был знакомый, когда-то оказавший ему покровительство, сейчас он попросил помощи, чтобы тоже начать торговлю рисом. Жена воспротивилась, опасаясь конкуренции. С этого все и пошло. Споры стали учащаться. Сын встал на сторону матери. Отец, у которого к этому времени появилась любовница, подал в суд, чтобы вывести сына из дела и лишить его наследства. Сейчас как раз решается этот вопрос, а также вопрос о разделе имущества между мужем и женой. Арбитражная комиссия пять месяцев бьется над тем, чтобы найти какое-то соглашение между сторонами. Вряд ли удастся их примирить, остается определить, на какие части делить имущество между мужем и женой.

— А разве это имущество делят не пополам?

— Нет, если дело решает суд, то только личное имущество жены остается у нее в руках да еще то приданое, которое она принесла

с собой. Все остальное имущество в доме остается мужу, если на этот счет между ними нет особого нотариально заверенного соглашения.

Очень часты сейчас в Японии семейные распри, связанные с отношениями между женой и матерью мужа. По традиции невестка должна беспрекословно подчиняться свекрови. Но теперь, когда так велики продовольственные трудности, это часто выливается в трагедию: свекровь хочет быть диктатором при распределении пищи, а невестка как хозяйка, ведущая дом, не может с этим согласиться. Есть несколько случаев возбуждения дела о разводе именно на этой почве.

В связи с этим разговором на судебные темы я вспомнил свою беседу с киотским корреспондентом «Асахи». Городской репортер, он был в курсе всех шумевших дел и сказал, что за годы войны, как, впрочем, и сейчас, это были главным образом дела о злоупотреблениях с хайкю. Заводчики, которые держали много рабочих, или руководители улиц, которые должны были составлять списки жителей, неправильно указывали количество людей. Продукты же, которые предназначались для хайкю, продавались на черной бирже. Известен крупный процесс, в котором был замешан директор завода, бывший член городского совета Киото, — он продал большое количество сахара, которое должно было идти в хайкю.

После капитуляции увеличилось количество вооруженных нападений на прохожих. Нападают главным образом безработные, которые работали в военной промышленности, а сейчас демобилизованы и не могут найти нового места. Стало очень много нищих. Правда, на улицах вы их не увидите, они собираются вокруг вокзалов, потому что люди, которые едут на поезде, берут с собой продукты питания и там, следовательно, есть у кого просить. На улице же просить бесполезно.

Кстати, в беседе с этим же корреспондентом мы коснулись одного психологически очень трудного момента. Я попросил его рассказать мне откровенно о его ощущениях 15 августа, в день капитуляции. Что творилось в городе в этот день? Все ли поняли из речи императора по радио, что случилось? Какое впечатление эта речь произвела на людей?

Оказалось, что мой собеседник в этот день был на одном из заводов и мог наблюдать все, что там происходило. Качество радиопередачи было там очень плохим, речь императора была записана на пленку, но не все в ней было понятно. Очень многие были в отчаянии, плакали. Это были главным образом мобилизованные на работу студенты и школьники. А некоторые рабочие, казалось, чувствовали какое-то облегчение. Мой собеседник разделил тогда для себя людей на три категории. Первая — высшие круги, которые уже видели, что война безнадежно проиграна, и ждали конца. Вторая — масса народа, которая была загнана на войну насильно, она и радовалась и тревожилась: что будет завтра? И третья — это молодежь, которая была огорчена манифестом и желала продолжать войну до последней капли крови.

Я спросил, что чувствовал он сам в этот день. Он сказал, что как газетный работник он уже раньше узнал о капитуляции, но тем не менее опубликование манифеста его ошеломило. Чувство у него было сложное. С одной стороны, он испытывал облегчение оттого, что война окончилась, а с другой — был в полной растерянности, почти неделю не мог написать ни одной заметки в газету. О том, что война будет проиграна, он догадался еще в позапрошлом году, когда был

военным корреспондентом на Яве и наблюдал там, как солдаты, проходя в город сделать покупки, потом под разными предлогами старались остаться, выпить, покутить и оттянуть возвращение на передний край. К тому же вооружение, которое он сам видел, бывая на переднем крае, тоже не внушало ему оптимизма...

## 28 февраля 1946 года. Токио

Был в театре у старшего Хидзикаты на репетиции «Кукольного дома». Против обыкновения, в помещении было довольно тепло. Режиссерский столик, вернее целый стол, стоял у самой ramпы, а в зале сидели тридцать или сорок человек, показавшихся мне — по ассоциации с Москвой — студентами ГИТИСа. Оказывается, я ошибся не так уж намного. Дело в том, что при самом крупном частном университете Васэда в Токио студенты создали свой Свободный университет, в котором они начиная с декабря прошлого года слушали интересовавшие их курсы лекций, не входивших в университетскую программу, в том числе курс о театре, который им читал Хидзиката. Теперь они для практики ходили на репетиции «Кукольного дома».

Это была последняя, генеральная репетиция. Началась она в девять утра. Я пришел, когда в половине второго был объявлен перерыв перед последним актом. Дальше должны были репетировать третий акт, а после этого до восьми часов предстояли поправки и повторы отдельных неудавшихся сцен. На следующий день в полдень предстояла премьера, которая в первый же день должна была быть сыграна два раза.

Всего репетиций на сцене здесь бывает две, и обе считаются генеральными. Вторая, на которую я попал, была всего-навсего двадцать третьим днем репетиций. Правда, репетиция по-японски — это не то, что репетиция по-нашему. Это не четыре и не пять часов, а сплошная работа с девяти утра до пяти вечера каждый день.

В антракте Хидзиката-старший показал мне сцену. Оформление спектакля было решено очень просто и, когда я поднялся на сцену, произвело на меня невыгодное впечатление. Мебель была бедная, сборная, а главное, мне не понравились стены комнаты: этакие стены из второразрядных европейских дворцов, с лепниной всюду, где надо и где не надо. Как мне показалось, все это было очень грубо нарисовано. Хидзиката сказал, что оформление спектакля принадлежит самому лучшему японскому художнику. Я промолчал.

Когда началась репетиция, я спустился в зрительный зал. Занавес открылся, и я взял обратно свои подозрения относительно квалификации художника. Оформление в смысле вещей как было, так и осталось убогим, но живопись стен была, оказывается, сделана применительно к определенному освещению и к определенной удаленности глаза от сцены, с японской точностью в этих делах и отсюда, из зала, производила идеальное впечатление лепных украшений. Непонятно, правда, почему они были в доме Хельмера, но сделаны они были, ничего не скажешь, здорово.

Подруга Норы, фру Линде, сидевшая на сцене в начале третьего акта, была очень проста и женственна. Рыжеватый парик и легкий грим сделали ее лицо европейским и в то же время оставили какой-то чужой оттенок, а чуть косящие глаза придавали ей выражение некоторого милого лукавства.

Вскоре появился Кругстад в коричневом костюме, с высоким воротничком и почему-то в высоких сапогах. Играл его отец жены нашего Хидзикаты, и, к моему огорчению, играл, на мой взгляд, неверно: напряженно, хрипло, угрюмо — словом, по одной внешней линии,



без всякого намека на сумятицу чувств, царящую в душе Кругстада, на то, что, в сущности, и привлекает в этой роли актеров.

По двум сторонам сцены стояли машинист, подававший нужные сигналы рабочим, и суфлер, подсказывавший актерам реплики. Текст актеры знали еще очень неточно.

Между прочим, любопытное обстоятельство. Впоследствии также под суфлера шла заключительная сцена Норы и Хельмера, суфлер, по крайней мере, в десятке мест вынужден был прервать действие, но, видимо, японские актеры уже натренированы в этом смысле. Они даже не теряли темпа и нерва действия. Короткая пауза, совершенно в той же позиции, на которой был забыт текст, застывшее выражение лица — и с ходу продолжение, без всякого замешательства.

Последняя знаменитая часть пьесы, после прихода Норы и Хельмера, была сыграна неплохо, но несколько испорчена тем, что артист, игравший Хельмера, в особенности вначале, переиграл опьянение.

Нора, на наш европейский взгляд, была нехороша собой, особенно плохим был парик, и это мешало. Мешало также одно обстоятельство, как выяснилось впоследствии, чисто японского порядка. Последняя сцена, когда Нора внутренне уже приходит к решению уйти от Хельмера и когда, по логике пьесы, все, что говорит Хельмер, она слушает с чувством все большей отчужденности от мужа, здесь не получилась. Когда Хельмер, повернувшись к Норе, гладил ее по голове, она улыбалась, когда окликал, она обязательно обращивалась, когда у него в голосе появлялись ласковые нотки, у нее тоже.

Я после репетиции сказал об этом Хидзикате. Он улыбнулся и ответил, что это верно, но это очень трудный вопрос, потому что в области чувств японская актриса, играя европейку, все равно остается японской женщиной, а японская женщина, даже решив уйти из дому, не может не улыбнуться, когда муж гладит ее по голове, не повернуться к нему, когда он с ней заговорит, или ответить холодным тоном, когда в его голосе она почувствовала ласковые ноты.

И еще одна подробность.

Актерская манера игры несколько приподнята, слова произносятся too громко, too тихо, too быстро, too медленно. Слишком много «нерва» и подчеркнутости театральности в голосах, а мизансцены при этом заторможены, как в «Кабуки». Половина последнего объяснения Норы и Хельмера происходит в совершенно неподвижных позах. Они сидят посредине сцены за столом друг против друга.

Этот контраст между манерой произносить слова и манерой вести себя создает какое-то странное впечатление. Оно усугубляется еще тем, что когда после очень долгой спокойной мизансцены Хельмер вдруг вскакивает, то он вскакивает бурно, как ошпаренный. В течение нескольких секунд он «рвет страсть в клочки». А потом опять очень длинная, очень скупая и спокойная мизансцена.

В общем, я с огорчением подумал, что тюрьма и много лет театрального бездействия несколько вышибли Хидзикату из седла как профессионального режиссера, но надо надеяться, что это временно — слишком многое в его личности свидетельствует о том, что это человек незаурядного таланта.

С репетиции «Кукольного дома» я отправился на последний спектакль пьесы «Счастливый дом», шедшей тут же неподалеку, в одном из больших театральных зданий. Играла ее труппа Мураямы — второго из трех виднейших левых театральных деятелей Японии. Попал я только к началу второго акта. Действие уже началось, и меня посадили на галерку, о чем, впрочем, я не пожалел, оттуда все было

хорошо видно и слышно и, кроме того, я мог следить за реакцией зрительного зала.

Пьеса была инсценировкой. В основу ее был положен вышедший во время войны в Америке роман русской эмигрантской писательницы, рассказывавшей о событиях в Тяньцзине, с которых, по существу, началась эта восточная война. Мураяма сам переделал этот роман для сцены.

Все происходит в английском квартале Тяньцзиня, в маленькой гостинице, содержавшейся старухой, русской эмигранткой. У нее дочь, два внука (один взрослый, а другой мальчик лет восьми) и две внучки — лет двадцати и шестнадцати. Кроме того, в этом же городке живет русский эмигрант, профессор, когда-то учившийся в Гейдельберге, пьяница-англичанка, старый повар-китаец, желающий взять себе вторую жену, не разводясь с первой, двое или трое антияпонски настроенных китайских студентов и немецкая еврейка, бежавшая из Германии.

Действие начинается в первые дни японской оккупации Тяньцзиня. Старший внук в конце концов уезжает в Советский Союз, бабушка умирает, младший внук из окружающей его ужасной обстановки уезжает с англичанкой к ней домой, старшая внучка в последнюю минуту выходит замуж за американского солдата, спасшего ее во время пожара в кинотеатре, и уезжает в Америку. Происходит еще много разных событий, в результате которых дом пустеет и в конце концов остаются только мать и младшая дочь, они выходят в сад, говорят, что там тепло и надо пойти погреться на солнышке: жить все-таки нужно.

Насколько я мог судить по очень приблизительному переводу тех двух актов, второго и четвертого, что я видел, в пьесе, безусловно, что-то было. Во всяком случае, она была театральна. Я спросил Мураяму, чем вызвана постановка именно этой пьесы. Он сказал, что, во-первых, это пьеса о самом начале японо-китайского конфликта, то есть о том, с чего началась эта война. Во-вторых, ему кажется, что сейчас в Японии чрезвычайно важно работать над правильным решением расовой проблемы и проблемы дружбы наций. Поэтому его привлекла в пьесе антимилицаристская направленность, а также рассказ о том, как сила любви переходит границы наций. Это, по его мнению, существенно.

Зал смотрел пьесу как замороженный. Сентиментальные места явно били прямо в души зрителей, а смешные вызвали бурную реакцию. Многое мне понравилось и в самой постановке, в режиссерской работе. Мураяма сам ставил и сам оформлял спектакль. Декорация была бедная, но хорошо продуманная: большая низкая комната, узкая внутренняя каменная лестница, скупо освещенная и, как труба, уходящая куда-то вверх, расположенная прямо против зрителя входная дверь в комнату оставлена открытой, и за ней виднеется освещенный солнцем брандмауер, из-за этого брандмауера возникает совершенно точное ощущение грязного, накаленного солнцем двора где-то среди городских трущоб.

Но самое интересное — это маленький артист, игравший восьмилетнего или девятилетнего мальчика. Может быть, на самом деле ему было лет двенадцать или тринадцать. Этот явно талантливый ребенок был не загримирован, у него было вполне японское личико, и только поверх его черных волос был наложен рыжий паричок, но об этом я забыл через пять минут после того, как увидел его на сцене. С ним на сцене возникала реальная жизнь. До последнего акта он почти не включался в действие активно; он жил сам по себе, как живет сам по себе ребенок. Его лучшие места были совсем не те, где он произносил вызвавший реакцию зрительного зала детский наивный и смешной

текст, а те, где он молча слонялся по комнате или несколько долгих сценических минут сидел спиной к зрителю на пороге двери, сидел и ничего не делал, одинокое маленькое существо, никому не нужное и болтавшееся у всех под ногами.

Эти минуты, конечно, заслуга режиссера. Они — надо отдать должное Мураяме — превосходно найдены и производят сильнейшее впечатление. Так же великолепно сделана сцена, когда мальчик уезжает с англичанкой. Открытая дверь, все тот же выжженный солнцем брандмауер и маленькая фигурка, которая почти от рампы медленно, спиной к зрителю идет к двери среди молчания и неподвижности взрослых. В этот момент было чувство такой жестокости судьбы, что даже меня как-то перевернуло. И только уже в самых дверях он вдруг с задыхающимся детским криком кинулся — не к матери и не к сестре, а к стене как к единственному спасению и заколотился об эту стену, громко и отрывисто всхлипывая.

Удалась режиссеру и общая атмосфера гостиницы. Очень выразительные, спокойные и молчаливые проходы действующих лиц через сцену; длинные и выразительные паузы, в хороших традициях русского театра. Короче говоря, спектакль мне очень понравился.

Антракт после второго акта и весь третий акт я просидел в актерской уборной, одной на всех мужчин, как у нас при выездах в клубы. Кстати сказать, именно в такой вот обстановке выезда в чужое помещение какого-то клуба и работают до сих пор японские актеры всю жизнь. В комнате, застланной не очень чистыми циновками, посредине стояла электрическая плитка, на которой кипятился чай. Актеры сидели на корточках у стен, где висели и стояли маленькие зеркала. Тут же одевались, переодевались, гримировались, тут же висело разное тряпье. Словом, было более чем неуютно.

Мураяма рассказал мне, что начал строиться и к концу будущего года будет построен на средства, собранные зрителями — любителями театра, небольшой новый театр вместо сгоревшего, в свое время построенного Хидзикатой. В этом театре можно будет несколько переменить систему репетиций и спектаклей, можно будет репетировать пьесы до двух месяцев и играть спектакли не подряд, а меняя репертуар.

— А в этих залах, где мы сейчас играем, — сказал он, — где скрипят двери, где входят и выходят во время действия, где сидят в шапках, где грязно и холодно и где зрители, по существу, не чувствуют разницы между театром и кино, приходится наполовину играть, а наполовину вести борьбу со зрителем.

Я спросил, существует ли профессиональный союз работников искусств. Он сказал, что союз писателей уже организовался, союз киноработников тоже. К этому союзу киноработников думают присоединиться по профессиональной линии и театральные работники. Вообще же до сих пор чаще всего профсоюзные объединения под нажимом американцев создаются при компаниях. Когда американцы на них нажали, то две главные театральные компании создали каждая у себя свой профсоюз, который не имеет никакой силы и влияния и, по существу, является только инструментом в руках директора компании.

### **3 марта 1946 года. Токио**

Вчера после завтрака я поехал на квартиру к профессору Свободного университета, который был у меня со своими студентами третьего дня. Из пяти юношей, которые тогда были с ним и которые организовали Свободный университет, двое, как оказалось, не так давно были смертниками. Вот и пойдешь разберись во всем этом!

Дом профессора был на самой окраине Токио, большой, хороший, с красивым садом. Кажется, в нем жили одна или несколько эвакуиро-

ванных семей. Во всяком случае, сам хозяин существовал наверху в маленькой комнатке на казарменном положении. Комната была похожа на комнату нашего интеллигента: европейская кровать, письменный стол, два кресла, а остальное книги, книги — на полках, на столах, на шкафах, на полу, на подоконнике, словом, всюду.

Кроме профессора, собралось еще человек пять японцев: двое из вчерашних и трое незнакомых мне, в том числе одна девушка, которая, как и полагается женщине в Японии, не проронила в течение четырехчасовой беседы ни слова.

Профессор, пожалуй, чуть-чуть излишне щеголял терминами «феодализм», «капитализм», «империализм», «милитаризм», будучи при этом, видимо, человеком и умным и марксистски образованным.

На обратном пути выяснилось, что наш провожатый — серьезный студент в очках, очень аккуратно одетый, с математически ровным пробором и, по-видимому, один из заводил комсомольской организации университета — сын управляющего делами одного из принцев, родственников императора. В разговоре он, между прочим, сказал, что во дворце принца идет совсем особая, отдельная и странная, на его взгляд, жизнь. Я спросил его, насколько он осведомлен об этой жизни. Он сказал, что вместе с отцом он живет при дворце, но сам, конечно, не знает всей этой странной жизни.

— А отец знает? — спросил я.

— Знает.

Тогда я попросил его устроить мне встречу с отцом. Он обещал попробовать это, причем добавил, что ему нужно еще немножко поработать с отцом — и отец будет голосовать за коммунистов. Я пошутил, что, после того как он поработает с отцом, стоит поработать немножко с принцем, принцу со своим родственником — императором — и все проблемы общественного устройства Японии будут решены. Он не понял шутки и сказал с абсолютной серьезностью, что когда его отец приходит к принцу, он попадает там в совершенно иное официальное положение и не может высказывать своих чувств и идей. Пришлось объяснить ему, что я пошутил.

#### 4 марта 1946 года. Токио

Вчера ездил на комсомольское собрание студентов Свободного университета. Собрание происходило на одном из многочисленных маленьких заводов, расположенных в этом районе.

Мы с Хидзикатой и провожатым прошли на заводской двор, поднялись по страшно крутой и узкой каменной лестничке, приделанной к дому снаружи, на второй этаж, где на последней ступеньке уже стояло, или, вернее, лежало, великое множество ботинок и гета. Пришлось, прислонившись к стене, опять стаскивать ботинки, причем мне это настолько надоело, что я готов поклясться, что всю обратную дорогу до Москвы так и не сниму ни разу ботинок, буду даже спать в них.

На собрании было человек двадцать. Комната небольшая, заставленная канцелярскими столами. По стенам полки с книгами. Стульев всем не хватало, кое-кто сидел на подоконниках и столах.

Студенты были одеты по-разному, кто победнее, кто побогаче, но в большинстве прилично. Из-под пальто виднелись воротники студенческих мундирчиков с подшитыми у всех свежими подворотничками.

Подтянутый студент на вид лет двадцати, в хорошем сером пальто — если не ошибаюсь, я его видел у профессора, — деловито вел собрание. Придя, я попросил не обращать на меня никакого внимания и продолжать собрание так же, как оно шло. И в самом деле, через две-три минуты присутствующие забыли о моем существовании, и я только сидел и слушал то, что мне на ухо переводил Хидзиката.

Первый вопрос был о внутренних делах университета. Была установлена общая плата за прослушивание курса — тридцать иен, которые должны были вноситься в два срока. Плата профессорам устанавливалась тридцать иен за час лекции. Потом распределялось между участниками собрания, кому и к какому из намеченных ими лекторов пойти для переговоров. Кто-то сказал, что у него нет времени.

— Сейчас у всех нет времени,— спокойно, но резко оборвал его председатель.

Потом шли разговоры о плате за помещение, о взносах на библиотеку, о помощи студентам, сдающим экстернами. Потом я не без интереса слушал, как между студентами распределяется работа по составлению биографий профессоров, которые читали и будут читать лекции в университете. Оказывается, узнав о существовании Свободного университета, соответствующий отдел штаба Макартура запросил их биографии.

Наконец с этими текущими вопросами было покончено, и председатель заявил, что господин такой-то будет рапортовать о положении дел в университете.

Встал юноша лет восемнадцати или девятнадцати, маленький, с очень резкими чертами лица. Говорил он отрывисто и энергично, внешне спокойно, но внутренние, видимо, волнуясь и несколько, я бы даже сказал, заносясь на поворотах. Начал он с того, что заявил:

— Как член комсомола я хочу сказать вам, каким образом должна идти реорганизация университета. Мы должны реорганизовать университет своими руками, потому что, если мы его не реорганизуем сами, его никто не будет реорганизовывать. В пятницу было собрание профессуры, на котором они снова не дали никакого ответа на наше требование отменить экзаменационные сессии. Ту форму, которую университет имеет сейчас, определяют приказы министра просвещения. Нам нельзя ждать, пока что-то изменится наверху. Нам надо начать борьбу самим и в борьбе завоевать возможность организации и привлечения к себе новых людей. Это необходимо потому, что фактически без отставки всего кабинета министров реорганизация университета невозможна. Мы это понимаем, и надо, чтобы каждый отдельный студент понял, что нашим противником является не только реакционная профессура, но и стоящий за ней министр просвещения и сам премьер-министр — они руководят всем этим. Поэтому надо объяснить студентам, почему наша профессура не может, если бы даже и захотела, вместе со студентами пойти против министерства. Что же касается экзаменационных сессий, то нужно во что бы то ни стало довести дело до бойкота экзаменов — в том случае, если профессура не пойдет нам навстречу.

Потом началась перепалка по вопросу о гласности или негласности влияния комсомола. Один из студентов убеждал, что влияние комсомола на общую студенческую массу должно быть негласным, ибо иначе на первых порах слово «комсомолец» будет слишком многих отпугивать. Студент, который только что произнес столь решительную речь о реорганизации университета, неожиданно для меня поддержал его:

— У нас много студентов, которые изучают марксизм и являются марксистами, но не приходят сюда, боясь названия «коммунист» и «комсомолец», и нам нужно поэтому называться не комсомольской организацией, а как-нибудь иначе.

Остальные горячо поднялись против этого предложения. Один из тихо сидевших до этого студентов сказал, что комсомол должен называться тем, что он есть.

— Кто придет в этом случае, пусть придет, а кто не придет, пусть не приходит.

Завязался довольно долгий разговор на эту тему, из которого я, в общем, понял, что до сих пор все эти комсомольцы боялись публично объяснить, что они комсомольцы, и никто в университете об этом не знает. Больше того, они не решились проводить это свое собрание в университете и специально сняли отдельную комнату, чтобы устроить собрание втайне от студентов. Только сегодня, сейчас они отважились на первый важный шаг — объявить себя комсомольцами и созвать собрание в университете, вывесив объявление о том, что в университете 8-го числа будет комсомольское собрание.

К сожалению, я не мог дольше оставаться и уехал. Если бы меня спросили, что я думаю об этих молодых людях, я бы сейчас затруднился ответить. Наверное, при преследованиях вся эта организация рассыпалась бы, остались бы, может быть, два-три человека. Многие из них, я думаю, пришли в комсомольскую организацию не по твердой внутренней потребности, а по головному увлечению материализмом и марксизмом, причем им казалось, что естественным продолжением этого было идти в комсомол. В большинстве это были сыновья более или менее состоятельных родителей. Если бы не общий разброд в Японии, не душевные потрясения, которые, очевидно, испытали и они и их семьи, пожалуй, они продолжали бы оставаться аккуратными студентами и не пришлось бы им снимать эту комнату. Впрочем, была в этом собрании и атмосфера определенной деловитости, которая, надо сказать, мне понравилась.

### 6 марта 1946 года. Токио

Сегодня выступал с лекцией перед студентами Свободного университета. Студентов было человек двести. Собрались мы в большой аудитории, дико холодной. Я по своей привычке не мог выступать в пальто, и счастье мое, что я тепло оделся, надел все что мог под пиджак, таким образом, я кое-как не замерз.

Лекция, или, вернее, беседа, шла без перерыва три с половиной часа. Я сделал коротенький вступительный доклад на полчаса, а потом слушал вопросы и отвечал на них. Вопросы были самые разные. Были вопросы, в которых сказывалась искренняя заинтересованность. Были вопросы, в которых выразилось просто любопытство. Были довольно многочисленные вопросы, в которых спрашивавшие искали у меня поддержки тому, что они сами делали сейчас в университете. И были вопросы с намерением меня подковырнуть, вроде такого:

— Почему в вашей стране, если у всех имеется возможность получать образование, не все идет в университет?

Или:

— Если студенты учатся на государственные деньги и университеты являются учреждениями государственными, то не значит ли это, что студенты не могут выражать своих взглядов, независимых от государственных? Не является ли это фактически запрещением для студентов всякой критики государственного строя?

Из вопросов, в которых у меня искали поддержки, был любопытен вопрос о том, что делало русское студенчество во время революции, как оно участвовало в ней и что происходило во время революции и после нее в русских университетах.

Зная ситуацию у них в университете, я постарался рассказать о наших учебных заведениях в предреволюционный и послереволюционный периоды таким образом, чтобы у слушателей моих возникло как можно больше аналогий, ни словом, конечно, не помяная при этом ни Японию, ни их университет.

Разговор был горячим. Вопросы сыпались без перерыва один за другим. и я уехал оттуда только в половине пятого совершенно измученный.

Из университета я поехал домой к студенту, который стал на эти дни моим проводником и отец которого служил управляющим делами у принца. Приняли меня очень гостеприимно, но самый разговор обманул мои ожидания.

Управляющий делами принца был человек суховатый и, по-моему, не из скрытности, а от природы крайне неразговорчивый. Может быть, сказалось и то, что я буквально ошалел от усталости после лекции и не мог выдать из себя сколько-нибудь активных вопросов, а это тоже имеет значение.

Из этой беседы ограничусь только несколькими записями.

Образование принцы крови получают в дворянской гимназии, после чего учатся в нормальной военной или морской школе. По традиции принцы крови должны идти на военную службу: первый в армию, второй во флот, третий в армию, четвертый во флот и т. д. Сейчас из трех принцев крови первый и третий в армии, а второй во флоте.

Отец принца окончил военно-морскую академию в Курэ и к концу войны дослужился до звания капитана первого ранга, а фактически являлся во время войны членом главного морского штаба и имел большое влияние на дела флота, подобно тому как его старший брат имел такое же влияние на армию.

Что касается императора, то выяснилось, что он воспитывается сначала, как и его братья, в дворянской школе, а после этого его начинают подготавливать к государственной деятельности, для чего созывается особый совет под председательством какого-нибудь из видных политических деятелей. В годы обучения нынешнего императора в этом совете председательствовал адмирал Того, в годы обучения предыдущего императора Тайсэ — прадед Хидзикаты.

Я спросил, каковы отношения между братьями. Оказалось, что в неофициальные моменты они встречаются с императором просто как с братом, а не как с представителем божественного государственного духа.

Дворец, в котором сейчас живет принц, перевидал уже многих хозяев. Здесь жил взаперти император Тайсэ в то время, когда он был болен — так деликатно выражаются японцы о его сумасшествии. Потом жил в юношеские годы нынешний император. Потом жили все молодые принцы вместе. Потом некоторое время никто не жил. Потом, когда правительство выстроило парламент непосредственно рядом с дворцом принца, то принца всеподданнейше попросили уступить дворец и переехать в новый, на что он милостиво согласился, получив крупное отступное — два миллиона иен по тогдашнему твердому курсу. На эти два миллиона иен он занимается все эти годы традиционной благотворительностью, в частности, например, выдает премию своего имени лучшему рыбаку страны и лучшему крестьянину. Я пытался выяснить, по каким критериям определяется этот лучший рыбак или лучший крестьянин, но выяснить это мне так и не удалось.

— По рекомендации префектуры, — сказал мой собеседник и этим ограничился.

Кроме того, принц состоит председателем Красного Креста, в связи с чем его сейчас чуть не ежедневно посещают американцы.

— Завтра тоже будет прием американцев, — заметил мой собеседник.

Я поинтересовался, кого из американцев принц принимает завтра.

— Завтра он принимает начальника всех эмпи, — сказал хозяин,

и в его голосе почувствовалась дань уважения к эмпи, то есть к американской военной полиции.

Принц крови дает прием начальнику токийской американской военной полиции — это неплохо звучит!

Я вдруг вспомнил об эпизоде в университете. Когда я после лекции спускался по лестнице, то увидел на втором этаже двух здоровенных эмпи в касках, которые на лестничной площадке на большом железном листе развели костер из обломков какого-то шкафа и, приплясывая от свирепствовавшего в университете холода, грелись у этого костра.

Когда хозяин дома упомянул об эмпи, я спросил его сына:

— Кстати, что это за эмпи у вас в университете?

— А,— сказал он,— эти эмпи пожгли у нас уже три этажа мебели и сейчас жгут четвертый. Они там поставлены охранять несколько сейфов Формозского банка.

— А почему у вас очутились сейфы Формозского банка? — спросил я.

— Потому что когда Формоза оказалась в опасности, то в помещении университета сделали отделение банка и в нескольких комнатах поставили шкафы с ценностями. Сейчас решают, что с ними делать.

— Неужели руководители Формозского банка оказались такими любителями образования, или университетская администрация такой любительницей Формозского банка?

Студент на секунду замялся, а потом сказал:

— Это потому, что и университет и банк контролирует концерн Мицуи, поэтому он и разместил у нас отделение банка — наверное, не было другого помещения.

И я вспомнил, как в своей беседе со студентами выразил опасение, что если они пойдут слишком далеко влево и перестанут быть надежными кадрами для Мицуи, то не может ли вдруг Мицуи в один прекрасный день закрыть университет и разместить у них какие-нибудь цехи своих заводов? Высказывая это гиперболическое предположение, я, конечно, не думал об этом практически, а между тем оказалось, что я был не так уж далек от истины.

В этот же вечер поехали в театр «Симпа». Слово «симпа» значит «новый». Театр «Симпа» был создан в восьмидесятых годах прошлого века кружком либералов, которые через театр пропагандировали свои идеи. Это было сначала вполне политическое предприятие, где разыгрывались политические сценки, устраивалась в полном смысле этого слова живая газета и вообще велась крупная политическая игра.

С течением времени «Симпа» потерял этот характер и стал своего рода переходным театром. В нем были использованы многие методы «Кабуки» (условность декораций и характер игры актеров), но пьесы были посвящены более близким временам — самому концу эпохи Токугава и в особенности началу эпохи Мэйдзи. Значительное место в этих пьесах занимала народная жизнь и жизнь интеллигенции. Стиль пьес был скорее сентиментальный, чем героический, и вообще с точки зрения жанра этот театр можно определить как театр сентиментальный. В театре много эклектического, и сейчас он находится в трудном положении, как человек, слишком долго засидевшийся между двумя стульями.

В десятых годах этого века «Симпа» достиг наибольшего расцвета. Существовало четыре крупных труппы, работавших по этой системе, и к этому времени сложился основной репертуар. Сейчас остался всего один театр, на представление которого я поехал.



Смотрели мы пьесу из жизни актеров конца прошлого века, то есть середины эпохи Мэйдзи, пьесу, написанную для той эпохи, но переделанную сейчас заново репертуарной частью театра. Она повествует о том, как живут на свете молодой певец и молодая музыкантша, играющая на сямисэне, как работают, как любят друг друга и как ревнивы друг к другу в области искусства.

Пьеса начинается с их ссоры: он упрекает ее за то, что она плохо играла сегодня. Следует скандал, она убегает. Потом идет сцена их примирения и объяснения в любви; потом снова ссора — уже на почве ревности к богатому ростовщику, ухаживающему за ней. Молодой артист бросает оскорбление в лицо своей возлюбленной, та бросает ему в лицо афишу спектакля, он топчет ее ногами и уходит. Она выходит замуж за ростовщика. Он переходит в плохую труппу, опускается все ниже и ниже, пьянствует.

Однако о них обоих говорят, что они друг без друга не могут ни существовать, ни играть, что он без нее — как коробка без крышки. Наконец, когда он находится на грани полного падения, она, затосковав по своему искусству, приходит к нему, и они начинают репетировать. И вот их первое представление — очень удачное, после чего она говорит своему мужу-ростовщику, что не в состоянии репетировать и играть так редко, что она должна снова всецело отдаться искусству, а если муж запретит, то она разведется с ним. Тогда молодой актер говорит ей, что она разучилась играть, что она сегодня плохо играла. Возникает новая ужасная ссора.

Последняя сцена происходит в какой-то нищей харчевне, молодой актер сидит там со своим другом. Друг недоумевает, за что тот оскорбил актрису: она ведь прекрасно играла. Надо попросить у нее прощения, и она вернется. В ответ на это пьяный артист говорит, что она играла так хорошо, как никогда, но она сказала, что ради искусства разведется, а он за эти годы побывал на дне, видел, что творится с людьми, пожертвовавшими своей жизнью ради искусства, все потерявшими, состарившимися, и не хочет, чтобы она испытала их участь. Друзья сидят за столом и оба плачут. А в это время какая-то бродячая музыкантша проходит за стеной мимо двери и тихо играет на сямисэне. Оба они молча в отчаянии прислушиваются к этим звукам. На этом кончается пьеса.

Постановка была весьма эклектична. Занавес не отдергивался людьми, как в «Кабуки», а опускался механически. Колотушки в начале и в конце действия остались от «Кабуки». В коротких антрактах за сценой, как в «Кабуки», бьет барабан, отсчитывая время.

Декорации смешанные. Например, декорация леса вполне реалистическая, стоят реальные деревья, и тут же рядом речка, которая сделана таким образом: через сцену протянуты два узких голубых полотна, между которыми посредине оставлен как бы разрезающий их кусок пола, огороженный с обеих сторон двумя деревьяшками,— это должно изображать мостик с перилами.

В «Кабуки» сейчас играют только мужчины. Здесь этот принцип тоже нарушен, но не до конца. Есть на сцене женщины-женщины и есть женщины-мужчины. Главную женскую роль, роль артистки, играл руководитель театра, роли еще одной или двух женщин тоже играли артисты, а остальных, подруг героини, играли женщины.

Методы, которыми пользуются мужчины, играющие женщин, тоже несколько иные, чем в «Кабуки». В «Кабуки», где изображается не поведение человека, а идеал его поведения, мужчины, играющие женщин, подчеркнута жеманность, утрированно женственны в движениях. Актер играет, что он женщина. В «Симпе» актер реально изображает женщину, причем руководитель театра, видимо отличный актер, всю

жизнь специализировавшийся на женских ролях, играет в смысле имитации настолько замечательно, что если не знать заранее, что это мужчина, и не сидеть в первых десяти рядах, откуда все-таки, несмотря на грим, видна немолодая мужская рука, право, вы можете так и уйти, не заподозрив ни на минуту в этой женской фигуре мужчину.

Остальные актеры играли неровно. Лучшее всего, пожалуй, играл актер, исполнявший роль героя. Последнюю сцену опьянения в харчевне он провел просто превосходно. Но в игре у них у всех тоже эклектика. С одной стороны, неподвижные мизансцены «Кабуки», и подчеркнутый условный жест в минуту гнева, и закрывание лица в минуту стыда, и в то же время приемы, рассчитанные на сентиментальное воздействие на публику: непосредственные слезы, непосредственное отчаяние, непосредственный, не пропущенный через условную форму, открыто выраженный темперамент.

Публика смотрит спектакль хорошо, много смеется, бурно реагирует, зал, насколько я видел, был набит почти до отказа. Зрители в патетических местах часто выкрикивали имена актеров и аплодировали.

Хочется еще раз сказать, что актеры в японском театре привыкли работать в атмосфере шума: в зале иногда кричат или плачут дети, зрители входят и выходят, страшно скрипят двери, чиркают дети, за сценой, несмотря на то, что действие идет, постукивают молотками, доколачивают следующую декорацию, но актеры настолько привыкли к этому, что не обращают никакого внимания. Я сам уже начал не обращать на это внимания, потому что мне начинало казаться, что они играют в атмосфере естественного житейского шума. Скажем, где-то за стеной дома кто-то стучит, где-то у соседей заплакал ребенок, кто-то чиркнул спичкой, кто-то прошел через комнату. Хотя это для нас неприемлемо и невозможно, но здесь возникает какой-то особый смысл. На спектакле, который я видел, почему-то особенно беспокойны были дети. Во время затянувшегося антракта человек пятнадцать их залезли на рампу и стали подглядывать под занавес, что там происходило. Когда занавес поднялся, дети так и продолжали сидеть на рампе, у ног актеров. И в этом было что-то милое.

Но что совершенно ужасно, это дикая грязь в театре, окурки, бумага, накиданная вдоль рядов и вдоль проходов, грязные до последней степени полы, ободранные, чудовищно грязные барьеры, к которым страшно прикоснуться — так они засалены. И в «Кабуки» было, с нашей точки зрения, очень грязно и пыльно, но то, что мы увидели в театре «Симпа», трудно встретить в самом маленьком кинотеатре в самом захолустном углу нашей провинции.

После спектакля мы поехали в актерское общежитие другого театра, который называется «Дзенсиндза» — «Вперед».

Весь комплекс этого театрального предприятия находится на окраине Токио, вернее, почти за городом (десять лет назад, когда они начали строиться, кругом почти не было домов). Меня вез всю дорогу беспрерывно улыбавшийся администратор театра, а на пороге встретил руководитель труппы, сразу мне улыбнувшийся и так уж и продолжавший изнывать в улыбке до последней минуты моего пребывания у них.

История театрального коллектива «Вперед» в коротких словах сводится к следующему. В 1931 году руководитель труппы и видный актер ее, представитель одной из старинных и знаменитых актерских фамилий «Кабуки», соединившись с другим великолепным актером, не имевшим возможности вернуть свое дарование из-за того, что он происходил не из старинной актерской фамилии, а из семьи актеров второго положения, объединили вокруг себя группу артистов, недовольных не столько творческими методами, сколько режимом «Кабуки», создали

свой театральный коллектив на началах самокупаемости, коллективности и независимости от театральных компаний.

Первые шесть лет им приходилось очень трудно, во-первых, потому, что их бойкотировали недовольные появлением этого коллектива монопольные компании: не давали им помещения или заламывали за него бешеные цены. Они вынуждены были играть в маленьких дешевых театрах, но постепенно, с каждым годом завоевывали себе популярность — и благодаря тому, что среди них были хорошие актеры, и благодаря тому, что они работали, не щадя сил, и благодаря организаторским способностям и упрямству руководителей коллектива. Трудно им приходилось еще и потому, что у них была мечта, мечта, свойственная в принципе всем актерам Японии, — иметь собственное помещение и собственную если не сцену, то хотя бы репетиционный зал, где можно было бы репетировать когда угодно и сколько угодно, вне зависимости от возможности или невозможности арендовать чужое помещение.

Наконец через пять или шесть лет работы, во время которой они отказывали себе во всем, они купили себе клочок земли на окраине Токио и построили сначала репетиционный зал и подсобные помещения, а потом четыре жилых дома по восемь квартир в каждом. Три из этих домов, на их несчастье, перед самой войной сгорели. Они только что стали отстраивать новые, как началась война и работу пришлось прекратить. Сейчас эти дома так и стоят недостроенные за исключением одного, несгоревшего.

Посещение началось с осмотра всего хозяйства. Во-первых, нам показали большой отличный репетиционный зал, содержащийся в блистательной чистоте и порядке. В зале были портреты более или менее знаменитых актеров «Кабуки» и знамя театра. Потом мы смотрели комнаты, где занимались пением и где сейчас в связи с отсутствием жилища ночевали незамужние актрисы, затем библиотеку, где теперь жили два актера-холостяка, и общую столовую. До войны все актеры вместе завтракали, обедали и ужинали. Теперь в этой столовой жил руководитель театра со своей семьей. Показали нам ваннные комнаты, в одной из которых, предназначенной для женщин, стояли две маленькие детские кроватки, в которые женщины, идя купаться, могли класть детей.

Потом мы осматривали сохранившийся дом. Дом состоял из восьми трехкомнатных квартир; в каждой квартире две комнаты внизу, одна наверху — хорошая, большая, кроме того, рядом с лестницей крошечная каморочка, которую я сначала принял за чулан. Выяснилось, что это специальная комната, куда актеры могли уединяться, когда они учили роль, чтобы не мешать жить окружающим. Сейчас в каждой из этих квартир жило по две семьи: одна внизу, другая наверху.

Все, что нам показывали, было сделано с предельной тщательностью: актерские квартирки с аккуратными садиками, блистающий чистотой репетиционный зал, аккуратные музыкальные комнаты, довольно порядочная библиотека. Чувствуется, что во все это вложено немало любви и труда.

После осмотра помещений мы вернулись в репетиционный зал, где немолодой человек с легкими и сильными кошачьими движениями, учитель танцев, давал урок детям актеров. Детей было человек пятнадцать — шестнадцать, начиная от пятилетнего карапуза и кончая почти взрослой девушкой.

После того как я посмотрел танцы, началась комическая часть моего посещения. Руководитель со сладчайшей улыбкой сказал мне, что как раз сегодня состоится собрание детских групп (каких детских

групп, я абсолютно не имел представления) и что я должен быть посаженным отцом этих групп. Я тоже сладко улыбнулся и сказал, что с удовольствием исполню эту роль.

После этого трое мальчиков, выходя вперед один за другим, очень четко объяснили нам, какие это детские группы и для чего они созданы. Во-первых — не знаю, точно ли это перевели, — это группа детей грудного возраста, во-вторых, детей дошкольного возраста, и в-третьих, детей школьного возраста.

— Эти группы, — разъяснили нам, — будут всеми силами служить искусству и стремиться к демократизации всего народного искусства в Японии и во всем мире.

Я был просто поражен таким энтузиазмом, особенно со стороны грудных групп, и все время продолжал вежливо улыбаться.

Все это было очень забавно по форме, но по существу идея коллективного воспитания детей, и воспитания их с малых лет в атмосфере искусства, напоминала хорошие традиции средневековых цехов, а в обстановке очень трудной актерской жизни в Японии, кроме того, это была идея, безусловно, благородная.

После этого все — и дети и взрослые — довольно мелодично и не без энтузиазма спели гимн театра. Как выяснилось, музыку к гимну написал Ямада, и она звучала довольно приятно и вполне по-европейски. Пели все, начиная от руководителя труппы и кончая его смешным пузатым черноглазым сыном, крошечным мальчуганом, очевидно только недавно перешагнувшим грудную группу и перешедшим в дошкольную. Не пел только самый младший сын руководителя, сидевший за спиной у матери и явно принадлежавший к грудной группе, ибо немедленно после пения его отнесли кормить.

После этого мы отправились наверх, где за ужином на протяжении по крайней мере полутора часов произошел интересовавший меня разговор о творческих судьбах театра.

В конце разговора руководитель сказал мне, что если японскому театру откроется возможность поехать в Россию, то их коллектив никому не уступит этой чести и сделает все, чтобы поехали именно они. Видя их подвижническую жизнь и искренний патриотизм по отношению к своему делу, я поверил, что эти чрезвычайно энергичные люди добьются своего (между прочим, руководитель коллектива и еще один актер театра ездили вместе с «Кабуки» в Москву не то в 1930, не то в 1931 году).

Этот коллектив объединяет несомненно прекраснейшая идея — освободить актеров от чудовищной зависимости от монопольных компаний, ведающих искусством, и поставить их, хотя бы на репетиционный период, в более или менее человеческие и творческие условия.

### **18 марта 1946 года. Саппоро**

11 марта мы выехали на Хоккайдо — остров, составляющий чуть ли не пятую часть Японии. Планы были весьма широкими, но большинство из них не удалось, к сожалению, исполнить: сказывается огромная усталость. По дороге видел несколько объявлений, которые решил записать. Первый плакат гласил: «Тихо! Не лезьте в вагоны как победители, потому что мы не победители». Второй плакат: «Не смейтесь над захватчиками!» (именно «захватчиками» — в японской транскрипции этого слова). Третье объявление: «Не влезайте в вагоны через окна!» Это уж, конечно, для характеристики нынешних способов передвижения.

В Саппоро, административный и политический центр Хоккайдо, город с двухсоттысячным населением, мы прибыли 13-го вечером. 14-е ушло на ходьбу по городу и знакомство с профессором, занимаю-

щимся историей айну, к которому у меня было рекомендательное письмо. Профессор — человек еще не старый, ему лет сорок с небольшим, видимо, бедный и хорошо знающий свой предмет. Он преподавал раньше в Саппорском университете, но потом раза два или три арестовывался и наконец принужден был перейти работать в газету. Мы побеседовали с ним в редакции газеты, где на моем пути попала примечательная личность: один из айну, живущих в самом Саппоро.

Представьте себе человека очень маленького роста, маленького даже для Японии, коренастого, широкого в плечах, со странным лицом, на котором глаза сидят так, словно они глядят откуда-то из-под земли. Широкие, вылезавшие вперед зубы дополняют это впечатление. Одет этот человек в резиновые сапоги, в каких тут ходит большинство мужчин, в солдатскую куртку и штаны. По профессии он, во-первых, пожарный, а во-вторых, резчик по дереву. Он один из тех, кто изготавливает в массовом количестве деревянных медведей, продающихся во всех магазинах Саппоро за цены начиная от десяти иен и кончая восьмьюстами и размером начиная от трех-четырёх сантиметров и кончая полуметровой зверюгой, которую нельзя даже взгромоздить на письменный стол.

Этот айну учился раньше в специальной школе для айну, потом, с ликвидацией этих школ, окончил японскую начальную школу, после чего стал заниматься самоучкой. Он, так же как и все айну призывного возраста, был в армии и сейчас, вернувшись в Саппоро, стал заниматься политической работой. Называет он себя коммунистом, хотя к коммунистической партии не принадлежит. Все деньги, вырученные им от резки деревянных медведей и за работу в качестве пожарного, он сейчас тратит на издание газеты айну. Газета эта выходит на японском языке, ибо на другом она выходить и не может: у айну, во-первых, нет письменности, а во-вторых, из шестнадцати тысяч айну, живущих на Хоккайдо, по его собственным (я полагаю, объективным) подсчетам, знают родной язык не более трехсот стариков и старух. Что до него, то он сам не знает языка айну. Однако это последнее обстоятельство не мешает ему быть ярым айну. Газету он выпускает на свои деньги в какой-то маленькой типографии, тиражом в тысячу экземпляров, размером не больше листа, закладывающегося в пишущую машинку, а статьи ввиду того, что у него нет денег для оплаты авторов, он пишет все сам, начиная от обращения народа айну к Макартуру и кончая требованием отмены несправедливых для айну законов. В первую нашу встречу он вручил мне первый номер своей газеты, а в последнюю дал уже второй номер, который успел выпустить за время нашего пребывания в Саппоро.

Этот человек одержимый. Его идея сводится к тому, что айну — это народ Севера и что родом он из Сибири, поэтому ему ближе всего русская культура и культура народов Севера. И вот он считает, что Россия должна помочь айну так, как она помогла другим северным народам, сохранить и развить свою культуру. А в более широком смысле он считает, что все восточные народы (русский народ он тоже считает восточным) должны сохранить свою восточную культуру и бороться с западной. Наряду с этими завиральными идеями у него есть идеи вполне деловые и трезвые: относительно отмены несправедливых законов и относительно улучшения быта айну.

Айну — это шестнадцатитысячный народ, из которого, как я уже сказал, только триста человек знают родной язык, у которого народный эпос сейчас сохранился только в переводах и уже давно не бытует в реальной жизни. Они носят японские фамилии, потому что до эпохи Мэйдзи в Японии никто, кроме знати, не имел фамилий, а когда было приказано всем иметь фамилии, то и айну взяли себе японские

фамилии. Дома у них японские, быт японский — на уровне беднейших японских крестьян.

Скорее всего в сложившихся здесь обстоятельствах они через двадцать — тридцать лет окончательно сольются с японцами и как самостоятельная народность прекратят свое существование. Впрочем, загадывать в таких вопросах трудно.

С наличием айну сейчас связана целая отрасль туризма. Туристы могут съездить в айнскую деревню, где профессионалы своего дела будут показывать им мнимо существующие ныне быт и обычаи айну. Отчасти это отрасль кустарной промышленности, ибо хотя в большинстве айнские изделия делают сейчас предприимчивые японцы, но благодаря тому, что официально айну существуют, существуют и медведи, вырезанные айну, и т. д. и т. п. Надо понять, что для Японии, где поехать на Хоккайдо — это все равно что у нас поехать куда-нибудь на Колыму или на Камчатку, все это, включая деревянных медведей, сделанных айну на Хоккайдо, экзотика. Тем не менее пока что в парламент даже выставлены три депутата-айну.

Что же касается идей моего знакомого, то если во внешней политике он преследует цель борьбы с западной культурой, то во внутренней политике выдвинул совершенно химерический план возвращения айну на старые, как он говорит, земли и превращения их снова в народ, занимающийся охотой и рыболовством.

На следующий день мы с профессором должны были ехать в Асахи-гава, это километров сто пятьдесят на север от Саппоро. Половина дня у нас прошла в ожидании поезда, но он так и не пришел из Асахи-гава, а следовательно, не пошел и обратно. Погода стояла похожая на мурманскую — поздние метели, — и поезда не шли ни туда, ни сюда.

Вообще кто на Хоккайдо не бывал, тот снега не видал. Думаю, что некоторые даже в России не видели такого чудовищного снега; может быть, где-нибудь в Хибинах, да и то, пожалуй, нет, ибо там холодные ветры сдувают снег, а мороз его как-то утрамбовывает, прессует, что ли; а тут снег как падает, так и лежит, ноздреватый, пухлый и неправдоподобно высокий.

Саппоро больше всего напоминает Мурманск. Несколько десятков высоких каменных зданий, из них два или три очень высоких, несколько сот каменных домов, построенных, видимо, в десятых годах в стиле модерн, а остальные деревянные, прочно сколоченные дома смешанного типа: с европейскими дверями и японскими окнами, с японскими дверями и европейскими окнами, с высовывающимися прямо из стен трубами буржук. Здесь всегда было более или менее благополучно с каменным углем, и дома кое-как отапливаются. Дома ставят, в противоположность остальным японским городам, не тесно, иногда даже на довольно большом расстоянии друг от друга. Это тоже напоминает мурманскую разбросанность.

Полдня проторчав на вокзале, мы вернулись в гостиницу.

Профессор пригласил нас на вечер поужинать к своей сестре, бывшей замужем за доктором городской больницы. Я пошел туда без особого энтузиазма, но вечер оказался гораздо интересней, чем я ожидал.

Во-первых, опишу дом и общество. Дом полуевропейского типа — с той странностью, что влезать в него пришлось, как в шахту: до такой степени его завалило снегом. Большая комната с японскими циновками и русской буржуйкой. За столом на корточках, не считая Кудреватых, меня, двух Хидзикат — младшего и самого младшего — и поехавшего с нами японского кинооператора Сиоды, сидели: профессор, его сестра — крупная женщина в очках, с очень умным и волевым лицом, видимо, весьма образованная, англазированная и при всем том

так и не съевшая ни кусочка, пока мы, мужчины, не откушали; ее муж, видный по здешним масштабам социал-демократ, человек, почти так же похожий на японского императора, как и один из киотских адвокатов, в пенсне с двойными стеклами, с усиками и аккуратным пробором; затем его коллега — врач из той же больницы, неслух и, видимо, приличный человек либерального толка; и наконец, странный персонаж — недоучившийся студент из Токио (впрочем, по моему, чуть ли не сорокалетний), одетый в кокумин, растрепанный человек с быстро бегающими глазами.

Беседа началась с вопроса о языке эсперанто и о том, распространено ли эсперанто в СССР. Мы сказали, что нет, и это ужасно огорчило профессора, который, как оказалось, был долгие годы вождем местных эсперантистов. Как это ни странно, при довольно трезвых суждениях по всем остальным вопросам в этом вопросе он был явно одержимым и считал эсперанто универсальным лекарством от всех бед. Все коммунисты и вообще все пролетарии мира, по его мнению, должны были немедленно выучить эсперанто и иметь возможность переписываться и объясняться друг с другом в массовом масштабе, и тогда, имея свой общий пролетарский язык, они нашли бы общий язык духовный и все сложные мировые проблемы были бы просто и быстро решены.

После эсперанто разговор перешел на будущее Хоккайдо, и профессор стал развивать свою теорию, которую уже развивал мне днем, когда мы ходили по городу и безуспешно пытались попасть в заваленный снегом саппорский музей. Дело в том, что у профессора была идея организации автономной республики Хоккайдо. Мотивировал он эту идею не столько политической, сколько хозяйственной необходимостью.

— Дело в том,— говорил он,— настоящую колонизацию Хоккайдо задерживают две вещи: культура риса и культура циновки, то есть южная культура питания и южная культура дома. Климатические условия Хоккайдо не приспособлены для того, чтобы выращивать много риса, и в то же время абсолютно приспособлены для того, чтобы выращивать прекрасную рожь и пшеницу. А между тем южные привычки, перенесенные с Хонсю и Кюсю, требуют риса. И Хоккайдо, с одной стороны, является крупным потребителем риса, ввозит его и, таким образом, не имеет хозяйственной автаркии, а с другой стороны, на Хоккайдо не распахивают тех полей, которые можно было бы распахать, если бы они предназначались для северных культур — хлеба, картофеля и т. д. и т. п. Так мешает развитию Хоккайдо культура риса. Культура циновки и японского дома на Хоккайдо просто-напросто мешает людям нормально жить. Зимой все мерзнут. Из-за холода невозможно заниматься никакими ремеслами, и они не развиваются, а зимние условия Хоккайдо, которые не были бы страшны ни для одного переселенца, если бы здесь строились нормальные, русского типа дома, пугают ожан, ибо они представляют себе свой домик на Хонсю, перенесенный в условия Хоккайдо, и это действительно страшно.

Я спросил профессора:

— Неужели для того, чтобы добиться этих перемен, нужна автономия?

— Да,— сказал он,— слишком сильно психологическое давление южных привычек. Если подчеркнуть особые условия Хоккайдо его административным выделением, то это сильно повлияет на умы и привычки японцев. Это необходимо хотя бы как временная мера, пока северная культура здесь окончательно не победит южную.

Когда мы в разговоре коснулись вопроса о женщинах, профессор сказал:

— Кстати, северная культура еды вместо культуры риса и северная культура печей вместо культуры хибати во многом раскрепостит женщину, даст ей возможность заниматься ремеслами и вообще работой.

Я в первую минуту не совсем понял, почему это так, и переспросил.

— Очень просто,— сказал профессор.— Если у вас в доме едят хлеб, то, во-первых, вы его можете испечь на несколько дней, не говоря уж о том, что просто можете купить его в лавке. Если же у вас едят рис, то женщина три раза в день должна варить на всех рис. Если у вас печь, вы раз в день истопили — и у вас тепло. Если же у вас хибати или камелек, то кто-то, а этот «кто-то» всегда женщина, должен сидеть с железными хаси в руках и следить за огнем. По существу, в Японии, как в пещерные времена: кто-то в доме сидит у огня и поддерживает его.

Недоучившийся студент тем временем осаждал меня вопросами о будущей войне между СССР и Америкой; что война будет, в этом он был твердо уверен, и главное, что его беспокоило, это состояние вооружения Советского Союза и сможет ли Советский Союз сопротивляться западной технике. Он снова и снова возвращался к войне, предостерегал Советский Союз от зазнайства в связи с окончившейся войной, от самоуспокоенности и т. д. и т. п. При этом он выдавал себя за коммуниста и чуть ли не за бывшего редактора какого-то коммунистического журнала. Я колебался между двумя ощущениями: не то этот человек одержимый «левак», не то провокатор.

В середине ужина я обратился ко всем присутствующим с просьбой дать мне ответ на мой всегдашний вопрос: что бы сделал завтра каждый из них, если бы был главой правительства?

Кинооператор Сиода, прошедший восемь лет военным корреспондентом на фронте, человек трудовой и очень искренно мучающийся всем, что произошло с Японией, сказал так:

— Если бы я проснулся завтра премьер-министром, я бы стал думать о том, что Япония превращается в колонию Америки и что если я премьер-министр Японии такой, какая она есть сейчас, то я мышка, а Америка — это кошка. И кошка играет с мышью. Но ничего не известно: может быть, есть еще и лев. Вот и все, о чем бы я подумал, если бы проснулся премьер-министром. Сделать я бы ничего не сделал, потому что при том положении, какое есть сейчас, что может сделать премьер-министр?

Профессор сказал, что если бы он был премьер-министром, он бы потребовал автономии Хоккайдо.

— Кроме того,— добавил он,— хоть вы со мной и не согласны, но я сделал бы все для того, чтобы развить среди японских рабочих эсперанто.

Хозяин дома очень серьезно и долго выкладывал свою программу. Если бы он был премьер-министром, то он бы отстранил императора от политической власти, но сохранил бы его как символ единства народа. Он национализировал бы крупную промышленность, уголь, железные дороги, ликвидировал бы концерны, передал бы все прибыли нажившихся на войне предприятий на поднятие материального уровня народа и т. д.— словом, шпарил прямо по программе социал-демократической партии.

Доктор, приятель хозяина, сказал, что будь он премьер-министром, он прежде всего пошел бы в штаб Макартура и выяснил свое положение, то есть чего от него хотят и чего не хотят, что он может и чего не может. Он потребовал бы, чтобы ему точно указали тот круг полномочий, который ему дан, ибо он не любит быть в смешном положении.



нии и делать вид, что он что-то решает, когда он ничего не решает. И даже пост премьерера не утешил бы его, если бы сохранилось такое положение, какое существует сейчас у нынешнего.

— А мои действия,— добавил он,— были бы в соответствии с ответами американцев на мои вопросы.

Хозяйка дома сначала сказала, что если бы она проснулась премьер-министром, то она немедленно вручила бы императору свою отставку и передала свои права мужу. Я не стал уговаривать ее отвечать на вопрос, а просто через десять минут, когда она вышла по своим хозяйственным делам и вернулась, сказал, что я передал ее отставку императору, император отставку не принял. Тогда она сказала, что она не знает, что бы она предприняла в качестве премьер-министра завтра в области внутренней политики, но в области внешней политики главное, чего она боится, это войны между Россией и Америкой, и она сделала бы все для того, чтобы этой войны не было. Кроме того, она наладила бы связь с Советским правительством и постаралась устроить так, чтобы в Японии была бы наконец информация о людях, оставшихся на Сахалине и на Курильских островах. При всей своей сдержанности она говорила очень взволнованно, и это неудивительно, ибо их сын, пятнадцати- или шестнадцатилетний мальчик, остался на Южном Сахалине в специальной медицинской школе. Их учителя в последнюю минуту убежали в Японию и оставили своих учеников на произвол судьбы, и сейчас сюда доходят самые противоречивые и дикие слухи, и я, честно говоря, удивлялся не тому, что мать заговорила об этом, а той сдержанности, с какой она весь вечер об этом не упоминала.

Наконец дошла очередь и до недоучившегося студента. Он взъерошил волосы и, окинув всех хитрым взглядом, сказал:

— Если бы я завтра был премьер-министром, я сделал бы все для того, чтобы помочь Советскому Союзу в его войне против Америки. Вы все твердите, что никакой войны не будет, но вы говорите одно, а думаете другое, и для нас всех в Японии тут ясно, что война эта будет, вопрос только — в этом месяце или в следующем. Что же касается внутреннего положения, то я думаю, что было бы рано принимать какие-нибудь меры, потому что война все равно все переменит, а что касается того голода, который наблюдается сейчас, то в нем есть своя хорошая сторона: он прошел по Японии, как весенний ветер, и я до известной степени даже благодарю этот голод, потому что он хорошо подействовал на мозги людей.

Я испытывал сильнейшее желание дать ему в морду и за неминуемую войну и за голод, который прошел, «как весенний ветер», и в особенности за то, что этот тип выдает себя за коммуниста.

Меня уверяли потом, что он просто левый фразер и честный дурак и что все разговоры о страшной американской вооруженности и о неизбежной войне есть результат того, что он во время войны работал в каком-то отделе военного министерства по изучению иностранной военной техники и там испугался на всю жизнь. Но я, пожалуй, не согласен с этим. Возможно, это не провокатор, так сказать, по месту службы, но это провокатор по природе; провокация составляет часть его жизни. Он из тех людей, которые во время революции питали собой анархистствующие отряды, а впоследствии становились теоретиками бандитизма, а в Германии именно такие молодчики со всей их «левой» фразой на первом этапе гитлеровской партии делались отпетыми коричневорубашечниками. В общем, мне кажется, что этот человек представляет собой один из тех элементов, о которых придется говорить как о возможной будущей питательной среде для бактерий фашизма. Плюс ко всему этому ему самому внутренне очень хочется войны. Он напоминает мне любопытного соседа, который,

всплескивая руками, с ужасом и в то же время с удовольствием говорит: «Неужели Иван Иванович упал с третьего этажа? Это ужасно, ужасно!» Он слушает известия об этой смерти со щемлящим холодком восторга. Это событие заполнило его жизнь на ближайший час. Вот так этот человек говорил о будущей войне. К тому же у меня было ощущение, что он, как, впрочем, и многие японцы, был бы бесконечно рад, если бы «белые», которые в сознании этих японцев объединяются именно как белые, передрались бы друг с другом.

Я видел, как от слов этого человека сдержанно кипели Сиода и Хидзиката-младший. Последний, как потом выяснилось, чуть не до утра ругал недоучившегося студента самыми крепкими словами. А что касается Сиоды, то он на следующий день вечером, когда мы поехали в рыбацкий поселок, где у меня была беседа с рыбаками, очень серьезно сказал рыбакам, что, оказывается, существует большая разница между русскими и японскими коммунистами, имея в виду наш спор со студентом и по вопросу о «весеннем ветре» — голоде и по остальным вопросам. Самое печальное, конечно, что такие люди, как Сиода, считают, что взгляды этого анархистствующего господина и есть коммунистические взгляды...

### 21 марта 1946 года. Токио

Вчера после двухсуточной довольно утомительной езды на сидячих местах мы вернулись с Хоккайдо в Токио. В начале апреля нам предстоит уезжать, и сегодня большая часть дня прошла в разных предотъездных делах и разговорах насчет сроков, вариантов пути, самолетов, пароходов и т. д. и т. п., но к концу дня мне удалось все-таки вырваться на выставку современного японского искусства, устроенную в уцелевшем большом здании, специально предназначенном для выставок. Оно находится в парке Уэно. Это большой дом типа пассажа с огромными холодными и темноватыми комнатами. Стены в потеках, пол грязный, люди в пальто, ежащиеся от сырости. Для американцев посещение бесплатное, с японцев берут две иены. У входа белая каска эмпи. Народу немного, больше девушек, видимо студенток и школьниц, чем мужчин.

В пяти залах живопись на бумаге, картоне и шелке, в японском духе. Запомнилась большая картина — портрет старухи с детально отработанным костюмом и лицом, нарисованным несколькими идеальной точности штрихами, похожими скорей на работу чертежника, чем живописца, но вычерченными так необыкновенно точно, что лицо это прекрасно. Запоминаются два больших пейзажа: один — очень светлый день и рисовые поля, залитые весенней водой, второй — жаркий рыжий летний день и пестрые люди, работающие на чайной плантации. Очень много бамбука, сосен, вишен, слив, птиц, оленей, то есть всех декоративных аксессуаров богатого японского дома. Иногда это подчеркнуто сделано на четырех полотнищах для раздвижных дверей, иногда нет, но декоративность присутствует везде.

Шесть залов занимают картины, написанные маслом. Пейзажи, немногочисленные интерьеры — все это довольно однообразно и малоинтересно. Иногда написано с добросовестным натурализмом, иногда в подражание французским импрессионистам. Несколько натюрмортов, и все плохие, что, вообще говоря, очень странно. В прикладных искусствах, в особенности в лаке, натюрморт в Японии очень распространен и хорош, а в живописи это вдруг плохо. Очевидно, сказывается отсутствие традиции.

И для того и для другого отдела характерны значительные размеры картин. На выставке полное отсутствие этюдов, набросков. За редким исключением все это большие, а иногда и громоздкие полотна.

Кроме живописи, есть довольно большой отдел скульптуры, в котором обращает на себя внимание несколько прекрасных работ по дереву.

Во всех отделах есть что-нибудь, называющееся либо «Новая жизнь», либо «К новой жизни». Или это скульптура шахтера, или женщина, копающаяся на грядках рядом с изломанным станком, или еще что-нибудь в этом духе.

Для очистки совести есть на выставке и пара портретов американцев: одного, сидящего в ленивой позе где-то на ступеньке, другого, играющего в карты. Написаны оба портрета предельно плохо, а может быть, даже и не без яду...

*За той записью, что я привел, следовала еще одна, на которой мой японский дневник обрывался. В первых числах апреля мы отплыли из Йокогамы во Владивосток. Последняя запись свидетельствует о том, что и за оставшиеся у нас до отъезда из Японии две недели мы со многими встречались и многое видели.*

*Все это, начиная от премьеры «Ревизора» в одном из токийских театров и кончая беседой с настоятельницей женского буддийского монастыря, было готошно перечислено мною в пятнадцати пунктах, но на подробные записи, видимо, уже не хватало времени и сил; предполагалось, что я доделаю это, вернувшись в Москву.*

*Однако, как я уже упомянул в предисловии, все вышло по-другому, чем я думал. В Москве, по дороге в Соединенные Штаты, я пробыл всего-навсего полдня, и эти последние записи в моем японском дневнике так и не состоялись.*

*Среди пятнадцати пунктов, которые столько лет спустя уже не расшифруешь в своей памяти, оказался, однако, один, благодаря стечению обстоятельств все-таки подгадывшийся даже такой запоздалой расшифровке.*

*Среди всего, что я сам себе приказывал тогда — ни в коем случае не забыть! — под номером восемь стояла запись: «Беседовал еще с одним смертником...»*

*В памяти осталось немного: что это был студент, человек молодой, полный смятения и желанья выложить все, что творилось у него на душе, и что встреча с ним была не одна, а две, потому что после первой встречи он на второй раз пришел и отдал мне целую пачку страниц с дневником военных лет и со своими послевоенными размышлениями над тем, что произошло с ним и его поколением.*

*Дословный перевод всего этого на русский язык каким-то чудом успел в наши последние дни в Японии сделать неутомимый и бессонный Хидзиката-младший.*

*Обнаружив у себя в архиве эту рукопись, хочу к собственным «исходным материалам» добавить под конец еще и этот — отрывки из военного дневника и из последующих размышлений над ним обреченного на смерть молодого японца, не ставшего смертником по не зависевшим от его воли обстоятельствам.*

### **«Документы о жизни в армии»**

Мобилизация. С 1 декабря 1943 года — пехотный запасной отряд. С 25 февраля 1944 года — школа летчиков.

..... октября.

Узнав в утренней газете, что мы, студенты, будем участвовать в священной войне, я удивился. Хоть я всегда ожидал, что это когда-нибудь будет, но растерялся от неожиданности, душевное состояние не было приготовлено.

..... ноября.

В последнее время в школах бросают учебу, занимаются только военным обучением. Даже известный писатель К. опубликовал: «Студенты, бросайте перо, беритесь за оружие». Нехорошо. Всегда, при всяких обстоятельствах студент должен быть студентом. Хочется учиться до последних дней. Но есть ли в этом правда?

..... ноября.

Участвуя в войне, несешь ответственность за задачи не только своей родины, но и всего народа. Может быть, они не сознают всего этого. Мать после трехдневного поста окропила все мои новые вещи и, молясь, передала их в руки сына — мне. Я обещал матери достойно умереть.

..... декабря.

Кажется, иду в армию именно я, а не кто-нибудь другой. Очень неприятно смотреть, как люди шумят, когда идут в армию. Хотя это обычай, почувствовал излишество таких проводов. Мать, наверно, была согласна со мной. Грустно вспоминать ее вид с закрытыми глазами до самого конца молитвы. В поезд все больше и больше садится студентов. Все взволнованы. Что они чувствуют, провожаемые этим шумом?

..... декабря.

«Все опасности для государства, встречавшиеся в японской истории, были предотвращены благодаря крови молодежи. Нет ничего почетнее, как посвятить душевную жизнь одного человека для вечного развития народа. В настоящее время, перед лицом невиданной государственной опасности, эти задачи возложены на ваши плечи», — сказал командир. Я почувствовал волнение.

..... декабря.

Сегодня рано утром был сбор по тревоге. Пробежали 15 километров по горной дороге. Перед глазами красная муть. Я обессилел и спотыкался несколько раз, но все-таки добежал. Узнал величие духовной силы. Доходя до места назначения, почти падал, но чувствовал бесконечную радость победы над собой.

..... декабря.

Сегодня меня били за то, что я не вычистил оружие.

..... января.

Со дня прихода в армию существует правило: «вернуться к детским чувствам», «быть чистым», «выбросить общественные понятия». Математике учили солдат, еле окончивших начальную школу; никто из них не мог ответить на вопрос: сколько будет 5 плюс 6? Это несерьезно. Почти теряя сознание от ударов, подумал: мы сейчас находимся там, где нет здравомыслия. Ненавижу себя за то, что меня нужно бить и заставлять вернуться в детство, так как я не перехожу в него сам, сознательно.

..... января.

Происходили первые испытания для отбора офицеров. Нельзя только прочитать и понять. Нужно выучить наизусть каждую строчку. Понятно, что императорский указ или пехотный устав являются символом поведения солдата. Но почему их нужно учить наизусть до каждой точки и запятой? Сегодня за это меня тоже избили до полусмерти. Становлюсь игрушкой старых солдат. Стало очень досадно и

захотелось заплакать; досадно было не по отношению к старым солдатам, которые меня били, а к избитому себе, я даже рассердился, не понимая, почему я плакал.

**..... января.**

Во время военной учебы в лесу упал в яму. Падая, я сознавал, что нельзя выпускать оружие. От командира полка получил похвалу за то, что твердо чувствовал ответственность. Но в этом для меня вопрос: это не было чувство любви к оружию, я просто боялся сломать его.

**..... февраля.**

Сильно влияние маленькой раны на человеческое тело. В пережитом бою против танков я почувствовал, что рана на ноге сделала вялыми все мои движения. С моей стороны было ошибкой, что я запустил рану, не имея возможности обратить на нее внимание. Вечером нога страшно распухла.

**..... февраля.**

Из-за раны вынужден идти в больницу. Признаю, что силой воли уже ничего невозможно сделать, но есть желание еще бороться с физической болью.

После операции вышло много гноя. Боль утихла, и стало приятно.

**..... февраля.**

Из-за госпитальной жизни имел возможность осмотреться вокруг себя. Жизнь солдата не является такой чистой, как она казалась раньше.

Узнал о том, как мы снова пострадали от бомбардировки с авиаматок. Глубоко почувствовал нужду в авиации. С самого начала мое желание было стать летчиком. Как выздоровлю, так сейчас же подам заявление. Счастье понятие условное. Нужно просто верить.

**..... марта.**

Если живешь, то надо и действовать — в этом есть какой-то смысл. Неизвестно, есть ли у меня желание вести войну. Я знаю, почему мы воюем. Но нельзя сказать, что я воюю по собственному желанию. Работа на самолете непривычная и требует большой затраты физических и моральных сил. Поэтому понятно чувство тех, которые этого избегают, но нельзя следовать их примеру. Главное — это верить. В боевом уставе говорится: «Вера есть сила».

**..... апреля.**

В последнее время сильно увеличилось число наших торговых судов, потопляемых вражескими подводными лодками. Стало известно об уничтожении членов нашего отряда на севере Австралии. Что делает наш морской флот? Такое уничтожение — это непозволительная неудача. Бездеятельность ученых или недостаток умственного развития японцев.

Видел вне казармы, как дрались унтер-офицер с моряком. Нехорошо. Нельзя ли остановить междоусобицу армии и флота?

**..... апреля.**

Нельзя отрицать, что я думаю: лучше бы умереть. В сегодняшнем боевом учении получил безжалостные удары с хвоста. Не находя выхода из этого мучения, попробовал протаранить самолет командира. После посадки получил нагоняй. Пожалуй, легче умереть. Не только у меня, но и у всех заметно это чувство. Нехорошо.

..... апреля.

Праздник — день рождения императора. Рано утром посетили храм и поклонились далекому императорскому дворцу, желая спокойствия империи. В своей речи командир говорил о «создании благородной личности». Да, в скором времени мы должны стать командирами, руководителями великой азиатской войны, а когда придет время — богом Ясукуни. Во всяком случае, человек, становящийся после своей смерти богом, не должен быть при жизни безнравственным человеком. Положение критическое. Страшно, когда подумаешь, что твое устремление на поле битвы является только желанием скорей избежать мук.

Сегодня впервые почувствовал, что уже весна. Лежа в парке за городом, свободно вдохнул весну.

Прошло два месяца после того, как я пошел в авиашколу как офицер-студент.

..... мая.

Активизация вражеского наступления на Китай, Индию, на запад Новой Гвинеи. Провожали выпускников второго набора. Война не ждет.

..... мая.

Анкеты, расспросы о семье... Сегодня был объявлен набор добровольцев в летчики-торпедоносцы. Специалисты по тарану кораблей. Первый набор был среди сухопутных летчиков. На вопрос «кто не жалеет своей жизни?» вызвались все.

..... мая.

«Как вы ни старайтесь, а за год все равно не будете хорошими летчиками-истребителями. Так лучше летать на торпедоносце, там легче. Способ получения максимального результата при минимальном числе самолетов есть протаранивание врага», — говорил нам командир звена. После потери своего друга он стал воплощением ненависти к врагу. Он уже перешагнул жизнь и смерть, бог войны, воплощенный в человеке. Чувствую, как мое тело наполняет сильный боевой дух.

..... мая.

От ежедневных тренировок усталость тела и души дошла до крайности. Вес сбавил на 7 килограммов. С высоты 4 тысячи метров пикирующие полеты на цели. Ругали за неглубокие углы. Устал, ничего не могу делать. Целый день тошнота, теряю аппетит.

..... июня.

Вражеские эскадрильи бомбардировали Сайпан.

Друг К. разбился во время учебы. За последние два-три дня отчетливо была видна усталость на его лице. Наконец он не смог побороть свое тело и превратился в куски мяса.

Установить взгляд на жизнь и смерть — это не примирение с участью, а вера в свои идеалы, смысл службы государству. Чувство, перешагнувшее через личные мысли, через жизнь и смерть, — это и есть история японского народа, есть религия и философия Японии.

..... июня.

Высадка десанта на Сайпан. Флот обессилен. Но слухам без доказательств нельзя верить. Мои колебания — это результат недостатка самоусовершенствования.

От физической усталости голова перестает работать.

..... **июня.**

Вчера вечером был объявлен первый воздушный налет.

..... **июня.**

Говорят, что гражданское население довольно недоверчиво относится к успеху наших операций. Страшное дело это увеличение вражеской военной силы. Хочется спросить у флота: где корабли?

Друзья уходят в отпуск со словами: «Все равно умрем». Должен признаться, что у меня тоже есть это отчаянное чувство. Нужно быть осторожным.

..... **июля.**

Сайпан пал. Не хочется этому верить, но это правда. Наконец вырывается недовольство по отношению к флоту.

Под руководством командира звена вступаем в кулачный бой. Знаем, что из драки низших офицеров с унтерами ничего хорошего не получится, но невозможно этого не делать. «Наша задача заключается в том, чтобы, не беспокоясь за общий ход войны, выполнять свои непосредственные задачи», — говорил командир отряда.

Учения еще напряженней, но покоя в душе нет.

..... **июля.**

Воздушные нападения учащаются. Вторично был налет на порт Нагасаки. Боевой дух врага поднимается. Жаль. У всех в душе одно чувство: «Как ни горюй, а мы ничего не можем сделать в нашем положении»; и с другой стороны: «Эх, черт, что будет, то и будет». Живем мгновенной жизнью.

..... **июля.**

Смерть Т. — уже третья. По этому можно судить, насколько тяжелы учения. Неужели я так охвачен усталостью своего тела и души, что стал эгоистом и не могу понять чувств своих друзей? Когда-то он мне говорил: «Знаю смысл смерти, но не вижу смысла жизни». Наша жизнь последнего времени наполнена междоусобицей и борьбой, о которых нельзя промолчать.

Проникновение врагов продолжается. Хотя знаю, что незачем мне думать об операциях вообще, но беспокойство все растет.

..... **августа.**

Привыкли к бомбардировкам. Во время бомбардировок в убежищах слышалось пение разных песен, главным образом поют детские песни.

..... **августа.**

По приказу командира звена избивали друг друга. Из-за того, что усталость души была общим явлением, кулачные удары действовали освежающе. Как приятно, что снова загорелся боевой дух. Почувствовал нужду в мордобое.

..... **августа.**

Опубликовано повышение старшины Такоги на два чина. Невольно опускается голова перед таким примером священной идеи протаранивания. Кипит кровь. В истребительном бою на высоте 8—9 тысяч метров протаранить «В-29», имеющий скорость около 400 км в час, —

это почти невозможно, и совершивший это старшина является почти богом. Говорят, что он и в обычной жизни был высокой личностью.

**..... сентября.**

Ругать других — это доказательство недостатка собственных сил. Узнал трудность руководства, когда меня назначили руководить курсантами. И командир отряда и командир роты ушли на фронт. А мы даже не могли проводить своих предшественников, продолжали занятия. Как меньшинству победить большинство? Путь только один — это протаранивание. Борьба идет один против десяти.

**..... сентября.**

В первый раз исполняю обязанность дежурного офицера. Упадок боевого духа курсантов слишком нагляден. Задачи, стоящие перед торпедоносцами, примирили их со своей судьбой, но вопрос в том, каким образом заставить их пробудиться. Когда читаешь им лекции о важнейших задачах священной войны и освобождении от рабства восточных народов, они бессознательно аплодируют. А на практических занятиях они проявляют вялость. Война уже переступила пороги империи, бои идут за защиту родной земли. Признав, что нам не позволено оставаться живыми, мы должны отдать свои жизни за вечное существование народа. Задача состоит в том, как заставить курсантов понять и идеологически закрепить это желание.

**..... сентября.**

Секретарша завода С. арестована за шпионаж. Я вел допрос вместе с заместителем командира. Она окончила факультет английской литературы Токийского женского университета, дочь чиновника.

«Страна погибает не от Америки, а от нашей военщины. Со времени маньчжурского инцидента агрессивные действия военщины ради ее собственных выгод очевидны на всей материке. Под лозунгом постройки нового строя в Восточной Азии они набивали свои карманы. Им было мало превращения в рабов китайского народа, они своей узкой самовольной политикой захватили в свои руки политику, культуру и науку нашей страны, раздавив всех оппозиционно настроенных лиц, и загнали наш народ в нынешнюю войну. Создание «сферы совместного расцветания великой Восточной Азии» позволило им организовать вместе с капиталистами диктатуру, подменяя в политике даже власть императора и заставляя его начать войну. Эти вещи непростительны. Кроме того, получив от Америки как от более передовой страны хорошо подготовленную контратаку, они ничего не предприняли и, уже видя проигрыш войны, свалили вину на безграмотный народ; стремясь избежать ответственности, приносят теперь в жертву чистые патриотические чувства таких молодых, как мы, проповедуя только свой военный дух, беспомощный против американцев. Наконец, втянули в политику даже нашу нравственность, заставляя народ выполнять непосильные работы. Если сейчас мы не капитулируем, то гибель японского народа всем ясна, и я, как японка, больше не в силах спокойно смотреть на эти ужасы», — высказалась она, увидев, что я студент.

Страшно представить себе, какой вред приносит бывшее либеральное воспитание даже такой образованной девушке. Она смотрит с точки зрения либерализма Англии и Америки. Но эту войну категорически нельзя проиграть. Война решит: жизнь или смерть восточным народам. Неудачи на фронтах — это явление временное. Главный вопрос — сколько времени можно выдержать. Хотелось бы продолжить войну на несколько десятков лет. Никким образом нельзя сдаваться. Мы должны бороться до последнего человека азиатских народов.



..... октября.

Неудачи на фронте имеют большое влияние и на производство и моральное состояние масс. С. потеряла своего любимого мужа в Новой Гвинее и запуталась между либерализмом и непониманием жизни. Она не стала шпионкой, но распространяла ложные слухи. Причиной особенно печальных слухов среди гражданского населения являются неудачи флота. Трудно сдержаться от гнева.

Контратаки русских в Европе. Второй фронт. Капитуляция Италии. Тем более важны наши задачи. Видя в недалеком будущем выпуск, стараюсь держать себя стойким до конца.

..... октября.

Сегодня день казни С. Посадив ее в грузовик, едем через город. Я убедился, что мои опасения по отношению к гражданскому населению были напрасными. Разгневанные люди кидали камни, хотели на ходу вскочить на грузовик, чтобы ее ударить. С. почувствовала это, и из закрытых повязкою глаз покатались слезы. Хотя это справедливое наказание со стороны японцев женщины, продавшей Японию, но мне стало ее жалко.

Опять загорается боевой дух. Опубликовано об организации отряда смертников. Наконец долгожданный час — близится выпуск. Покажем результат нашего обучения. В газетах пишут, что мы готовы идти на врага...»

*За этими выписками из дневника, большую часть которых я привел, следовал комментарий:*

«Мой дневник кончается в день после казни девушки С.

Я, руководя вылетом молодых пилотов, поднялся в воздух, и там неожиданно с моим самолетом случилась авария. Я совершил вынужденную посадку и, раненный, потерял сознание. Меня унесли на плечах в больницу. Не знаю, было ли это счастье или несчастье, но это была моя судьба.

Результат ли это моего недостаточного воспитания, но когда я сейчас думаю, то признаюсь, что все мною записанное тогда в дневнике было ребяческими мыслями. Но, может быть, так и лучше. Я переписываю все это как было, не исправляя. Только сам удивляюсь, каким простым я был, и как я мог терпеть эту жизнь, и как свыкся с нею.

После вынужденной посадки моего самолета я два дня лежал без сознания. К счастью, самолет перевернулся, но не загорелся, и я был ранен только ударом в грудь и в голову и поэтому спасся. Ударом в грудь мне повредило легкие. Я плакал. Мне во что бы то ни стало хотелось вернуться в свой отряд. Но я уже знал от врачей, что больше не смогу служить как летчик.

Я знал, что смертники действуют на Филиппинах и что близок день, когда я должен был выйти из школы и выполнить долг. Мне было стыдно перед родными, и я не могу отрицать, что моя жизнь была некоторое время злой и отчаянной. И еще — вопрос, который меня мучил. Хотя я сам и не убил девушку С., но я был одним из тех, которые послали ее на смерть. И это постоянно тревожило меня.

Скоро меня уволили из армии, и я вернулся домой. Я вернулся нигилистом, смотрящим на все с сомнением. Даже любовь моей матери казалась мне сомнительной. Но в то же время я все еще упрямо не мог поверить в поражение Японии. Благодаря традиционному историческому воспитанию я считал, что если Япония будет побеждена, то ни один японец не будет жив. И когда я вспоминаю о моей жизни на базе

смертников флота, мне кажется, что очень немногие из нас пошли на смерть, имея в виду только дух служения стране.

Последние слова, оставленные мне одним товарищем, были: «Когда я погибну, меня назовут богом, но пока я жил, из меня так и не сделали человека»; и еще он сказал: «Все говорят — смертники, смертники... Но ведь мало людей, пошедших сюда добровольно. Просто армейская жизнь так учила, что все равно никуда не денешься, а это нельзя назвать добровольным».

Из этих слов, я думаю, можно понять, что японская молодежь не так уж хотела идти на смерть.

Но само семейное воспитание учило нас уже с маленьких лет, что для родины и императора нужно с радостью умереть. Оно учило нас рабскому доверию, и благодаря этому появились такие безумные дела.

Когда я выслушал рескрипт императора о конце войны, я долго не мог поверить, но когда я понял, что мы сможем существовать и дальше, я впервые понял, что это и есть правда. Придется терпеть стыд, но нужно быть живым, думал я.

Я знаю, что неприятно критиковать прошлое. Мы родились и выросли в Японии, и когда мы вспоминаем, какое темное было у нас прошлое, что у нас даже не было сил и ума критиковать военщину, наделавшую таких преступлений, то нам становится стыдно.

Сейчас мои чувства еще не сосредоточились и я не могу вам сказать все по порядку. Я сейчас нахожусь в таком настроении, что сам себе противен и все человечество мне противно. И все-таки я не могу отрицать, что я японец и у меня еще есть патриотизм. Я знаю, что нужно опять вставать на ноги... Но я пока не собрался со своими мыслями.

Возрождение японского народа должно начаться с пробуждения каждого человека. Я верю, что нужно поднять уровень воспитания каждого. Но я не могу отрицать, что, несмотря на все это, у меня нет сил действовать, и я сейчас не могу ничего делать...»

*Не знаю ни имени (оно не обозначено в тексте перевода, который делал Хидзиката), ни дальнейшей судьбы этого бывшего смертника. Судьба его могла быть той или иной, и дело не в этом, а в том, что на самой его исповеди лежит неизгладимая печать 1946 года — года сломанных судеб. Печать того времени, когда миллионы молодых японцев, ровесников автора этой путаной исповеди, стали каждый по-своему пытаться осмыслить свое прошлое и неуверенно, то с надеждой, то со страхом, то с отвращением начинали думать о своем будущем.*

*С тем, что спрессовано на страницах этой исповеди в некое целое, порознь, по крупницам мне приходилось сталкиваться в десятках и сотнях разговоров на протяжении всей нашей поездки в Японию. Вот почему я и привел здесь, на последних страницах своей книги, этот человеческий документ, в высшей степени характерный именно для того времени и для тех обстоятельств в жизни Японии, которые мы застали там в зиму 1946 года.*



---

---

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ



## ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

\* \* \*

Я был приглашен в один дом,  
в какое-то сборище праздное,  
где белое пили и красное,  
болтали о сем и о том.

Среди этой полночи вдруг  
хозяйка застолье оставила  
и тихо иголку поставила  
на долгоиграющий круг.

И голос возник за спиной,  
как бы из самой этой полночи,  
шел голос, молящий о помощи,  
ни разу не слышанный мной.

Как голос планеты иной  
из чуждого нам измерения,  
мелодия стихотворения  
росла и росла за спиной.

Сквозь шум продирались слова,  
и в кратких провалах затишья  
ворочались четверостишия,  
как в щелях асфальта трава.

Но нет, это был не пророк,  
над грешными сими возвышенный, —  
скорее ребенок обиженный,  
твердящий постылый урок.

Но три эти слова — не спи,  
художник! — он так выговаривал,  
как будто гореть уговаривал  
огонь в полуночной степи.

И то был рассказ о судьбе  
пилота, но также о бремени  
поэта, служение времени  
избравшего мерой себе.

И то был урок и пример  
не славы, даримой признанием,  
а совести, ставшей призванием  
и высшею мерою мер.

...Я шел в полуночной тиши  
и думал о предназначении,  
об этом бессрочном свечении  
бессонно горящей души.

Был воздух морозный упруг.  
Тянуло предутренним холодом.  
Луна восходила над городом  
как долгоиграющий круг.

И летчик летел в облаках,  
И слово летело бессонное.  
И пламя гудело высокое  
в бескрайних российских снегах.

## ГОРОД

Б. Слуцкому.

Окрестности, пригород — как этот город зовется?  
И дальше уедем, и пыль за спиною завьется.

И что-то нас гонит все дальше, как страх или голод.  
Окрестности, пригород, город — как звать этот город?

Чего мы тут ищем? У нас опускаются руки.  
Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги.

Зачем нам тот город, встающий за клубами пыли,—  
тот город, те годы, в которых мы молоды были?

Над этой дорогой трубили походные трубы.  
К небритым щекам прикасались горячие губы.

Те губы остыли, те трубы давно оттрубили.  
Зачем нам те годы, в которых мы молоды были?

Но снова душа захолонет и сердце забьется:  
вон купол и звонница — как эта площадь зовется?

Вон церковь, и площадь, и улочка — это не та ли?  
Не эти ли клены над нами тогда облетали?

Но сад затерялся среди колоколен и башен.  
Но дом перестроен, но старый фасад перекрашен.

Но тех уже нет, а иных мы и сами забыли,  
лишь память клубится над ними, как облачко пыли.

Зачем же мы рвемся сюда, как паломники в Мекку?  
Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку?

Мы с прошлым простились, и незачем дважды прощаться.  
Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться.

Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод.  
Окрестности, пригород, город — как звать этот город?

### ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

Желтый рисунок в забытом журнале старинном,  
начало столетья.

Старый журнал запыленный,  
где рой ангелочков пасхальных  
бесшумно порхает  
по выцветшим желтым страницам  
и самодержец российский  
на тусклой обложке журнальной  
стоит, подбоченясь картинно.

Старый журнал, запыленный, истрепанный,  
бог весть откуда попавший когда-то мне  
в мои детские руки.  
Желтый рисунок в журнале старинном — огромное судно,  
кренясь,  
погружается медленно в воду —  
тонет «Титаник» у всех на глазах, он уходит на дно,  
ничего невозможно поделать.

Крики, стенанья, молитвы, проклятья, отчаянье,  
вопли отчаянья, ужас.  
Руки и головы, шляпы и зонтики, сумочки, доски,  
игрушки, обломки.  
Эй, не цепляйтесь за борт этой шлюпки! —  
вслом по вцепившимся чьим-то рукам! —  
мы потонем,  
тут нет больше места!..

Сгусток, сцепленье, сплетенье страстей человеческих,  
сгусток, сцепленье, сплетенье.  
С детской поры моей как наважденье  
все то же виденье,  
все та же картина встает предо мной,  
неизменно во мне вызывая  
чувство тревоги и смутное чувство вины перед кем-то,  
кто был мне неведом.

...Крики, стенанья, молитвы, проклятья, отчаянье,  
вопли отчаянья —  
тонет «Титаник».  
Тонет «Титаник» — да полно, когда это было,  
ну что мне,  
какое мне дело!  
Но засыпаю — и снова кошмаром встает предо мною  
все то же виденье,  
и просыпаюсь опять от неясного чувства тревоги,  
тревоги и ужаса —  
тонет «Титаник»!

\*~\*

Море  
по-латышски  
называется ю р а,  
но я не знал еще этого,  
когда вышел однажды под вечер  
на пустынное побережье  
и внезапно увидел огромную,  
указывавшую куда-то вдаль  
стрелу,  
на которой было написано  
мое имя  
(как на давних военных дорогах —  
названья чужих городов,  
не взятых покуда нами).

Это было забавно и странно,  
хотя и немного жутко  
одновременно.  
Казалось, что кто-то  
мне дарит  
простую такую возможность  
найти наконец-то себя  
в этом мире.  
Это было игрой  
под названьем  
«ищите себя»  
(и конечно, в нем слышалась просьба  
«ищите меня!»,  
ибо сам не найдешь себя,  
если кто-то тебя не найдет)...

Ах, друзья мои,  
как замечательно было б  
поставить на наших житейских дорогах  
подобные стрелы  
с нашими именами —  
от скольких бы огорчений  
могло бы нас это избавить!

...Ищите меня,  
ищите за той вон горой,  
у той вон реки,  
за теми вон соснами —  
теперь уже вам не удастся  
сослаться на то,  
что вы просто не знаете,  
где я!

### **ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА СТАРУЮ МАШИНУ,**

Человек,  
похожий на старую машину,  
сделанную в девятнадцатом веке, —  
что-то от стеффенсоновского паровоза,

от первых летательных аппаратов  
из породы воздушных шаров  
и азростатов,  
с примесью конки и дилижанса,  
экипажа и музыкальной шкатулки —  
ржавые поршни и рычажки,  
стершиеся шестеренки и втулки —  
и все это издает при ходьбе  
поскрипыванье,  
пощелкиванье,  
дребезжанье.  
Человек,  
похожий на старую машину,  
сделанную в девятнадцатом веке,  
он покупает в ближайшей аптеке  
какие-то странные мази для растиранья,  
у которых такие таинственные названья —  
бриони,  
арника,  
оподельдок,  
а потом еще долго поскрипывает ледок  
у него под ногами,  
пока он вышагивает к себе домой  
неуверенными шагами.  
Человек,  
похожий на старую машину,  
сделанную в девятнадцатом веке,  
он поднимается  
к себе на этаж,  
не снимая пальто,  
присаживается на кушетку,  
которую по-старинному называет «софа»  
и которая откликается звуком «фа»,  
когда он на нее садится...  
Так и сидит он,  
не зажигая огня,  
человек,  
похожий на старую машину,  
сделанную в девятнадцатом веке,  
старая усталая машина,  
или просто с у м,  
как он в шутку себя называет,  
хотя он при этом вряд ли подозревает,  
что «сум»  
по-украински  
означает печаль,  
да и по-русски звучит  
достаточно грустно.



---

ТОРНТОН УАЙЛДЕР



## МАРТОВСКИЕ ИДЫ

Роман

Это произведение посвящается двум друзьям: Лауро де Возису — римскому поэту, который погиб, оказывая сопротивление безраздельной власти Муссолини, — его самолет, преследуемый самолетами дуче, упал в Тирренское море,

и

Эдуарду Шелдону, кто, несмотря на свою слепоту и полную неподвижность в течение двадцати лет, дарил множеству людей мудрость, мужество и веселье.

Das Schaudern ist der Meuscheit bestes Teil.  
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteuere!.  
Goethe, „Faust“, часть вторая.

### Глосса:

«Когда человек с благоговейным трепетом начинает ощущать, что в мире есть Непознаваемое, в его познающем разуме пробуждаются высшие силы, хотя чувство это часто оборачивается суеверием, духовным рабством и чрезмерной самоуверенностью».

**В**оссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики.

Главная вольность была допущена в переносе события, случившегося в 62 году до Р. Х., — осквернение Таинств Доброй Богини Клодией Пульхер и ее братом — на семнадцать лет вперед, то есть на празднование тех же Таинств 11 декабря 45 года.

К 45 году многие из моих персонажей давно уже были мертвы: Клодия убила наемные бандиты на проселочной дороге; Катулл, если верить свидетельству св. Иеронима, умер в возрасте тридцати лет; Катон Младший погиб за несколько месяцев до описываемых событий в Африке, восстав против абсолютной власти Цезаря; тетка Цезаря, вдова великого Мария, скончалась еще до 62 года. Более того, к 45 году вторую жену Цезаря, Помпею, давно сменила третья жена, Кальпурния.

Кое-какие подробности этого рассказа, которые скорее всего могут показаться вымышленными, исторически верны: Клеопатра приехала в Рим в 45 году, и Цезарь отвел ей свою виллу по другую сторону реки; она жила там вплоть до его гибели, а потом бежала на родину. Возможность того, что Юний Марк Брут был сыном Цезаря,

<sup>1</sup> Дрожь — лучший человеческий удел:  
Пусть свет все чувства человека губит —  
Великое он чувствует и любит,  
Когда святой им трепет овладел.

(Перевод Н. Холодковского)



изучалась и была отвергнута почти всеми историками, вникавшими в личную жизнь Цезаря. То, что Цезарь подарил Сервилии жемчужину неслыханной ценности, — исторический факт. История с подметными письмами против Цезаря, которые передавались по цепочке, была подсказана автору событиями наших дней. Такие письма против фашистского режима распространял в Италии Лауро де Бозис — как говорят, по совету Бернарда Шоу.

Обращаю внимание читателя на порядок изложения материала.

В каждой из четырех книг документы следуют почти в хронологическом порядке. Книга первая охватывает сентябрь 45 года до Р. X. Действие книги второй, содержащей исследование Цезарем природы любви, начинается раньше и захватывает весь сентябрь и октябрь. В книге третьей, где речь идет главным образом о религии, события начнутся еще раньше и длятся всю осень, заканчиваясь декабрьскими церемониями в честь Доброй Богини. Книга четвертая, где вновь приводятся самые разные соображения Цезаря, в частности о себе самом как возможном орудии «судьбы», открывается наиболее ранним из приведенных здесь документов и завершается его убийством.

Все документы — плод авторского воображения, за исключением стихотворений Катутла и заключительного абзаца из «Жизнеописания двенадцати цезарей» Гая Светония Транквила.

Источники, свидетельствующие о Цицероне, обильны, о Клеопатре — скудны, о Цезаре — богаты, но часто туманны и искажены политическими пристрастиями. Мною сделана попытка предположить, как протекали события, неравномерно отраженные в дошедших до нас свидетельствах.

**Торнтон УАЙЛДЕР.**

## КНИГА ПЕРВАЯ

### **I. Глава коллегии авгуров — Каю Юлию Цезарю, верховному понтифику и диктатору римского народа**

(Копии жрецу Юпитера Капитолийского и пр., госпоже верховной жрице коллегии девственных весталок и пр.)

*(1 сентября 45 года до Р. X.)*

Высококочтимому верховному понтифику.

Шестое донесение от сего числа.

Предсказание по жертвоприношениям в полдень.

Гусь: пятнистость сердца и печени; грыжа диафрагмы.

Второй гусь и петух: ничего примечательного.

Голубь: зловещие предзнаменования — почка смещена, печень увеличена и желтой окраски; в помете — розовый кварц. Приказано произвести более подробное исследование.

Второй голубь: ничего примечательного.

Наблюдались полеты: орла — в трех милях к северу от горы Соракт на всем доступном обозрению пространстве над Тиволи. Птица проявляла легкую неуверенность, приближаясь к городу.

Грома не было слышно со времени последнего сообщения двенадцать дней назад. Долгой жизни и здравия верховному понтифику!

### **I-A. Записка Цезаря (не подлежащая оглашению) — его секретарю по религиозным делам**

Пункт I. Сообщить главе коллегии, что нет нужды посылать мне от десяти до пятнадцати донесений в день. Достаточно составить сводный отчет о знамениях за весь истекший день.

Пункт II. Выбрать из сводок за предыдущих четыре дня три явно благоприятных предзнаменования и три неблагоприятных. Мне они могут понадобиться сегодня в сенате.

Пункт III. Составить и раздать следующее оповещение:

с учреждением нового календаря памятная дата основания Рима семнадцатого дня каждого месяца будет считаться гражданским празднеством особой важности.

Присутствие верховного понтифика, если он в городе, на этой церемонии обязательно.

Ритуал будет выполняться со следующими добавлениями и поправками:

в ритуале принимают участие двести солдат, которые отслужат молебствие Марсу, как принято на военных постах;

хвала Рее воздается весталками. Верховная жрица коллегии лично отвечает за присутствие весталок, за высокое качество декламации и поведение участниц церемонии. Непристойные выражения, попавшие в ритуал, должны быть немедленно устранены; весталки не должны показываться присутствующим до заключительного шествия; запрещается прибегать к миксолидийскому ладу;

завещание Ромула читать, обращаясь в сторону мест, закрепленных за аристократией;

жрецы с верховным понтификом должны произносить текст слово в слово. Жрецы, допустившие малейшее упущение, после тридцатидневной переподготовки будут посланы служить в новые храмы Африки и Британии.

#### **1-Б. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри**

*(Об этом письме см. вступление к документу III)*

968. *(О религиозных обрядах.)*

К своему еженедельному посланию я прилагаю полдюжины из груды докладов, которые я, как верховный понтифик, получаю от авгуров, предсказателей, толкователей небесных знамений и хранителей кур.

Прилагаю также изданное мной постановление о ежемесячном празднестве в память основания Рима.

Что поделаешь?

Я получил в наследство это бремя суеверий и предрассудков. Я правлю несчетным числом людей, но должен признать, что мной правят птицы и раскаты грома.

Все это часто мешает государственным делам, на целые дни и недели закрывает двери сената и суда. Этим заняты тысячи людей. Всякий, имеющий к этому какое-либо отношение, включая и верховного понтифика, использует знамения в своих личных интересах.

Однажды в долине Рейна авгуры ставки командующего запретили мне вступить в битву с врагом. Оказалось, что наши священные куры стали чересчур разборчивы в еде. Почтенные хохлатки скрещивали ноги при ходьбе, часто поглядывали на небо, озирались через плечо — и не зря. Я сам, вступив в долину, был обескуражен тем, что попал в гнездилище орлов. Нам, полководцам, положено взирать на небо куриными глазами. Я смирился с запретом, хотя мое умение захватить врага врасплох составляет одно из немногих моих преимуществ, но я боялся, что на другое утро мне снова будут чинить препятствия. Однако в тот вечер мы с Азинием Поллионом пошли погулять в лес, собрали десяток гусениц, мелко изрубили их ножами и раскидали в священной кормушке. Наутро вся армия с трепетом дожидалась известия о воле богов. Вещих птиц вывели, чтобы дать им корм. Они прежде всего оглядели небо, издавая тревожное кудахтанье, которого достаточно, чтобы приковать к месту десять тысяч воинов, а потом обратили свои взоры на пищу. Клянусь Геркулесом, они вылупили глаза и, сладострастно кудахтая, накинулись на корм, — так мне было разрешено выиграть Кельнскую битву.

Но главное, вера в знамения отнимает у людей духовную энергию. Она вселяет в наших римлян — от подметальщиков улиц до консулов — смутное чувство уверенности там, где уверенности быть не должно, и в то же время навязчивый страх, который не порождает поступков и не пробуждает изобретательности, а парализует волю. Она снимает с них непрременную обязанность мало-помалу создавать свое римское государство. Она приходит к нам освященная обычаями предков, дыша безмятежностью детства, она поощряет бездеятельных и утешает неспособных.

Я могу справиться с другими врагами порядка; со стихийным мятежом и буйством какого-нибудь Клодия; с ворчливым недовольством Цицерона и Брута, порожденным завистью и питаемым хитроумными толкованиями древнегреческих текстов; с преступлениями и алчностью моих проконсулов и магистратов; но что мне делать с равнодушием, которое охотно рядится в тогу набожности и либо твердит, что гибель Рима не допустят недремлющие боги, либо смиряется с тем, что Рим погибнет по злокозненности богов?

Я не склонен к унынию, но часто ловлю себя на том, что эта мысль наводит на меня уныние.

Что делать?

Порою в полночь я пытаюсь вообразить, что будет, если я все это отменю; если как диктатор и верховный понтифик я отменю соблюдение счастливых и несчастных дней, гадание по внутренностям и полету птиц, молниям и грому; если я закрою все святилища, кроме храмов Юпитера Капитолийского?

И как быть с Юпитером?

Я еще буду об этом писать.

Собери свои мысли, чтобы меня направить.

На другой вечер.

*(Письмо дописано по-гречески.)*

Снова полночь, милый друг. Я сижу у окна и жалею, что оно выходит не на спящий город, а на Трастевринские сады богачей. Вокруг моей лампы пляшут мошки. Река едва отражает рассеянный свет звезд. На дальнем берегу пьяные горожане ссорятся в винной лавке, и время от времени ветер доносит мое имя. Жена уснула, а я пытался успокоить мысли чтением Лукреция.

С каждым днем я все больше ощущаю, к чему меня обязывает мое положение. Я все яснее и яснее сознаю, что оно позволяет мне совершить и к каким свершениям меня призывает.

Но что оно мне говорит? Чего от меня ждет?

Я принес на землю мир, я распространил блага римского законодательства на бесчисленное число мужчин и женщин; несмотря на огромное сопротивление, я распространяю на них также и гражданские права. Я усовершенствовал календарь, и счет наших дней подчинен практической системе движения солнца и луны. Я пытаюсь наладить дело так, чтобы люди во всех концах мира имели пищу. Мои законы и корабли обеспечат взаимобмен избытками урожая в соответствии с народными нуждами. В будущем месяце из уголовного кодекса будет изъята пытка.

Но этого мало. Все эти меры — лишь труд полководца и правителя. Тут я делаю для мира то же, что староста для своей деревни. Теперь надо совершить что-то иное, но что? По-моему, теперь и только теперь я готов начать. В песне, которая у всех на устах, меня зовут отцом.

Впервые за мою общественную жизнь я чувствую неуверенность. До сей поры все мои поступки подчинялись правилу, которое можно было бы назвать моим суеверием: я не экспериментирую. Я не начинаю дела для того, чтобы чему-то научиться на его результатах. Ни в искусстве войны, ни в политике я не делаю ни шага без точно намеченной цели. Если возникает препятствие, я поспешно вырабатываю новый план, и его возможные последствия для меня ясны. В ту минуту, когда я увидел, что в каждом своем начинании Помпей отчасти полагается на волю случая, я понял, что буду властелином мира.

Но в моих сегодняшних замыслах есть такие стороны, относительно которых я не уверен, что я в них уверен. Для того чтобы их осуществить, мне надо ясно знать, каковы жизненные цели рядового человека и каковы его возможности.

Человек — что это такое? Что мы о нем знаем? Его боги, свобода, разум, любовь, судьба и смерть — что они означают? Помнишь, как еще мальчишками в Афинах и позднее, возле наших палаток в Галлии, мы без конца обо всем этом рассуждали? И вот я снова подросток и снова философствую. Как сказал этот опасный искуситель Платон: лучшие философы на свете — мальчишки, у которых только пробивается борода; я снова мальчишка.

Но погляди, что я покуда успел сделать в отношении государственной религии. Я укрепил ее, возобновив ежемесячные празднества в память основания Рима.

Сделал я это, быть может, затем, чтобы уяснить для себя те последние следы благочестия, которые еще живут в моей душе. Мне также льстит, что я, как прежде моя мать, больше всех римлян сведущ в старых поверьях.

Признаюсь, когда я декламирую нескладные молитвы и делаю телодвижения в сложном ритуале, меня обуревают искреннее чувство, но чувство это не имеет ничего общего с потусторонним миром; я вспоминаю, как в девятнадцать лет, будучи жрецом Юпитера, я поднимался на Капитолий, а рядом шла моя Корнелия, неся под туникой еще не рожденную Юлию. И разве с тех пор жизнь одарила меня чем-нибудь подобным?

Но тише! У дверей только что сменился караул. Стража со звоном скрестила мечи и обменялась паролем. Пароль на сегодня: Цезарь бдит.

**II. Клодия Пульхер из своей виллы в Байях на берегу Неаполитанского залива —  
домоправителю в Риме  
(3 сентября 45 года до Р. X.)**

Мы с братом в последний день месяца даем званый обед. Если и на этот раз ты допустишь промахи, я тебя сменю и продам.

Приглашения посланы диктатору, его жене и тетке, Цицерону, Азинию Поллиону и Гаю Валерию Катуту. Обед будет происходить по старинному обычаю, а именно: женщины присутствуют только на второй его половине и не возлежат. Если диктатор примет приглашение, необходимо строжайше соблюсти этикет. Начни сразу же обучать слуг: встрече гостей перед домом, подношению кресла, обходу комнат и церемонии прощания. Позаботься нанять двенадцать трубачей. Оповести жрецов храма, что им предстоит совершить молебствие, достойное верховного понтифика.

Не только ты, но и мой брат будете пробовать блюда, подаваемые диктатору в его присутствии, как было принято в прежние времена.

Меню будет зависеть от новых поправок к закону против роскоши. Если они будут утверждены, гостям может быть подана только одна закуска. Это египетское рагу из морской пищи, которое диктатор тебе как-то описывал. Я о нем ничего не знаю, ступай немедленно к повару Цезаря и разузнай, как его готовить. Когда ты заучишь рецепт, приготовь блюдо не менее трех раз, чтобы в день обеда оно получилось как следует.

Если новый закон не пройдет, должны быть поданы разнообразные блюда.

Диктатор, брат и я будем есть рагу. Цицерону подашь ягненка на вертеле гречески. Жене диктатора — овечью голову с жареными яблоками, которую она так расхваливала. Послал ли ты ей рецепт, как она просила? Если да, то слуга измени приправу; советую добавить три-четыре персика, моченных в албанском вине. Госпоже Юлии Марции и Валерию Катуту будет предложено выбрать любое из этих блюд. Азиний Поллион, по своему обыкновению, не будет есть ничего, но имей наготове горячее козье молоко и ломбардскую кашу. В выборе вин полагаюсь на тебя, но не забудь о законах на этот счет.

Я распорядилась, чтобы в Лотию приволокли морем в сетях двадцать—тридцать дюжин устриц. В день званого обеда часть их можно будет доставить в Рим.

Сходи сейчас же к греческому миму Эросу и найми его на вечер. Он, наверное, будет, по своему обыкновению, артачиться; можешь ему намекнуть, каких знатных гостей я жду. В конце скажи, что, кроме обычного вознаграждения, я дам ему зеркало Клеопатры. Скажи, что я хотела бы, чтобы он со своей труппой исполнил «Афродиту и Гефеста» и «Шествие Озириса» Герода. А сам он пусть прочтет цикл «Плетущим гирляндам» Сафо.

Завтра я выезжаю из Неаполя. Неделю погощу в семье Квинта Лентула Спинтера в Капуе. Сообщи мне туда, чем занимается мой брат. В Риме жди меня числа десятого.

Я желаю знать, как обстоит дело с очисткой общественных мест от оскорбительных надписей о нашей семье. Требую, чтобы это было сделано как можно тщательнее.

*(О чем идет речь в этом абзаце, ясно из письма Цицерона и образцов нацарапанных надписей.)*

II-A. Цицерон из Рима — Атику в Грецию  
(Весной того же года)

Не считая нашего всеобщего главы, больше всего в Риме сплетничают о Клодии. На стенах и на каменных полах бань и общественных уборных нацарапаны посвященные ей стихи крайне непристойного содержания. Мне говорили, что ей посвящена пространная сатира во фригидарии Помпеевых терм; к ней уже приложили руку семнадцать стихотворцев, и каждый день туда что-нибудь добавляют. По слухам, все вертится главным образом вокруг того, что она вдова, дочь, племянница, внучка и правнучка консулов и ту дорогу, на которой она теперь ищет приятных, хоть и малоприбыльных утех, проложил ее предок Аппий.

Дама, говорят, узнала об оказанных ей почестях. Наняты трое чистильщиков, которые по ночам украдкой стирают эти надписи. Они просто надрываются, не поспевая выполнять свою работу.

Наш владыка (*Цезарь*) не нанимает рабочих, чтобы стирать поносные надписи. Издательских стишков и о нем предостаточно, но на каждого хулителя у него находится по три защитника. Его ветераны снова вооружились, но на этот раз губками.

Весь город захворал стихоплетством. Мне говорили, что стихи этого новоявленно-го Катулла — тоже посвященные Клодии, хоть и совсем в другом духе, — выцарапывают на стенах общественных зданий. Даже сирийцы, торгующие пирожками, знают их наизусть. Что ты на это скажешь? Под неограниченной властью одного лица мы либо лишены своего дела, либо теряем к нему всякий вкус. Мы уже не граждане, а рабы, и поэзия — выход из вынужденного безделья.

II-B. Надписи, нацарапанные на стенах и мостовых Рима

Клодий Пульхер говорит Цицерону в сенате: сестра моя упряма, она не уступит мне ни на мизинец, говорит он.

Ах, отвечает Цицерон, а мы-то думали, что она покладиста. Мы-то думали, что она уступает тебе все, даже выше колен.

Предки ее проложили Аппиеву дорогу. Цезарь взял эту Аппию и положил другим манером.

Ха-ха-ха!

Четырехгрошовая девка — миллионерша, но зато скупа  
и устали не знает;  
С какой гордостью приносит она на рассвете свои медяки,

Каждый месяц Цезарь празднует основание города.  
Каждый час — гибель республики.

(Популярная песенка, в разных вариантах была нацарапана в общественных местах по всему миру.)

Мир принадлежит Риму, и боги отдали его Цезарю;  
Цезарь — потомок богов и сам — божество.  
Он, не проигравший ни одной битвы, — отец своим солдатам.  
Он пятой зажал пасть богачу,  
А бедняку он и друг и утешитель.  
Из этого видно, что боги любят Рим:  
Они отдали его Цезарю, своему потомку и тоже божеству.

(Нижеследующие строчки Катулла были, как видно, сразу же подхвачены народом; не прошло и года, как они достигли самых отдаленных краев республики и стали пословицей; имя же автора забылось.)

В небе солнце зайдет и снова вспыхнет,  
Нас, лишь светоч погаснет жизни краткой,  
Ждет одной беспробудной ночи темень\*.

\* Перевод А. И. Пиотровского.

III. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамияню  
Туррину на остров Капри  
(Видимо, написан между 20 августа и 4 сентября)

(Дневник в письмах писался с 51 гсда, когда получатель был взят в плен и покалечен белгами, вплоть до смерти диктатора. Записи весьма разнообразны по форме: некоторые набросаны на обороте ненужных писем и документов; одни сделаны наспех, другие — тщательно; многие продиктованы Цезарем и записаны рукой секретаря. И хотя все они пронумерованы, гаты на них проставлены лишь изредка.)

958. (О предполагаемой этимологии трех архаизмов в завещании Ромула.)

959—963. (О некоторых тенденциях и событиях в политической жизни.)

964. (Высказывает невысокое мнение об употреблении Цицероном метрических хогов в своих речах.)

965—967. (О политике.)

968. (О религии римлян. Эта запись уже приведена в разделе I-Б.)

969. (О Клодии Пульхер и ее воспитании.) Клодия с братом пригласили нас на обед. Я, кажется, подробно описывал тебе положение этой парочки, но, как и все в Риме, невольно возвращаюсь к этой теме.

Я уже неспособен на живое сострадание при встрече с кем-нибудь из бесчисленных людей, влачащих загубленную жизнь. И еще менее стараюсь их оправдать, когда вижу, как легко они находят себе оправдание сами, когда наблюдаю, как высоко они вознесены в собственном мнении, прощены и оправданы самими собой и яростно обвиняют загадочную судьбу, которая якобы их обездолила и чьей невинной жертвой они себя выставляют. Такова и Клодия.

Но перед своими многочисленными знакомыми она эту роль не играет; при них Клодия прикидывается счастливейшей из женщин. Однако для самой себя и для меня она играет эту роль, ибо я, пожалуй, единственный из смертных, кто знает, что в одном случае она, быть может, и была жертвой, на чем вот уже более двадцати пяти лет основано ее притязание каждый день сызнова быть жертвой.

Но и для нее и других подобных ей женщин, чьи бесчинства привлекают к себе всеобщий интерес, есть еще одно оправдание. Все они родились в знатных семьях, среди роскоши, облеченные привилегиями, были воспитаны в атмосфере возвышенных чувств и бесконечных нравов, что теперь почитается за «истинно римский образ жизни». Матери этих девиц зачастую бывали великими женщинами, но в них развились такие черты, которые не передаются потомству. Материнская любовь, семейная гордыня и богатство, вместе взятые, превратили их в ханжей, и дочери их росли в отгороженном мире успокоительной лжи и недомолвок. Разговоры дома были полны выразительных пауз, то есть умолчаний о том, о чем не принято говорить. Более умные из дочерей, подрастая, это поняли; они почувствовали, что им лгут, и очертя голову кинулись доказывать обществу свою свободу от лицемерия. Тюрьма для тела горька, но для духа она еще горше. Мысли и поступки тех, кто осознает, как их надули, мучительны для них самих и опасны для всех прочих. Клодия была самой умной из них, а теперь ведет себя еще более вызывающе, чем остальные. Все эти девицы испытывают или избражают страсть к отребью общества; их нарочитая вульгарность превратилась в политическое явление, от которого не отмахнешься. Сам по себе плебс поддается перевоспитанию, но что делать с плебейской аристократией?

Даже молодые женщины безупречного поведения — такие, как сестра Клодии или моя жена, — явно сердятся, что их водили за нос. Их воспитывали в уверенности, что семейные добродетели самоочевидны и всеобъемлющи; от них скрывали, что высшее счастье в жизни — свобода выбора, а это больше всего влечет молодой ум.

В поведении Клодии отражается и та особенность, которую я часто с тобой обсуждал, может даже слишком часто, — нормы и структура нашего языка сами по себе подразумевают и внушают веру в то, что мы бессильны перед жизнью, связаны, подчинены и беспомощны. Язык наш утверждает, что нам даны такие-то и такие-то качества от рождения. Иначе говоря, есть великий Благодетель, даровавший Клодии красоту, здоровье, богатство, знатное происхождение и выдающийся ум, а кому-то другому — рабство, болезни и глупость. Она часто слышала, что одарена красотой (кто же ее одарил?),

а что другой несет проклятие своего злоязычия — разве бог может проклясть? Даже если предположить существование бога, который, по выражению Гомера, изливает из своих сосудов добрые и злые дары, меня поражают верующие, которые оскорбляют своего бога, отказываясь признать, что в мире многое не управляется божественным провидением и что, по-видимому, бог так это и задумал.

Но вернемся к нашей Клодии. Клодии никогда не довольствуются полученными дарами: они отравлены злобой на скаредного Благодетеля, который наделил их всего лишь красотой, здоровьем, богатством, знатностью и умом; он утаивает от них миллион других даров, например полнейшее блаженство в каждое мгновение каждого дня. Нет жадности более ненасытной, чем жадность избранных, верящих в то, что их привилегии были дарованы им некоей высшей мудростью, и нет обиды более злой, чем у обездоленных, которым кажется, что их намеренно обошли.

Ах, друг мой, друг мой, самое лучшее, что я мог бы сделать для Рима, это вернуть птиц в их птичье царство, гром — другим стихиям природы, а богов — воспоминаниям детства.

Нет нужды говорить, что мы не пойдем на обед к Клодии.

#### IV. Госпожа Юлия Марция, вдова великого Мария, из ее именина на Албанских холмах — племяннику Каю Юлию Цезарю в Рим

(4 сентября)

Клодий Пульхер с сестрой пригласили меня на обед в последний день месяца; они говорят, дорогой мальчик, что ты тоже там будешь. Я не предполагала ехать в город до декабря, когда мне придется приступить к своим обязанностям, связанным с Таинствами (*Доброй Богини*). Конечно, я и не подумаю туда идти, если не буду уверена, что ты и твоя милая жена там будете. Не передашь ли ты мне с моим посланным, действительно ли ты собираешься у них быть?

Должна признаться, что после стольких лет деревенской жизни мне любопытно было бы взглянуть, как живут на Палатинском холме. Письма Семпронии Метеллы, Сервилии, Эмилии Цимбр и Фульвии Мансон дышат оскорбленной добродетелью, но мало что мне говорят. Эти дамы так усердно щеголяют своей праведностью; что я в сомнении: чего больше в нем, в этом круговороте дней на вершине мира, — блеска или пошлости?

У меня есть и другая причина хотеть встречи с Клодией Пульхер. Может статься, что рано или поздно я буду вынуждена с ней серьезно поговорить — хотя бы ради ее матери и ее бабушки, которые были моими любимыми подругами в юности и в зрелые годы. Можешь догадаться, о чем идет речь? (*Как выяснится, Цезарь не понял намека. Тетка была одной из руководительниц Таинств Доброй Богини. Если возник вопрос о том, чтобы запретить Клодии участвовать в Таинствах, решение его в основном зависело от светской комиссии, а не от представительниц коллегии девственных весталок. Последнее слово принадлежало Юлию Цезарю как верховному понтифику.*)

Мы, деревенщина, готовы точно выполнять твои законы против роскоши. В наших маленьких общинах любят тебя и каждодневно благодарят богов, что ты правишь нашим великим государством. У меня в поместье работают шесть твоих ветеранов. Я знаю, что их трудолюбие, веселый нрав и преданность — свидетельство того, как они боготворят тебя. И я стараюсь их не разочаровывать.

Передай самый старый привет Помпее.

(*Второе письмо той же почтой.*)

Дорогой племянник, пишу тебе на другое утро. Прости, что я злоупотребляю временем владыки мира, но мне хочется задать тебе еще один вопрос, на который тоже жду ответа с моим посыльным.

Жив ли еще Луций Мамиллий Туррин? Может ли он получать письма? И можешь ли ты сообщить мне его адрес?

Я задавала эти вопросы ряду моих друзей, но никто не мог дать мне точного ответа. Мы знаем, что он был тяжело ранен, когда сражался рядом с тобой в Галлии. Одни говорят, что он живет отшельником в озерном краю на Крите или в Сицилии. По словам других, он уже несколько лет как умер.

На днях мне приснился сон — прости уж меня, старуху, — будто я стою возле бассейна на нашей вилле в Таренте, рядом с моим дорогим разбойником-мужем. В бассейне плавают двое мальчишек: ты и Луций. Потом вы вышли из воды, и, обняв вас за плечи, муж объяснялся со мной долгим взглядом и, улыбаясь, сказал: «Поросль нашего могучего римского дуба».

Как часто оба вы приезжали к нам. И целые дни проводили на охоте. А сколько съедали за обедом! Помнишь, как лет в двенадцать ты читал мне Гомера и как горели у тебя глаза! Потом вы с Луцием уехали в Грецию учиться, и ты писал мне оттуда длинные письма о поэзии и философии. Луций — он был сиротой, писал твоей матери.

Ах, все это было, было, Кай...

Я проснулась после этого сна в слезах и оплакивала все свои утраты: мужа, твою мать, отца и мать Клодии и Луция.

Прости, дорогой, что отнимаю у тебя время.

Жду ответа на два вопроса: обед у Клодии и адрес Луция, если он жив.

#### IV-A. Ответы Цезаря Юлии Марции (обратной почтой)

*(Первые два абзаца написаны рукой секретаря)*

Я не намерен, дорогая тетушка, идти на обед к Клодии. Если бы я считал, что тебе будет там интересно, я, конечно, пошел бы в угоду тебе. Однако же Помпея и я убедительно просим тебя провести вечер у нас. Может статься, что у Клодии хватило наглости пригласить Цицерона, а у него не хватило мужества отказаться; если так, я его оттуда сманю и предоставлю в твое распоряжение. Думаю, что тебе будет приятно с ним встретиться; он стал еще остроумнее и может все тебе рассказать о светском обществе на Палатинском холме. Кроме того, не трудись открывать свой дом; флигель в саду в твоём полном распоряжении, и Аль-Нара будет счастлива тебе прислуживать. А пока ты будешь жить у нас, дорогая, я распоряжусь, чтобы часовые по ночам не бряцали мечами и произносили царль шепотом.

Ты вдосталь наглядывшись на Клодию, когда приедешь в город на торжества. Думаю о ней, я не нахожу в душе ни капли сострадания, которое, по мнению Эпикура, следует питать к заблудшим. Надеюсь, что ты и в самом деле серьезно с ней поговоришь; надеюсь также, что ты научишь меня, как пробудить в себе хоть какое-то сочувствие к ней. Мне самому неприятно ощущать такое равнодушие к человеку, с которым меня связывает столько самых разных воспоминаний.

*(Далее рукою Цезаря.)*

Ты говоришь о прошлом.

Я не позволяю своим мыслям надолго в него погружаться. Все, все в нем кажется прекрасным и — увы! — неповторимым. Те, что ушли, как я могу о них думать? Вспомнишь один только шепот, только глаза — и перо падает из рук и беседа, которую я веду, обрывается немотой. Рим и все его дела кажутся чиновной суетой, пустой и нудной, которая будет заполнять мои дни, пока смерть не даст мне избавления. И разве я в этом смысле одинок? Не знаю. Неужели другие умеют вплетать былую радость в свои мысли о настоящем и в свои планы на будущее? Может быть, на это способны одни поэты; только они отдают себя целиком каждой минуте своей работы.

По-моему, у нас появился такой поэт, когорый займет место Лукреция. Прилагаю его стихи. Мне хочется знать, что ты о них думаешь. Правление миром, которое ты мне приписываешь, стало казаться мне более стоящим делом с тех пор, как я увидел, на что способен наш латинский язык. Я не посылаю стихов, где речь идет обо мне: этот Катулл так же красноречив в ненависти, как и в любви.

В Риме тебя ждет подарок, хотя моя доля в нем потребует, чтобы я еще больше погряз в моих сегодняшних обязанностях: как я и говорю, мне приходится платить за всякое возвращение к прошлому. *(В ежемесячное празднество дня основания Рима Цезарь включил приветствие от города ее покойному мужу Марию.)*

Что касается твоего второго вопроса, дорогая тетя, на него я ответить тебе не могу.

Помпея шлет нежный привет. Мы с радостью ждем твоего приезда.



**V. Госпожа Семпрония Метелла из Рима — госпоже  
Юлии Марции в ее имение на Албанских холмах  
(6 сентября)**

Не могу выразить, дорогая Юлия, как я рада услышать, что ты приезжаешь в город. Не трудись открывать свой дом. Ты должна погостить у меня. Прислуживать тебе будет Зосима, она боготворит землю, по которой ты ступаешь, а я обойдусь Родопой, она оказалась просто сокровищем.

Ну а теперь садись поудобнее, дорогая: я собираюсь всласть поболтать.

Во-первых, послушайся совета старой-престарой подруги — не ходи к этой женщине. Можно сколько угодно твердить, что не любишь сплетен, что те, о ком говорят за глаза, не могут защититься от клеветы и т. д., но разве служить предметом таких сплетен уже само по себе не предосудительно? Лично я не верю, что она отравила мужа или состояла в преступной связи со своими братьями, но тысячи людей в это верят. Мой внук рассказывает, что о ней поют песни во всех гарнизонах и кабаках, а стены бань исписаны стишками про нее. У нее есть прозвище, которое я даже не решаюсь повторить, и оно у всех на устах.

В сущности, самое худшее, что мы о ней знаем, это ее влияние на палатинский высший свет. Она первая стала одеваться по-простонародному и якшаться с городским отребьем. Она водит своих друзей в таверны гладиаторов, пьет с ними ночи напролет и пляшет для них — прочее можешь представить себе сама. Юлия, она устраивает пикники, пирует в деревенских тавернах с пастухами и солдатами с военных постов. Все это факты. Однако из последствий ее поведения очевидно для всех: что стало с нашей речью? — теперь считается шиком разговаривать на языке плебса. И я не сомневаюсь, что тут виновата она, и она одна. Ее положение в свете, ее происхождение, богатство, красота и — нельзя же этого отрицать — обаяние и ум увлекли общество в грязь.

Но она испугалась наконец. И пригласила тебя на обед потому, что испугалась.

А теперь слушай: тут назревает одно серьезное дело, за которое в конце концов придется отвечать тебе.

*(В последующих абзацах письма употребляется ряд условных имен: Волоокой (по-гречески) называют Клодию; Диким Кабаном — ее брата Клодия Пульхера; Перепелкой еще задолго до брака называли жену Цезаря Помпею; Фессалийкой (сокращенное от Ведыма из Фессалии) — Сервилию, мать Марка Юния Брута; Школой тканья — Таинства Добрай Богини и комитет, руководящий этим празднеством; Хозяином Погоды, разумеется, называли Цезаря.)*

Хотя эта женщина и распутница, я не думаю, что ее стоит отстранять от участия в некоторых собраниях, но не сомневаюсь, что такое предложение будет сделано. Они с Перепелкой присутствовали на последнем собрании Исполнительного Совета, которое было создано как раз перед ее отъездом на юг, в Байи. Они попросили председательницу — твое место занимала Фессалийка — отпустить их и вскоре ушли; и тут во всех концах зала стали о ней судачить. Эмилия Цимбр закричала, что если в Школе тканья Волоокая окажется где-нибудь рядом, она даст ей пощечину. Фульвия Мансон сказала, что не станет бить ее во время церемонии, но тут же уйдет и подаст жалобу верховному понтифику. А Фессалийка заявила — хотя, занимая председательское место, ей вообще не следовало высказывать своего мнения, — что прежде всего надо поставить вопрос перед тобой и верховной жрицей коллеги девственных весталок. Ее возмущенный тон, по правде говоря, показался мне чуточку смешным — ведь все мы знаем, что она не всегда была такой почтенной матроной, какой себя выставляет.

Вот такие-то дела! Полагаю, что ты или твой племянник не позволят ее исключить, но надо же такое придумать! Какой бы поднялся скандал! Знаешь, по-моему, даже пожилые женщины уже не помнят, что такое настоящий скандал! А я вдруг ночью припомнила, что за всю мою жизнь исключили только троих, и все трое тут же покончили самоубийством.

И все же, с другой стороны, страшно подумать, что в Школе тканья, в этом самом прекрасном, святом, необыкновенном таинстве, может участвовать такая личность, как Волоокая. Юлия, я никогда не забуду, как по этому поводу выразился твой великий

супруг: «Эти двадцать часов, когда собираются вместе наши женщины, подобны столпу, подпирающему Рим».

Мы все никак не можем понять: почему Хозяин Погоды (пойми, дорогая, я не хочу быть непочтительной) разрешает Перепелке так часто с ней встречаться? Нас всех это просто поражает. Ведь встречи с Волоокой неизбежно влекут за собой и встречи с Диким Кабаном, а ни одна уважающая себя женщина не захочет с ним знаться.

Но давай поговорим о другом.

Вчера я удостоилась большой чести, о чем хочу тебе рассказать. Он сам пожелал со мной поговорить.

Я, как и весь Рим, отправилась к Катону в день поминовения его великого предка. Улицу запрудила тысячная толпа с трубачами, флейтистами и жрецами. В доме для диктатора поставили кресло, и все, естественно, были в большом волнении. Наконец он появился. Ты сама, дорогая, знаешь, насколько трудно предсказать, как он себя поведет. По словам моего племянника, он держится официально, когда ждешь от него простоты, и ведет себя просто, когда должен бы держаться официально. Он прошел через Форум и вверх по холму безо всякой свиты, вместе с Марком Антонием и Октавианом, словно прогуливаясь. Я дрожу за него, ведь это так опасно; но именно за такое поведение его обожает народ; это в нравах старого Рима, и ты, наверное, могла слышать восторженные крики толпы даже у себя в имении! Он вошел в дом, кланяясь и улыбаясь, и подошел прямо к Катону и его родным. Можно было услышать, как пролетит муха! Впрочем, для тебя не секрет, что племянник твой просто совершенство! До нас доносилось каждое его слово. Сначала он был величав, почтителен — Катон даже расплакался и низко опустил голову. Потом Цезарь заговорил интимнее — он обращался ко всем членам семьи, — а затем стал шутить, и очень остроумно, так что скоро весь зал покатывался со смеху.

Катон отвечал ему хорошо, но очень кратко. Казалось, забыты все мучительные политические распри. Цезарь взял пирожок, которыми обносили гостей, а потом стал заговаривать то с одним, то с другим из присутствующих. Он отказался сесть в кресло диктатора, но вел себя так обаятельно, что никто из домашних не счел это обидным. И тут, дорогая, он приметил меня и, попросив у слуги стул, сел со мной рядом. Можешь себе представить мое состояние!

Случалось ли ему хоть раз забыть какой-нибудь факт или чье-то имя? Он вспомнил, что двадцать лет назад провел у нас в Анцио четыре дня, а также всю мою родню и всех тогдашних гостей. Он очень деликатно предостерег меня насчет политической деятельности моего внука (но помилуй, дорогая, что я могу с ним поделаться!). Потом стал спрашивать мое мнение о ежемесячном празднестве в память основания Рима. Как видно, он меня там заметил — нет, ты только подумай! — хотя был от меня далеко и шагал взад-вперед, выполняя этот сложный ритуал! Какую часть его я считала самой впечатляющей, какие фразы мне показались чересчур длинными или непонятными для народа? Потом он заговорил о самой религии, о знаменьях и о счастливых и несчастных днях.

Ах, дорогая, он самый обаятельный человек на свете, и все же — я вынуждена это сказать — в нем есть что-то пугающее! Он слушает с таким неотрывным вниманием все, что ты неуклюже пытаешься выразить. И хотя его большие глаза глядят на тебя с таким лестным для тебя интересом, ты все равно пугаешься.

Они словно врушают: мы с вами здесь единственные искренние люди; мы говорим то, что думаем; мы говорим правду. Надеюсь, я не выглядела круглой душой, однако жаль, что никто меня не предупредил, что верховный понтифик будет меня выспрашивать, что, как, где и когда я думаю о религии, ибо в конечном счете все свелось к этому. Наконец он отбыл, и все мы смогли разойтись по домам. Я сразу же легла спать.

Скажи мне, Юлия, по секрету: каково, по-твоему, быть его женой?

Ты меня спрашиваешь насчет Луция Мамилия Туррина.

Я, как и ты, вдруг сообразила, что ничего о нем не знаю. Почему-то я вбила себе в голову, что он либо умер, либо настолько поправился, что занимает какую-то должность в отдаленных краях республики. Но если хочешь что-то выведать, по опыту знаю — лучше всего обратиться к одному из старых, доверенных слуг. Они составляют своего рода тайное общество, знают о нас все и этим гордятся. Поэтому я спросила

нашего старого вольноотпущенника Руфия Тела и, как и надо было ожидать, выяснила следующее: во второй битве с белгами, когда Цезаря чуть не схватили враги, Туррин попал в плен. Прошло тридцать часов, прежде чем Цезарь догадался, что он пропал. И тогда, дорогая, твой племянник бросил полк на вражеский лагерь. Полк был почти целиком уничтожен, но отбил Туррина — в самом жалком состоянии. Враги, чтобы заставить его говорить, постепенно обрубили ему руки и ноги и лишили его возможности видеть и слышать. Они отрубили у него руку, ногу, а может, и что-то еще, выкололи глаза, обрезали уши и собирались проткнуть барабанные перепонки. Цезарь позаботился о том, чтобы ему был обеспечен самый лучший уход, и с тех пор Туррин, согласно его собственному желанию, окружен полнейшей тайной. Но Руфию, как видно, известно, что он живет в прекрасной вилле на Капри, вдали от чужих глаз. Он, конечно, по-прежнему очень богат и окружен целой свитой секретарей, служителей и прочее.

Ну разве это не душераздирающая история? Подумай, как ужасна бывает жизнь! Я ведь хорошо помню, как он был красив, богат, талантлив и явно предназначен занять самые высокие посты в государстве, — а до чего же он был мил! Он чуть было не женился на моей Аврункулее, но и его отец и все остальные Мамилии были чересчур старозаветны для меня, а уж для моего мужа и подавно! Как видно, он по-прежнему интересуется политикой, историей и литературой. У него здесь, в Риме, есть какой-то поверенный, который сообщает ему все новости, посылает книги, передает сплетни. Но ни одна душа не знает, кто это такой. А сам Туррин, как видно, хочет, чтобы его забыли все, кроме нескольких близких друзей. Я, конечно, спросила Руфия, кто его навещает. Руфий уверяет, будто он не принимает почти никого, что актриса Киферида иногда ездит ему почитать и что раз в год весной у него по нескольку дней гостит диктатор, но, как видно, никому ни слова не говорит об этих посещениях!..

Руфий — золото, а не человек — молил никому, кроме тебя, всего этого не рассказывать. Он поразительное существо, этот старый африканец, по-моему, он чтит желание калеки, чтобы о нем забыли. Я поступаю, как он просит, и уверена, что и ты последуешь моему примеру. Меня просто ужас берет, до чего длинно мое письмо.

Приезжай как можно скорее.

**VI. Клодия из Капуи — своему брату Публию Клодию  
Пульхеру в Рим  
(8 сентября)**

*(Вилла Квинта Лентула Спинтера и его жены Кассии.)*

Пустоголовый! TEQVME! (Клодия в насмешку пользуется эпистолярным обычаем того времени сокращенно обозначать заглавными буквами род приветствия: «Если ты и войско здоровы, то хорошо». Заменяв две буквы, она пишет: «Если ты и твой сброд здоровы, то плохо».)

Нас опять пощипали. (Тайная полиция Цезаря снова завладела одним из их писем. Однако брат и сестра сговорились, что невинная переписка будет пересылаться ими почти открыто, через посольных, в качестве маскировки для настоящих писем, которые будут припрятывать куда тщательнее.)

Письмо твое — бессмысленная чушь. Ты пишешь: когда-нибудь и они умрут! Почему ты знаешь? Ни ты, ни он и никто не знает, когда умрет. Тебе надо строить свои планы с таким расчетом, что он может умереть завтра, а может прожить еще лет тридцать. Только дети, политические краснобаи и поэты разговаривают о будущем так, словно о нем что-то можно знать, — к счастью, мы не имеем о нем ровно никакого понятия. Ты пишешь: каждую неделю у него падучая. (Припадки эпилепсии у Цезаря.) Поверь, это неправда, и ты знаешь, от кого я получаю сведения. (Служанка жены Цезаря Абра была рекомендована ей Клодией и за плату осведомляла ее обо всем, что творится в доме Цезаря.) Ты пишешь: под взглядом этого Циклопа мы бессильны что-либо сделать. Послушай, ты уже не мальчик. Тебе сорок лет. Когда ты научишься не ждать счастливого случая, а опираться на то, что у тебя есть, используя каждый день, чтобы укрепить свое положение? Почему ты так и не пошел дальше грибуна? Потому что

всегда откладываешь свои планы на будущий месяц. А пропасть между сегодняшним днем и будущим месяцем пытаешься перейти, полагаясь на грубую силу и банду своих граждан. Корабельный Нос (*по-гречески; имеется в виду Цезарь*) правит миром и будет им править то ли день, то ли тридцать лет. Ты ничего не достигнешь и останешься никем, если не смиришься с этим фактом и не будешь из него исходить. Говорю тебе очень серьезно: всякая попытка не считаться с ним приведет тебя к гибели.

Тебе надо вернуть его расположение. Не позволяй ему забывать, что однажды ты оказал ему очень большую помощь. Я знаю, ты его ненавидишь, но это не играет никакой роли. Ведь и он прекрасно знает, что ни любовь, ни ненависть не решают ничего. Где бы он сейчас был, если бы ненавидел Помпея?

Присматривайся к нему, Пустоголовый. Ты многому научишься.

Ты знаешь его слабость — то равнодушие, ту отрешенность, которую люди зовут добротой. Ручаюсь, что в душе ты ему нравишься; он любит непосредственность и простодушие, к тому же он, по существу, забыл, какие дурацкие смуты ты затевал. И ручаюсь также, его втайне забавляет, что ты уже двадцать лет заставляешь Цицерона трястись от страха.

Присматривайся к нему. Начни хотя бы подражать его трудолюбию. Я верю тому, что он пишет семьдесят писем и прочих бумаг в день. Они каждый день сыплются на Италию как снег — да что я! — они засыпают весь мир — от Британии до Ливана. Даже в сенате, даже на званных обедах за спиной его стоит секретарь; в тот миг, когда в голове его рождается мысль написать письмо, он отворачивается и шепотом его диктует. То он пишет какой-нибудь деревне в Бельгии, что они могут взять своим названием его имя, и шлет им флейту для местного оркестра, то придумывает, как сочетать еврейские законы о наследстве с римскими обычаями. Он подарил водяные часы городу в Алжире и написал им увлекательное письмо в арабском духе. Трудись, Публий, трудись!

И помни: этот год мы к нему приспособляемся.

Все, что я у тебя прошу, это один год.

Я собираюсь стать самой старозаветной дамой в Риме. К будущему лету я добьюсь звания почетной жрицы Весты и руководительницы Тайнств Добрай Богини.

А ты можешь получить в управление провинцию.

Отныне мы будем называть себя Клавдиями. Дед заработал несколько лишних голосов, пойдя на плебейское произношение нашего имени. Неприятно, но необходимо.

Наша затея с обедом провалилась. И Корабельный Нос и Чечевичка (*тоже по-гречески; жена Цезаря*) отказались прийти. Гекуба не ответила на приглашение. Услышав об этом, вероятно, откажется в последнюю минуту и Цицерон. Будет Азиний Поллион, а я кем-нибудь заполню пустые места за столом.

Катулл. Я хочу, чтобы ты был с ним мил. Я постепенно от него избавляюсь. Дай мне это сделать так, как я считаю нужным. Ты не поверишь, что с ним творится! Я не более дурного мнения о себе, чем любая другая, но никогда не претендовала на роль всех богинь в едином лице, да вдобавок еще и Пенелопы! Публий, я ничего на свете не боюсь, кроме этих его жутких эпиграмм. Вспомни, как он ими пригвоздил Цезаря; все их повторяют, они прилипли к нему навсегда, как лишай. Я этого не хочу, и потому дай мне самой все уладить.

Ты понял, что наш званый обед провалился? Заруби это себе на носу. Никто не придет в наш дом, кроме твоих Зеленых Усов и дикого козла Катилины. И все же мы — это мы. Наши предки вымостили город, и я не позволю об этом забыть.

Еще один вопрос, Пустоголовый.

Чечевичка — не для тебя. Я это запрещаю. И думать забудь. Запрещаю. Вот в таких делах мы с тобой и совершали грубейшие ошибки. Подумай, о чем я говорю. (*Клодия намекает на то, что ее брат соблазнил девственную весталку, а может, и на непристойное судебное преследование блистательного Марка Целия Руфа, бывшего своего любовника, которого она обвинила, будто он украл у нее драгоценности. Его успешно защищал Цицерон в речи, где он вскрыл всю малопочтенную биографию брата и сестры, ославив их и сделав посмешищем всего Рима.*)

Поэтому затверди накрепко: весь этот год мы будем соблюдать приличия.

Я, твоя Волоокая, тебя обожаю. Сообщи, что ты обо всем этом думаешь, с обратной почтой. Я пробуду здесь еще дня чегыре-пять, хотя стоило мне сюда приехать и взглянуть на Кассию и Квинта, как мне тут же захотелось уехать на север. Но я поубавлю их самодовольство, не бойся. Со мной Вер и Мела. А послезавтра ко мне приедет и Катулл.

Ответь мне с этим же посланным.

#### VI-A. Клодий — Клодин

*(Вместо ответа Клодий заставил посланного заучить наизусть непристойную брань.)*

#### VII. Клодия из Капуя — жене Цезаря в Рим

*(8 сентября)*

Душечка!

Твой муж — великий человек, но к тому же он еще и большой грубиян. Он очень сухо сообщил мне, что не сможет прийти на обед. Я знаю, ты сумеешь его переубедить. Не падай духом, если первые три или четыре попытки не увенчаются успехом.

Будут Азиний Поллион и наш новый поэт Гай Валерий Катулл. Напомни диктатору, что я послала ему все стихи этого молодого человека, какие у меня были, а он мне не вернул ни подлинника, ни даже копий. Ты меня спрашиваешь, как я отношусь к культуре Изиды и Озириса. Расскажу об этом при встрече. Конечно, он очень живописен, но по существу — чепуха. Для служанок и носильщиков. Я очень раскаиваюсь, что стала водить туда людей нашего круга. В Байях такая скука, что египетские обряды помогают скоротать время. На твоём месте я не стала бы просить у мужа разрешения их посещать: его это только рассердит и причинит вам обоим огорчения.

У меня есть для тебя подарок. В Сорренто я нашла поразительного ткача. Он ткёт такую вуаль, что стоит дунуть — и целый кусок улетит к потолку; ты поседеешь, прежде чем эта воздушность снова опустится на землю. Соткана она из рыбьих жабр, как та блестящая ткань, которую носят танцовщицы. Мы с тобой наденем эти наряды на мой званный обед и будем как близнецы! Я нарисовала фасон, и Мопса сразу же начнет шить, когда я вернусь в город.

Черкни мне словечко с этим же посланным.

И смотри, притащи этого невежу на мой обед.

Целую тебя крепко в уголок каждого из твоих прекрасных глазок. Как близнецы! Но насколько ты моложе меня!

#### VII-A. Жена Цезаря — Клодин *(обратной почтой)*

Дорогой Мышоночек!

Я не могу тебя дожидаться! Я такая несчастная. Больше так жить невозможно. Дай мне совет. Он говорит, что мы не можем пойти к тебе на обед. О чем бы я его ни попросила, он на все говорит «нет». Нельзя поехать в Байи. Нельзя пойти в театр. Нельзя ходить в храм Изиды и Озириса.

Мне надо с тобой подробно, подробно поговорить. Как мне стать хоть чуточку по-свободнее? Каждое утро мы ссоримся, и каждую ночь он просит прощенья; но не уступает мне ни на йоту, и я никогда не получаю того, что хочу.

Конечно, я его очень, очень люблю, потому что он мой муж; но, понимаешь, мне так хотелось бы получать от жизни хоть иногда, хоть маленькое удовольствие. Я так часто плачу, что стала страшной уродиной, тебе даже будет противно на меня смотреть.

Можешь не сомневаться, что я снова и снова буду просить его пойти к тебе на обед, но — увы — ведь я его знаю! Вуаль, должно быть, просто чудо. Приезжай поскорей.

#### VIII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамелию Туррину

*(Видимо, написано между 4 и 20 сентября)*

970. *(О законах, о праве первородства и отрывке из Геродота.)*

971. *(О поэзии Катулла.)* Большое спасибо за шесть комедий Менандра. Я еще не успел их прочесть. Дал переписать. Скоро верну подлинник, а может, и какие-нибудь свои заметки по их поводу.

Да, у тебя, видно, богатая библиотека. Нет ли в ней каких-нибудь пробелов, которые я смог бы заполнить? Сейчас я шарю по всему свету в поисках подлинного текста Эсхиловой «Ликургии». Мне понадобилось шесть лет, чтобы напасть на «Пирующих» и «Вавилонян» Аристофана, их я послал тебе прошлой весной. Последняя пьеса, как ты, наверное, заметил, в плохом списке, какие-то таможенники в Александрии записывали на нем перечень грузов.

Я вложил в пакет, который отправляю на этой неделе, пачку стихов. Старые шедевры пропадают, новые по воле Аполлона появляются на смену. Стихи написаны молодым человеком Гаем Валерием Катуллом, сыном моего старого знакомого, живущего недалеко от Вероны. По дороге на север (в 50 году) я провел ночь в их доме и помню его сыновей и дочь. Вернее, я помню, что брат поэта — он уже умер! — понравился мне гораздо больше!

Тебя удивит, что Лесбия, к которой обращены стихи, не кто иная, как Клодия Пульхер — та самая, которой мы с тобой когда-то писали стихи. Клодия Пульхер! Какая странная игра закономерностей виновна в том, что женщина, которая перестала находить в своей жизни какой-либо смысл и живет лишь тем, чтобы сообщать всему, что ее окружает, разброд, царящий в ее душе, становится в воображении поэта предметом обожания и вдохновляет его на такие блистательные стихи? Говорю тебе совершенно серьезно: больше всего на свете я завидую дару высокой поэзии. Я приписываю великим поэтам способность напряженно вглядываться в мир и создавать гармонию между тем, что таится внутри нас и вовне. А Катулл вполне может быть причислен к таким поэтам. Но неужели и высшие натуры способны так же обманываться, как простые смертные? Меня огорчает не его ненависть ко мне, а его любовь к Клодии. Не могу поверить, что он увлечен только ее красотой и что красоты телесной достаточно, чтобы произвести на свет такое совершенство речи и мысли! Может, он сумел разглядеть в ней достоинства, скрытые от нас? Или видит в ней душевное величие, которым она безусловно обладала, прежде чем погубила себя и сделалась предметом ненависти и посмешищем всего города?

Для меня эти вопросы связаны с первоосновами самого бытия. Я буду и дальше в них разбираться и сообщу тебе, что мне удалось выяснить.

972. *(О политике и назначениях на должности.)*

973. *(Касательно некоторых нововведений в Таинствах Доброй Богини. См. документ XIII-A.)*

976. *(Рекомендация слуге.)*

977. *(О вражде к нему Катона, Брута и Катуллы.)* Я посетил Катона в день поминовения его великого предка.

Как я тебе уже говорил, переписка с тобой оказывает на меня странное действие: я вдруг начинаю вздумываться в явления, которых раньше не замечал. Мысль, которую я в тот миг поймал на кончике пера и хотел сразу же отбросить, такова: из четырех людей, которых я больше всего уважаю в Риме, трое питают ко мне смертельную вражду. Я имею в виду Марка Юния Брута, Катона и Катуллу. Вероятно, и Цицерон был бы рад от меня избавиться. Сомнений тут быть не может: до меня доходит множество писем, не предназначенных для моих глаз.

Я привык к тому, что меня ненавидят. Еще в ранней юности я понял, что не нуждаюсь в хорошем мнении даже лучших из людей, чтобы утвердиться в своих поступках. По-моему, только поэт более одинок, чем военачальник или глава государства, ибо кто может дать ему совет в том непрерывном процессе отбора, каковым является стихосложение? В этом смысле ответственность и есть свобода; чем больше решений ты вынужден сам принимать, тем больше ты ощущаешь свободу выбора. Я полагаю, что мы не имеем права говорить о своем самосознании, если не испытываем чувства ответственности, и сильнейшая опасность моему чувству ответственности будет грозить тогда, когда мне, хотя бы чуть-чуть, захочется завоевать чье-то одобрение, будь то Брут или Катон. Я должен принимать свои решения так, словно они неподвластны оценке других, словно за мной никто не следит.

И однако же я политик: мне приходится изображать, что я почтительнейше внимаю мнению других. Политик — это человек, который притворяется, будто так же жаждет почета, как и все остальные, но успешно притворяться он может только тогда,

когда в душе свободен от этой жажды. Вот в чем основное лицемерие политики, и вождь достигает конечной победы тогда, когда люди испытывают страх, ибо подозревают, хоть и не знают наверняка, что ему безразлично их одобрение, что он к нему равнодушен и что он лицемер. Как? — говорят они себе — как? Неужели в этом человеке не копошится тот клубок змей, который таится в каждом из нас, причиняет нам муки, но и дает наслаждение: жажда похвалы, потребность в самооправдании, утверждение своего «я», жестокость и зависть? Дни и ночи я провожу под шипение этих змей. Когда-то я слышал его и в собственной утробе. Как я заставил их замолчать — сам не знаю, хотя интереснее всего было бы знать, как на подобный вопрос ответил бы Сократ.

Не думаю, что ненависть Марка Брута, Катона и этого поэта рождена таким клубком змей. В сущности, их ненависть идет от ума, от их взглядов на правление государством и свободу. Даже если бы я поставил их на то место, которое занимаю сам, и показал распростертый внизу мир таким, каким его видно только отсюда: даже если бы я рассек свой череп и открыл им опыт всей моей жизни — а я был во сто крат ближе к людям и власти, чем они, — даже если бы я смог перечесть строка за строкой писания тех философов, к которым они привержены, историю тех стран, где они ищут себе образец, — и тогда я не мог бы надеяться, что заставлю их прозреть. Первый и последний учитель жизни — это сама жизнь и отдача себя этой жизни безбоязненная и безраздельная; людей, которые это понимают, Аристотель и Платон могут многому научить, а вот тех, кто ставит себе всяческие рогатки и разлагает свой дух умствованиями, даже самые высокие учителя могут привести только к ошибкам. Брут и Катон твердят «свобода», «свобода» и живут, чтобы навязать другим ту свободу, которой не дают себе сами, — суровые, не знающие радости люди, они кричат своим ближним: будьте так же веселы, как веселы мы, и так же свободны, как свободны мы.

Катона ничему не научишь. Брута я послал губернатором в Ближнюю Галлию для обучения. Октавиана я держу рядом с собой, чтобы он пригляделся к государственной службе; скоро я выпущу его на арену.

Но за что меня ненавидит Катулл? Неужели и великие поэты могут пылать негодованием, заимствованным из старых учебников? Неужели великие поэты — дураки во всем, кроме своей поэзии? Неужели их взгляды формируются застойной беседой в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки?

Признаюсь, дорогой друг, я был сам поражен, почувствовав в себе слабость, головокружительную слабость: ох, как мне захотелось, чтобы меня понял такой человек, как Катулл, и прославил в стихах, которые не скоро будут забыты.

973. *(Об основах банковского дела.)*

979. *(О погильной деятельности в Италии неких лиц, подстрекающих к его убийству. См. ниже LXI.)*

980. Помнишь, куда приглашал нас охотиться Рыжий Сцевола в то лето, когда мы вернулись из Греции? Второй урожай пшеницы обещает быть в тех местах очень хорошим. *(Цезарь дает обиняком деловой совет, чтобы не привлечь внимания своих секретарей.)*

981. *(О бедности прилагательных в греческом языке, мешающей определять цвета.)*

982. *(О возможном упрямстве всех религиозных обрядов.)*

Вчера ночью, мой благородный друг, я сделал то, чего не делал уже много лет: написал эдикт, перечел его и порвал. Я позволил себе нерешительность.

Последние несколько дней я получал уже совсем бессмысленные донесения от шотрошителей птиц и толкователей грома. Более того, суд и сенат были два дня закрыты оттого, что один орел неосторожно обронил помет на расстоянии полета стрелы от Капитолия. Терпению моему пришел конец. Я отказался лично молить богов о милосердии, изображая испуг и уничижение. Жена и даже слуги смотрели на меня косо. Цицерон удостоил меня советом потакать народным суевериям.

Вчера ночью я сел и набросал эдикт, отменяющий коллегиям авгуров; объявил, что отныне не будет несчастливых дней. Я подробно излагал своему народу причины, побудившие меня к такому решению. И разве когда-нибудь я чувствовал себя счастливее? Что доставляет больше радости, чем прямота? Я писал, а мимо моего окна проплывали созвездия. Я распустил коллегиям девственных весталок: я отдал замуж дочерей самых знатных семейств, и они народили Риму сыновей и дочерей. Я закрыл двери храмов,

всех храмов, кроме святилища Юпитера. Я скинул богов назад в пучину невежества и страха, откуда они явились, в то предательское полунебытие, где фантазия порождает утешительную ложь. И наконец настала минута, когда я отодвинул в сторону все, что написал, и начал сначала, утверждая, что и сам Юпитер никогда не существовал, что человек — один в мире, где не слышно никаких голосов, кроме его собственного, в мире, не благоприятствующем ему и не враждебном, а таком, каким человек его сотворил.

Но перечтя то, что было написано, я уничтожил свой эдикт.

Я уничтожил его не потому, что говорил Цицерон, не потому, что отсутствие государственной религии загонит суеверие в подполье и придаст верованиям тайный и еще более низменный характер (что, кстати, уже происходит); не потому, что такая кардинальная мера подорвет общественный строй и народ погрузится в страх и отчаяние, подобно овцам, попавшим в бурю. Природа некоторых реформ такова, что расстройство от постепенных перемен бывает ничуть не меньше того, какое вызывают резкие и решительные повороты. Нет, и руку мою и волю остановили не возможные последствия такого шага; воспротивилось что-то во мне самом, самое мое существо.

Я сам не был уверен в своей правоте.

Уверен ли я, что нашим существованием не правит некий разум и что во вселенной нет тайны? Пожалуй, уверен. Какую радость, какое облегчение испытывали бы мы, если бы могли быть в этом убеждены. Тогда я, наверно, захотел бы жить вечно. Как страшен и величествен был бы удел человека, если бы он сам, без всякого руководства и утешения извне находил бы в самом себе смысл своего существования и правила, по которым он должен жить.

Мы с тобой давно решили, что богов не существует. Помнишь тот день на Крите, когда мы окончательно пришли к этому выводу и договорились разобраться во всех его последствиях,— мы сидели на скале, бросали камешки в воду и считали черепах? Мы дали обет никогда не допускать тут малейших сомнений.

С какой мальчишеской беспечностью мы установили, что душа угасает вместе с телом. *(Наш язык не может передать, с какой силой Цезарь выразил эту мысль полатыни. Самый строй этой фразы передает щемящее чувство отречения и горя. Агрессат письма понял, что Цезарь намекает на смерть своей дочери Юлии, жены Помпея,— невосполнимую утрату своей жизни. Мамиллий Туррин был с Цезарем в Британии, когда туга пришла весть о ее смерти.)*

Мне казалось, что я ничуть не усомнился в непреложности этого суждения. Однако есть только один способ утвердиться в чем-нибудь — совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями. Составляя вчера ночью эдикт и предвидя его последствия, я был вынужден сурово разобраться в себе самом. Я с радостью снесу любые последствия, если буду уверен, что истина в конечном счете придаст новые силы миру и всем, кто в нем живет,— но лишь в том случае, если я буду действительно уверен, что в этом уверен.

Но какое-то сомнение все же останавливает мою руку.

Я должен быть уверен в том, что нигде, даже в самом далеком уголке моего сознания, не таится мысль о том, что во вселенной или за ее пределами существует разум, влияющий на нас и управляющий нашими поступками. Если я признаю возможность такого чуда, все остальные чудеса хлынут следом; тогда существуют и боги, которые внушили нам, что такое совершенство, и надзирают за нами; тогда у нас есть и душа — ее вдыхают в нас при рождении и она переживает нашу смерть; тогда есть и воздаяния и кары, придающие смысл малейшему нашему деянию.

Да, друг мой, я непривычен к колебаниям, но я колеблюсь. Ты знаешь, я не склонен к рефлексии, к каким бы суждениям я ни пришел, я прихожу к ним сам не знаю как, но мгновенно; я не мастер размышлять и с шестнадцатилетнего возраста отношусь к философии с раздражением — для меня это заманчивая, но бесплодная гимнастика ума, бегство от обязанностей повседневной жизни.

В моей жизни и в той, что вижу вокруг, я с горечью наблюдаю четыре области, где может таиться такая чудесная сила.

Эротика: разве мы не чересчур просто объясняем то, что несет с собой это пламя, населяющее мир людьми? Лукреций, может быть, и прав, а наше вечное шутовство —



ошибка. По-моему, я всегда знал и только не хотел в этом признаться, что всякая без исключения любовь — это часть единой, всеобъемлющей любви и что даже мой разум, который задает эти вопросы, — даже он пробуждается, питается и движим только любовью.

Истинная поэзия: поэзия и в самом деле основной путь, по которому в нашу жизнь входит то, что больше всего нас ослабляет; в ней легко найти утешение и ложь, примиряющие с невежеством и безволием; я от всей души ненавижу всякую поэзию, кроме самой лучшей; но что такое великая поэзия — просто высочайшее проявление человеческой мощи или потусторонний голос?

Тот проблеск какого-то высшего знания и блаженства, сопутствующий моей болезни, от которого я не могу отмахнуться. *(Эта фраза свидетельствует о беспредельном доверии, которое Цезарь питал к тому, кому он пишет, Цезарь никому не разрешал упоминать о своих припадках эпилепсии.)*

И наконец, не могу отрицать, что временами я ощущаю, будто и моя жизнь и мое служение Риму определяются какой-то вне меня существующей силой. Очень может быть, друг мой, что я самый безответственный из безответственных людей и уже давно мог бы принести Риму все те беды, от которых страдают государства, не будь я орудием высшей мудрости, избравшей меня за мои слабости, а не за мои сильные стороны. Я не подвержен сомнениям и быстро принимаю решения, вероятно, только благодаря сидящему во мне даймо, чему-то явно постороннему, что является воплощением любви, которую боги питают к Риму, и его-то и обожествляют мои солдаты, ему по утрам возносят молитвы народ.

Несколько дней назад я в гордыне своей писал тебе, что не ценю мнения о себе других людей и что ни у кого не ищу совета. А вот к тебе я за ним обращаюсь. Подумай обо всем, что я написал, и поделись со мной своими мыслями, когда мы встретимся в апреле.

А пока что я всматриваюсь во все, что происходит у меня внутри и вокруг меня, особенно в любовь, поэзию и судьбу. Теперь я вижу, что те же вопросы задавал себе всю жизнь, но человек ведь не знает, что он знает или хотя бы желает знать, пока ему не брошен вызов, и не пришла пора рискнуть всем, что у него есть. Мне брошен вызов: Рим опять требует, чтобы я превзошел самого себя. А времени у меня осталось уже мало.

**IX. Кассия, жена Квинта Лентула Спигтера, из ее виллы в Капуе —  
достоючмой деве Домитилле Аппия, двоюродной сестре Клодии,  
девственной весталке  
(10 сентября)**

Наша долголетняя дружба, дорогая Домитилла, вынуждает меня немедленно написать тебе о решении, которое я приняла. Я намерена просить об отстранении Клаудиллы *(Клодии Пульхер)* от участия в Таинствах Доброй Богини.

Я понимаю всю серьезность своего поступка.

Клаудилла остановилась в моем доме на три дня по дороге из Байев в Рим, и тут произошёл ряд событий, которые я считаю себя обязанной подробно тебе изложить.

По приезде она рассыпалась в любезностях. Она всегда делала вид, будто любит меня, моего мужа и моих детей и не сомневается в том, что и мы любим ее. Однако я давно знаю, что она никогда не любила ни одной женщины, даже своей матери, да, пожалуй, и ни одного мужчины.

Как тебе известно, принимать в доме Клодию — все равно что принимать проконсула, возвращающегося из своей провинции. Она приезжает с тремя приятелями, десятком слуг и дюжиной верховых, сопровождающих ее носилки.

Ну, мы с мужем давно усвоили, что твоя двоюродная сестра не переносит зрелища чужого счастья. В ее присутствии мы не позволяем себе обмениваться ласковыми взглядами, не смеем целовать детей, боимся показать новшества на нашей вилле; избегаем любоваться произведениями искусства, собранными мужем. Однако бессмертные боги одарили нас счастьем, и мы недостаточно хитры, чтобы притворяться, даже когда гостеприимство и требует, чтобы мы выглядели брызгливыми и недовольными своей судьбой.

Клодия вначале всегда хорошо себя ведет. В первый день она была со всеми приветлива. Даже муж признал, что она прекрасная собеседница. После обеда мы играли в «портреты», и она, как сказал муж, нарисовала такой прекрасный портрет диктатора, лучше которого и представить себе нельзя.

Конечно, то, что я расскажу, может тебе показаться не таким важным, как мне, кое-что ты сочтешь даже мелочью.

На второй день она решила все поставить вверх дном. И беда не в том, что она оскорбила меня; но то, что она огорчила мужа, приводит меня в шешенство. Муж увлекается генеалогией и гордится доблестью рода Лентулов Спинтеров. Она подняла их на смех. «Ах, дорогой Квинт, не можешь ведь ты всерьез... и т. д., какие-то там градоправители у этрусков... но никто ведь на самом деле не верит, что их хотя бы приметил Анк Марций... ну, семья, конечно, Квинт, у вас почтенная...» Я, правда, в этих делах не разбираюсь, а она помнит все родословные вплоть до Троянской войны. Она сама прекрасно знала, что жлет, и только старалась отравить мужу жизнь, что ей и удалось.

Не предупредив, она пригласила к нам поэта Гая Валерия Катулла. Мы были рады ему, особенно мои дети, хотя предпочли бы видеть его одного. При ней он либо на седьмом небе, либо в аду. На этот раз он был в аду, а вскоре и все мы вместе с ним.

Пойми, Домитилла, я не бодрствую по ночам, подглядывая, посещают ли мои гости покои друг друга, но мне не нравится, когда мой дом используют для такого жестокого надругательства. Поскольку твоя кузина сама пригласила Валерия Катулла, я могла предполагать, что она благосклонна к любви, которую он так прославил в своих, на мой взгляд, прекрасных стихах. Но, видимо, я ошибаюсь: она избрала мой дом не только для того, чтобы запереть перед ним свою дверь, но и чтобы запереться здесь с другим, с этим жалким поэтишкой Вером. Муж проснулся ночью от шума в конюшне — это Катулл хотел взять лошадь, чтобы тут же уехать в Рим. Он был вне себя от ярости, пытался извиниться, что-то бормотал, плакал. В конце концов муж увел его через дорогу на старую виллу и не оставлял до утра. Даже весталка, дорогая моя Домитилла, может понять, каким постыдным было ее поведение, как оно опозорило наш женский пол — и сколько в этом подлости. Наутро я с ней заговорила об этом. Холодно на меня поглядев, она заявила: «Все очень просто, Кассия. Я не позволю ни одному мужчине — понимаешь, ни одному! — воображать, будто он имеет на меня какие-то права. Я совершенно свободна. Катулл претендует на власть надо мной. Мне надо было тут же ему показать, что ничьей власти я не признаю. Вот и все».

Я сразу не нашлась, что ответить, но потом мне пришли в голову тысячи возражений. Надо было дать волю первому побуждению и попросить ее немедленно оставить мой дом.

Когда мы в тот день кончали обедать, дети пришли во двор со своим воспитателем, чтобы перед заходом солнца вознести у алтарей молитвы. Ты знаешь, как набожен муж да и все у нас в доме. Клодия в их присутствии стала насмехаться над обрядом с солью и возлияниями. Я больше не в силах была терпеть. Я встала и попросила всех уйти со двора. Когда мы остались одни, я предложила ей покинуть наш дом вместе со всеми своими спутниками. В четырех милях от нас на дороге есть постоялый двор. Я сказала, что буду ходатайствовать о ее недопущении к Таинствам.

Она молча на меня смотрела.

Я сказала: «Вижу, ты даже не понимаешь всей оскорбительности твоего поведения. Если тебе удобнее, можешь уехать утром». И ушла.

Утром она вела себя крайне корректно. И даже извинилась перед мужем за те слова, которые могли показаться ему неприличными. Но я от своего решения не отказалась.

#### Х. Клодия по дороге в Рим — Цезарю

*(10 сентября. Из постоялого двора на двадцатой миле, к югу от Рима)*

*(Письмо написано по-гречески.)*

Сын Ромула, потомок Афродиты!

Я поняла всю меру твоего презрения, получив письмо, где ты сожалеешь, что не можешь присутствовать на обеде у моего брата. Оказывается, в этот день ты занят в Испанском комитете. И ты говоришь это мне, хотя я отлично знаю, что Цезарь делает

все что хочет, а тому, чего он хочет, беспрекословно повинуются и Испанский комитет и напуганные проконсулы.

Ты давно внушил мне, что мне нельзя видеть тебя наедине и нельзя приходить в твой дом.

Ты меня презираешь.

Я это понимаю.

Но у тебя есть обязательства по отношению ко мне. Ты сделал меня тем, чем я стала. Я — твоё творение. Ты, чудовище, сделал чудовищем и меня.

Мои посягательства не имеют ничего общего с любовью. Не говоря даже о любви, не говоря ни о какой любви — я твоё творение. И чтобы тебе не докучать тем, что зовется любовью, я сделала с собой то, что сделала: ударила в скотство. Ты, понимающий все (как бы ты ни напускал на себя благородство и равнодушие), понимаешь и это. Но, может, твоя показная тупость не позволяет тебе знать то, что ты знаешь?

Тигр! Зверь! Гирканский тигр!

У тебя есть обязательства по отношению ко мне.

У тебя есть обязательства по отношению ко мне.

Ты научил меня всему, что я знаю, но остановился на полпути. Ты утаил от меня самое главное. Ты научил меня тому, что мир неразумен. Когда я сказала — это уж ты помнишь и помнишь, почему я это сказала, — что жизнь ужасна, ты сказал: нет, жизнь и не ужасна и не прекрасна. Жизнь человеческая не поддается оценке и лишена смысла. Ты сказал, что вселенная и не ведаёт о том, что в ней живут люди.

Сам ты в это не веришь. Я знаю, знаю, что ты мне должен сказать что-то еще. Кто же не видит, что ты ведешь себя так, будто в чем-то для тебя есть смысл, есть разумность. Но в чем?

Я бы могла стерпеть свое существование, если бы знала, что и ты несчастен; но я вижу, что это не так, а значит, ты мне должен сказать что-то еще, понимаешь, должен.

Зачем ты живешь? Зачем ты трудишься? Почему ты улыбаешься? Один мой друг, если допустить, что у меня есть друзья, описал мне, как ты вел себя у Катона. Ты был приветлив, обворожил общество, всех рассмешил и без конца разговаривал — ну кто бы в это поверил? — с Семпронией Метеллой. Неужели тобой движет тщеславие? Неужели тебе достаточно знать, что в Риме да и за его пределами твои будущие биографы расписывают тебя человеком великодушным и полным обаяния? Твоя жизнь не ограничивалась позированием перед зеркалом.

Кай, Кай, скажи, что мне делать. Скажи мне то, что мне нужно знать. Дай хоть раз с тобой поговорить, дай тебя послушать.

Позже.

Нет, я не буду к тебе несправедлива, хотя ты несправедлив ко мне.

Не ты один сделал меня тем, чем я стала, хотя ты и довершил эту работу.

Чудовищное превращение сотворила со мной жизнь. Но ты единственный из живых знаешь мою историю, и это накладывает на тебя обязательства. Ведь нечто подобное жизнь сотворила и с тобой.

#### Х-А. Цезарь — Клодин

*(Не обратной почтой, а дня на четыре позднее)*

Жена моя, тетка и я придем к тебе на обед; не говори никому, пока не получишь от меня официального подтверждения.

Ты пишешь мне о том, что я тебе говорил. Либо ты обманываешь себя, либо меня, либо тебя подвела память. Надеюсь, что в беседе твоих гостей — а мне говорят, что в их числе Цицерон и Катулл, — будут затронуты темы, о которых и ты кое-что знала, но успела забыть.

Тебе известно, до какой степени я восхищался тем, чем ты была. Вернуть это восхищение, как и многое другое, в твоих силах. Мне всегда было трудно снисходительно относиться к тем, кто себя презирает или осуждает.

## XI. Цезарь — Помпее

*(13 сентября. Из своей канцелярии в восемь часов утра)*

Надеюсь, дорогая жена, ты поняла всю несправедливость своих утренних попреков. Прошу простить меня за то, что я ушел, не ответив на твой последний вопрос.

Мне очень горько тебе в чем-то отказывать. И вдвойне горько снова и снова отказывать в одной и той же просьбе, повторяя доводы, которые прежде, по твоим же словам, для тебя были понятны, убедительны и приемлемы. А так как повторять одно и то же утомительно мне и обидно тебе, разреши мне изложить кое-какие свои соображения письменно.

Я ничего не могу сделать для твоего двоюродного брата. С каждым днем сведения о его жестокости и распутстве на острове Корсика распространяются все шире. Это может превратиться в громкий общественный скандал; враги захотят возложить ответственность на меня, что отнимет много времени, которое я мог бы употребить на другие дела. Я тебе говорил, что я могу дать ему любую военную должность в пределах разумного, но в течение пяти лет не буду назначать его ни на один административный пост.

Повторяю, тебе не подобает посещать религиозные службы в храме Сераписа. Я знаю, там происходит много удивительного, чему нелегко найти объяснение; знаю также, что египетские обряды возбуждают сильные чувства и верующие уходят в том состоянии, какое и они и ты называете «счастливым» и «возвышенным». Поверь, дорогая жена, я тщательно изучал эти египетские верования. Они представляют опасность для нашей римской природы. Мы люди деятельные, мы верим, что даже мелкие решения повседневной жизни имеют моральное значение; что наше отношение к богам тесно связано с нашим поведением. Я знал в Египте женщины, занимающих такое положение, как ты. Время от времени они посещают храмы, чтобы подготовить душу к бессмертию; они катаются по полу и вопят; они предпринимают долгие воображаемые путешествия, чтобы «отмыть душу» и перейти из одной стадии божественного состояния в другую. Наутро они возвращаются домой и снова жестоко обращаются со слугами, обманывают мужей, жадничают, орут и ссорятся, потекают своим слабостью и проявляют полнейшее равнодушие к тому, что большинство народа живет в нищете. Мы, римляне, знаем, что наша душа прикована к земным делам, а ее «странствия и очищения» — всего лишь наши обязанности, наши дружеские отношения и те страдания, которые нам выпадают на долю.

Что же касается обеда у Клодии, прошу тебя довериться в этом деле мне. Во всех прочих вопросах я готов привести тебе свои доводы; я мог бы поступить так же и тут, но письмо мое и так затнулось, а у нас обоих есть более полезные занятия, чем копаться в жизни этой пары. Они могли бы принести незаурядную пользу римскому государству, как и их предки, вместо того чтобы служить посмешищем толпы и пугать своих сограждан. Все это они хорошо знают сами. И не ждут, что мы примем их приглашение.

Ты говоришь, что назначенные мной люди повсюду наживаются за счет казны. Я удивился, когда утром это услышал. Мне кажется, дорогая Помпея, что не дело жены дразнить мужа его неумением править или постыдной небрежностью в делах, наслушавшись сплетен. Куда достойнее было бы просить у него объяснений по поводу клеветы, затрагивающей также и ее честь. Если ты приведешь мне пример такой нечестной наживы, я тебе отвечу. И отвечу подробно, потому что мне придется поведать тебе о трудностях управления миром; об уступках жадности способных людей, на которые приходится идти, о вражде, постоянно царящей между подчиненными; о розни между покоренными странами и исконными областями республики и о тех методах, которыми помогаешь своевольным людям катиться к собственной гибели.

Я не могу без конца опровергать твои попреки в том, что я тебя не люблю, не унижая нас обоих. Все мои заверения не убедят тебя в моей любви, если ты ее не чувствуешь поминутно. Я каждый день возвращаюсь к тебе от своих трудов с самыми нежными намерениями; я провожу с тобой все время, свободное от государственных дел; даже отказ в твоих просьбах — это лишь забота о твоём достоинстве и счастье.

И наконец, дорогая Помпея, ты меня спрашиваешь: неужели мы не можем получить от жизни хоть какое-то удовольствие? Прошу тебя, не задавай мне этого вопроса, не подумав. Всякая жена неизбежно сочетается браком не только с мужем, но и с тем положением, в каком он находится. Мое не дает тех досугов и той свободы, которыми наслаждаются другие; однако твоему положению завидуют многие женщины. Я всячески постараюсь внести побольше разнообразия в твои развлечения; но обстоятельства нелегко изменить.

## ХII. Корнелий Непот. Заметки

*(Великий историк и биограф, по-видимому, вел записи событий своего времени, пользуясь самыми разными источниками, которые должны были послужить материалом для будущего труда.)*

Сестра Кая Аппия сказала моей жене, что за обедом Цезарь обсуждал с Бальбом, Гришцем и Аппием, возможен ли перевод правительства в Византию или Трою. Рим: слишком маленькая гавань, наводнения, резкие перемены погоды, болезни вследствие перенаселения, теперь уже непоправимого. Возможность военного похода на Индию?

Снова обедал с Катуллом в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки. Очень приятное общество, молодые аристократы, представители самых знатных родов Рима. Расспрашивал их о предках; от их полнейшего неведения и, должен добавить, равнодушия мне стало грустно.

Они избрали Катулла своим почетным секретарем — по-моему, из деликатности, зная, как он беден. А теперь ему обеспечена прелестная квартира прямо над рекой.

Он у них и поверенный и советчик. Они рассказывают ему обо всем: о своих ссорах с отцом, с любовницей, с ростовщиком. Трижды во время обеда дверь распахивалась, вбегал взволнованный член клуба с криком: «Где Сирмио?» (ключка, данная ему по имени его летней дачи на озере Гарда) — и уединялся с Катуллом в углу, где они шепотом совещались. Но его популярность, видимо, нельзя приписать тому, что он все им спускает, он не менее строг с ними, чем их отцы, и хотя весьма распушен на язык, в быту непритязателен и пытается привить им склонность к «старинному римскому образу жизни». Странно.

Друзей своих он выбирает из числа наименее образованных членов клуба, или, как он сам их зовет в лицо, «варваров». Один из них рассказал мне, что Катулл в трезвом виде никогда не разговаривает о литературе.

По-видимому, он и более вынослив, чем кажется по виду, и менее крепок здоровьем. С одной стороны, он может перещеголять чуть ли не всех своих товарищей в тех состязаниях в силе и устойчивости, которые обычно затевают на исходе пирушек, — перебраться по потолку, перекидываясь с одной балки на другую, переплыть Тибр, держа в одной руке орущую кошку, которая должна остаться сухой. Это ведь он украл золотую черепашку с крыши Тибуртинского клуба гребли, о чем подробно говорится в песне, написанной им для своей команды. С другой стороны, он явно слаб здоровьем. Кажется, у него болезнь не то селезенки, не то кишечника.

Его любовная связь с Клодией Пульхер всех изумляет. Надо разузнать подробности.

Марина, сестра нашего второго повара, служит в доме у диктатора. Она со мной откровенна. Какое-то время припадков священной болезни не было. Диктатор проводит все вечера дома со своей женой. Он часто поднимается среди ночи, уходит в свой кабинет, нависающий над скалой, и работает. Там у него стоит походная койка, и порой он спит на открытом воздухе.

Марина отрицает, что у него бывают приступы ярости. «Все говорят, господин, что он приходит в бешенство, но это, наверное, в сенате или в суде. За пять лет я только три раза видела, как он вспылит, но он никогда не сердится на слуг, даже если они допускают ужасные ошибки. Хозяйка часто выходит из себя и грозит нас высечь, а он только смеется. Мы все трясемся от страха в его присутствии, даже не пойму почему — ведь добрее хозяина нет на свете. Наверно, потому, что он все время за нами наблюдает и видит нас насквозь. Глаза его обычно улыбаются, словно он знает, что за жизнь у слуг и о чем мы разговариваем на кухне. Мы очень хорошо понимаем того повара,

который покончил с собой, когда загорелся очаг. В доме были важные гости, домоправителю не хотелось докладывать хозяину, и поэтому он заставил повара сказать ему о том, что случилось. Повар вошел и сказал, что обед испорчен, а диктатор только засмеялся и спросил: «А финики и салат у нас есть?» И тогда повар пошел в сад и зарезался кухонным ножом. Хозяин так рассердился — ну просто ужас! — когда узнал, что Филемон, его любимый писец, проживший у него долгие годы, хотел его отравить. И это был даже не гнев, а какой-то гнет, ужасный гнет. Помните, он не позволил его пытаться, а приказал, чтобы его тут же убили. Начальник полиции очень разозлился: он надеялся под пыткой узнать, кто его подослал. Но то, что сделал хозяин, было, по моему, хуже всякой пытки. Он созвал всех нас в комнату, человек тридцать, и долго-долго смотрел на Филемона молча, можно было слышать, как муха пролетит. А потом заговорил, что живем мы на земле все вместе и как между людьми понемногу вырастает доверие — между мужем и женой, полководцем и солдатом, хозяином и слугой... Страшнее упрека я в жизни не слышала; когда он говорил, две девушки даже упали в обморок. Казалось, будто в комнату сошел сам бог, мою хозяйку потом даже вырвало. Октавиан вернулся домой из школы в Аполлонии. Он очень молчаливый мальчик и ни с кем никогда не разговаривает. Слышала, как секретарь с Крита говорил секретарю из Римини, что в Рим, может быть, придет египетская царица, эта ведьма Клеопатра. Хозяйка может вертеть им как хочет. Стоит ей заплакать — и он совсем теряет рассудок. Мы этого не понимаем, потому что он всегда прав, а она нет».

.....

На обеде был Цицерон. Полон кокетства: жизнь его кончена, чернь неблагоприятна и прочее. О Цезаре: «Цезарь не философ. Вся его жизнь — это долгое бегство от всякого умствования. Но он достаточно умен, чтобы не выставлять напоказ убожество своих обобщений; он никогда не дает беседе перейти на философские темы. Люди его типа так страшатся всяких размышлений, что упиваются своей привычкой мгновенно и решительно действовать. Им кажется, что они спасаются от нерешительности, на самом же деле они просто лишают себя возможности предвидеть последствия своих поступков. Более того, они тешат себя иллюзией, что никогда не совершают ошибок, ибо одно действие стремительно следует за другим и нет никакой возможности восстановить прошлое и сказать, что другое решение было бы правильнее. Они могут делать вид, будто каждый поступок был вызван непреодолимыми обстоятельствами и каждое решение — необходимостью. Это порок военачальников, для которых всякое поражение — триумф, а всякий триумф — почти поражение.

Цезарь уверен в безотлагательности всего, что делает. Он старается исключить какую бы то ни было промежуточную стадию между побуждением и поступком. Он водит за собой секретаря, куда бы ни пошел, диктует письма, эдикты, законы в ту самую минуту, когда они приходят ему в голову. Таким же образом он повинуется любой естественной потребности, когда ее ощущает. Он ест, когда голоден, и спит, когда его клонит ко сну. Много раз во время важнейших совещаний, в присутствии консулов и проконсулов, которые ехали с другого конца земли, чтобы посоветоваться с ним, он покидал нас всех и с извиняющейся улыбкой уходил в соседние покои; но каков был в ту минуту зов природы, нам неизвестно — быть может, он хотел уснуть, поесть похлебки или обнять одну из трех девочек-любовниц, которых всегда держит под рукой. Должен сказать ему в оправдание, что такие вольности он разрешает не только себе, но и другим. Никогда не забуду, как он был поражен, узнав, что какой-то посол пожертвовал ради такого собрания обедом и остался голоден. Однако — разве до конца поймешь этого человека — во время осады Диррахии он голодал вместе со своими солдатами, отказываясь от рациона, оставленного для командования. Несвойственная ему жестокость к врагу после снятия осады объяснялась, по моему, только пережитыми муками голода. Свои привычки он возвел в теорию, по которой выходит, будто, отрицая, что ты животное, превращаешься в получеловека».

Цицерон не любит подолгу обсуждать Цезаря, но не прочь приукрасить собственный портрет чертами диктатора. И все же мне удалось заставить его вернуться к нашей теме.

«Каждому человеку нужна аудитория: наши предки верили, что за ними наблюдают боги; наши отцы жили, чтобы ими восхищались окружающие; для Цезаря богов не существует, и он равнодушен к мнению других. Он живет ради признания потомков. Вы, Корнелий, биографы,— его аудитория. Вы — его движущая сила. Цезарь пытается прожить великую биографию; в нем не хватает артистизма даже на то, чтобы понять, до чего несхожа реальная жизнь с литературой». Тут Цицерон покотился со смеху. «Он дошел до того, что прибегает в жизни к приему, возможному только в искусстве: к вычеркиванию. Он вычеркнул свою юность. О да, просто вычеркнул. Его юность, какой он ее себе представляет, какой ее видят все,— чистейшее творение его более зрелых лет. А теперь он принялся вычеркивать Галльскую и Гражданскую войны. Я как-то раз подробно исследовал пять страниц его «Записок» вместе с моим братом Квинтом, который был при Цезаре во время описываемых им событий. Там нет и крупницы лжи, но на десятой строке истина начинает вопить; она бежит встрепанная и обезумевшая по притворам своего храма, она себя не узнает. „Я могу стерпеть ложь,— кричит она,— я не могу вынести этого удушающего правдоподобия“».

*(Далее следует отрывок, где Цицерон обсуждает, вероятно ли, что Марк Юний Брут — сын Цезаря. Он приведен в документе, открывающем книгу четвертую.)*

• • • • •

«Не забывайте, что в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был нищим. Цезарь и деньги! Цезарь и деньги! Напишет ли кто об этом? И когда? Среди самых фантастических мифов Греции нет подобного — о расточителе, не имеющем никаких доходов, о щедром на чужое золото. Сейчас не время в это вдаваться, но говоря кратко: Цезарь никогда не считал деньги деньгами, если они не пущены в дело. Он никогда не мог воспринимать их как обеспечение будущего, как предмет для хвастовства, свидетельство своего величия, власти или влияния. Деньги для Цезаря становятся деньгами только в тот миг, когда благодаря им что-то происходит. Цезарь понимал, что деньги — для тех, кто знает, что с ними делать. Правда, мультимиллионеры явно не знают, что делать со своими деньгами — они либо их копят, либо пускают пыль в глаза, а вот безразличный к деньгам Цезарь — что, конечно, глубоко поражало и даже пугало богатых — всегда мог найти самое разнообразное применение деньгам. Он всегда мог пустить в ход чужое золото. Он умел выманить золото из ларчиков своих друзей.

Но разве его отношение к деньгам не сложнее, чем равнодушие? Разве оно не означает, что он не боится окружающего нас мира, не боится будущего, не боится тех грядущих трудностей, под угрозой которых живет столько людей? А разве страх наш в большинстве своем не память об уже пережитом страхе и уже пережитых трудностях? Ребенок, который не видел, что его старшие боятся грома и молнии, и не думает их бояться. Мать и тетка Цезаря были паразитальными женщинами. Вещи пострашнее грома и молнии не заставили бы их измениться в лице. Я не сомневаюсь, что в ужасные времена проскрипций и резни, когда они ночью бежали по объятому пожаром краю и прятались в пещерах, подросток мог увидеть в них только спокойствие и самообладание. Может быть, в этом корень всего, или же он тянется дальше и глубже? Может, он считает себя богом, потомком рода Юлиев, рожденных Венерой? — и поэтому неподвластным мирскому злу, недоступным для земных радостей?

Так или иначе, все эти годы он жил без всяких средств в маленьком домике, среди простого люда, вместе с Корнелией и дочуркой и при этом оставался патрицием из патрициев. Пурпурная кайма на его тоге не хуже, чем у Лукулла, он позволял себе возражать Крассу, противоречить мне,— нет, его никогда не поймешь до конца!

Однако же — и это очень тонкое обстоятельство — Цезарь обожает обогащать других. Сейчас враги прежде всего обвиняют его в том, что он позволяет своим приспешникам приобретать немислимые состояния, а большинство из них — мерзавцы. Но ведь разве это не значит, что он их презирает? Он же считает обладание богатством и его умножение слабостью, нет, что я говорю? — трусостью».

Пригласил на обед Азиния Поллиона. Он говорил о Катulle и о злых эпиграммах поэта на диктатора. «Да, но вот что самое странное. В разговорах поэт защищает Цезаря от ругани своих приятелей, а в сочинениях льет на него ушатъ яда. И вот что примечательно: Катулл, будучи крайне распушен в стихах, на удивление строг в личной

жизни сам и так же строго судит поведение других. Он, как видно, считает свои отношения с Клодией Пульхер — о них он никогда не говорит — чистой, возвышенной любовью, которую никак нельзя равнять с мимолетными романами приятелей. Его эпиграммы на диктатора, на первый взгляд политические, полны похабщины. Ненависть к Цезарю, как видно, питают два источника: отвращение к общественной аморальности диктатора и отвращение к тому типу людей, которыми диктатор себя окружает и кому он дает обогащаться за общественный счет. Возможно также, что он видит в диктаторе соперника или ревнует к нему Клодию Пульхер задним числом».

### ХIII. Катулл — Клодия

(14 сентября)

*(11-го и 13-го Катулл написал два черновика этого письма. Они так и не были отправлены, однако их прочел Цезарь в числе других бумаг, взятых в комнате Катулла и переписанных для Цезаря секретной полицией. Эти черновики приведены в книге второй как документ ХХVIII.)*

Я не хочу закрывать глаза на то, что наш мир — обитель мрака и ужаса.

Дверь, запертая тобой в Капуе, мне об этом говорит.

Ты и твой Цезарь пришли, чтобы научить нас вот чему: ты — что любовь и внешняя красота — обман; он — что в самых дальних уголках сознания таится только жажда самоутверждения.

Я знал, что ты тонешь. Ты мне и сама это говорила. Руки твои и лицо еще стараются удержаться на поверхности. Но тонуть с тобой я не намерен. Та дверь, которую ты передо мной заперла, была последним зовом о помощи, ибо теперь в тебе может кричать только жестокость.

Я не могу тонуть с тобой потому, что у меня осталось еще одно дело. Я еще могу кинуть оскорбления этому миру, который нас оскорбляет. Я могу оскорбить его, создав прекрасное произведение. Я это сделаю, а потом положу конец долгому распятию души.

Клаудилла, Клаудилла, ты тонешь. Ах, если бы я был глух, ах, если бы я не видел этой борьбы, не слышал этих криков.

### ХIII-А. Клодия — Катуллу

(В тот же день обратной почтой)

*(По-гречески.)*

Маленький олень, верно, все верно, но как же я могу не быть с тобой жестокой? Терпи, мучайся, но не бросай меня.

Я все тебе расскажу, это мое последнее спасение. Приготовься услышать самое страшно: дядя изнасиловал меня, когда мне было двенадцать лет, и на чем, на ком мне это выместить? Такое? В фруктовом саду, в полдень. На солдцепеке. Ну вот, теперь я тебе сказала все.

Мне ничего не поможет. Я и не прошу помощи. Я прошу только быть моим товарищем в ненависти. Я не могла простить тебе, что ты недостаточно ненавидишь.

Приди ко мне. Приди ко мне, Маленький олень.

Ну что тут можно сказать?

Приди.

### ХIII-Б. Катулл

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris  
Nescio; sed fieri sentio et excrucior.

Да! Ненавижу и все же люблю! Как возможно, ты спросишь?  
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь\*.

### ХIV. Азиний Поллион из Неаполя — Цезарю в Рим

(18 сентября)

*(Азиний Поллион, путешествуя в качестве доверенного лица Цезаря, отвечает на двадцать вопросов, посланных ему диктатором.)*

\* Перевод А. И. Пиотровского.



Военачальник!

*(Далее следует несколько страниц, где излагаются в высшей степени специальные операции крупнейших банковских контор, расположенных вблизи Неаполя; такой же глянцный отчет касательно кое-каких проблем управления Мавританией; потом идет сообщение о том, как в Африке грузят на корабли диких зверей для участия в римских праздничных играх.)*

Вопрос 20. О причинах недоброжелательства Гая Валерия Катутла к диктатору и сообщение о любовной связи поэта с госпожой Клодией Пульхер.

Я много раз пытался выяснить у поэта, почему он питает к вам такую вражду. Имейте в виду, что Валерий — натура на редкость сложная и противоречивая. По большей части он рассудителен, терпим и равен в обращении. Несмотря на то, что он лишь немногим старше большинства членов нашего клуба (*Эмилиева для игры в шашки и плавания*), он давно играет там роль советчика и умиротворителя и, как мы говорим, «главы застолья». Однако существуют три темы, о которых он не может ни слышать, ни говорить, не впадая в безудержную ярость. Он бледнеет, краснеет, голос его переходит на крик, а глаза сверкают. Я не раз видел, как он дрожит от гнева. Эти темы: плохие поэты, распутное поведение женщин, вы и кое-кто из ваших приближенных. Я уже имел случай докладывать, что большинство членов клуба сочувствуют республиканцам. Это еще больше относится к двум другим клубам, членами которых состоят только молодые патриции: к Тибуртинскому клубу гребли и к Красным Парусам. В клубе Сорока Ступенек, который крайне горд тем, что его учредили вы, дело обстоит иначе. Однако старые клубы в своих республиканских взглядах не идут дальше застольной беседы. Молодые люди очень плохо осведомлены в государственных делах и не настолько ими интересуются, чтобы выслушивать длинные рассуждения на эту тему; в том числе и Валерий. Его недовольство все время меняет мишень: то он обвиняет безнравственность некоторых правящих лиц, то излагает политические теории, а то приписывает вам ответственность за грабежи, совершенные якобы в пригородах.

Меня не покидает мысль, что необъяснимое раздражение, которое он высказывает по трем этим поводам, всего лишь следствие того тяжелого положения, в какое он попал из-за Клодии Пульхер. Надо же было случиться, чтобы из всех женщин Рима он влюбился именно в нее. Когда восемь лет назад он приехал в столицу, Клодия уже была в клубе всеобщим посмешищем, хотя тогда еще был жив ее муж. Смеялись над ней не из-за обилия любовников, а из-за того, как всегда одинаково протекали ее любовные связи. Сначала она пускала в ход свое очарование, чтобы выведать слабости очередного любовника, а потом делала все, чтобы поглубже его оскорбить, ударив в самое уязвимое место. К несчастью, она делала это не слишком умело. Ей так не терпелось поскорее унижить любовника, что чары ее быстро теряли силу. Некоторые члены клуба, настроившись по крайней мере на полгода блаженства, возвращались в клуб посреди первой же ночи, даже не захватив своего плаща.

Все, кто знает Валерия, поражены, что он любит эту женщину с такой страстью и так долго. Мой брат, а он куда более близок с поэтом, чем я, уверяет: когда тот говорит о Клодии, кажется, что речь идет о человеке, которого мы совсем не знаем. Никто не отрицает, что после Волумнии она на холме самая красивая, несомненно самая остроумная и даже самая умная и что развлечения, пикники и обеды, которые она устраивает, не имеют себе равных в Риме; но Валерий твердит моему брату о ее мудрости, о ее доброте к обездоленным, о душевной деликатности, о величии ее души. Я знаю ее уже много лет; мне весело в ее обществе; но я никогда не забываю, что она ненавидит самый воздух, которым дышит, всех и вся вокруг. Считается, что тут есть одно исключение — ее брат, Публий. У Корнелия Непота есть на этот счет даже теория: ее упорная месть мужчинам скорее всего следствие кровосмесительной связи с братом. Возможно, но я так не думаю. Брат раздражает ее, как не очень любящую мать. Страсть или охлаждение после страсти усилили бы и это раздражение и чувство собственности.

Мое восхищение поэтом и даже любовь к нему очень велики. Я был бы просто счастлив, если бы: прошло увлечение, которое его так мучит, и он отказался бы от мальчишеского предубеждения против моего военачальника.

Госпожа Клодия Пульхер пригласила меня на обед, куда, по ее словам, приглашены и вы, военачальник, и этот самый поэт. Сперва такая затея показалась мне не

сулящей ничего доброго, однако, поразмыслив, я решил, что она представит удобную возможность рассеять кое-какие недоразумения. Но я пойму, если вам не захочется присутствовать на этом обеде, и тогда, надеюсь, мне будет позволено устроить вашу встречу с поэтом как-нибудь в другой раз.

#### XIV-A. Корнелий Непот. Заметки

Встретил в термах Азиния Поллиона. Сидя в парной, мы снова обсуждали причины ненависти Катулла к нашему Хозяину. «Тут и сомневаться нечего,— сказал он,— все дело в Клодии Пульхер. Однако, насколько я знаю, Цезарь не проявлял к ней интереса. А ты что-нибудь слышал?»

Я ответил, что тоже ничего такого не замечал и откуда бы мне это знать? «По моему, там ничего не было. В годы, когда он занимался волокитством, Клодия была еще девочкой. Нет, между ними наверняка ничего не было; однако по какой-то причине Катулл (я в этом уверен) связывает их друг с другом. Эпиграммы на диктатора полны ярости, ожесточения, но обычно бьют мимо. Ты заметил, что все они полны непристойностей? Обличать Цезаря в безнравственности и в том, что он помогал обогащению кое-каких высокопоставленных лиц,— все равно что кидать песок против ветра. В его эпиграммах есть что-то детское, однако врезаются в память они совсем не по-детски».

Тут он зашептал мне на ухо: «Ты ведь знаешь, как я восхищаюсь нашим Хозяином. И однако же говорю тебе: лишь человек, который не дал себе труда подумать, не может выдвинуть против него более конкретные, более убедительные обвинения... Нет, нет... Тут дело ясное: Катуллом движет ревность».

Он помахал руками: «Катулл одновременно и муж и ребенок. Надо его знать, чтобы в это поверить. Ты слышал, что сказал Цицерон, когда впервые прочел его любовные стихи? Нет? Катулл — единственный человек в Риме, который серьезно относится к страсти, и скорее всего последний».

#### XV. Катулл — Клодия

(20 сентября)

Душа моя, душа души моей, жизнь жизни моей, я проспал весь день.

Ах, если бы можно было проспаться до (пятницы). Какая мука бодрствовать вдали от тебя; какой неутолимый голод — спать, но не рядом с тобой. В сумерках я вышел с Аттием — новая мука: думать только о тебе и не говорить о тебе. Сейчас полночь. Я писал, писал, а потом рвал написанное. Ах, нега и безумие любви, какой язык может их выразить? И зачем мне пытаться, зачем я родился на свет — затем, чтобы злые демоны терзали меня, заставляя рассказывать о них?

Забудь, ну забудь же все колкости, что мы наговорили друг другу. Страсть — наша радость и в то же время злобный враг. Боги мстят нам тем, что мы не можем навечно и до конца слиться воедино. Душа ярится оттого, что существует тело, а тело — оттого, что есть душа.

Но, ах, давай добьемся того, что удавалось немногим. Давай сторим оба, чтобы превратиться в одно, и, ах, Клаудилла, давай же сотрем прошлое, растопчем его. Поверь, его больше нет. Будь гордой, не позволяй себе вспоминать его, в твоей власти его презреть. Решись каждое утро быть новой утренней Клаудиллой.

Я целую тебя, чтобы спрятать от тебя свои глаза. Я обнимаю тебя. Я целую тебя. Целую тебя. Целую тебя.

#### XVI. Помпея — Клодия

(21 сентября)

Вот письмо от него к тебе. Письмо просто ужасное, и мне стыдно его пересылать.

И все же! Как видишь, я могу прийти. Но не меня за это благодари. Почему ты сразу ему не сказала, что там будет этот поэт? Иногда мне кажется, что мой супруг ни о чем, кроме поэзии, и не думает. Чуть ли не каждую ночь он читает в постели мне вслух стихи. Вчера — Лукреция. Все насчет каких-то атомов, атомов, атомов. Только он

не читает — он их знает наизусть. Ох, милочка, он такой странный человек. Всю эту неделю я его просто обожаю, и все равно он такой странный человек. Клодиолла, я только что узнала, какое прозвище дал ему Цицерон. Вот умора! В жизни так не смеялась. *(Трудно установить, какая из кличек, данных Цицероном Цезарю, оказалась супруге диктатора такой уморительной. Это мог быть просто Хозяин или одно из более сложных греческих прозвищ — Autophidias, или «Человек, живущий так, словно он мастерит свою собственную статую»; или «Доброжелательный душитель», выразившее недоумение современников по поводу массовой амнистии, дарованной Цезарем своим врагам, и его пугающей неспособностью выказывать по их адресу малейшую обиду; или «Никого здесь нет, кроме дыма» — фраза из «Ос» Аристофана, где человек, запертый дома собственным сыном, отвечает так, когда его застигают за тем, что он пытается сбежать через печную трубу.)*

Я примерила платье. Это чудо. Я надену этрусскую тиару, юбку дала вышить золотыми бусами — на подоле очень густо, а чем выше к талии, тем реже. Не знаю, разрешено ли это законами против роскоши, но спрашивать у него не собираюсь.

Ты заметила, какой я подала тебе знак во время плясок в день основания Рима? Когда я дерну за мочку правое ухо — это будет знак тебе. Я, конечно, не смею вертеть головой ни вправо, ни влево. И хотя он за две мили от меня занят своей шагистикой и выкрикивает какую-то тарабарщину, все равно я знаю, что он не спускает с меня глаз.

Я учу свой текст — ты знаешь, для чего *(Таинства Доброй Богини)*. Понимаешь, душа, у меня ведь нет никакой памяти! Да еще эта старомодная речь! Но он мне помогает учить. Верховная жрица сказала, что раз он верховный понтифик, ему позволено кое-что знать. Конечно, не самое ужасное. Как ты думаешь, кто-нибудь из жен осмелился пересказать это своему мужу? Думаю, нет.

Я слышала, что тетя Юлия тоже придет к тебе на обед. Она остановилась у нас. На этот раз я ее заставляю рассказать о гражданских войнах, когда им приходилось есть змей и жаб и когда они с моей бабушкой поубивали столько людей. Какое странное чувство, наверно, когда кого-нибудь убиваешь!

Обнимаю тебя.

#### XVI-A. Цезарь — Клодия

*(Вложено в письмо)*

Диктатор шлет нижайший поклон благородной госпоже. Диктатор отложил дела, мешавшие присутствовать ему на обеде, и принимает приглашение благородного Публия Клодия Пульхера и благородной госпожи. Он также просит у них разрешения пригласить к ним в дом после обеда губернатора Испании и депутата Двенадцати.

Диктатору известно, что для гостей благородной госпожи даст представление греческий мим Эрос. Игру этого мима отличает высокий артистизм. Однако, говорят, ей сопутствует немало непристойностей, особенно в пантомиме под названием «Афродита и Гефест». Крайне нежелательно, чтобы полководцы и правители из Испании и других отдаленных провинций республики вынесли впечатление, что столичные забавы носят подобный характер. Диктатор просит благородную госпожу довести до сведения актера это замечание диктатора.

Диктатор выражает благодарность благородной госпоже и просит пренебречь в начале вечера теми церемониями, которые принято соблюдать в его присутствии.

#### XVII. Цицерон со своей виллы в Тускуле — Атику в Грецию

*(26 сентября)*

Только музы, мой Помпоний, могут утешить нас в утрате всего, чем мы дорожили. Мы стали рабами, но даже раб может петь. Я делаю обратное тому, к чему прибежал Одиссей, спасая от гибели себя и своих спутников, — он залепил себе уши, чтобы не слышать сирен, я же целиком предался музам, чтобы не слышать предсмертного хрипа республики и последнего вздоха свободы.

Я с тобой не согласен: я виню во всеобщем удушии только одного человека.

Умирающий призвал этого врача, и он вернул ему все жизненные силы, кроме

воли, и тут же превратил его в своего раба. Какое-то время я надеялся, что врач обрадуется выздоровлению больного и даст ему независимость. Но эта надежда рассеялась.

А потому давай общаться с музами — это единственная свобода, которую никто не может у нас отнять.

Сам врач питает интерес к мелодиям, звучащим из этой вселенской тюрьмы. Он послал мне пачку стихов того самого Катуллы, о котором ты поминаешь. Я знаком с молодым человеком, и он даже посвятил мне одно из своих стихотворений. Я знал это стихотворение уже год назад, но, клянусь богами, так и не понял, что в нем хвала или хула. Спасибо и на том, что он не обзывает меня сводником или карманным вором — эти игривые прозвища не миновали почти всех его друзей.

Я не разделяю безмерных восторгов Цезаря. Некоторые стихи не вызывают у меня восхищения, но я питаю к ним слабость. Те, что созданы по греческим образцам, можно назвать самыми блестящими переводами, какие только у нас появлялись; когда же он отходит от греческих первоисточников, мы сталкиваемся с чем-то довольно странным.

Стихи написаны по-латыни, но это не римская поэзия. Катулл пришел к нам из-за границы и несет с собой то искажение родного языка и образа мыслей, которое не может не захлестнуть нашу поэзию. Стихи к Клодии, особенно на смерть ее воробышка, не лишены изящества, но в них есть что-то комичное. Говорят, что они уже нацарапаны на стенах терм и в городе нет ни одного сирийца — разносчика колбас, который не знал бы их наизусть. Воробышек! Говорят, что он часто садился на грудь Клодии — на эту довольно исхоженную площадь, куда только изредка пускали птиц. Ну что ж, примем эту анакреонтическую погребальную песнь о птичке и страстную мольбу о поцелуях без счета — но что я вижу дальше? Внезапный переход, вернее отсутствие всякого перехода, — и вот уже речь идет о смерти; а там, клянусь Геркулесом, щедро изложены все общие места стоической философии.

Soles occidere et redire possunt;  
Nobis cum semel brevis lux occisus est  
Nox est pertetua et una dormienda.

(Перевод дан во II-Б).

Это высокая, печальная мелодия. Я приказал вырезать слова на стене беседки, повернутой к заходящему солнцу, — но при чем тут воробышек и при чем поцелуи? Между началами и концами этих стихов — недопустимая диспропорция. Это уж и не греческая и не римская поэзия. Под внешним строем стиха идет тайный ход мысли поэта, ассоциации идей. В гибели воробышка выражены смерть Клодии и своя собственная смерть.

А если, дорогой мой Помпоний, нам навяжут поэзию с подспудным ходом мыслей, у нас скоро воцарится бессмыслица, разгуливающая под видом самой тонкой чувствительности. Наш ум и правда рыночная площадь, где раб стоит бок о бок с мудрецом, или запущенный сад, где рядом с розой растут сорняки. Банальная мысль может в любой миг по ассоциации вызвать мысль самую возвышенную, а ту, в свою очередь, можно доказать самой заурядной повседневной подробностью или ею же сразу оборвать. Но это и есть бессвязность; это — наше внутреннее варварство, из которого вот уже шестьсот лет пытаются вывести нас Гомер и другие великие поэты.

Я встречу с этим поэтом на обеде, который Клодия дает через несколько дней. Там будет Цезарь. Я намерен так повести разговор, чтобы эти истины до них дошли. В жестокой определенности — залог здоровья не только литературы, но и государства.

#### XVIII. Донесение тайной полиции о Гае Валерии Катулле (22 сентября)

(Такие донесения поступали к диктатору ежедневно. В них приводились перехваченные письма, спровоцированные или подслушанные разговоры, сведения о лицах или деятельности лиц, имена коих часто указывал полиции сам диктатор.)

Объект 642. Гай Валерий Катулл, сын Гая, внук Тита, патриций из области Вероны. Возраст двадцать девять лет. Проживает в Эмилиевом клубе для игры в шашки и плавания. Общается с: Фицинием Мелой, братьями Поллионами, Корнелием Непотом, Луцием Кальконом, Мамилием Торкватом, Орбацием Цинной, госпожой Клодией Пульхер.

Бумаги в комнате объекта были просмотрены. Среди них семейные и личные письма, а также большое количество стихов.

Объект не проявляет интереса к политике, и надо полагать, что слезка за ним может быть прекращена.

*(Указание диктатора: «Донесения по объекту 642 должны поступать и впредь. Все документы, обнаруженные на квартире объекта, должны быть переписаны и как можно скорее препровождены».*

*Тогда диктатору были предъявлены следующие документы.)*

#### XVIII-A. Мать Катулла — Катуллу

Отец принял на себя в городе много новых обязанностей. Он занят с утра до вечера. Урожай хуже, чем мы ожидали. Виноваты в этом частые бури. Ипсита сильно простудилась, но теперь ей лучше. Собаки твои здоровы. Виктор уже довольно стар. Теперь он почти все время спит у моих ног подле огня.

Мы узнали от поверенного Цецинния, что ты был нездоров. Нам ты об этом не пишешь. Отец очень огорчен. Ты знаешь, какой у нас тут хороший врач и как бы о тебе заботились. Мы просим тебя приехать домой.

Вся Верона знает твои стихи наизусть. Почему ты никогда их нам не посылаешь? Жена Цецинния принесла нам больше двадцати стихотворений. Странно, что мы должны получать из рук соседки стихи, которые ты написал на смерть твоего дорогого брата. Отец носит их повсюду с собой. Тяжело об этом говорить. Они прекрасны.

Я каждый день молюсь, чтобы бессмертные боги тебя сберегали. Я здорова. Напиши нам когда сможешь. 12 августа.

#### XVIII-B. Клодия—Катуллу

*(Предыдущей весной)*

Как скучно иметь дело с истеричным ребенком.

Не старайся больше меня видеть.

Я не позволю, чтобы со мной говорили в таком тоне. Я не нарушала никаких обещаний, потому что их не давала.

Я буду жить, как мне нравится.

#### XVIII-B. Аппий — Катуллу

Вот тебе ключ. Никто тебе не помешает. Комнатами иногда пользуется дядя, но он уехал в Равенну.

«О, любовь, властительница богов и людей».

#### XIX. Анонимное письмо *(написанное женской рукой под диктовку*

*Клодия Пульхера) жене Цезаря*

Мне сообщили, знатная и благородная госпожа, что вы приняли приглашение завтра вечером отобедать у Клодии Пульхер; я бы не посмела отнимать драгоценное время у той, кто так достойно занимает столь высокое положение, если бы не должна была сообщить вам кое о чем, чего вы не можете узнать от других.

Это письмо должно послужить вам предостережением, за что вы будете мне только благодарны. К великому моему горю, я узнала, что Клодий Пульхер питает к вам чувство, далеко выходящее за рамки обычного восхищения. Он, никогда не знавший, что такое любовь, и — увы! — причинивший больше страданий, чем радостей, нашему полу, наконец-то покорен тем богом, который никого не щадит. Вряд ли он когда-

нибудь признается вам в своей страсти: уважение к вашему бессмертному супругу скучает его уста; но его чувство к вам может пересилить долг и честь.

Не пытайтесь узнать, кто я. Не скрою, одна из причин, почему я вам пишу,— ревность, ибо теперь вы безраздельно владеете сердцем, в котором, как мне казалось, жила любовь ко мне. Вскоре после того, как будет написано это письмо, я покончу с жизнью, потерявшей отныне всякий смысл. И пусть мои предсмертные слова послужат вам предостережением: даже ваше благородство не сможет спасти того, кто подавал такие блестящие надежды, но кто растратил себя в безрассудном разгуле; даже вы не сможете преодолеть влияние его сестры, порочнейшей из женщин; даже вам не отомстить за зло, причиненное им нашему полу. Он верит, что вы могли бы вернуть его на путь добродетели и заставить приносить пользу обществу. Он обманывается — даже вам, знатная госпожа, это не под силу.

#### XX. Абра, служанка жены Цезаря,—Клодия

(30 сентября)

Наши отправятся к вам на обед в три часа. Хозяйка и старая госпожа — на носилках, сам — пешком. Сам веселый. Сама в слезах. Он заставил меня спорить все золотые бусы с платья. Законы против роскоши.

Слышала важный разговор. Простите меня, госпожа. Старая госпожа долго ее увещевала. Говорит, вам, наверное, запретят (*внизу полустертое* «не пустят») участвовать в церемониях. Старая госпожа говорит: может, и запретят, может, нет. Хозяйка плачет, просит, чтобы старая госпожа этого не допускала. Хозяйка ходила к самому, просила, чтобы этого не делали. Сам очень спокойный, веселый, говорит, что ничего такого не знает и нечего понапрасну беспокоиться.

Пойду причесывать хозяйку. Это на целый час.

Хозяйка расспрашивает о вашем брате.

Мое нижайшее почтение, госпожа.

#### XX-A. Жена Цезаря—Клодия

Случилось что-то ужасное. Когда мы направлялись к вам на обед, трое людей перескочили через стену и пытались убить моего мужа. Не знаю, тяжело ли он ранен. Мы все вернулись домой. Не знаю, что будем делать. Так огорчена, что не попала к тебе на обед. Обнимаю.

#### XX-B. Начальник государственной полиции — начальнику тайной полиции

Мы произвели облаву и задержали двести двадцать четыре человека, застигнутых около места преступления. Приступили к допросам. Шестеро весьма подозрительны. Применяем пытки. Один убил себя перед допросом.

У дома Публия Клодия Пульхера собралась толпа. Разнесся слух, будто диктатор шел туда на обед, и покушение на убийство приписывают приспешникам Клодия. Толпа начала бросать камни и грозит поджечь его дом.

Несколько слуг Пульхера пытались сбежать через ворота на Триувльцинский проезд, но были избиты толпой.

Позднее.

Толпа возле дома ведет себя все более угрожающе. У Клодия Пульхера находился Марк Туллий Цицерон в одежде бывшего консула. Его проводил домой военный патруль. Из толпы в него плевали, кинули несколько камней.

В доме остались Клодия Пульхер, молодой человек, назвавшийся Гаем Валерием Катуллом, и одна служанка.

Там присутствовал и Азиний Поллион, однако, услышав о покушении, он сразу же отправился к диктатору. Так как он был в военной форме, толпа дала ему дорогу и приветствовала его.

Публий Клодий Пульхер сбежал, прежде чем мы успели его задержать.

Позднее.

У дверей дома внезапно появился диктатор в сопровождении Азиния Поллиона и шестерых стражников.

Его восторженно приветствовали. Он обратился к толпе с просьбой разойтись по домам и возблагодарить богов за его спасение. Он заверил народ, что у него нет основания подозревать жителей этого дома в покушении на его жизнь.

Он во всеуслышание запретил подвергать пытке кого-либо из подозреваемых, пока он их сам не допросит.

Мне он приказал принять все меры к поимке Клодия Пульхера, но обращаться с ним почтительно.

### XXXI. Азиний Поллион—Вергилию и Горацию

*(Письмо написано лет через пятнадцать после изложенных выше событий)*

Подагра и нечистая совесть, друзья, первые враги сна; прошлой ночью они мне долго не давали покоя.

Дней десять назад за столом у нашего господина (то есть императора Цезаря Августа) меня вдруг попросили рассказать о любопытных событиях, связанных с состоявшимся обедом, который Клодия Пульхер давала поэту Катутулу, Цицерону и божественному Юлию в последний год его жизни. К счастью, императора вызвали вскоре после того, как я начал свой рассказ. Но вы, наверное, успели заметить, как я запинаясь. Император — человек широких взглядов, но он владыка мира, бог и племянник бога. Как говаривал его божественный дядя: диктаторам надо знать правду, но не надо допускать, чтобы им ее говорили. Я был застигнут врасплох и наскоро старался приоровить свою речь к императорским ушам. Но вы двое должны знать правду, и сегодня, диктуя свой рассказ, я надеюсь забыться и умиротворить своих ночных мучителей.

Мы сидели, ожидая прихода диктатора и его спутников. Клодия расставила на улице перед домом жрецов и музыкантов; там же собралась большая толпа желающих на него поглазеть. Мы узнали последними, что на его жизнь совершено покушение. С самого начала (и по сей день) римский народ был уверен, что попытку убить высокого гостя предприняли бандиты, нанятые Клодием Пульхером. Пока мы ждали гостей, через стену, огораживающую двор, к нашим ногам стали падать камни и пучки горячей соломы. Наконец кто-то из перепуганных слуг сообщил нам, что произошло. Клодия разрешила мне пойти к Цезарю домой. Так как я был в военной форме, мне удалось пройти через толпу без помех. Позже я узнал, что Цицерон с порога обратился с речью к толпе, напомнил о своих заслугах перед республикой и просил разойтись по домам; но на толпу его слова не подействовали — она его осыпала оскорблениями; он едва унес ноги и чудом спас жизнь, а несколько слуг, пытавшихся убежать через садовую калитку, были забиты палками насмерть.

Проходя по Палатинскому холму, я увидел следы пролитой Цезарем крови. Он сидел во дворе своего дома; ему перевязывали раны. Лица слуг были бледны; жена — вне себя от страха; спокойны были только он сам и его тетка. Убийцы дважды пропороли ему правый бок — от горла до пояса. Врач промывал глубокие раны и накладывал повязки из морского мха. Цезарь нетерпеливо над ним подшучивал. Когда я подошел, я увидел в глазах его то выражение, какое наблюдал у него только на войне в минуту величайшей опасности, — взгляд, полный какой-то жадной радости. Он подозвал меня поближе и шепотом спросил, что делается у Клодии. Я ему рассказал.

— Добрый мой врач, — сказал он, — поторопись, поторопись, поторопись.

Время от времени появлялись агенты тайной полиции и докладывали, как идут поиски. Наконец хирург отошел со словами:

— Цезарь, теперь я поручаю твое исцеление самой природе. А она требует от тебя сна и покоя. Не соизволят ли диктатор вышить это снотворное?

Цезарь поднялся и несколько раз обошел двор, проверяя свои силы; он с улыбкой поглядывал на меня.

— Добрый мой врач, — сказал он наконец, — я последую твоему совету через два часа, но сперва я должен выполнить свои обязанности.

— Цезарь, Цезарь! — воскликнул врач.

Жена кинулась к его ногам, причитая, как Киферида в трагедии. Он поднял ее, поцеловал и властно поманил меня за собой. В дверях он приказал нескольким стражникам следовать за носилками, и мы быстро двинулись по Палатинскому холму. По дороге он должен был остановиться из-за дожимавшей его боли или слабости. Молча прислонясь к стене, он жестом приказал и мне молчать. Несколько минут он тяжело дышал, потом мы снова пустились в путь. Приблизившись к дому Клодии, мы увидели, что полиции никак не удается разогнать толпу. Весь Рим стекался на вершину холма. Когда люди узнали диктатора, толпа взревела и расступилась, чтобы дать ему дорогу. Он шел медленно, улыбаясь направо и налево, кладя руку на плечи тех, кто оказывался рядом. У дверей Клодии он обернулся и рукой подал знак, призывая к тишине.

— Римляне!— сказал он.— Да благословят боги Рим и всех, кто его любит. Враги ваши покусились на мою жизнь...

Тут он распахнул одежду и показал повязку на боку. Воцарилось мертвое молчание, а затем толпа подняла рев, полный гнева и скорби. Цезарь спокойно продолжал:

— Но я все еще среди вас и по-прежнему могу ревностно служить вашим интересам. Те, что напали на меня, пойманы. Когда мы расследуем это дело до конца, вам доложат обо всем, что мы узнаем. Возвращайтесь домой, соберите вокруг себя жен и детей, возблагодарите богов, а потом засните спокойно. Каждому отцу семейства будет выдано по мерке пшеницы, чтобы он мог порадоваться вместе со мной и моими близкими счастливому исходу. Ступайте по домам, друзья, не задерживайтесь, ибо ребенок радуется шумно, а муж молча, не выказывая своих чувств.

Он постоял минуту, и многие подходили, чтобы коснуться лбом его руки.

Мы вышли. На дворе стояла Клодия, встречая его там, где полагалось бы стоять ее брату. Позади нее в нескольких шагах, высоко подняв голову, ждал угрюмый Катулл. Цезарь чинно с ними поздоровался и извинился за отсутствие жены и тетки. Клодия тихо попросила прощения за то, что нет ее брата.

— Мы сейчас обойдем алтари,— сказал Цезарь. И обошел их с той неподражаемой смесью безмятежности и строгости, с какой он выполняет все обряды. Улыбнувшись Катуллу, он вознес краткую молитву заходящему солнцу, как это принято в домах к северу от реки По.

Вдруг он необычайно развеселился. Он обнаружил служанку, которая притаилась за одним из алтарей. Шутливо схватив за ухо, он отвел ее на кухню.

— Надо надеяться, что обед не окончательно испорчен. Приготовь нам хоть одно блюдо, а пока ты его готовишь, мы выпьем. Азиний, наполни чаши. Я вижу, Клодия, ты приготовила обед на греческий манер. Что ж, устрой пиршество беседе, ведь собрано отменное общество и у нас вдоволь тем.— Тут он возложил себе на голову венок со словами: — Я буду *(по-гречески)* Владыкой Пира. За мной выбор темы, награда благоразумному и кара глупцу.

Я пытался попасть ему в тон, но у Клодии словно язык отнялся и она стояла бледная, не в силах прийти в себя. Катулл лежал, не поднимая глаз, пока не выпил несколько чаш вина. Однако Цезарь продолжал оживленно разговаривать — с Клодией о законах против роскоши и с Катуллом о своем замысле обуздать разливы реки По. Потом, когда столы убрали, Цезарь встал, сделал возлияние и объявил тему нашего симпозиума: является ли поэзия продуктом человеческого ума или же, как утверждают многие, даром богов.

— Прежде чем мы начнем,— сказал он,— пусть каждый прочтет какие-нибудь стихи, чтобы они напомнили нам, о чем пойдет речь.

Он кивнул мне. Я продекламировал «О, любовь, владычица богов и людей» (*из трагедии Еврипида «Андромеда», ныне утерянной*); Клодия произнесла «Призыв к утренней звезде» Сафо (*также утерянной*); Катулл медленно прочел начало поэмы Лукреция. Наступило долгое молчание — мы ждали, чтобы начал Цезарь, а я знал, что он с трудом сдерживает слезы, с ним часто это бывает. Отпив большой глоток вина, он прочел с деланной небрежностью стихи Анакреона.

Первому выпало говорить мне. Как вы знаете, я чувствую себя свободнее в торговой конторе или на военном совете, чем в академиях. Я был рад, что, припомнив уроки своего учителя, смог высказать избитые школьные истины насчет того, что поэ-



зия, как любовь, дарована нам богами и что тому и другому сопутствует одержимость, которую все считают состоянием сверхчеловеческим; что негленность великих поэтических образцов сама по себе признак того, что источник их сверхчеловеческий, ибо все творения людей разрушаются всесильным временем, а стихи Гомера пережили тех колоссов, что в них описаны, и вечны, как боги, вдохновившие их. Я произнес много глупостей, да еще таких, которые были произнесены не одну тысячу раз.

Когда я кончил, Клодия встала и, плотнее закутавшись в тогу, приветствовала Владыку Пира. Я никогда не относился к Клодии так неприязненно, как большинство моих сограждан. Я знал ее много лет, хотя и не был среди тех, о ком Цицерон сказал: «Только ее закадычные друзья способны по-настоящему ее ненавидеть». Однако еще ни разу у меня не было случая ею так восхищаться, как в тот вечер. Дома у нее была неурядица; она имела все основания опасаться, что брат ее убит, а ее саму подозревают в умысле на жизнь диктатора или хотя бы в том, что она заранее о нем знала. Поведение Цезаря должно было казаться ей необъяснимым. Она была бледна, но полна самообладания; опасность, которой она подверглась, словно осветила ее прославленную красоту, а речь, которую она произнесла, была такой стройной и убедительной, что когда она кончила, я чуть было не присоединился к ее точке зрения. Она начала с того, что заранее приемлет все кары, которые наложит на нее Владыка, ибо знает, что высказанные ею мысли не встретят одобрения в этом обществе.

— Если правда, о владыка,— произнесла она,— что поэзия дарована нам богами, тогда мы вдвойне несчастны: во-первых, потому что мы люди, а во-вторых, потому что о богах нам известно лишь то, что они желают оставить нас в детском неведении и рабской темноте. Потому что поэзия придает жизни красивую видимость, которой она не обладает, это самая соблазнительная ложь и самая предательская советчица.

Ни солнце, ни судьба человеческая не допускают, чтобы на них глядели пристально; на первое мы вынуждены смотреть сквозь драгоценный камень, на вторую — через поэзию. И без поэзии мужчина пойдет на войну, девушка — замуж, жена станет матерью, люди похоронят своих мертвецов и умрут сами; однако, опьяненные стихами, все они устремятся к своему уделу с неоправданными надеждами. Воины якобы завоюют славу, невесты станут Пенелопами, матери родят стране героев, а мертвые погрузятся в лоно своей прародительницы — земли, вечно оставшись в памяти тех, кого они покинули. Ведь поэты твердят нам, что мы приближаемся к золотому веку, и люди терпят всевозможные беды в надежде на пришествие более светлой поры, которая осчастливит их потомков. А между тем никакого золотого века не будет и не может быть такого правления, которое даст каждому человеку счастье, ибо основа мира — раздор, он присутствует повсеместно. Явно и то, что каждый ненавидит всех, кто стоит выше него, что люди не более охотно расстанутся со своим имуществом, чем лев позволит вырвать добычу из пасти; и все, чего человек желает добиться, он должен совершить в этой жизни, ибо другой ему не дано; любовь, которую так красиво изображают поэты, всего лишь потребность быть любимым и в пустыне жизни стать предметом чьей-то заботы; правосудие лишь мешает одной алчности пожрать другую. Но обо всем этом никто не говорит. Даже наша власть правит нами на языке поэзии. Наши властители между собой справедливо обзывают граждан опасным зверьем и многоголовой гидрой; однако как они обращаются к буйным избирателям с предвыборных трибун, надежно охраняемых вооруженной стражей? Разве в их устах избиратели не превращаются в «столпов республики», «достойных потомков благородных отцов»? Государственные посты в Риме добываются взятками, с одной стороны, угрозами — с другой, а на устах при этом — цитаты из Энния.

Многие скажут, что великая доблесть поэзии в том, что она воспитывает людей и дает им образцы, которым следует подражать, и что таким путем боги возвещают законы своим детям. Однако это явно не так, потому что поэзия влияет на человека подобно всякой лести: она усыпляет побуждение к действию, отнимает желание честно заслужить похвалу. На первый взгляд она кажется просто ребячеством, опорой слабых и утешением в беде, но нет! Она — зло. Она обезоруживает безоружных и удваивает тоску.

Кто же они, эти поэты, которые усугубляют неудовлетворенность, вечную неудовлетворенность человека? Это горстка людей, возникающая в каждом поколении. Давно сложилось представление о том, что такое поэт: он беспомощен в практических делах, рассеянность часто делает его смешным, он нетерпелив, раздражителен, подвержен неумеренным страстям. Как издевался Перикл над Софоклом в качестве правителя города, или возьмем рассказ о Менандре, который проходил по рынку — одна нога босая, другая в сандалии. Эти всем известные черты иногда объясняют тем, что поэты-де погружены в познание истин, лежащих вне видимого мира, и что это познание вечных истин вроде безумия или богоданной мудрости. Но я объясняю это иначе. Я думаю, что все поэты в детстве были больно ранены или уязвлены жизнью, и это навсегда вселило в них страх перед любыми житейскими неурядицами. Недоверие и ненависть побуждают их выдумывать другой, воображаемый мир. Поэтический мир — это плод не более глубокого прозрения, а более острой тоски. Поэзия — особый язык внутри общего языка, призванный описывать жизнь, которой никогда не было и не будет, но образы ее так заманчивы, что все люди проникаются ими и видят себя не такими, как на самом деле. Мнение мое подтверждается тем, что даже когда поэты порицают жизнь, описывая всю ее очевидную бессмыслицу, читатель все равно ощущает душевный подъем, ибо даже в своем осуждении поэты предполагают наличие более благородного и справедливого порядка вещей, мерой которого они нас судят и которого, по их мнению, можно достичь.

Вот каковы те, кого зовут гласом божьим. Если боги существуют, я могу их себе представить жестокими или безразличными, непознаваемыми, равнодушными к людям или творящими благо, но я не могу вообразить, чтобы они занимались этой детской игрой — внушали людям через поэтов ошибочные представления о сущем. Поэты такие же люди, как мы, только больные и страдающие. У них одно утешение — бредовые мечты. Но не мечты, а трезвая явь должна научить нас, как жить в этом трезвом мире.

Когда Клодия кончила, она снова поклонилась Владыке и, передав венок Катулле, села. Цезарь расхвалил ее речь не скупясь и без той иронии, какую позволял себе в подобных случаях Сократ. Казалось, он получал от этого пиршества все большее удовольствие, он попросил меня снова наполнить чаши вином и, когда мы выпили, дал слово Катулле. В начале речи Клодии поэт сидел, не поднимая глаз, но выражение лица у него постепенно менялось, и когда, встав, он увенчал свою голову цветами, мы поняли, что он задет всерьез, — либо им овладел гнев, либо он почувствовал подлинный интерес к спору.

*(Существует несколько версий так называемой «Алкестиады» Катулла. Мы заменили краткое изложение Азиния Поллиона текстом, посланным Цезарем Луцию Мамилию в качестве отрывка из своего дневника за № 996.)*

— Каждый ребенок знает, о владыка, что Алкеста, супруга Адмета, царя фессалийского, была идеалом жены. Однако в девичестве она меньше всего мечтала о браке. Ее мучил тот самый вопрос, который стоит перед нами сегодня. Она желала еще до конца своих дней получить ясный ответ на самые важные вопросы, какие только возникают перед человеком. Она хотела увериться в том, что боги существуют, что они заботятся о ней, что ее душевные порывы подчинены их воле; они знают все дурное в хорошем, что может выпасть на ее долю, и устраивают ее судьбу по своему замыслу. Наблюдая жизнь, она поняла, что выяснить это ей вряд ли удастся, если ей суждена жизнь царицы, жены и матери. Сердце ее стремилось только к одному: она хотела стать жрицей Аполлона Дельфийского. Там, как она слышала, живешь в непосредственной близости к богу, каждый день узнаешь его волю и лишь там можно получить верные ответы на все. Рассказывают, будто она говорила, что жен и матерей и так много; для них нет ничего более важного, чем приязнь или неприязнь их мужей; у них только и свету в окошке, что дети, любят они их яростно, как тигрицы своих детенышей, годы проходят в бесчисленных заботах о детях; страх же и радость испытывают они только за свое достоинство и когда наконец умрут, то будут знать, зачем жили и страдали, не больше, чем скотина на горных пастбищах. Ей казалось, что жизнь может дать тебе гораздо больше, если ты не просто ее игрушка, а не быть ею можно только в Дельфах. Однако жриц Аполлона призывает сам бог, а она, несмотря на все молитвы и жертво-

приношения, такого зова не слышала. Дни ее текли в ожидании знамения свыше и в попытках узнать волю божью по его знамениям.

Между тем Алкеста была самой мудрой и самой прекрасной из дочерей царя Пелия. Все герои Греции добивались ее руки, но царь, не желая с ней расставаться, давал претендентам на ее руку невыполнимые задачи. Он объявил, что отдаст Алкесту в жены только тому, кто объедет вокруг городских стен в колеснице, запряженной львом и вепрем. Год шел за годом, и один жених за другим терпели неудачу. Ее потерпел и Пелей, будущий отец Ахиллеса, и многомудрый Нестор; ничего не добился Лаэрт, отец Одиссея, и Язон, могущественный вождь аргонавтов. Львы и вепри в ярости кидались друг на друга, наездникам едва удавалось остаться в живых. А царь смеялся, он был рад; царевна же, считая эти неудачи знамением, решила, что бог велит ей оставаться девственницей и служить ему в Дельфах.

Наконец, как всем известно, с гор спустился Адмет, царь фессалийский. Он запряг льва и вепря, объехал на них вокруг города, словно это были кроткие вольты, и получил в жены царевну Алкесту. С превеликой радостью он увез ее к себе во дворец в Ферах, где начались пышные приготовления к свадьбе.

Но Алкеста еще не была готова стать женой и матерью. Она со страхом чувствовала, что с каждым днем все больше и больше любит Адмета, но надеялась, что Аполлон все же призовет ее к себе, и под разными предлогами откладывала свадьбу.

Сначала Адмет терпеливо сносил эти оттяжки, но в конце концов не мог больше сдерживать страсть. Он молил ее объяснить свою уклончивость, и она открылась ему. Адмет был человек набожный и богобоязненный, но он давно уже надеялся только на себя и не ждал от богов ни помощи, ни утешения. Правда, раз в жизни он чувствовал их заботу о своей судьбе и теперь с жаром ей об этом поведал. «Алкеста,— сказал он,— больше не жди знамения от Аполлона насчет твоего замужества, ибо оно уже было. Ведь это он, и только он, привел тебя сюда, как ты узнаешь из моего рассказа. Перед тем как мне ехать в Йолк, чтобы пройти испытание, я заболел, и не удивительно, потому что моя великая любовь боролась с отчаяньем: а вдруг я не сумею запрячь в колесницу льва и вепря? Три дня и три ночи я был на волосок от смерти. За мной ухаживала Аглая, моя нянька, а прежде нянька моего отца. Это она мне рассказывала, что на третью ночь мне в бреду явился Аполлон и внушил, как запрячь вместе льва и вепря. Аглая здесь, можешь ее спросить». «Адмет,— сказала Алкеста,— слишком много идет рассказней про богов, о которых бредят молодые люди или сочиняют старые няньки. Эти рассказы только еще больше путают людей. Нет, Адмет, отпусти меня в Дельфы. Хотя я и не призвана быть жрицей, я могу стать там служанкой. Я согласна служить его слугам, мыть ступеньки и плиты его дома».

Адмет не понимал ее упорства, однако с грустью разрешил ей поступить по своему, но тут их прервали. Во дворец прибыл гость — слепой старик, оказавшийся Тирезием, жрецом Аполлона Дельфийского. Адмет и Алкеста в волнении поспешили во двор, чтобы его принять. Когда они к нему приблизились, он воззвал громким голосом: «Я принес весть в дом Адмета, царя фессалийского. Мне надо поскорее передать ее и вернуться туда, откуда я пришел. По воле Юпитера Аполлон должен прожить на земле среди людей в образе человека один год. И Аполлон решил прожить его здесь, пастухом у Адмета. Вот я и сообщил свою весть». Адмет, выступив вперед, спросил: «Ты хочешь сказать, благородный Тирезий, что Аполлон будет здесь среди нас каждый день, каждый божий день?» «За воротами стоят пять пастухов! — прокричал Тирезий. — Один из них Аполлон. Не пытайся узнать который. Назначь им что делать, поступай с ними по справедливости и больше не задавай вопросов, потому что мне нечего тебе ответить». С этими словами он, не выказывая пастухам никакого почтения, позвал их во двор, а сам отправился в путь. Пятеро неторопливо вошли во двор, они ничем не отличались от других пастухов; все были в пыли от долгой дороги и очень смущены, что их так пристально разглядывают. Царь Адмет сперва не мог вымолвить ни слова, но потом все же произнес «добро пожаловать» и распорядился, чтобы им дали ночлег и накормили. Весь остаток дня жители Фер провели молча. Они знали, что их стране оказана великая честь, однако людям нелегко одновременно и радоваться и недоумевать.

В конце дня, когда на небе зажглись первые звезды, Алкеста выскользнула из

дворца и подошла к костру, у которого сидели пастухи. Она встала неподалеку от огня и молила Аполлона не таиться под чужой личиной, как это любят делать боги, а открыть свое лицо и дать ей ответ на те вопросы, от которых зависит вся ее жизнь. Молилась она долго. Изумленные пастухи поначалу почтительно слушали, потом, ворча, стали передавать друг другу мех с вином; один из них даже заснул и начал храпеть. Наконец самый низенький отер рот рукой и сказал: «Царевна, если среди нас и есть бог, я не знаю, кто он. Мы впятером тридцать дней шли по Греции; пили вино из одного меха, черпали еду из одной миски и спали возле одного костра. Если бы среди нас был бог, неужели я этого бы не знал? Однако, госпожа, вот что я тебе скажу. Все они не обыкновенные пастухи. Вон тот, что спит, может вылечить любую болезнь: и укусы змей и перелом костей. Когда дней пять назад я свалился в каменоломню, я наверняка бы помер, а этот парень наклонился надо мной, пробормотал какую-то абракадабру — и видишь, я живой. А все равно я знаю, царевна, что никакой он не бог. Потому что в одном городе мы видели ребенка, который не мог ни дышать, ни глотать, он так поси- нех, царевна, что сердце разрывалось, на него глядя. А этот парень хотел спать. Он не пожелал пересечь дорогу и взглянуть на бедняжку. Какой же это бог? И вон тот, рядом, — ты что, не можешь от вина оторваться, когда на тебя царевна смотрит? Этот никогда не заблудится. Он и во тьме кромешной различает, где север, а где юг. И все равно я знаю, что никакой он не бог Солнца. А вон тот рыжий, он тоже не простой пастух. Он делает чудеса. Нарушает самый ход вещей в природе. Изобретатель. — С этими словами пастух подошел к своему рыжему спутнику и стал будить его пинками: — Проснись, проснись. Покажи царевне какие-нибудь чудеса».

Спящий пастух зашевелился и застонал. Вдруг с высоты небес и с дальних холмов послышались голоса, они звали: «Алкеста! Алкеста!» А рыжий повернулся на другой бок и снова заснул. Его опять разбудили пинком: «Ну-ка, покажи еще. Пусты водопад с вершущек деревьев. Пусты огненные шары». Тот хрипло выругался. По земле побежали огненные шары. Они заскользили вверх по стволам деревьев и рассыпались; они прыгали по головам пастухов и забавно играли друг с другом, словно зверята. Потом долину снова окутала мгла. «Такие проделки, царевна, и правда не удаются никому другому, но я могу поклясться, что никакой он не бог еще и потому, что все его чудеса не имеют никакого смысла. Он нас поражает, но когда удивление проходит, мы испытываем разочарование. В первые дни мы просили у него все новых и новых чудес — нам было интересно; но потом они нам приелись, и, говоря по правде, нам даже стало стыдно, да и ему тоже, потому что фокусы эти просто забава и ни к чему не приводят. А разве бог станет стыдиться своих чудес? Станет себя спрашивать, какой в них смысл? Вот так-то, царевна», — заключил он, разводя руками, словно ему больше нечем ответить на ее молитву.

Но от Алкесты не так-то легко было отделаться. Она указала на четвертого пастуха. «Тот? Ну, он тоже не простой пастух. Он наш певец. Поверь, когда он поет и играет на лире, львы замирают в прыжке. Я, правда, и сам иногда говорю себе: ей-ей, это бог! Он переполняет наши сердца печалью или радостью, когда нам вовсе нечему радоваться или огорчаться. Он может сделать память о любви более сладостной, чем сама любовь. Его чудеса посильнее чудес нашего целителя, нашего ночного проводника и нашего кудесника, но я наблюдал за ним, царевна, и вижу: чудеса его куда больше впечатляют нас, чем его самого. Ему тут же перестает нравиться песня, которую он сочинил. Нас она всякий раз приводит в восторг — его ничуть. Он сразу теряет всякое удовольствие от того, что сделал, и в муках творит что-то новое. Это доказывает, что он не бог и даже не посланец божий, ибо разве мыслимо, чтобы боги презирали свои творения?.. А я? Что могу я? Да то, что делаю сейчас. Мое дело — разобраться в природе богов, существуют ли они и как нам их найти. Ты себе только представь...»

*(Тут рассказ обрывается, и мы снова возвращаемся к письму Азиния Поллиона.)*

В этот миг диктатор поднялся и, прошепав: «Продолжайте, друг мой», пошел к выходу. Катулл повторил: «Ты себе только представь...» — но не успел он произнести этих слов, как Цезарь свалился на пол в конвульсиях священной болезни. Извиваясь, он сорвал с тела повязку, и пол обгарился его кровью. Мне и раньше случалось наблюдать такие приступы. Скомкав край его тоги, я заснул матерью ему между зубов. Приказал Катуллу помочь мне распрямить его ноги, а Клодии — принести всю одежду,

какая у нее найдется, чтобы его согреть. Вскоре он перестал бормотать и впал в глубокий сон. Мы постояли возле него, потом уложили на носилки и вдвоем с поэтом сопроводили домой.

Так прошел этот дважды прерванный обед у Клодии. Обоим моим друзьям суждено было умереть в том же году. Поэт, который увидел величие, униженное безумием, больше не писал на Цезаря едких эпиграмм. Мой господин никогда не заговаривал о своей болезни, но не раз напоминал мне о «прекрасном» обеде с Клодией и Катуллом.

Пока я диктовал эти слова, рассвело. Боль у меня прошла, или я просто о ней забыл, и я выполнил долг перед своими друзьями.

## КНИГА ВТОРАЯ

*Напоминаем читателю, что в каждой последующей книге документы сначала возвращают нас к более раннему периоду, потом снова покрывают уже пройденный отрезок времени и доводят нас до более поздней даты.*

### XXII. Анонимное письмо (написанное Сервилией, матерью Марка Юния Брута) жене Цезаря (17 августа)

Госпожа, диктатор вряд ли вам сообщил, что в Рим надолго приезжает египетская царица. Если хотите в этом убедиться, посетите вашу виллу на Яникульском холме. На дальнем его склоне рабочие строят египетский храм и возводят обелиск.

Весь мир смеется над тем, насколько вы не соответствуете своему высокому положению, а уж в политических делах и вовсе разбираетесь хуже грудного младенца, потому-то я считаю своим долгом обратить ваше внимание на этот приезд и на ту политическую опасность, которую он представляет для Рима.

У Клеопатры, к вашему сведению, есть от вашего мужа сын. Имя ему Цезарион. Царица прячет его вдали от своего двора, но упорно распускает слух, что он наделен божественным умом и дивной красотой. Из достоверных источников известно, что на самом деле он идиот, и хотя ему уже три года, он еще не умеет говорить и едва ходит.

Цель приезда царицы в Рим — это узаконить своего сына и установить его наследное право на владычество над миром. Замысел этот возмутителен, но честолюбие Клеопатры не имеет границ. Это искусная, бессовестная интриганка — недаром она не осталась перед убийством дяди и своего супруга-брата, — умеет распалить похоть вашего мужа, что может внести в мир полный разброд, хоть ей и не удастся добиться над ним владычества.

Ваш супруг не впервые публично оскорбляет вас наглыми любовными похождениями. Но увлечение египтянкой так ослепило его, что он не видит опасности, которой эта женщина подвергает наш общественный строй, — еще одно свидетельство старческого слабоумия, уже сказавшегося на его правлении страной.

Вы бессильны уберечь от опасности государство и защитить свою честь. Однако вам надлежит знать, что римские аристократки не захотят быть представленными этой египетской преступнице и не появятся при ее дворе. Если вы проявите такую же твердость, вы сделаете первый шаг, чтобы вернуть себе уважение Рима, утраченное благодаря дурному выбору друзей и легкомыслию в разговоре, непростительному даже при вашей крайней молодости.

### XXIII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамилию Туррину на остров Капри (Приблизительно 18 августа)

942. (О Клеопатре и ее приезде в Рим.)

В прошлом году царица Египта стала просить у меня разрешения посетить Рим. В конце концов я его дал и предложил ей остановиться на моей вилле по ту сторону реки. Она пробудет в Италии не меньше года. Визит ее держится в тайне, и о нем будет

объявлено только накануне ее приезда. Сейчас она приближается к Карфагену, а здесь будет примерно через месяц.

Сознаюсь, что с нетерпением жду ее приезда, и не только по вполне понятной причине. Она была удивительная девушка. Уже в двадцать лет знала пропускную способность каждой крупной гавани на Ниле; умела принять делегацию Эфиопии, отказать ей во всем, но при этом так, что отказ выглядел благодеянием. Я слышал, как она орала на своих министров во время обсуждения налога на слоновую кость, причем она была права и в подтверждение своей правоты привела множество подробных и хорошо подобранных сведений. Право же, она из числа тех немногих известных мне людей, кто одарен талантом к управлению страной. Но теперь она, вероятно, стала еще более удивительной женщиной. И беседа, просто беседа снова станет для меня удовольствием. Мне будут льстить, меня поймут и похвалят за то, за что меня и надо ценить. А какие вопросы она задает! Что может быть приятнее передачи жадному ученику знаний, которые дали тебе долгим и тяжким трудом? Да, беседа снова станет для меня удовольствием. Ох, сколько раз я держал этого свернувшегося в клубочек котенка у себя на коленях, барабанил пальцами по маленьким коричневым ступням и слушал, как голосок у моего плеча спрашивает, что за меры нужно принять, чтобы банкирские дома не отучили народ прилежно трудиться, и сколько по справедливости надо платить начальнику полиции, исходя из жалованья градоправителя. Все люди, мой Луций, все поголовно ленивы умом, кроме тебя, Клеопатры, Катулла и меня.

И в то же время она лгунья, скандалистка, интриганка, равнодушна к нуждам своего народа, вдобавок способна убить не задумываясь. Получил пачку анонимных писем, где меня предупреждают о ее страсти к убийству. Да я и не сомневаюсь, что эта дама не расстается с красивым резным ларцом, где хранятся яды, но знаю также, что у нее за столом мне не надо, чтобы кто-то пробовал пищу до меня. Все ее помыслы сосредоточены прежде всего на Египте, а я — первейший залог его благоденствия. Умри я, ее страна станет добычей моих преемников — патриотов, лишенных практической сметки, или чиновников без воображения, это она отлично знает. Египту уже не вернуть былого величия, но и тот Египет, какой есть, существует только благодаря мне. Я лучше правлю Египтом, чем Клеопатра, но она еще многому научится. Во время ее пребывания в Риме я открою ей глаза на такие вещи, о каких ни один властитель Египта и не подозревал.

.....

#### 946. (Снова о Клеопатре и ее приезде в Рим.)

Клеопатра не может и шагу ступить без помпы. Она просит, чтобы ей разрешили взять с собой двести придворных, тысячу человек свиты, включая большой отряд царской гвардии. Я сократил это число до тридцати придворных и двухсот человек свиты и заявил, что охрану ее персоны и ее приближенных республика возьмет на себя. Я распорядился также, чтобы за пределами ее дворца — моя вилла уже переименована во дворец Аменхотепа — она выставляла знаки царского достоинства только в двух случаях: во время официального приема на Капитолийском холме и на церемонии прощания.

Она известила меня, что я должен назначить двадцать самых знатных дам во главе с моей женой и моей теткой в ее почетную свиту, чтобы придать блеск ее двору. Я ответил, что римлянки свободны в выборе подобного рода занятий, и приложил форму приглашения, которое ей следует им послать.

Ей это не понравилось. Она написала, что размер ее владений (они в шесть раз больше Италии) и божественное происхождение (от самого Солнца), которое она подробно проследила за последние две тысячи лет, дают ей право на такую свиту и ей не гоже просить римских матрон присутствовать на ее приемах и раутах. Вопрос остался открытым.

Конечно, и я раздувал в ней эти непомерные притязания. Когда я встретил ее первый раз, она мне с гордостью заявила, что в ее жилах нет ни капли египетской крови. Это была явная ложь: порядок наследования в династии, к которой она принадлежит, нарушался постоянными подменами и усыновлениями; к счастью, дурные последствия единокровных браков смягчались половой слабостью царей и любвеобильностью

цариц, а также тем, что красота египтянок намного превосходит красоту потомков македонских разбойников. Больше того, Клеопатра в ту пору пренебрегала обычаями древней страны, которой правила, если не считать участия в редких традиционных церемониях. Она ни разу не видела ни пирамид, ни тех храмов на Ниле, которые расположены далее чем в нескольких часах пути от ее александрийского дворца. Я посоветовал ей обнаружить, что мать ее была не только египтянкой, но и прямой наследницей фараонов. Я уговорил ее носить египетские одеяния хотя бы наравне с другими нарядами и повел поглядеть памятники их древней цивилизации, рядом с которыми, клянусь Геркулесом, плетеные хижины ее македонских предков выглядят убого. Мои наставления имели неожиданный успех. Теперь она самый настоящий фараон и живое воплощение богини Изиды. Все ее дворцовые постановления написаны иероглифами, к чему она милостиво добавляет перевод на латинский или греческий.

Да так оно и должно быть. Привязанность народа не завоевывается только тем, что им править и печешься о его благе. Нам, правителям, приходится тратить немало времени на то, чтобы увлечь их воображение. В представлении народа Судьба — постоянно бдящая сила, которая действует при помощи волшебства и всегда враждебна людям. Чтобы ей противоборствовать, мы, властители, должны обладать не только мудростью, но и сверхъестественным даром, ибо в их глазах человеческая мудрость бессильна перед волшебством. Мы должны одновременно быть и отцом, с младенчества оберегающим их от злых людей, и жрецом, оберегающим от злых духов.

Я, наверно, забыл тебе сказать, что я запретил ей брать в свою свиту детей моложе пяти лет — как своих, так и детей придворных.

#### XXIV. Клеопатра из Александрии — своему послу в Риме

(20 августа)

Клеопатра, вечноживущая Изида, дитя Солнца, избранница Пта, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и проч. и проч., шлет своему верному послу

благословение и милость.

Завтра царица отправляется из Александрии в Карфаген.

В пути она явится своим подданным в Парастонии и в Кирене. Она остановится в Карфагене и будет ждать твоего сообщения о том, когда ей подобает прибыть в Рим. Приказываю прислать ей в Карфаген следующие сведения:

список светских руководительниц Таинств Доброй Богини;

список весталок. Оба списка с примечаниями о семейных связях, прежних браках и пр.;

список приближенных диктатора, мужчин и женщин, особенно тех, кого он посещает и кто посещает его дом в частном порядке;

список доверенных слуг в доме диктатора с указанием срока службы, предыдущего места работы и всех подробностей личной жизни, какие удастся разузнать. Этими розысками надлежит заниматься постоянно, а когда царица прибудет в Италию, она желает получать такие сведения и дальше;

список детей, живых или мертвых, которых когда-либо приписывали диктатору, вместе с именами предполагаемых матерей и прочими сведениями;

отчет о прежних посещениях Рима всеми царицами с описанием этикета церемониала, официальных приемов, подношений и пр.

Царица надеется, что будут приняты все меры к тому, чтобы ее апартаменты хорошо отапливались.

#### XXV. Помпея—Клодия в Байи

(24 августа)

Дорогой Мышоночек.

Только что получила приглашение на обед и припрятала его до вечера, когда муж вернется домой. Пишу наспех, чтобы отправить это письмо с твоим же посланным.

То, что я тебе расскажу, страшная тайна, и я надеюсь, что ты, прочтя мое письмо, тотчас его уничтожишь.

А тайна вот какая: некая особа с берегов Нила собирается надолго приехать к нам в город. Я считаю ниже своего достоинства не только писать, но даже и думать о кое-каких обстоятельствах, связанных с этим приездом, тем более что политическая сторона этого дела гораздо важнее и опаснее, чем личная. Надеюсь, никто не скажет, что я придавала своей личной жизни хоть малейшее значение, когда есть вопросы по истине мирового порядка, тесно связанные с тем положением, какое я занимаю. Я не знаю, слышала ли ты, что у этой особы есть сын и что она уверяет, будто ребенок происходит из очень знатного римского рода? На этих претензиях основаны ее честолюбивые мечты о будущем величии ее державы. что, как ты сама понимаешь, просто нелепо!

Некое лицо по известным причинам не видит угрожающей всем нам опасности, и поэтому я вынуждена быть вдвойне бдительной. Возможно, что на двух официальных приемах мне придется согласиться на то, чтобы мне представили эту египетскую преступницу. Тогда я покажу всем своим видом, что считаю ее присутствие нагlostью, и постараюсь публично ее унижить, а если удастся, то и заставит вернуться на родину. И конечно, ноги моей не будет в резиденции, которую ей временно предоставили.

Пожалуйста, напиши, что ты по этому поводу думаешь. Мой двоюродный брат вернется из Неаполя вскоре после того, как ты получишь мое письмо. Пошли свой ответ с ним.

Постскриптум. Все знают, что она убила своего дядю и своего мужа и что ее брат был ее мужем — это в обычае у египтян и дает понятие о том, чего можно от нее ожидать.

**XXV-A. Клодия — жене Цезаря**  
(Из Капуи, 8 сентября)

Большое спасибо, мой милый, милый друг, что ты доверила мне такую тайну.

Как похоже на тебя твое письмо. Какая ты умница, что можешь взглянуть на это событие с самых разных сторон и предсказать тающиеся в нем опасности! И как было мудро и благородно с твоей стороны не вспылить и не выказать негодования, от чего не удержались бы многие женщины.

Разреши мне дать тебе маленький совет — я даю его только потому, что ты одна в состоянии его выполнить. Подумай, не разумнее ли тебе отнестись к этой неприятной особе несколько иначе? Мне кажется, что если ты будешь себя вести — как ты одна это умеешь — с предельной любезностью, подобающей твоему положению, ты ее просто ошеломишь! Тогда ты смогла бы втереться в круг ее приближенных слеить за всем, что там происходит, и, если понадобится, помешать другому лицу окончательно потерять голову.

Я бы не посоветовала такого подхода никому, кроме тебя, потому что тут нужна большая ловкость. Но ты это сумеешь. Подумай.

Мне очень хочется обо всем этом с тобой поговорить, и нам скоро это удастся. А пока что прими мое восхищение, любовь и флакон сицилийских духов.

**XXVI. Клодия из Байев — Катутулу в Рим**  
(25 августа)

Сестра говорит, что мне надо тебе написать. И другие тоже взяли на себя роль твоих заступников, твердя, будто я обязана написать тебе письмо.

Что ж, вот я его и пишу. Мы с тобой давно уговорились, что письма ничего не стоят. Ты пишешь то, что я давно знаю или легко могу вообразить, и часто отступать от правила, которое мы себе положили: в письмах должны главным образом излагаться факты.

Вот факты, касающиеся меня.

Погода стояла невиданная. Было много пиршеств и на суше и на море. Не говоря уж о *сборищах*, посвященных только беседе, когда Хозяин не затевал никаких других развлечений. Стоит ли объяснять, что беседы тут, в Байях, невыносимо скучны, еще скучнее, чем обычно.



Я занимаюсь астрономией с Сосигеном и поэтому стала врагом всех поэтов, разглагольствующих о своих дурацких чувствах в присутствии небесных светил. Я принялась учить египетский язык. Когда оказалось, что на слух он напоминает младенческий лепет, а его грамматический строй ничуть не выше его звучания, я его бросила. Мы ставили любительские спектакли по-гречески и по-латыни. Я много работала с Киферидой. Она отказалась от платы и вернула подарок, который я ей послала. Когда я стала настаивать, что не хочу оставаться у нее в долгу, она попросила стихи, написанные твоей рукой. Я дала ей «Свадьбу Пелея и Фетиды». Она не захотела участвовать в наших спектаклях, но изумительно продекламировала эту поэму и во время наших уроков часто исполняла отрывки из трагедий. По стилю мы резко отличаемся, но своим она владеет в совершенстве. К концу урока часто заглядывал Марк Антоний. Мне приятен в нем только его смех; смеется он все время, но это не надоедает. А вот когда Киферида не говорит о своем искусстве, она надоедает. Она вялая, как все счастливые женщины. Я узнала, правда не от нее, что она одна из немногих, кому разрешается посещать Луция Мамилia Туррина на Капри. *(Клодия написала Туррину, прося разрешения его навестить, но ей было вежливо отказано.)* Я знаю нескольких мужчин, которых я могла бы очень любить, будь они даже калеками и слепыми. Прочла вместе с Вером его новую книгу стихов.

Я нажила много новых врагов. Ты знаешь, я никогда не лгу и не разрешаю лгать в своем присутствии. Я была, как ты выражаешься, несколько раз тебе «не верна». Так как по ночам у меня бессонница, я иногда на эти часы подыскиваю себе компаньона.

Вот факты относительно моей жизни этим летом и ответы на вопросы, которые ты задаешь в своих на редкость однообразных письмах. Перечтя их, я заметила, что ты-то мне сообщаешь весьма мало фактов. Ты пишешь не мне, а тому выдуманному образу, с которым я отнюдь не желаю состязаться. Сведения о тебе я получила от сестры и других твоих заступников. Ты навещал сестру, а также Манилия с Ливией *(Торкватов)*. Ты учил их детей плавать и управлять парусной лодкой. Ты учил детей воспитывать собак. Ты написал кучу стихов для детей и еще одну венчальную песнь. Повторяю, ты потеряешь свой поэтический дар, если будешь его так растрчивать. Подобные стишки только усугубят недостаток, которым и так страдают многие твои сочинения,— просторечие и провинциализм. Многие даже не считают тебя римским поэтом. Мы с тобой признаем, что Вер не наделен от природы таким талантом, как ты, но и манера его поведения и стихи безупречно изящны и даже изысканны, в то время как ты продолжаешь щеголять своей северной неотесанностью.

Это письмо, как и все письма, написано абсолютно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что: в последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед — надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой (кстати, говорят, что ты разразился еще несколькими эпиграммами; почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие раздражаться непристойными звуками за спиной у великого человека?). Я пригласила также его тетку, Цицерона и Азиния Поллиона.

Восьмого я двинусь на север. Захватчу с собой нескольких друзей, в том числе Мелу и Вера. Несколько дней мы погостим в Капуе у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам девятого, а через два-три дня мы вместе вернемся в город.

Если ты решишь приехать в Капую, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя наконец понять, что такое дружба, оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничества. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувшем. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление.

#### XXVI-A. Катулл

Miser Catullae, desinas ineptire  
 Et quod vides perisse perditum ducas.  
 Fulsero quondam candidi tibi soles,  
 Cum ventitabis quo puella ducebat,

Amata nobis quantum amabitur nulla.  
 Ibi illa multa tum jocosa fiebant  
 Quae tu volebas nec puella nolebat.  
 Fulsero vere candidi tibi soles.  
 Nunc iam illa non volt; tu quoque inpotens, noli;  
 Nec quae fugit sectare, nec miser vive;  
 Sed obstinata mente perfer, obdura.

At tu Catulle, destinatus obdura.

Катулл измученный, оставь свои бредни:  
 Ведь то, что сгнуло, пора считать мертвым.  
 Сияло некогда и для тебя солнце,  
 Когда ты хаживал, куда вела дева,  
 Тобой любимая, как ни одна в мире,  
 Забавы были там, которых ты жаждал,  
 Приятные — о да! — и для твоей милой.  
 Сияло некогда и для тебя солнце,  
 Но вот, увы, претят уж ей твои ласки.  
 Так отступись и ты! Не мчись за ней следом,  
 Будь мужествен и тверд, перенося муки.  
 А ты, Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!<sup>4</sup>

#### XXVI-Б. Заметки Корнелия Непота

(Запись сделана позже)

«Разве тебя не поражает,— спросил я,— что Катулл пускает эти стихотворения по рукам? Не могу припомнить, чтобы так, без утайки, открывали свое сердце». «Тут все поражает,— ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать.— Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой? Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается, голос, требующий, чтобы он «терпел» и «крепился»? Его поэтический гений? Его второе «я»? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это нешереваренный жизненный опыт, не до конца преобразенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера; может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу с Альп. Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза, римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих!— тут нет утешения печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому, что делится этим страданием с собственным гением. Но что это за второе «я»? У тебя оно есть? У меня оно есть?»

#### XXVII. Цезарь из Рима — Клеопатре в Карфаген

(3 сентября)

(Это письмо, написанное рукой Цезаря, было послано вместе с официальным приветствием царице при ее приближении к Риму.)

Ваше величество, я очень сожалею, что к той искренней радости, которую я хотел выразить по поводу вашего приезда, мне приходится присовокупить следующее напутствие: напомнить, какое важное значение я придаю тем условиям, на которые вы согласились, когда решалась эта поездка в Рим. Речь идет о численности вашей свиты, правилах поднятия на шесте знаков царского достоинства и моем требовании не допускать в вашу свиту детей до пяти лет. Если этот договор не будет соблюден, я буду вынужден, к своему и вашему огорчению, принять меры, унижающие ваше достоинство и противные тому уважению, которое я к вам питаю. Если среди ваших приближенных есть дети, оставьте их в Карфагене либо отошлите назад в Египет.

Но пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, с каким я предвкушаю ваше пребывание в Риме. Он приобретает для меня новый интерес, когда я думаю, что скоро покажу его царице Египта — тот Рим, который уже существует, и тот, который я замыслил. В мире не так уж много правителей, а среди

<sup>4</sup> Перевод С. Шервинского.

них еще меньше тех, кто хотя бы подозревает, какой ценой решаются судьбы народов. У царицы Египта величие ума не уступает величию ее положения.

Необходимость вести за собой людей многократно усугубляет природное одиночество человека. Каждый приказ, который мы издаем, увеличивает наше одиночество, и каждый знак почтительности по отношению к нам еще больше отдаляет нас от прочих людей. Ожидая приезда царицы, я сулю себе некоторое избавление от того одиночества, в каком я живу и тружусь.

Сегодня утром я посетил дворец, который готовят к приезду царицы. Было сделано все, чтобы обеспечить ее удобства.

#### XXVII-A. Первое письмо Клеопатры Цезарю

(2 сентября)

*(Написан иероглифами, с перечислением всех титулов царицы, ее родословной и пр. на огромном листе папируса и снабжен латинским переводом, послан заранее через римскую почтовую службу, до того как царица отправилась в путь.)*

Царица Египта приказала мне, ее недостойному гофмейстеру, подтвердить получение письма диктатора и его подарков.

Царица Египта благодарит диктатора за полученные подарки.

#### XXVII-B. Второе письмо Клеопатры Цезарю

(1 октября)

*(Послан с царской галеры по прибытии в Остию.)*

Диктатор писал царице Египта о том, как тяжело время власти.

Но тяжело не только оно.

Царица, великий Цезарь, бывает и матерью. Ее положение не только не избавляет ее от сердечных тревог, которые знает любая мать, но и усиливает их, особенно если у детей хрупкое здоровье и нежная натура. Вы мне говорили когда-то, что были любящим отцом. Я вам верила. Вы утверждали, что вас облыжно обвиняли в том, будто государственная необходимость вынудила вас бессердечно поступить с дочерью. *(По-видимому, Юлия по настоянию отца разорвала помолвку с женихом, чтобы выйти замуж за Помпея. Она умерла прежде, чем Цезарь и Помпей затеяли гражданскую войну, но брак ее был счастливым.)*

Вы были бессердечны по отношению ко мне и не только ко мне, но и к ребенку, и притом ребенку не обычному, ибо он — сын самого великого человека на свете. Он вернулся в Египет.

Вы описываете одиночество властителя. Властитель справедливо чувствует, что большинство людей относится к нему не без корысти. Но разве властителям не грозит опасность удвоить свое одиночество, приписывая другим одни лишь эти побуждения? Я боюсь, что если он будет так относиться к людям, то сердце властителя может обратиться в камень и в камень обратятся сердца всех, кто к нему приближается.

Подъезжая к Риму, я хочу сказать его повелителю: я — и царица и служанка Египта и постоянно пекусь о судьбе моей родины, однако я не чувствовала бы себя царицей, если бы забыла, что, кроме всего, я женщина и мать.

Повторяю вашу же фразу: пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, которое я предвкушаю от своего пребывания в Риме.

Я приписываю вашу суровость тому, что вы и правда создали вокруг себя стену одиночества, чрезмерного даже для властителя мира. И сами говорите, что мне, быть может, удастся облегчить вам это время.

#### XXVIII. Катулл — Клодия в Рим

*(Эти два письма написаны, по-видимому, 11 или 12 сентября, они так и не были отправлены. Оба они черновики письма, уже приведенного под номером XIII. Катулл не уничтожил их сразу, ибо две недели спустя они были обнаружены в комнате поэта тайной полицией Цезаря и копии их были представлены диктатору.)*

Убей меня сразу — ведь ты этого хочешь, а я не могу убить себя сам, мои глаза словно прикованы к какому-то спектаклю, и я слежу за ним затаив дыхание, желая узнать, какую новую пытку ты мне готовишь. Я не могу убить себя сам, пока не увижу воочию все твое чудовищное нутро — кто ты? — убийца... палач... насмешница... сосуд лжи... маска... предательница... предательница всего рода человеческого.

Неужто мне так и висеть распятым на этом кресте и никак не умереть?.. Неужто мне так и глядеть на тебя века и века?

К кому мне кинуться? К кому воззвать о помощи? А есть ли они, эти боги? Может, даже их ты согнала своим криком с небес?

Бессмертные боги, зачем вы послали на землю это чудовище — чему, чему вы хотели нас научить? Что прекрасная оболочка — лишь вместилище пороков? Что любовь — личина ненависти?

Нет... нет... этого урока мне от вас не надо... Истина в другом... Я никогда не узнаю любви, но благодаря вам я знаю, что любовь существует.

Ты пришла в мир — изувер, убийца, — чтобы погубить того, кто умеет любить, ты устроила предательскую засаду и со смехом и воем подняла топор, чтобы погубить в душе моей то, что живет и любит... но бессмертные боги помогут мне избавиться от этого ужаса, излечиться от тебя, кто в личине любимой ходит среди людей, коварно внушая любовь, чтобы потом ее убить. Ты избрала меня жертвой — того, у кого только одна жизнь и только одна любовь и кто больше никогда не полюбит.

Но знай, исчадие Аида, что ты хоть и убила единственную любовь, на какую я был способен, ты не убила во мне веры в любовь. И вера эта открыла мне, что ты есть.

Мне нечего тебя проклинать — убийца переживает свою жертву лишь для того, чтобы понять: избавиться он хотел — от самого себя. Всякая ненависть — это ненависть к себе. Клодия прикована к Клодии — неизбывным отвращением.

#### XXVIII-А. Катулл — Клодия

Я знаю, знаю, что ты никогда не обещала мне постоянства.

Как часто с показной честностью бесчестных ты уклонялась от поцелуя, чтобы утвердить свою независимость от каких-либо обязательств. Ты клялась, что любишь меня, и, смеясь, предупреждала, что не будешь любить меня вечно.

Я тебя не слышал. Ты говорила на непонятном мне языке. Я никогда, никогда не смогу представить себе любовь, которая предвидит собственную кончину. Любовь сама по себе — вечность. Любовь в каждом своем мгновении — на все времена. Это единственный проблеск вечности, который нам позволено увидеть. Поэтому я тебя не слышал. Твои слова были бессмыслицей. Ты смеялась, и я смеялся с тобой. Мы лишь играли в то, что нам не дано любить всегда. Мы смеялись над теми миллионами обитателей Земли, которые играют в любовь и знают, что любви их настанет конец.

Прежде чем навсегда выбросить тебя из головы, я еще раз задумаюсь о тебе.

Что с тобой будет?

Какая женщина на свете была окружена такой любовью, какую дал тебе я?

Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла?

Пока бог любви смотрел на тебя моими глазами, годы не могли тронуть твоей красоты. Пока мы говорили с тобой, уши твои не могли слышать злоязычья толпы, полного зависти, презрения и подлости, которыми изобильна наша людская порода; пока мы любили, ты не знала одиночества души — неужели и это ничего для тебя не значит? Безумная, знаешь ли, что ты отвергла?

Но это еще не все. Твое положение стало в тысячу раз хуже. Теперь ты разоблачена; тайна твоя открыта. Раз я ее знаю, ты больше не можешь скрывать ее от себя; ты извечная убийца жизни и любви. Но как, должно быть, ужасно тебе сознавать неудачу, ибо ты только открыла величие и могущество твоего врага — любви.

Все, все, что говорил Платон, — истина.

Ведь тот, кто тебя любил, был не я, не я сам по себе. Когда я глядел на тебя, на меня нисходил бог Эрос. Я был больше, чем только я. Во мне жил бог, он смотрел моими глазами и говорил моими устами. Я был больше, чем я, и когда твоя душа пости-

гала, что во мне бог и что он глядит на тебя,— и тобою овладевало на время что-то божественное. Разве ты мне этого не говорила? Разве ты мне этого не шептала?

Но долго выносить его присутствие ты не могла, потому что родилась на свет извергом и убийцей всего, что живет и любит. Ты носишь личину любимой, а существуешь только затем, чтобы расставлять одну предательскую ловушку за другой; ты живешь только ради той минуты, когда со смехом и визгом поднимаешь топор и вырубил ростки жизни и ростки любви.

Я больше не задыхаюсь от ужаса. Я больше не дрожу. Я могу спокойно размышлять над тем, откуда в тебе такая неумная ненависть к жизни и почему боги позволяют такому врагу рода человеческого ходить среди нас. Я никогда тебя не пожалею, такой ужас не оставляет места для жалости. Когда-то в тебе пробуждалось благородное намерение нести свет, но оно было отравлено в самом зачатке.

Я любил тебя и никогда уже не буду таким, как был, но чего стоит моя беда по сравнению с твоей?

#### XXVIII-Б. Катулл

O dei, si vestrum est misereri, aut si quibus unquam  
Extremam iam ipsa in morte tulisti opem,  
Me miserum aspicate et, si vitam puriter egi  
Eripite hanc pestem perniciosamque mihi,  
Quae mihi subrupens imos ut torpor in artus.  
Expulit ex omni pectore laetitia.  
Non iam illud quaero, contra ut me diligit illa,  
Aut, quod non potis est, esse pudica velit;  
Ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.  
O dei, reddite mi hoc pro pietate mea.

Боги! Жалость в вас есть, и людям не раз подавали  
Помощь последнюю вы даже на смертном одре.  
Киньте взор на меня, несчастливца, и ежели чисто  
Прожил я жизнь, из меня вырвите черный недуг!  
Оцепенением он проникает мне в члены глубоко,  
Лучшие радости прочь гонит из груди моей.  
Я уж о том не молю, чтобы она предпочла меня снова  
Или чтоб скромной была,— это немисливо ей.  
Лишь исцелиться бы мне, лишь мрачную хворь мою сбросить.  
Боги! О том лишь прошу — за благочестье мое\*.

#### XXIX. Цезарь — Корнелию Непоту (23 сентября)

Письмо это не подлежит огласке.

Мне сообщили, что вы друг поэта Гая Валерия Катулла.

До меня окольным путем дошел слух, что поэт был либо болен, либо находится в крайне угнетенном состоянии духа.

Я многие годы был дружен с его отцом, и хотя мне редко доводилось видеть самого поэта, я слежу за его творчеством с большим интересом и восхищением. Я хотел бы, чтобы вы навестили его и сообщили мне о его состоянии. Более того, я просил бы вас в любое время, в любой час известить меня, если он заболел или попадет в бедственное положение.

Уважение, которое я питаю к вам и к вашим трудам, позволяет мне добавить, что я почту за обиду, если вы или ваша семья сразу же не сообщите мне о любых невзгодах, какие могут у вас случиться (да уберегут вас от них бессмертные боги). С самых ранних лет я понял, что истинные поэты и историки — лучшее украшение страны; со временем это убеждение только укрепилось.

#### XXIX-А. Корнелий Непот — Цезарю

Как приятно было узнать, что великий вождь римского народа озабочен здоровьем моего друга и земляка Катулла и дружески относится ко мне и моим близким. Дней десять назад один из членов Эмилиева клуба для игры в шашки и плавания,

\* Перевод С. Шервинского.

где проживает поэт, в самом деле явился ко мне посреди ночи и сообщил, что состоявшие Катутла очень тревожат его друзей. Я поспешил к нему, он был болен и бредил. Врач-грек Сосфен дал ему рвотное, а потом успокаивающие средства. Мой друг меня не узнавал. Мы просидели возле него всю ночь. Утром ему стало гораздо лучше. Мужественно собравшись с силами, он поблагодарил нас за внимание, заверил, что выздоравливает, и попросил оставить его одного. Когда я снова навестил его во второй половине дня, он спокойно спал. Вскоре его разбудил растяпа посыльный — он принес письмо от той женщины, которая играет не последнюю роль в его несчастьях, что явствовало из его бреда. Он прочел при мне письмо и долго молчал, погрузившись в раздумье. Не обмолвившись ни словом о том, что там было написано, Катутла, несмотря на все наши уговоры, тщательно оделся и ушел.

Я сообщаю диктатору все эти подробности, чтобы он смог сам сделать необходимые выводы.

### XXX. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри

991. (О Клеопатре и ее приезде в Рим.)

Египетская царица приближается. Маленькая крокодилица, овеваемая опахалами, плывет через пролив.

Моя переписка с ее величеством была, как и следовало ожидать, весьма бурной. Латынь ее хромает, но там, где требуется точность, она, я заметил, царицу не подводит.

Я не жду буквального выполнения условий, которыми я обусловил ее визит. Царица неспособна точно выполнять какие бы то ни было указания. Даже когда ей кажется, что она подчиняется беспрекословно, она ухитряется допустить кое-какие отклонения. Этого надо ожидать. Признаюсь, такая неизменная изменчивость имеет свою прелесть, хотя мне не раз приходилось напускать суровую мину. А виной всему ее безграничная гордыня и самовольные женщины, привыкшей карать смертью за малейшее неповиновение.

Ее письма — а в одном случае и ее молчание — меня восхищают. Теперь она настоящая женщина и настоящая царица. Порой я ловлю себя на том, что для меня она больше женщина, чем царица, и стараюсь прогнать эти мысли.

Клеопатра — это Египет. Она и слова не вымолвит и до ласки не снизойдет без политической подоплеки. Каждый разговор с ней — правительственный договор, каждый поцелуй — международное соглашение. Мне иногда хочется, чтобы общение с ней не требовало постоянной осторожности, а в ее благосклонности было бы больше порыва и меньше искусства.

Но вот уже много-много лет я не видел бескорыстной привязанности ни от кого, кроме тебя, моей тетки и моих солдат. Даже дома я как будто все время играю в шашки. Я теряю шашку, мне угрожают с фланга, я собираю силы для вылазки, выхожу в дамки. Моя дорогая жена, кажется, получает удовольствие от этих непрерывных схваток, хотя они не обходятся без слез.

Больше того, уже много лет я не чувствовал к себе бескорыстной ненависти. День за днем я приглядываюсь к своим врагам, жадно надеясь найти среди них человека, ненавидящего меня за то, что я есть, или хотя бы «за Рим». Меня обвиняют в том, что я окружил себя бессовестными проходимцами, обогащающимися на своих постах. Порою мне самому кажется, что меня в них подкупает откровенная жадность; они не притворяются, будто любят меня. Я испытываю даже удовольствие, когда тот или иной из них ненароком выкажет мне презрение — в том океане лести, где я вынужден жить.

Как трудно, дорогой Луций, не стать таким, каким тебя видят другие. Раба держат в двойном рабстве — и его цепи и взгляды окружающих, твердящие ему: ты — раб. Диктатора принято считать скаредным на благодеяния, безрассудным в немилости, завистливым к чужим талантам, жаждущим лести, и я теперь не десять, а двадцать раз на день чувствую, как до всего этого опускаюсь, и вынужден себя одергивать. И десять раз на день в ожидании приезда египетской царицы я мечтаю о том, как теперь, став женщиной, она поймет, насколько бескорыстно я даю все, что могу дать и ей: и

ее стране; ей нечего хитрить, ей нечего добиваться, все ее уловки не дадут ей того, что ей не положено получить. И если она поймет, мы с ней достигнем такого... Но тут я перехожу в область невозможного.

### XXXI. Цицерон из Рима — Аттику в Грецию

*(Над этим письмом много потешались в античность и в средние века. Может быть, оно подделка. Мы знаем, что Цицерон написал Аттику письмо о природе брака и что в двух последующих письмах он просил своего друга это письмо уничтожить — вероятно, Аттик так и поступил. С другой стороны, до нас дошло больше десяти вариантов этого предполагаемого письма. Они разительно отличаются друг от друга и уснащены явными вставками довольно фарсового характера. Мы отобрали отрывки, вошедшие в большинство вариантов, ибо предполагаем, что секретарь Аттика, прежде чем уничтожить письмо, снял с него копию и эта копия ходила по рукам в Римской империи.)*

Вспомним, что Цицерон не только развелся со своей всеми уважаемой женой Теренцией после многолетних и все более бурных семейных скандалов, но тут же вступил в новый брак со своей богатой молодой воспитанницей Публилией и вскоре опять развелся, что брат Цицерона Квинт давно состоял в далеко не мирном браке с сестрой Аттика Помпонией и только что с ней развелся и что любимая дочь Цицерона Туллия была не слишком счастлива за Долабеллой, честолюбивым и распутным другом Цезаря, которого отец сам для нее выбрал в мужья.)

Лишь один брак из ста бывает счастливым. Это не единственное из тех правил, мой друг, о которых все знают, но молчат. И не удивительно, что из ряда вон выходящий брак прославляют повсюду: ведь только о необычном и говорят. Но безумие рода человеческого проявляется и в том, что нам всегда хочется исключение превратить в правило. Исключение привлекает нас потому, что каждый считает себя существом исключительным и предназначенным для исключительного; наши молодые люди и девушки вступают в брак либо с убеждением, что девяносто девять браков из ста счастливые и лишь один несчастный, либо веря в то, что им суждено исключительное счастье.

Но учитывая женскую натуру и природу страсти, притягивающую женщин и мужчин друг к другу, как можно надеяться, что брак будет счастливее, чем все муки Сизифа и Тантала, вместе взятые?

Женившись, мы передаем в женские руки управление домашним хозяйством, и они тут же по мере своих сил завладевают нашим имуществом. Они воспитывают наших детей и этим обретают право устраивать их дела, когда те достигнут зрелости. Во всем этом они преследуют цели, обратные нашим, мужским. Женщинам нужны лишь тепло очага и крыша над головой. Они живут в страхе перед грядущими несчастьями, и никакая защита не кажется им надежной; для них будущее не только неизвестно, но и чревато бедой. И нет такого обмана, к какому они не прибегнут, нет такой алчности, какой они не проявят, нет таких развлечений или потребностей просвещенного ума, которым они не объявят войну, чтобы уберечься от неизвестного зла. Если бы наша цивилизация зависела от женщин, мы бы до сих пор жили в пещерах и все изобретения кончились бы открытием огня для домашних нужд. Все, чего они требуют от пещеры, кроме самого крова, это чтобы она была чуть пороскошнее, чем у жены соседа; а своими детям желают лишь безмятежной жизни в такой же пещере, в какой выросли сами.

Брак вынуждает нас выслушивать пространные разглагольствования наших жен. Ну а разговоры женщин в семейном кругу — я уж не говорю о другой напасти: об их беседах в обществе, — если откинуть мелкие хитрости и невнятицу, затрагивают лишь две темы: как сохранить незбылемым то, что есть, и как пустить пыль в глаза.

Чем-то они похожи на разговоры рабов, и неудивительно: положение женщины в нашем обществе немногим отличается от положения рабов. Об этом можно было бы пожалеть, но я не буду среди тех, кто хочет изменить существующий порядок. Разговоры рабов и женщин насквозь пронизаны хитростью. Коварство и насилие — два выхода, доступных обездоленным; а насилие доступно рабам лишь при тесном единении этих злосчастных друг с другом. Государство справедливо препятствует такому единению и неуспешно за ними следит; поэтому рабу приходится добиваться своих целей коварством. Женщинам тоже закрыты пути к насилию, потому что они неспособны

объединиться; они, как греки, не доверяют друг другу, и не без основания. Поэтому они прибегают к хитрости. Как часто, заглянув на одну из своих вилл и проведя день в разговорах с управляющими и батраками, я ложился спать таким измученным, словно состязался с каждым из них в борьбе, напрягая все телесные и душевные силы, чтобы меня не искалечили или не ограбили. Раб преследует свои заветные цели, пользуясь всеми доступными ему ходами — и прямыми и окольными, нет такой ловушки, какую бы он тебе не подставил, нет такой лесты, такой видимости логики, игры на твоих страхах или жадности, на какие он не пошел бы; и все это чтобы уклониться от постройки беседки, расправиться с подчиненными, сделать попросторнее свою хижину или получить новый плащ.

Так же ведут себя женщины, однако насколько разнообразнее у них цели, насколько богаче боевые средства, насколько сильнее страсть к достижению своих целей.

Раб в основном жаждет удобства, в то время как женские потребности определяются тем, что составляет самый смысл их жизни: охрана собственности; почет, который ей оказывают знакомые матроны, хотя сама она их презирает и боится; содержание взаперти дочери, которую она хочет оставить невежественной, лишив всяких радостей и превратив в животное. Стремления женщины так глубоко в ней заложены, что кажутся ей естественными, мудрыми, непреложными. Поэтому всякое другое мнение она может только презирать. Такой натуре разум кажется ненужным и пустячным, она глуха к его доводам. Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом.

*(Далее идет раздел, где говорится о половых отношениях. Он был так искажен игривыми и богатыми на выдумку переписчиками, что установить первоначальный текст не представляется возможным.)*

.....

Обо всем этом редко говорят, хотя поэты иногда и приоткрывают завесу, те самые поэты, которые больше всех виноваты в ложном представлении о том, что брак — это рай, и толкают нас на поиски губительного исключения. Еврипид в своей «Медее» обнажил все это до конца. Недаром афиняне с бранью изгнали его из Афин за то, что он высказал такую истину. Толпу возглавлял Аристофан, показавший — правда, не столь откровенно, — что и ему все это отлично известно, но он припрятал свое знание поглубже, чтобы выгнать из города более великого поэта. А Софокл? Какой муж горько не смеялся во время сцены, где Иокаста громоздит одну ложь на другую, делая хорошую мину при плохой игре? Прекрасный пример так называемой супружеской любви, когда жена готова скрыть от мужа все что угодно, лишь бы сохранить мнимое благополучие; яркая иллюстрация того, как по недомыслию жене трудно отличить мужа от сына.

Ах, друг мой, давай утешаться философией. Это та область, куда никогда не ступала их нога, да они, впрочем, и не проявляли к ней ни малейшего интереса. Порадуемся старости, которая освобождает нас от желания их обнимать, ведь за эти объятия мы платим порядком в жизни и покоем души.

### XXXII. Абра, служанка Помпея, — Клодии (1 октября)

Я так волновалась, высокочтимая госпожа, за вас, за ваш дом и за нашего хозяина после покушения на его жизнь. Да и все здесь были в большом расстройстве: дом битком набит посетителями и полицией, а хозяйка просто голову потеряла. Но сам, благодарение бессмертным богам, проснулся в полдень как ни в чем не бывало и даже очень веселый, отчего хозяйка моя просто взбесилась. Он очень оголодал и все ест да ест, а доктор не разрешает, и хозяйка на коленях молит его не есть. Ну, а он такие шуточки отпускает, что мы еле-еле сдерживаемся, чтобы не захохотать.

Я сама слышала, госпожа, как он сказал всем, кто был рядом, что отродясь не получал такого удовольствия от обеда, как тогда у вас. А Марк Антоний возьми и спроси: почему, мол; а он говорит, что больно хорошая была у вас компания. А вы уж меня



извините за вольность, только Марк Антоний сказал: это вы о ком, о Клаудилле? А сам и говорит: Клаудилла — замечательная женщина. Надеюсь, госпожа, вы меня не осудите, что я рассказываю вам все как есть.

Ну а теперь, госпожа, сообщаю вам, что он объявлял всем, кто в этот день приходил, будто Клеопатра, та самая египетская царица, не сегодня-завтра приезжает к нам в Рим.

(6 октября)

Вчера вечером хозяина не было дома — первый раз за долгое-долгое время, — и все думают, что это неспроста.

Царица прислала моей хозяйке чудесные подарки, особенно одну расчудесную вещицу. Вчера тайком пришли мастера, поставили ее и запустили. Это самый настоящий египетский дворец, но высотой не больше чем по колено. И если снять переднюю стенку, видно все внутри — там тебе и хлев, и царский кортеж, а одежды и краски просто прелесты! Но это еще не все. Когда пускаешь воду — тут даже и не объяснишь, госпожа, как это делается, но все человечки начинают двигаться, царица со свитой входят во дворец и даже поднимаются по лестнице — право слово! — а потом идут через весь дом, и звери тоже ходят и пьют воду из Нила, и крокодил плывет против течения, а женщины ткут, рыбаки ловят рыбу, и клянусь бессмертными богами, всего и не перескажешь, что там делается. Так бы и смотрела, глаз не оторвать. Хозяйка впала в такой раж, что приказала зажечь все лампы, мы думали, она никогда не угомонится. Все говорят, как это ловко царица придумала — ведь хозяйка моя все забыла, любуясь этим дворцом, даже забыла, что мужа нету дома.

(8 октября)

Вчера к моей хозяйке приезжала в гости царица. Мы думали, что она будет пышно разодета, но на ней было синее платье и ни одной драгоценности — ей, как видно, известны законы на этот счет. Прическа у нее тоже была простая, а я битых два часа возилась с хозяйкиными волосами! Хозяйка поблагодарила ее за игрушечный дворец, а потом они только и говорили, как с ним обращаться. Царица сама очень простая. Она даже знала, как меня зовут, и все мне объяснила. Но, как говорит хозяйкин секретарь, сразу видно, что голова у нее на месте. А когда вернулся домой мой хозяин, он спросил, как тут все у нас обошлось, а хозяйка так гордо отвечает: да, очень хорошо, а как же, мол, иначе? Ах, госпожа, видели бы вы в эти дни хозяина! Будто в доме вдруг поселилось десять мальчишек. Все время дразнит хозяйку и даже ее щиплет.

### XXXIII. Корнелий Непот. Заметки

(3 октября)

Приехала царица Египта. В Остии ее встречала делегация от города и сената, но она отказалась сойти на берег, потому что среди приветственных вымпелов не было знаков достоинства диктатора. Об этом было доложено Цезарю, и он спешно отправил Азиния Поллиона в порт со своими трофеями. Тогда она, проведя в дороге всю ночь, прибыла в Рим.

.....

Царица никого не принимает и, по слухам, нездорова. Однако же она разослала тридцати высокопоставленным лицам роскошные подарки.

.....

(5 октября)

Сегодня царицу принимали на Капитолии. Пышность ее свиты превосходит все нами виденное. Издали она мне показалась очень красивой; Алина (*его жена*) могла ее разглядеть получше (*по-видимому, она сидела среди девственников Весты*) и, как истая женщина, уверяет, будто она решительно нехороша собой, — щеки у нее такие пухлые, что ее прозвали «мордастой». Ходят сплетни, будто у нее с диктатором произошла яростная стычка из-за ее одеяния. Египетские царицы, видимо отождествляя себя с богиней Изидой, в парадных случаях ничем не прикрываются выше пояса. Цезарь настоял

на том, чтобы она прикрыла грудь, согласно римскому обычаю, и она подчинилась, правда лишь самую малость. Она произнесла краткую речь на ломаном латинском языке и более длинную по-египетски. Диктатор отвечал ей как по-египетски, так и по-латыни. Приметы во время жертвоприношения были в высшей степени благоприятными.

**XXXIII-A. Цицерон из Рима — своему брату**  
(8 октября)

«Царица Египта», друг мой, магические слова для всех, кроме меня.

Я несколько лет переписывался с этой царицей и оказал бесчисленные услуги ее казначейству. Можно было ожидать, что ей известны мои склонности, мой характер и услуги, оказанные нашей республике. Приехав, она разослала роскошные подарки всей чиновной мелкоте — такие, какие преподносят друг другу только цари. Мне она тоже послала подарок. На эти деньги можно было бы целый год кормить Сицилию; но что мне делать с усыпанными драгоценностями венцами и с изумрудными кошками? Клянусь бессмертными богами, я дал понять этому тупице Аммонию, ее управителю, что я не пьяный актер и не из тех, кто ценит подарки по их стоимости, а не по их уместности. «Неужели в Александрийской библиотеке не нашлось рукописи?» — спросил я у него.

Чары царицы при ближайшем рассмотрении рассеиваются. Я верю в теорию, что каждый из нас всю жизнь пребывает в одном возрасте, к которому нас тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался шестнадцатилетним, и несоответствие этого возраста его теперешнему с каждым годом представляет все более грустное зрелище. Мой добрый друг Брут в двенадцать лет уже был рассудочным, осмотрительным пятидесятилетним мужем. Цезарю всегда сорок, этот двуликий Янус смотрит то в молодость, то в старость. По этой теории Клеопатре, несмотря на ее молодость, не меньше сорока пяти, и поэтому на ее юные прелести смотреть как-то неловко. Она тучна, как бывают тучны матери восьмерых детей. Многие восхищаются ее походкой и статью, но только не я. Ей двадцать четыре года, а ходит она как женщина, которая мечтает, чтобы ей дали не больше двадцати четырех.

Надо быть очень наблюдательным, чтобы все это заметить. Ее сан, великолепие одеяний и два выдающихся достоинства — прекрасные глаза и пленительный голос — покоряют неосторожных.

**XXXIV. Письмо и вопросник Клеопатры Цезарю**  
(9 октября)

Мой Deedja, Deedja, Deedja, твоя Крокодилица и очень несчастливо-счастлива и очень счастливо-несчастлива. Счастлива оттого, что увидит своего Deedja двенадцатого ночью и пробудет с ним всю ночь, а несчастлива, оттого, что до двенадцатого еще целая вечность. Когда со мной нет моего Deedja, я сижу и плачу. Я рву на себе одежду, не понимаю, зачем я здесь, почему не в Египте, что я делаю в этом Риме. Все меня ненавидят, все шлют мне письма, где желают мне смерти. Неужели мой Deedja не может прийти до двенадцатого? Ах, Deedja, жизнь коротка, любовь коротка; почему мы не видим друг друга? Другие же весь день и всю ночь видят моего Deedja. Разве они любят его больше, чем я? Разве он любит их больше, чем любит меня? Ничего, ничего нет на свете, что я любила бы больше моего Deedja, моего Deedja, когда он у меня в объятиях, моего Deedja, счастливого-пресчастливого в моих объятиях. Разлука — это жестокость, разлука — расточительство, разлука — бессмыслица.

Но раз Deedja ее хочет, я плачу; я не понимаю, но плачу и жду двенадцатого... А письма я должна писать ему каждый день. И ты, мой Deedja, пиши мне письма каждый день. В тот день, когда я не получаю от тебя настоящего письма, я всю ночь не сплю. Правда, я ежедневно получаю твои подарки с коротенькой записочкой при них. Я ее целую; я долго прижимаю ее к себе; но когда вместе с подарками я не получаю настоящего письма, я не могу их любить.

Я должна писать своему Deedja каждый день и повторять ему, что люблю его одного и думаю только о нем. Но к тому же мне надо задать ему кое-какие маленькие

скучные вопросы. Ответ на них я — твоя почетная гостья — должна знать, чтобы быть достойной твоего покровительства. Не сердись на свою Crocodeedja за эти мелкие, надоедливые расспросы.

1. На моем приеме, на моем рауте, я схожу на самую нижнюю ступеньку трона, чтобы приветствовать жену моего Deedja. Спускаться ли мне также на нижнюю ступеньку, встречая тетку Deedja? Как мне приветствовать консулов и их жен?

(*Ответ Цезаря.* До сих пор все царицы спускались на нижнюю ступеньку. Я намерен это изменить. Моя жена и тетка придут со мной. Ты встретишь нас у арки. Твой трон будет поднят не на восемь ступеней, а на одну. Всех прочих гостей ты будешь приветствовать, стоя у трона. Может показаться, что такой распорядок лишит тебя почетного возвышения, но какой уж тут почет, если с него надо спускаться, а тебе придется спускаться, встречая консулов,— они ведь у нас высшая власть, или, вернее, были ею. Подумай и ты поймешь, что Deedja прав.)

2. Госпожа Сервилия не ответила на мое приглашение. Ты сам понимаешь, я этого не потерплю. Я знаю способ, как заставить ее явиться, и намерена пустить его в ход.

(*Ответ Цезаря.* Не понимаю, о чем речь. Госпожа Сервилия будет на приеме.)

3. Если ночь будет холодная, я не смогу ни на шаг отойти от жаровен с углями, не то я замерзну насмерть. Но где взять столько жаровен для гостей на время водяной феерии?

(*Ответ Цезаря.* Обеспечь жаровнями твоих придворных дам. Мы, италийцы, к холоду привыкли и одеваемся так, чтобы не мерзнуть.)

4. В Египте царские особы не принимают танцовщиц и людей театра. Мне сказали, что я должна пригласить актрису Киферида — ее принимают многие патриции, а твой не то племянник, не то двоюродный брат Марк Антоний куда без нее не ходит. Надо ли мне ее приглашать? Но, в сущности, надо ли мне приглашать и его? Он каждый день приходит сюда, у него очень дерзкий взгляд; я не привыкла к тому, чтобы надо мной смеялись.

(*Ответ Цезаря.* Да, надо не только пригласить ее, но и поближе с ней познакомиться. Она дочка колесника, но самые знатные аристократки могли бы у нее поучиться достоинству, обаянию и прекрасным манерам.)

Ты скоро поймешь, что меня в ней восхищает. К тому же я у нее в долгу: ее многолетняя связь с моим родственником Марком Антонием сделала его моим другом. Мы, мужчины, в основном представляем собой то, во что превращаете нас вы, женщины; да это касается не только мужчин — ибо мужчине не под силу переделать женщину, если она дурна. Марк Антоний был и навсегда останется лучшим атлетом, самым популярным атлетом провинциальной школы. Десять лет назад даже пятиминутный серьезный разговор доводил его до изнеможения, и он томился желанием поскорей поставить три стола себе на подбородок и пожонглировать ими. Даже войны отнимали лишь сотую долю его бездумной энергии. Рим жил в страхе перед его розыгрышами: он не задумываясь мог подпалить целый квартал, спустить с причалов все лодки и украсть одежду у всего сената. Его шутки не были злыми, они были глупыми. Киферида положила всему этому конец, она ничего у него не отняла и только перетасовала все его свойства. Я окружен такими реформаторами, которые могут обеспечить порядок только законами, подавляющими личность, лишив ее радости и напора,— их я ненавижу. Катон и Брут мечтают о государстве трудолюбивых мышей, а по бедности воображения обвиняют в этом и меня. Я был бы счастлив, если бы обо мне могли сказать, что я, как Киферида, могу объездить коня, не погасив огня в его глазах и буйства в его крови. Ну и разве Киферида не достойна награды? Он куда без нее не ходит, и правильно делает,— где он найдет лучшего спутника?

Но пора кончать. Вот уже полчаса меня дожидается депутация от Лузитании — хочет заявить протест против моей жестокости и несправедливости. Скажи Хармиане, чтобы сегодня ночью она все приготовила для приема гостя. Он войдет, переодетый стражником, через Александрийские ворота. Скажи Хармиане, что он придет ближе к рассвету, чем к закату,— как только страсть поборет благоразумие. Пусть великая царица Египта, эта птица феникс, спит спокойно, ее разбудят ласковой рукой. Да, жизнь коротка, разлука — безумие.)

**XXXIV-A. Актриса Киферида из Байев — Цицерону на его виллу в Тускуле**

*(Это письмо, написанное годом раньше, приведено для того, чтобы лучше осветить обстоятельства, затронутые в вопросе 4 предыдущего письма.)*

Госпожа Киферида выражает глубокое почтение не только величайшему на свете адвокату и оратору, но и спасителю Римской республики.

Как вы знаете, диктатор приказал подготовить для опубликования сборник ваших остроумных высказываний. До меня дошла молва, что в сборник включен застольный разговор на обеде, данного года три назад в вашу честь Марком Антонием, кое-какие тогдашние мои замечания могут показаться неуважительными по отношению к диктатору.

Памятью о лестных отзывах, которыми вы так щедро меня удостаивали, умоляю изъять все выражения подобного характера, приписываемые мне.

Во время гражданских войн я и правда иначе относилась к диктатору. Оба моих брата и мой муж боролись против него, и муж погиб в этой войне. С тех пор, однако, диктатор простил моих братьев, проявив присущее ему милосердие; он дал им земли, произвел реформы в нашем объятom смутой государстве, завоевал наши сердца и нашу преданность.

В будущем году я покидаю сцену. Мой уход на покой и моя старость будут отравлены сознанием того, что мои необдуманные слова передаются из уст в уста, а ведь такова судьба любого произведения, на котором стоит ваше прославленное имя.

От этой беды вы один можете меня избавить. В знак моей признательности и восхищения прошу принять прилагаемую рукопись. Это пролог к «Девушке, потерпевшей кораблекрушение», написанный собственной рукой Менаандра.

**XXXV. Цезарь — Клодия**

*(10 октября)*

Я был огорчен, узнав, что мне подаю прошения с призывом исключить вас из общества, в которое входят все уважаемые матроны Рима. До меня пока что не дошло никаких сведений, доказывающих справедливость такой меры.

Однако я обращаюсь к вам по другому поводу. Я читаю множество писем, не предназначенных для моих глаз,— их авторы и адресаты и не подозревают о том, что я о них знаю.

Нельзя винить женщину, если ее любят, а она неспособна любить в ответ. Но при этом у женщины всегда найдутся способы усугубить или облегчить страдания своего поклонника. Я говорю о поэте Катулле, чей дар ценен для Рима не меньше, чем заслуги его правителей, и за чье спокойствие духа я тоже несу ответственность.

Угроза — оружие, которым легче всего пользоваться человеку у власти. Я редко к нему прибегаю. Однако бывают случаи, когда власть имущие понимают, что ни убеждения, ни призыв к милосердию не изменят дурного поведения ребенка или злоумышленника. Когда угрозы не помогают, приходится прибегать к наказанию.

Может быть, вам следовало бы на время покинуть город.

**XXXV-A. Клодия — Цезарю**

Госпожа Клодия Пульхер не без удивления прочла письмо диктатора. Госпожа Клодия Пульхер просит диктатора разрешить ей остаться в Риме хотя бы до приема царицы египетской Клеопатры; потом она удалится на свою загородную виллу и пробудет там до декабря.

**XXXVI. Цезарь — Клеопатре. Отрывки из ежедневных писем**

*(Вторая половина октября)*

*(По-египетски, но многие слова этого письма в настоящее время неизвестны и их пришлось домыслить. Очевидно, это жаргон александрийских портовых кабаков, усвоенный Цезарем во время его кутежей в притонах, когда он несколько лет назад жил в Египте.)*

Скажи Хармиане, чтобы она поосторожнее развертывала мою посылочку.

Я ее украл. Я ничего не крал с девятилетнего возраста и переживал все ощущения грабителя и карманного вора. Видно, я твердо пошел по пути обмана и лицедейства, как и положено преступнику. *(Предполагается, что Цезарь стащил с туалетного стола жены флакон духов.)*

Но чего только я не сделаю для великой царицы Египта? Я стал не только вором; я стал идиотом. Я могу думать только о ней. Я делаю промахи в работе. Я забываю имена, теряю бумаги. Секретари мои ошеломлены; я слышу, как они перешептываются за моей спиной. Я заставляю ждать посетителей, я откладываю дела — и все для того, чтобы вести долгие беседы с вечноживущей Изидой, с богиней, с ведьмой, которая лишила меня рассудка. Нет большего опьянения, чем вспоминать слова, которые тебе шептали ночью. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с египетской царицей.

.....

*(По-латыни.)*

Где моя разумница Deedja, моя хорошая Deedja, моя умница Deedja? Почему она так неосторожна, так упряма, так жестока к себе и ко мне?

Моя жемчужина, мой лотос, если наше римское тесто из пшеничной муки тебе вредно, почему ты его ешь?

Все восточные люди не переносят этого теста. Его не переносил твой отец. Его не переносила царица Анес-та. Мы — римляне, люди грубые. Мы можем есть все что угодно. Я прошу тебя, я тебя умоляю, будь умницей. Я молюсь, чтобы ты не страдала, но я, я страдаю! Мой посланец будет ждать, пока Хармиана не пошлет мне весточку о тебе. О звезда и феникс, будь осторожна, береги себя.

Ты прогнала моего врача. Почему ты не дала ему себя осмотреть? Неужели тебе трудно было поговорить с ним хоть минуту? Ты уверяешь, будто вашей египетской медицине уже десять тысяч лет, а что мы, римляне, младенцы. Да, да, но должен тебе сказать прямо: твои доктора уже десять тысяч лет занимаются чепухой. Подумай, подумай немножко о медицине. Доктора в большинстве своем шарлатаны. Чем старше врач и чем больше его почитают, тем ему больше приходится изобразжать, будто он знает все. Конечно, с возрастом они становятся только хуже. Ищи врача, которого лучшие врачи ненавидят. Или способного молодого врача, который еще не погряз во всякой чепухе. Deedja, пообещай, что ты покажешься моему Сосфену.

Что мне делать? Береги себя. Я тебя люблю.

.....

Ах да. Я повинюсь царице Египта. Я делаю все, что она мне прикажет.

У меня весь день была багровая макушка.

Один посетитель за другим взирали на меня с ужасом, но никто не осмелился спросить, что со мной. Вот что значит быть диктатором: никто не задает тебе вопросов. Я мог бы проскакать на одной ножке отсюда до Остии и обратно — и никто не решился бы и слова сказать...

Наконец пришла служанка мять пол. Она сказала:

— О божественный Цезарь, что у тебя с головой?

— Матушка,— ответил я,— величайшая женщина на свете, самая прекрасная, самая мудрая, уверяет, будто от лысины можно избавиться, втирая в нее мазь из меда, ягод можжевельника и полыни. Она приказала мне мазаться этой мазью, а я ей подчиняюсь во всем.

— Божественный Цезарь,— заметила она,— я не великая женщина, не прекрасная и не мудрая, но я знаю одно: у мужчин бывают либо мозги, либо волосы, но не бывает и того и другого. Вы достаточно красивы и так, и если бессмертные боги наделили вас здравым смыслом, значит, они не пожелали, чтобы у вас были локны.

Я собираюсь произвести эту женщину в сенаторы.

.....

Никогда еще, великая царица, я не чувствовал себя таким беспомощным. Я бы отрекся от всей моей власти, если бы это помогло, но я не могу управлять погодой.

Меня бесят эти холодные дожди, как вот уже много лет ничто не бесило. Я стал вроде крестьянина; мои писцы переглаживают с недоумением; они видят, как я то и дело подхожу к дверям и смотрю на небо. Ночью я встаю и выхожу на балкон — проверяю, куда дует ветер, ищу на небе звезды. С этим письмом я посылаю тебе еще одно меховое одеяло, пожалуйста, укутывайся потеплее. Говорят, будто эти безжалостные дожди пролятся еще дня два. Но зимой нередко выпадают солнечные дни. У моего друга есть вилла в Салерно, там не дуют северные ветры. В январе ты туда поедешь, а я к тебе присоединюсь. Потерпи, займись чем-нибудь. Пришли мне весточку.

### XXXVII. Катулл — Клодия

(20 октября)

Душа души моей, когда я утром получил твою записку, я заплакал. Ты нас простила. Ты поняла, Клаудилла, что мы не хотели, никак не хотели тебя обидеть. Я спрашиваю себя, что же я такого сказал, чем тебя рассердил. Но не будем больше об этом думать. Ты нас простила, все забыто.

Но, дивная Клаудилла, несравненная Клаудилла, приготовься нас снова простить. Мы ведь не знаем, когда и почему впадем в немилость. Будь уверена отныне и вовеки, что мы никогда, слышишь, никогда намеренно не причиним тебе боль. И это заверение пребудет на все времена. Какой обидный смысл ты могла найти в... Но довольно! Все забыто.

Однако, Клаудилла, постарайся и ты не обижать меня. Вот ты сказала в его присутствии: «Валерию еще ни разу не удалось написать стихотворения удачного с начала и до конца». Клаудилла, разве ты не знаешь, что нет ничего страшнее для поэтов? Несколько строк удается, остальные приходится выжимать из себя. Как, неужели я ни разу не написал цельного стихотворения? И сказать это при нем!

Что касается приема у царицы, я, конечно, сделаю так, как ты хочешь. Мне не особенно хочется идти. Многие члены нашего клуба идут туда скопом, они просили меня написать на этот случай оду. Я уже набросал несколько строк, но получается не очень хорошо, и я с удовольствием брошу эту затею. Все, что я о ней слышу, заставляет думать, что она несносна, особенно бесстыдство ее одежды.

Нет, болен я не был.

Позже.

Я уже собирался отправить письмо, но случайно узнал, что ты уезжаешь за город на несколько месяцев. Почему? Почему? Это правда? О боги, это не может быть правдой. Ты бы мне сказала. Почему? Ты никогда не уезжала зимой. Что это значит? Прямо не знаю что и думать. Ты никогда не уезжала зимой.

Если это правда, Клаудилла, Клаудилла, ты за мной пошлешь. Мы будем читать. Мы будем гулять у моря. Ты мне будешь показывать звезды. Никто еще не говорил о звездах так, как говоришь ты. Я всегда тебя боготворю, но в эти минуты ты — настоящая богиня. Да, уезжай за город, моя блистающая звезда, мое сокровище, и дай мне побыть с тобой там.

Но чем больше я об этом думаю, тем я несчастнее.

Что это значит?

Я понимаю, что не должен ни о чем просить. Не должен ни на что претендовать. Но такая любовь, как моя, должна высказаться; иногда она должна даже закричать.

Прекрасная и ужасная Клавдия, послушай меня хоть раз. Не уезжай из города, ну а если уж тебе надо уехать из города, поезжай одна. Я не смею снова просить, чтобы ты поехала со мной, но поезжай хотя бы одна.

Да, я тебе признаюсь: я был болен. С тех пор как люди узнали любовь, отвергнутые любовники всегда делали вид, будто они больны; но я не притворялся. Ты хочешь меня убить? Это твоя цель? Я не хочу умирать. Клянусь тебе, я буду бороться за жизнь до последнего вздоха. Не знаю, долго ли еще я смогу это вынести. Что-то сильнее меня мне угрожает. Всю ночь оно прячется в углу моей комнаты, подглядывая за мной, пока я сплю. Я вдруг просыпаюсь, и мне чудится, что оно нависло над моим ложем.

Говорю тебе заранее: если ты поедешь с ним за город, я непременно умру. Ты ругаешь меня за слабость. Я не слабый. Я мог бы поднять твоего дружка в воздух, продержать его час, а потом без особого напряжения швырнуть о стену. Ты знаешь, я вовсе не слаб, и только могучая сила способна меня убить.

Я не хочу, чтобы в словах моих слышался гнев. Если ты правда едешь на свою виллу, обещаю, что будешь одна. А там, если не захочешь, чтобы я к тебе приехал, я подчинюсь твоей воле и уеду домой, на север, и буду там до тех пор, пока ты не вернешься в город.

Напиши мне. И, ах, Клавдия, Клаудилла, попроси меня что-нибудь сделать — но то, что в моих силах. Не проси меня забыть тебя или стать к тебе равнодушным. Не проси меня не думать о том, как ты проводишь время. Но если нам суждено быть в разлуке, поручи мне что-нибудь сделать, пусть это будет постоянной связью с тобой. Великая царица, более великая, чем все царицы Египта, добрая и мудрая, просвещенная и милостивая, ты можешь вылечить меня одним твоим словом. Одной улыбкой ты можешь превратить меня в счастливейшего из поэтов, которые когда-либо славили бессмертных богов.

### XXXVII-A. Клодия — Катулла (обратной почтой)

Да, дорогой Гай, это правда, я еду на свою виллу, и еду одна, совершенно одна. Вернее говоря, только с Сосигеном, моим астрономом. Жизнь в городе мне прискучила. Я буду часто тебе писать. Я буду думать о тебе с нежностью. Меня огорчает, что ты был болен. Мне кажется, что ты поступил бы разумно, если бы поехал домой. Я посылаю подарки для твоей матери и твоих сестер.

Ты просишь дать тебе какое-нибудь задание. Что я могу поручить тебе, чего уже не подсказал твой гений? Забудь все, что я когда-либо говорила о твоих стихах, и запомни: только ты и Лукреций сделали Рим новой Грецией. Когда-то ты сказал, что сочинение трагедий не твое дело. В другой раз ты говорил, что мог бы написать «Елену». Любые стихи, какие ты напишешь, доставят мне наслаждение, а если бы ты написал «Елену», мы могли бы ее сыграть, когда я вернусь в город. Я выеду наутро после приема царицы и вернусь за несколько дней до празднества (*Таинств Доброй Богини*).

Береги свое здоровье. Не забывай свою Волоокую.

### XXXVIII. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамиялю Туррину на остров Капри

1008. (О том, что Клеопатра в восторге от каприйского вина.)

1009. (Извинение за задержку с отправкой письма).

1010. (О любовной поэзии.) Всех нас пронимают до души песни деревенского люда и рыночной площади. Бывало время, когда меня целыми днями мучила песня, услышанная из-за садовой ограды или спетая моими солдатами у бивачного костра. «Не говори нет, нет, нет, маленькая дочь белгов» или «Скажи, луна, где теперь моя Хлоя». Но когда стихи сложены державной рукой, тут уж они не мучат, а, клянусь Геркулесом, словно бы возвышают. Шаг вдвое шире и рост вдвое выше.

Сегодня я с трудом сдерживался, чтобы не выпалить моим посетителям несколько строк, — нам теперь, слава бессмертным богам, нет нужды читать греческие стихи, мы сочиняем в Риме свои песни.

Ille mi par esse deo videtur,  
Ille, si fas est, superare divos,  
Qui sedens adversus itentidem te  
Spectat et audit  
Dulce ridentem. . .

Кажется мне тот богонравным или —  
Коль сказать не грех — божества счастливой,  
Кто сидит с тобой, постоянно может

Видеть и слышать  
Сладостный твой смех...<sup>4</sup>

Это слова Катулла, написанные в более счастливые для него времена. У меня есть подозрение, что сейчас он несчастнейший из смертных. Он запечатлел свой солнечный полдень в песне; я сейчас тоже переживаю свой полдень, и поэт разжег для меня его сияние.

**XXXIX. Записка Клодии — Марку Антонию**  
(В конце октября)

Сегодня был блестящий дворцовый прием. Перед нашествием иноземки пали древнейшие камни Римской стены: Сервилия, Фульвия Мансон, Семпрония Метелла. Ваше отсутствие было замечено. Ее величество удостоило вас несколькими милостивыми словами, но я ее уже знаю и знаю эти слегка поджатые губы.

Скажите моей дорогой Несравненной (*Кифериде*), что царица о ней справлялась. Она сказала, что диктатор говорил о ней, Несравненной, с большим восторгом.

.....

После вашего ухода Нил вышел из берегов от плохо сдерживаемого гнева. Она проворчала мне, что в Египте есть такая поговорка: «Все раны хвостуна — у него на спине». Я стала возражать, и меня провели в будуар, где угостили пирожными. Я рассказала о вашей храбрости при Фарсале; о доблести в битве с Аристубулом. Не сомневаюсь, что вы были не менее отважны и в Испании, но подробностей я не знала, поэтому изобрела сногшибательный подвиг, который вы будто бы совершили возле Кордовы. Теперь он вошел в историю. А царица резко, чересчур резко, переменяла тему разговора.

.....

(27 октября)

Все готово.

Египет несомненно ваш, если вы поступите точно так, как я скажу. И тогда, когда я скажу. Все зависит от этого «тогда».

Приезжайте на прием пораньше и поменьше обращайтесь на нее внимания.

Хозяин Крепости без сомнения отправится домой рано — с женой и теткой.

Я приеду поздно. И скажу, что вы хотите показать ей высочайший пример отваги, доселе невиданный в Риме, а потом стану ее уговаривать — ни за что, ни за что! — на это не соглашаться. Но разве это не так, разве это не будет высочайшим примером отваги, когда-либо виданным в Риме?

Однако не забудьте своего обещания. Не смейте в нее влюбляться. Если я увижу хоть малейший признак этого, я откажусь вам помогать и расторгну наше пари.

Разорвите эту записку, а лучше верните ее моему посланцу, чтобы я могла ее уничтожить.

**XI. Госпожа Юлия Марция — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри**  
(28 октября)

С какой радостью, дорогой мальчик, я узнала, прочтя твое письмо, что могу тебе писать. И даже могу тебя навестить. Разреши мне приехать сразу после Нового года. Все мои мысли теперь заняты церемониями (*в честь Добрай Богини*); потом мне надо вернуться на ферму, привести в порядок счета за год и приглядеть за Сатурналиями в нашей горной деревне. А после этого я двинусь на юг — и с какой радостью!

Ты пишешь, что у тебя хватает времени на чтение длинных писем, а у меня его в избытке, чтобы такие письма писать. Но это письмо, надеюсь, не будет длинным; я просто хотела подтвердить получение твоей весточки и рассказать о вчерашнем вечере, что тебе, по-моему, будет интересно. Ты уверяешь, будто у тебя есть источники, ко-

<sup>4</sup> Перевод С. Ошерова.



торые сообщают о событиях, происходящих в Риме, поэтому я ограничусь описанием того, что я наблюдала сама и о чем ты вряд ли узнаешь от других.

Вчера был прием, на котором царица Египта открыла свой дворец для римлян. Тебе, несомненно, расскажут о роскоши обстановки, прудах, представлениях, играх, сутолоке, угощении и музыке.

Я обрела нового друга там, где меньше всего ожидала его найти. У царицы, может быть, и есть причины добиваться моего расположения, но, надеюсь, меня нелегко обмануть и, по-моему, интерес друг к другу у нас не был притворным. Мы вызывали друг у друга обоюдное любопытство — мы ведь такие разные; этот контраст при малейшем недоверии может породить презрение и насмешку, а при малейшей доброжелательности — необыкновенно приятную дружбу.

Я приехала на лодке с племянником и его женой; у ворот, копирующих Филейский храм Изиды на Ниле, нас приветствовала царица. Тибр стал совсем египетским и по-новому красив, как и царица. Кое-кто это отрицает: право же, они ослеплены предубеждением. Кожа у нее цвета самого лучшего греческого мрамора и такая же гладкая, глаза карие, большие и очень живые. И они и ее низкий, богатый переливами голос вселяют ничем не омраченное ощущение веселья, здоровья, счастья, ума и уверенности в себе. Наши римские красавицы были в изобилии, но я заметила, что и Волумния, и Ливия Долабелла, и Клодия Пульхер держались натянуто, чувствовали себя неловко и словно не могли побороть раздражения.

Царица, как мне объяснили, была одета богиней Изидой. Драгоценности и вышивка на платье — в синих и зеленых тонах. Она сперва провела нас по садам, давая пояснения глазным образом Помпее, которая, как ни обидно, словно оцепенела от страха и не знала, что отвечать. Царица очень проста в обращении, и все, кто с ней сталкивается, должны бы чувствовать себя непринужденно, как это было со мной. Она повела нас к трону и представила нам вельмож и дам своего двора. Потом обернулась и стала приветствовать длинные ряды гостей, ожидавших своей очереди, пока она оказывала знаки внимания диктатору.

Я собиралась пораньше вернуться домой и лечь спать, но задержалась со своими сверстницами. Глаза на бесчисленные развлечения и пробуя необыкновенные лакомства (к ужасу Семпронии Метеллы, уверявшей меня, что они отравлены). Вдруг я почувствовала, что меня взяли за руку. Это была царица. Она спросила, не хочу ли я с ней посидеть. Мы прошли в нечто вроде цветущей беседки, обогреваемой жаровнями; царица посадила меня рядом на кушетку и, немного помолчав, с улыбкой заговорила:

— Благородная госпожа, у нас в стране есть обычай: когда две женщины встречаются, они задают друг другу кое-какие вопросы.

— Я счастлива попасть в Египет, великая царица, и следовать обычаям этой страны, — ответила я.

— Мы спрашиваем друг у друга о детях и тяжело ли проходили роды.

Тут мы обе разразились смехом.

— Да, это не в римских обычаях, — сказала я, подумав о Семпронии Метелле, — но мне такой вопрос кажется разумным.

И я рассказала ей про моих детей, а она про своих. Она вынула из стоявшего рядом шкафчика прелестные портреты двух своих детей и показала мне.

— Все остальное, — прошептала она, — словно мираж у нас в пустыне. Я обожаю своих детей. И хотела бы родить целую сотню. Ну что на свете сравнится с этой милой головкой, с этой милой, душистой головкой? Но я — царица, — сказала она, глядя на меня глазами, полными слез. — Я должна путешествовать. Я должна заниматься сотней других дел. Есть у вас внуки? — спросила она.

— Нет. Ни одного.

— Вы меня понимаете?

— Да, ваше величество, понимаю.

Мы сидели молча. Дорогой мальчик, такого разговора с нильской колдуньей я не ждала.

Нас прервал племянник, который подвел Марка Антония и актрису Кифериду. Увидев, как мы сидим в слезах среди громкой музыки оркестров и пламени огромных факелов, они явно удивились.

— Мы разговаривали о жизни и смерти,— сказала царица, поднимаясь и стирая рукой слезы.— Мой праздник от этого стал только веселее.

Она как будто не заметила моего внучатого племянника и обратилась к Кифериде:

— Милостивая госпожа, один большой знаток говорил мне, что никто так прекрасно не изъясняется по-латыни и по-гречески, как вы.

Письмо мое все равно получилось чересчур длинным. Я тебе напишу еще раз до нашей встречи. Твою последнюю просьбу я, конечно, выполняю неукоснительно. Твое письмо и возможность поехать к тебе доставили мне большую радость.

## XII. Актриса Кифериды — Луцию Мамилию Турринну на остров Капри (28 октября)

Я с радостью предвкушаю, милый друг, поездку к вам в декабре. Мы будем болтать, читать, и я снова взберусь на все горы и спущусь во все бухты. Никакой холод и никакие бури меня не испугают.

Вчера ночью произошло событие, которое делает эту поездку еще более желанной. Долгая и дорогая мне связь оборвалась; пробил колокол, музыка смолкла. Вы — единственный человек, который от меня об этом услышит. Вы столько слышали о том, как она развивалась, а теперь узнаете и как она кончилась. Наша жизнь с Марком Антонием, продолжавшаяся пятнадцать лет, пришла к концу.

Задолго до приезда египетской царицы Марк Антоний стал насмехаться над ее репутацией оборотчицы и проницательной женщины. Он хвастал, будто вывел из себя диктатора, сказав, что он не поддастся чарам Клеопатры, которыми она побеждает менее стойких людей. Мне как никому дано было наблюдать, с каким невиданным терпением относился диктатор к своему легкомысленному племяннику, хотя терпение его не раз подвергалось более тяжким испытаниям, чем то, о котором я рассказываю, но, правда, не более досадным.

С тех пор как царица приехала, Марк Антоний зачастил к ее двору, и мне сообщили, что он доверяет ее своими шутливыми ухаживаниями. Царица, по-видимому, не отвечала на его дерзости высокомерным кокетством, чего можно было бы от нее ожидать; несколько раз в присутствии придворных она гневно одергивала его. По Риму пошли пересуды.

Вчера мы отправились на ее пышный прием. Мой друг был в отличном расположении духа. По дороге я впервые заметила, что в его отзывах о ней сквозит искреннее восхищение и даже несвойственная ему восторженность. Я поняла, что, еще сам того не сознавая, он поддавался страсти.

Когда я вас увижу, я опишу великолепие дворца и устроенных нам развлечений. Не знаю, как проходят подобные празднества в Александрии, но подозреваю, что царицу поразило, как дурно ведем себя мы, римляне, на больших сборищах.

Женщины по обыкновению чинно сбивались в кучки — стояли или сидели отдельно от мужчин. Мужчины помоложе изрядно выпили, разбушевались и затеяли свои вечные состязания в силе и ловкости — другого времяпрепровождения они не знают. Само собой разумеется, что Антоний был там заводилой. Они развели сначала один, а потом и другой костер и, построившись рядами, стали бегать вперегонки по садам и прыгать через огонь. Я уже научилась не обращать внимания на эти опасные игры; но все же заметила, что мой друг лазает по деревьям и прыгает с веток на крышу; ему подражают те, кого он раззадорил. Несколько человек разбились, сломали себе шеи, ноги, но буйное пьяное пенье становилось только громче. Изысканные живые картины, предложенные нам царицей, смотрели несколько женщин и кучка стариков.

К полуночи мужчины стали уставать от своих игр; многие спяну завалились в кусты и заснули; костры выгорали. При свете разноцветных факелов на острове была показана феерия, а в пруду плавали девушки.

Диктатор набрел на меня во время этого зрелища и оказал мне честь сесть со мной рядом. Жене его вечер не понравился, и она настаивала, чтобы они поскорее вернулись домой. Теперь я знаю точно: виною всему Клодия Пульхер, хотя для своих целей она воспользовалась материалом, который сам шел к ней в руки. Клодия, как

и Марк Антоний, почти ежедневно бывала при дворе Клеопатры. Справедливо это или нет, но она стала считать себя главной наперсницей царицы в Риме. Мне случилось наблюдать появление Клодии на приеме. Она приехала поздно в сопровождении брата и маленькой группы кавалеров из Эмилиева клуба для плавания и игры в шашки. Царица давно покинула свое место у трона и смешалась с толпой гостей. Большую часть вечера диктатор провел возле жены и оказывал царице только положенные по этикету почести; но в эту минуту они шли рядом к главной аллее, возвращаясь после боя львов с тиграми, происходившего в загородке для диких зверей. Клодия увидела перед собой нечто ей недоступное: женщину, которой некому завидовать, и диктатора, помолодевшего лет на двадцать; она услышала их счастливый смех, не таивший никого зла.

Я знаю Клодию много лет и могу себе представить, какую боль причинила ей эта сцена.

Когда водяная феерия кончилась, Цезарь и его спутники стали искать царицу, чтобы с ней проститься. У пруда ее не было и во дворце тоже. Слева от аллеи воздвигли сцену, где в начале вечера разыгрывали музыкальную драму на сюжет из египетской истории, но теперь площадка была пуста и освещена лишь мерцанием факелов, горевших на парадном дворе по соседству. Я уже не помню, что заставило нас туда пойти. Декорация изображала поляну на берегу Нила, пальмовую рощу, кусты и заросли камыша. Короче говоря, мы захватили царицу врасплох: она, негодуя, вырывалась из объятий очень пьяного и очень пылкого Марка Антония. В том, что она сопротивлялась, нет сомнений, но делать это можно по-разному; всем было ясно, что ее сопротивление длится уже довольно долго, хотя убежать не составляло труда. В полутьме трудно было различить, что там происходит.

Но приличия были соблюдены. В этот миг из-за сцены появилась прислужница царицы Хармиана и принесла жаровню, которая помогает Клеопатре выносить наш холодный климат. Царица выбрала Марка Антония за бестактность. Диктатор выбрал его за пьянство. Происшествие, казалось, высмеяли и забыли. Однако они так и не объяснили, почему очутились вдвоем в этом уединенном месте. Кто-кто, а Марк Антоний от меня ничего не скрывает, и я поняла, что он сейчас испытывает те же чувства, какие испытывал пятнадцать лет назад ко мне и больше ни к кому, несмотря на все свои шалости. О том, что чувствует царица, я не знаю. Могу об этом судить лишь по тому, как это отразилось на великом человеке со мной рядом; ни один актер не сравнится с Цезарем, и только актер мог разгадать, что он поражен в самое сердце. Никто другой, по-моему, этого не заметил. Помпея отстала от нас и шла по дорожке сзади.

Мы распрощались. В носилках Марк Антоний прижался ко мне, он рыдал и без конца шептал мне на ухо мое имя. Более явного расставания быть не могло.

Я знала, что рано или поздно этот час придет. Любовник превратится в сына. Не стану притворяться, что это далось мне легко, но и не стану преувеличивать своих страданий — сама того не сознавая, я уже наполовину примирилась с неизбежным. Я приеду на Капри, еще больше ценя дружбу, ту дружбу, которой я никогда не знала с Марком Антонием, потому что дружба расцветает там, где есть духовная близость. Ее утечи ни с чем не сравнимы, но я — женщина. И только перед вами, чья мудрость и терпение не знают границ, могу я в последний раз посоветовать на то, что дружба — даже ваша — всегда будет лишь на втором месте после утраченной мною любви. Она наполнила дни мой светом, а ночи — нестерпимой нежностью. Пятнадцать лет мне не надо было спрашивать себя, зачем человек живет и зачем он страдает. Теперь мне надо привыкать жить без влюбленных глаз, из-за которых я провела свою жизнь как во сне.

### ХII-A. Клеопатра — Цезарю

*(Полночь, 27 октября)*

Deedja, Deedja, поверь мне, поверь мне, что мне было делать? Он повел меня туда под предлогом, будто он с товарищами покажет мне какое-то невиданное состязание в отваге. Он был и пьян и очень хитер. Я совершенно растеряна. Сама не знаю, как это могло случиться. Я убеждена, что эта тварь Клодия Пульхер тут как-то заме-

шана. Она либо надоумила его на это, либо подзадорила его. Она подсказала ему, что надо делать. Я в этом уверена.

Deedja, я не виновата. Я не засну, пока ты не пришлешь мне хоть словечко, что ты все понимаешь, что ты веришь мне и меня любишь. Я схожу с ума от ужаса и горя.

Пошли мне, молю тебя, записочку с этим же посланным.

#### ХЛІ-Б. Цезарь — Клеопатре

*(Из дома Корнелия Непота, где посланный Клеопатрой нашел Цезаря у огра больного Гая Валерия Катутла.)*

Спи, спи спокойно.

Теперь ты усомнилась во мне. Я хорошо знаю моего племянника. И сразу понял, что произошло. Не сомневайся в чуткости твоего Deedja.

Спи спокойно, великая царица.

*Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.*

*(Окончание следует)*



---

---

# О ЧИЕ РКИ НАШ ИХ ДНЕ И

П. РЕБРИН



## В КОЛЫБЕЛЬНЫХ МЕСТАХ

1

**В** ночь с субботы на воскресенье над Торжком гремела гроза. Под окнами гостиницы сиротливо стояли автобусы, прибывшие перед вечером с туристами. Молнии выхватывали из шумевшей ливнем темноты то луковичу церкви или собора, то угол площади со светлыми домами провинциального барокко, то верхушки деревьев в парке.

Утро же предстало в ясной красе: голубело небо, солнце гляделось в ленивую Тверцу, на самой середине которой стояли рыбаки с удочками.

В назначенное время автобусы, оглушительно взревев, отправились по Пушкинскому кольцу. Я пошел в горком партии. В уборку люди в районах обычно становятся нечувствительными к продолжительности дня, а тут еще поздние ливневые дожди сформировали «двухъярусный» хлеб, и я не удивился, что секретарь горкома партии Г. С. Кобылин каждодневно, включая и воскресенье, приходил в свой кабинет к семи утра.

Он был в белой нейлоновой рубашке, рукава закатаны по локоть, верхняя пуговка расстегнута, загорелые мускулистые руки, сцепленные в пальцах, привычно спокойно лежали на столе. Поговорили о грозе, потом он кому-то позвонил и пробасил в трубку однотонно:

— Дай, как выполняется решение райисполкома по дополнительной мобилизации. Нужно обзвонить всех и, возможно, придется провести бюро... Что?.. Так, так...

Не успел положить трубку — звонок. Поступило сообщение, что на заправке молнией убило человека, и Геннадий Семенович застыл с ладонью вдоль щеки. Потом руководители хозяйств докладывали о ходе уборки.

На тверской земле я провел, в общем-то, немного времени. Но мной уже владело совершенно отчетливое ощущение особенности этих мест как колыбельных, изначальных, святых для каждого русского. Здесь вровень с Новгородом, Суздалем, Псковом и Москвой начиналась Русь, а на Валдайской возвышенности зарождаются Волга, Западная Двина, Днепр и Мста. Местность сама, земля, как бы затихшая на всплеске, поймы спокойных линий, холмы, чаще окатистые, — не оставляют разве и они ощущения колыбельности? Здесь все одно над другим, и с дороги, льющейся меж холмов, лесов и пашен, видны другие леса и пашни. Нет-нет да и мелькнет в отдалении белокаменная церковь, старинная усадьба и долго потом преследует, велит глядеть.

Я жил здесь впечатлениями земной благодати, но знал, что эта благодать в былые времена доставалась немногим. Здешнему крестьянину собственного хлеба из века в век хватало лишь до рождества. В годы с 1902 по 1906 Тверская губерния ежегодно вывозила четыре тысячи пудов сельскохозяйственных продуктов, а ввозила — десять. В годы крепостного права, свидетельствуют документы, поме-

щики отправляли крестьян на сторонние заработки. Это был край отходничества.

Прежде народ легко снимался с мест из-за экономической несостоятельности края. А сейчас? Ведь за десять последних лет сельское население области каждый год убывает на 22—25 тысяч. Калининская область наряду с Костромской, Ярославской и Тульской по размерам оттока сельского населения занимает первое место в Российской Федерации. Что это? Живучие традиции?

Причины этого явления нынче, разумеется, иные, и то, что раньше было бедой, теперь скорее приметы и экономического и культурного подъема страны в целом. Но хотя и в Калининской области не хуже меня понимают, сколь закономерен отток сельского населения в города, забот оттого не убывает. В области не хватает 20 тысяч трактористов, 10 тысяч шоферов, 20 тысяч доярок, не хватает их и в Торжокском районе, и Геннадию Семеновичу приходится переключать значительную часть хлопот о хлебе, льне, молоке и мясе на плечи рабочего класса.

Нынче послано было на село, как обычно, около трех тысяч человек, но не хватило — нужна еще тысяча. Найти ее не так-то легко: на каком-то заводе горит план, где-то не укомплектованы штаты и противятся посылать людей на село. Вот Геннадий Семенович и решил, что необходимо провести по всем предприятиям экстренные заседания партбюро.

— В такой вот обстановке, — он положил трубку, — почти все Нечерноземье!

А что дальше? — подумал я. Планы возрастают, продукции надо давать все больше, зону потребляющую нужно превратить в производящую, а народ убывает. Задача по трудности величайшая уже потому только, что земля, способная кормить, тут вся мелкими клочками. Где клочок — там и селение. Даже размер селений определяется размером «кормящей» земельной площади. Отсюда и 12 тысяч деревень в области, иные в пять дворов. А сегодняшний человек не хочет жить в таких селах, это закон времени. Но чтобы дать работу людям, желающим жить кучно, надо построить возле больших сел коровники, телятники, а чтобы прокормить животину, необходимо расширить поля, удалить с пашни кустарники, корчевать лес. Работа, в общем-то, посильная, но она требует времени, а сегодняшнему молодому человеку не всегда охота ждать. Тоже черта времени. К тому же Москва и Ленинград с их огромной потребностью в рабочей силе прямо-таки раздирают калининские села, которые как раз между этими гигантами лежат. Да и в Калининске и в Торжке на каждом углу объявления: требуются, принимаются, обеспечиваются!

— А что будет дальше? — спросил я.

— Дальше? Будут планы. И наша задача их выполнять.

Геннадий Семенович посвящает меня в статистику, отражающую движение населения области. В 1959 году во время переписи люди в возрасте от шестнадцати до двадцати девяти лет составляли 20,6 процента. Далее эта часть населения убывала особенно быстро, примерно на 10 тысяч человек в год, и к 1970 году снизилась до 11 процентов.

— Понимаете, что это означает? — басит Геннадий Семенович. — А вот дальше! Дальше начался прирост этой части населения. Нынче их уже тринадцать и шесть десятых процента!

Он сказал, что в Торжокском районе проводится эксперимент. Начиная с 1965 года ему отпускаются удобрения в несколько повышенных дозах. Результат оказался почти сенсационный. В 1966 году гектар дал 9,9 центнера зерна, а на следующий год, как только добавили два центнера удобрений, уже 15, а в 1971 году весь район перешагнул двадцатицентнеровый рубеж.

— Теперь мы уже устойчиво получаем двадцать центнеров с гектара, а отдельные хозяйства по тридцать.

Вместе с урожаями пошло вверх все. За десять лет вес «среднего» бычка увеличился на 128 килограммов, а по области только на 81. Эти «химические» 47 килограммов прибавки дали району миллион 447 тысяч рублей выручки. От прибавки на льне вышло дополнительно 980 тысяч рублей. Да еще картофель, мо-

локо! А добавлено-то было удобрений немного — к 4,8 центнера, которые получает вся область, еще 2,2 центнера.

Вот так проявлялся потенциал. Но почему именно Торжокский район выбрали из тысячи с лишним районов Нечерноземья для эксперимента?

— Почему? — переспрашивает Геннадий Семенович. — Очевидно, считают наш район высокоорганизованным, потому и доверили эксперимент. У нас уже пятнадцатый год все хозяйства на полном хозрасчете. Он помог завестись рублю, приучить людей к расчетливости, точности и вдумчивости. У нас и до химизации хозяйства были крепкие, но не все. А сейчас сорок колхозов — и все рентабельны, финансово устойчивы. На текущих счетах колхозов области всего три миллиона рублей, из них два с половиной принадлежит торжокским колхозам.

Я пришел в волнение. Края, которые в прошлом не могли прокормить себя, превращаются в кормильцев других.

Геннадий Семенович коснулся рукой брошюры.

— А вот это наши перспективы. До революции урожай зерновых в области держался на уровне трех центнеров. В наше время средняя областная урожайность долго не превышала шести-семи центнеров. А вот в совхозах Научно-исследовательского института сельского хозяйства Нечерноземья в Немчиновке на таких же землях получают до пятидесяти центнеров зерна. А вся Московская область! Пожалуйста: Ленинский район за шестьдесят девятый — семьдесят третий годы собрал в среднем по тридцать семь с половиной центнеров, Подольский — по тридцать четыре. К этому и мы должны прийти. И идем. Колхоз «Борьба» дважды получал по тридцати центнеров с гектара. Нечерноземье — это пятьдесят два миллиона гектаров сельхозугодий. А ну прикиньте, что мы теперь значим! На нас нужно смотреть как на зону регулируемых высоких урожаев, зону больших потенциальных возможностей.

Геннадий Семенович поднялся. Прощаясь, посоветовал мне отправиться в Таложню, где жизнь школы и местного колхоза, по его мнению, очень тесно переплетены, дети приобретают сельскохозяйственные профессии и «стоят на земле прочно».

— В семьдесят четвертом году ребята собрали рекордный урожай кукурузы — по семьсот центнеров с гектара, — добавил он и уже на ходу бросил: — Там у них тоже свои проблемы. Везде проблемы... Ну, увидите сами, на месте разберетесь.

## 2

Я прохаживался по маленькой площади от будочки, возле которой останавливается автобус, до бревенчатого магазина. Откуда-то льется музыка. Смолкает, и слышится чистый женский голос:

— Говорит Таложня! Здравствуйте, дорогие односельчане. Передаем дневной выпуск последних известий. Сообщаем итоги первых экзаменов в школе. Ученикам было предложено три темы. Большинство выбрало тему «Вечно живые». На пять написали четыре человека, на четыре — шесть.

На площади стоит колхозная контора — двухэтажное здание с каменным низом и деревянной, дачного вида надстройкой. На двери замок — обеденный переерыв. Я хотел покоротать время в автобусной будке, но нахлынули девушки в коротких платьях, иные с подсиненными глазами, занесли свои чемоданы и сумки.

Мое внимание привлекают дети. Девочка лет одиннадцати в наглаженном платьице, гладко причесанная, с большим бантом-бабочкой идет рука в руку с молодой женщиной. Женщина одета простенько, а девочка похожа на куклу. Мальчики в шортиках и наутюженных рубашках. Голенастенькая длинненькая чернявочка лет четырнадцати, на руке блестят золотые часы. Не деревенские какие-то дети, отмечаю я и вдруг вновь улавливаю повисший меж холмов комнатный, домашний, словно за чашкой чая разговор. Это радио. Увлечшись детьми, забыл о нем и вот ловлю середину фразы:

— ...Николай Иванович Дементьев додумался сказать своей дочери-перво-

класснице: «Я буду ходить в школу только тогда, когда пойдет учиться Сережка». Неумно, уважаемый Николай Иванович. Почему это вы так подразделяете своих детей? А что же будут думать другие ученицы первого и второго классов? На очередном занятии университета отцов присутствовало пятьдесят восемь человек. И только один вы, Николай Иванович, не пришли. Это очень несерьезно — молодому отцу говорить такие вещи детям. Они глубоко обижены. Дети — наши, нам их и воспитывать.

Не очень уверен, что такая публичная педагогическая проборка принесет пользу. Но дослушать не пришлось — открылась контора. Оказалось, председатель в отъезде. Приоткрыв дверь с табличкой «Главный экономист», я увидел молодую женщину, показавшуюся мне знакомой. Ах вон что... Лица такого типа глядели на меня здесь, на Тверщине, с настенных украшений в кафе, ресторанах, клубах — эдакие плакатные славянки, русокосые, темнобровые, круглолицые. Рядом с ними — мужчины, обязательно с усами скобкой, входящими в русую бороду, с посохом или на коне, трубящие в рог, как бы провозглашая идею, которую они несли: мы-де, давние, вот с этими, сегодняшними, — едина суть, и рог трубит не зря.

Сейчас передо мной предстала одна из таких будто оживших славянок с тем же разлетом густых бровей. Звали ее Неля Епишева.

Неля слушала меня недолго — ей все было ясно. Радуюсь, что взаимопонимание установилось сразу, я понял, что рог трубит не зря.

— Да уж чего там — остается у нас молодежь! Кто это вам наговорил? Остаются, правильно. Только одни мальчики. — Вид у Нели решительный. — Из прошлого выпуска девятнадцать мальчиков решили связать свою судьбу с селом и только одна девочка, из позапрошлого — пятнадцать и одна.

— А почему так?

— А пойдите на ферму — тогда и поймете. Наперед могу сказать: слово «доярка» в Калининской области вообще не звучит.

Пока мы беседовали, в соседней комнате возникла перепалка.

— Разве я могу за ними угнаться? — сказал кто-то негодующе.

— Ничего, мы сами кое-как да кое в чем ходили, пусть наши дети погордятся.

Из пояснений Нели понял: свиарка Н., несколькими неделями раньше купившая четырнадцатилетней дочке золотые часы, вчера привезла ей из Москвы дорогое платье, и это возмутило работницу бухгалтерии.

— Меру знать надо! — усевещевала она щедрую мамашу. — Хорошо, коли средства позволяют, но нельзя одевать девочек в школу как на бал.

Неля послушала-послушала и махнула рукой:

— А-а! Застаревший наш вопрос. Сейчас все стремятся одеть детей получше, но некоторые уж чересчур... У нас даже дискуссия в клубе была — «Мода и нравственность». Некоторые девочки ходят в школу с золотыми часами, а другие дети чувствуют себя ущемленными, вроде неполноценными.

— Ущемленными из-за часов? — удивился я — Что-то, значит, неладно с воспитанием, коли чувство неполноценности могут вызвать часы.

— Кабы у одной золотые, — возразила Неля твердо. — А когда у десятерых, то остальные-то...

Помолчали.

— Ну и чем кончилась дискуссия?

— А тем, что уже золотые сережки покупают. Да и куда деньги-то тратить? — добавила она. — Покупать бы книги хорошие, да их мало. У меня двое детей, а растут без Чуковского, без Маршака. А ведь прозеваешь — будет поздно! Каждый ребенок должен иметь эти книги! Каждый!

— Но ведь библиотеки...

— Да книга всегда должна ласкать, греть душу. Даже видом своим. Книга ведь подороже кое-каких игрушек и тряпок. — Она глянула просительно: — Скажите кому-нибудь, чтоб побольше хороших детских книг выпускали.

Я обрадовался этому крику души.



— Скажу, — пообещал я, — а кому, не знаю. Напишу, одним словом. Вас вот процитирую.

Она не улыбнулась. Строго спросила:

— Что вы на меня так смотрите?

— Вы что окончили?

— Меня в институте оставляли на кафедре зоогигиены работать, в вологодском. Но я подалась за мужем. Еще не муж он тогда был. Просто любила. Механизатор таложинский Костя Епишев. Он у меня сильно идейный. Отчасти за то и полюбила. — Неля разложила локти на столе, устроилась поудобнее для беседы. — Сейчас родители как рассуждают: мы трудно жили — пусть наши дети поживут! А пожить — значит, по мнению некоторых, надо в город подаваться. Если же ребенок остался в деревне, значит, с ним что-то неладно.

— Это почему же?

— А потому что город берет не всякого, а кто поспособнее. Четверочники и пятерочники — в институты, троечники — в техникумы и СПТУ, а двоечники остаются в деревне. Сейчас, когда молодежи мало, все так оголилось. Раз парень в городе устроиться не мог, вроде, значит, не способен. Поэтому в каждой семье ребенка с детских лет готовят для городской жизни.

Вскоре мы отправились на ферму. Дорога меж кустов, а местами лесом, довольно круто шла в гору.

— Самое нехорошее, что не приучают детей к деревенскому труду. В школе он трудится в учебно-производственной бригаде, получает сельскохозяйственную профессию, а дома воспитывается как горожанин — топорища насадить не умеет, литовку отбить уж тем более. А потом старшее поколение охает да ахает: луга зарастают! А как им не зарастать, если молодежь косить не умеет.

— Да, — согласился я, — это действительно так. Был я в колхозе «Большевик», там и местность такая, что семьдесят процентов сена можно взять только вручную. А всем косцам за пятьдесят, ни один парень литовки взять не смог, потому что косить не умеет. Но беда даже не в том, что не умеют, а в том, что не хотят. Молодежь все больше отвыкает от крестьянского труда. Сельскохозяйственное производство сезонное, природа переменчива, и в определенные периоды требуется сверхнапряжение. В деревне, бывает, надо трудиться в поте лица, а нынешняя молодежь порой боится этого.

— Да, только вины их в этом нет. — Неля смотрела на меня добрыми глазами. — Жизнь сейчас такая, что молодому все легко дается. В СПТУ учится, а стипендию получает почти в две трети зарплаты врача. Всюду объявления — на работу приглашают, зовут учиться. И молодому человеку представляется, что городские блага — это как бы уже его блага. Стоит только захотеть. И зачем ему тогда литовка, и правило, и топор, зачем в шесть утра подниматься? Что, не так говорю?

— Да нет. Мужа вашего вспомнил. Какими идеями он живет?

— Я его в город звала, а он мне ответил: «Я бы посчитал себя предателем по отношению к родителям, которые всю жизнь на этой земле трудились, если бы в город уехал». Ну, сказал еще, что профессия сельского механизатора самая благородная. «Я здесь родился и здесь жить должен» — вот так он мне говорил тогда. — Она улыбнулась невесело. — А теперь вот из меня «объект для подражания» делают. Каждый год на встречу с выпускниками хожу. Меня превозносят и Костю. А нам... уже ходить не хочется. Мне школьники сказали: вы красиво говорите, а мы хотим красиво жить. Корову они не хотят держать, свиней тоже. Подавай все в магазинах. Как тут, правда, жить? Мы-то вот ради детей держим корову. Приходится корма добывать. Встаем в шесть часов. А молодому это надо? Вот если бы действительно продавали колхозникам мясо да молоко...

— Но ведь луга зарастать будут, — возразил я, — если косить не будут! Самый верный путь огороживания деревенского человека, который у вас же прост вызывает... А что значит красиво жить?

— Красиво жить? — Она остановилась и вдруг выпалила: — Красиво работать! Прежде всего. А мы только говорим. Вот сейчас увидите.

На вершине холма на зеленой пустой луговине стояла белостенная коровья хоромина. Внутри просторно, сухо и чисто. И о людях и о коровах подумано. Но гулково внутри. Коровы занимают только первый ряд, да и то не весь.

Зафыркал в том краю трактор с тележкой. Я удивился: а где же кормораздатчик? Трактор продвинулся и остановился. Мужчина, орудуя вилами, сбросил в проход порцию зеленки, и трактор пошел дальше. Доярки наполняли зеленой корзины — «напузницы» — каждая из своей кучки и волокли вдоль кормушек. Оглянулся — где-то Неля за спиной.

— Тут у нас комплекс должен быть на четыреста коров. Мы попросили пока ввести одно крыло на двести мест, но все равно только половина занята. Пока доить некому. Да и кормить пока нечем, мелиорация запаздывает с вводом кормовых угодий.

Я подошел к дояркам. Молоденькая только одна, остальным под пятьдесят и под шестьдесят. Доят, оказалось, только по двадцать коров, а загрузка велика: сами привязывают и отвязывают коров, раздают корма, косят вручную и подвозят зеленку, носят молоко, потому что молокопровода нет. Я диву давался. Помещение-то под новую технику — с мобильным раздатчиком и молокопроводом, а вот тебе — старинушка. В Сибири, в Омской области, к примеру, коровники-то точно такие — сама коробка, — а начинка совсем другая. Новая технология, облегчив труд, требует от доярки не только расторопности, но и подвижности ума, и уже это само является привлекательным для молодежи.

— Вы перейдите с трехкратной дойки на двухразовую... уже легче будет.

— Нельзя, молочко упадет.

— Не упадет! Омская область почти вся два раза доит. Тоже боялись, а не упало — пятилетку выполнили. Установите молокопровод, мобильный раздатчик пустить надо. Только за счет этого нагрузку можно будет увеличить до тридцати трех коров. Освободите доярку от тех работ, которые скотник выполнять должен...

Мне легко было говорить: новая технологическая линия, новая организация труда, позволяющие одной доярке обслуживать 100 коров, имея при этом 200—240 рублей заработка при двух выходных и семичасовом рабочем дне, рождались на моих глазах.

— Можно еще сто коров поставить, а два человека свободных останется. Вот вам и подменные, и отпуска, и выходные. Все, как говорится, в ваших руках.

— Ну да, в наших, — простодушно возразила Неля, — молокопровод чтобы обслужить, толкового мужика нету, надо механизатора от хлеба отрывать. А мобильный раздатчик в Калининской области днем с фонарем не сыщете.

В тоненьком голоске послышались нотки нытья. Я приглядывался к славяночке: что это за тон? Распространен, что ли, он здесь? Ребята же после школы остаются, имея специальность тракториста, значит, можно какие-то передвижки сделать.

— К школьникам идти, так надо с чем-то, — продолжала она с вызовом. — Вот если бы их сами условия труда звали. А то... Я себя вроде в пример ставлю, а они мне говорят: ваше время другое было.

— Ну правильно! — воскликнул я. — Лучший пропагандист — сама ферма.

Я видел в колхозах Сибири, как школьники просятся на ферму, где доярки в белых халатах по сто коров доят, просятся, а их не берут, велют сначала профтехучилище окончить. Я видел, как ради того, чтобы какую-нибудь Катю или Машу привлечь на ферму, строились новые коровники, вот как этот, в котором мы стоим, как насыщались они техникой, как удлинялись и надстраивались старые, чтобы и в них начался новый ритм работы. И вот за каких-то три-четыре года возникли крупные очаги новой животноводческой культуры. Я сказал дояркам, что этот путь предстоит пройти и Нечерноземью и что их забота — чтобы быстрее он был пройден.

Слушали меня внимательно, с любопытством, но и с приглядкой. Уходил я, а так и не знал, поверили ли, что есть хозяйства, где одна доярка со ста коровами управляется.

— Парни у нас почему остаются,— говорила Неля, когда мы спускались вниз к деревне,— для них есть хорошая профессия — механизатор. А дояркам у нас почет только по праздникам. Каждая чуть не тонну кормов на себе каждый день перетаскивает. В общем, ситуация такая: невеста в городе, а жених в деревне. Кончается тем, что парни в город жениться уезжают. У нас есть колхозы, где на одну девушку пять-шесть парней приходится, а некоторым женихам уже за тридцать.

— Но давайте углубимся,— подхватил я,— парни после школы остаются, потому что для них есть профессия, соответствующая мужскому достоинству. Отсюда видно, сколь важно поднять престиж профессии доярки. Но, по-моему, вопрос шире стоит — о престижности женского труда в деревне вообще.

— Ну-ну-ну, ну-ну-ну,— кивала согласно Неля,— правильно, правильно. В колхозе «Мир» — когда-то я была там на экскурсии — половина машин в руках женщин. Там проблема невест решена.

Неля глянула взволнованно.

— Почему же не подхватывают этот пример?

— Да, положение-то, в общем, странное. Получается, что проблема доярки — это проблема эффективного использования комплексов, проблема финансов, проблема закрепления механизаторов, все это наверняка понимают, да что-то дело с места никак не стронется.

Перед вечером я познакомился с директором школы Марией Севастьяновной Николаевой. В свои пятьдесят лет эта черноволосая энергичная женщина была сдержанна, степенна, но в ней угадывался человек, не дающий себе покоя размышлениями.

Мария Севастьяновна в отпуске, ходила по малину и вернулась только-только. Попили мы с ней чаю и с разговорами отправились в школу. На площади лежали угрюмые тени холмов. В старой роще, протянувшейся по склону, усаживались на ночлег вороны. Меж деревьев стояла предзакатная багряная умиротворенность. Чистая мелкая травка — как в парке, бархатистый тихий шелест птиц в ветвях. Наши голоса словно висят в воздухе.

Мария Севастьяновна разговаривала чуть-чуть запальчиво и дома и сейчас, и в этом чувствовалась ревнивая гордость успехами школы. Нет-нет да и проскальзывали обкатанные фразы. Ну что ж, это объяснимо: она из тех, кого постоянно расспрашивают. Недавно на совещании директоров школ Российской Федерации Мария Севастьяновна выступала с рефератом. Ей было что сказать. Высокая успеваемость, ранний профессионализм, мелиоративные отряды школьников, десятки гектаров земли, освобожденной от кустарников, университет отцов, литературно-краеведческий музей с тысячами экспонатов, рекордные урожаи кукурузы и т. д. и т. п.

Двадцать восемь лет отдала она любимому делу, оттого и говорит сейчас — как о жизни своей рассказывает. И о радостях и о бедах, огорчениях.

Ч-га, ч-га — раздалось над деревьями звонко — ч-га, ч-га; и тут же пришел издали звук церковного колокола. Взгляд мой медленно скользнул по лицу Марии Севастьяновны. На нем лежала тень грусти.

— Скажите,— спросила она,— вы могли бы не поднять головы, услышав крики журавлей?

— Это, наверное, ни для кого невозможно.

— А я назову учеников, для которых это возможно.

Ее, как говорится, прорвало.

— Понимаете ли, сейчас дети очень рано овладевают современной мудростью жизни. А она заключается в том, чтобы быть поближе к благам. Большинство людей добывается этих благ честным трудом, я ничего не говорю. Но погоня есть погоня. Она делает иной раз человека односторонним, узким, добытчиком, в общем-то. А для таких людей голые ноги, подсиненные глаза не просто мода, а способ утверждения в жизни. Попробуйте совместите мини-юбки с вилами и подойником. Их не совместишь и с комплексом, где доярка называется оператором. Я вам даже так скажу: когда мы говорим о миграции, о том, кто уез-

жает в город, а кто остается, то речь идет о типе человека. Что бы мы ни внушали, а родители, большинство по крайней мере, все равно готовят детей для городской жизни. Я вот присматривалась: кто остается? Их можно разделить на три группы: кто не может в городе устроиться, вторые — кто с детства воспитывается родителями в любви и принадлежности к деревне. Есть семьи, чаще всего семьи старых коммунистов, где родители с ранних лет приучают детей к мысли о необходимости остаться в деревне, приучают к крестьянскому труду, мальчик возле отцовской шоферской баранки растет, девочка стойлом не гнушается, помогает матери за скотиной ухаживать. И третьи — те, которые любят природу. Есть парни, для которых видеть лес, бродить в нем — самое большое удовольствие. Вы присмотритесь к таким... Но, знаете ли, они буквально окружены атмосферой повального преклонения перед городским образом жизни. Их в семье готовят для города, они слышат постоянные разговоры товарищей о том, кто куда поедет. У нас университет отцов работает седьмой год. Такая тема была: «Роль семьи в развитии познавательной способности учеников»... Но вот до таких связей «природа — характер — обязанности» мы как-то не дошли.

Школа — просторное здание, окруженное цветами, — стояла на вершине холма. Я с интересом осматривал экспонаты музея, собранные школьниками, стоял перед фото- и изовыставками, рассказывавшими об успехах и победах школы, и думал о том, что именно в союзе школы и семьи, пожалуй, явственнее всего закладывается будущее колхоза. Достаточно ли хорошо понимают это в семьях, в правлении?..

### 3

Предлагая поездку в Никольское, Геннадий Семенович успел сказать только (перед бюро), что тамошний колхоз «Первое мая» с точки зрения проблем Нечерноземья, пожалуй, самый типичный в районе и что полное название села — Никольское-Черенчицы, бывшее родовое имение архитектора Львова, того самого, автора Гатчинского приората и дома Державиных в Петербурге, выдающегося архитектора и к тому же поэта, горного инженера, изобретателя, человека, по мнению Державина, отличавшегося «во всем тонким и возвышенным вкусом». Да, Никольское-Черенчицы не случайно считается одной из красивейших усадеб XVIII века.

По приезде не торопясь (был обеденный перерыв) обошел я часть села. Сохранился флигель, великолепный родовой мавзолей-усыпальница. На хозяйственном дворе колхоза разместились кирпичное просторное здание ремонтной мастерской, такой же гараж, зерновой ток с двумя поточными линиями, льносушилка и еще какие-то пристройки. Председатель колхоза, очевидно, человек основательный, потому что, не пользуясь кредитами, на доходы колхоза построил семь километров дорог, школу-интернат, провел в село водопровод с колонками, газифицировал дома и службы.

Но я проникся к этому человеку уважением еще и по другой причине. Возле Дома культуры, высокого двухэтажного здания, так, в сторонке, чуть пониже, увидел я одно место, лишившее меня слов.

Представьте серпообразно изогнутую чистую площадку, за которой — плотная неподвижная стена вековых, в полтора охвата, темнокожих деревьев, а под ними многометровые, почти под самую крону, чугунного отлива фигуры воина и женщины. В левой полусогнутой руке воина автомат, в правой, слегка опущенной и выступающей вперед, — окружье венка. Женщина стоит чуть отступя. Рука ее почти касается венка, но не лежит на нем, и в этом символ — женщина как бы осеняет мир, благословляя «мужа сильна» на подвиг, на победу. Скорбь и боль, тяжесть утрат и предчувствие грядущей победы в их фигурах и лицах. Я немой стоял, забыв о времени, подошел потом к стеле и прочитал фамилии людей, отдавших жизнь за победу. Их было девяносто восемь.

Оглянувшись, увидел на тропинке приземистого полноватого человека с густой насечкой морщин под глазами. Это и был председатель колхоза Нилов. Познакомился. По образованию он инженер, но вот пятый год председательствует.

Почти все капитальные постройки ставлены при нем. Это так. И без кредитов. Хозяйство устойчиво прибыльное. Бригады все на хозрасчете. Говорит мягко, движения плавные.

— Вас на квартиру надо устроить.

— Успеется,— говорю я.— Давайте лучше по хозяйству проедем.

Отправляемся. Долины и холмы, пылящие комбайнами или обжитые, с малой деревушкой какой-нибудь. Возле каждой льняное поле чуть ли не в огородах упирается. Льномолотилка, обычно и люди рядом. Вот тут работают старухи, пареня с девушкой и молодые женщины. Все, кроме старух, оказались гостями из города, приехали к родителям и вышли в поле — на льне можно хорошо заработать. Николай Петрович их всех называет по именам, они, догадываюсь я, недавние колхозники.

У следующей деревушки такая же картина.

— Мы на этих старухах держимся,— сказал Николай Петрович,— возле каждой деревни льняное поле, бабкам удобно, они выходят как на огород.

— Но на этих клочках технике, поди, тесно. Переселяйте малые деревни в большие.

— Часть уже переселили, которые согласие дали. А остальные уперлись. Тут ведь могилы ихних отцов, с этим считаться приходится.

Еще деревушка. К плетневому забору приткнулся трактор.

— Ночуют вот по своим деревням,— объяснил Николай Петрович.— А тут тракторист заболел.

— Но позвольте, Николай Петрович,— возразил я.— Машина возле деревни — бесконтрольность, левые заработки.

— А что сделаешь? Молодые-то с удовольствием бы переселились в центр, так квартир нет.

— Как же вы техникой-то распорядитесь?

— Они съезжаются каждый день на центральную усадьбу, я даю наряд, они разъезжаются по работам, а оттуда прямо домой. Вечером объезду все, а утром с готовой обстановкой прихожу на наряд.

Останавливаясь возле людей, Николай Петрович долго разговаривал, мягко, но деловито, чуть посапывая. Ему отвечали также в тон.

Еще деревушка. Опять льномолотилка, старушки и гости. И опять председатель лопотал возле них.

Мы не заметили, когда небо затянуло и перед стеклами машины внезапно появилась реденькая занавесь дождя. В полях и особенно меж холмов сумрачно. На задах какой-то безлюдной деревеньки с пустыми пугающими глазницами окон стоял льнокомбайн. Поле малое, сказать так, придомное, лестнички льняных рядков все на глазах, и как-то по-особому обнаженно чувствовалась привязанность производства к избе: все выехали из деревни и именно поэтому сюда пришел комбайн.

У комбайна вязальный аппарат, но он почему-то расстилал лен.

— А что не вяжете? — обратился я к комбайнеру.

— Сейчас в стране около пятисот комбайнов с вязальными аппаратами,— поспешил объяснить Николай Петрович,— и четыреста пятьдесят работают на расстил!

— Капризная штука,— громко сказал комбайнер.

— Но пятьдесят-то все же вяжут,— возразил я.— Техника новая, а используется у вас на старый лад.

— Техники понакупали, а крутимся на клочках. Было бы для чего с вязальным аппаратом мучиться.— И продолжал негромко, без интереса, как о надоевшем: — С аппаратом я три гектара уберу, без аппарата семь, а расценка почти одинаковая. Уж коли знают, что после комбайна с вязкой потом в десять раз меньше будет, так продумали бы все. На ручной работе как чуть потуже с уборкой, так давай расценки набавлять...

— А почему не укрупняете поля?

Глаза Николая Петровича как бы застыли на секунду.

— Да у нас тринадцать севооборотов. Надо все ломать.

— Ну так ломайте.

— А как? Со старухами порвешь, а техника не отработана. И вопросы разные, что вокруг, не утрясены. Да севообороты. Если отсюда лен убрать, объединить со льном соседней деревни, то из этой деревни старухи с гостями туда работать не пойдут. Тут они как на огород ходят. Это свое...

Ах вот оно в чем дело, вот чем он повязан.

Перед вечером Николай Петрович разыскал меня и повез устраивать на квартиру.

Возле дома с синими ставнями стоит «Москвич». Молодой мужчина, женщина и мальчик грузят в багажник тяжелые ведра, туго завязанные полотенцами, очевидно с вареньем. Появилась на крыльчке пожилая улыбчивая круглолицая женщина.

— Ну можно пожить, почему нельзя! Свои у нас, из города, да вот уезжают.

— И покормить найдется чем гостя?

— Прокормим, — в окошко выглянул мужчина пенсионного возраста, — Москва близко!

Смысл этих слов я понял позже, за обеденным столом. Все три дня, что я жил в этом доме, основу моего меню составляли мясные консервы, привезенные из Москвы.

В гостях у них были сын с женой и внуком из Ленинграда. Молодые были деловиты. Прощались — никто не плакал: приезжали в году раза три, своя машина, все очень просто.

Деньги на машину, как выяснилось, скопили родители.

— У нас-то невеликие деньги. — говорила хозяйка, — муж мой не механизатор, а так, на подхвате. Я пекаркой была. А вот Владимир Новоселов, он на тракторе работал, так он всем четверым по машине купил. Зарабатывал хорошо да скотину держал.

Называет еще с десяток фамилий. Внезапно появился Николай Петрович — зашел перед отъездом домой, в Торжок, проведать меня. Услышав, о чем мы толкуем, присел на табуретку.

— Что ж, значит, деревня людей не обижает, богатеть можно, — сказал я.

— Особенно если скотину держишь, — отозвался хозяин. — Да вот молодые не хотят, старики в основном богатют.

Николай Петрович вспомнил, что когда-то по сельсовету на 400 дворов колхозников было более 500 коров, а теперь только 137.

— Наверное, корма труднее стало заготавливать, — предположил я.

Николай Петрович замотал головой:

— Нет, нет. Те корма, которые для пятисот голов заготавливались, колхоз ведь их не берет, они в лесах, в кустах, на косогорах, их только врукопашную можно взять. Это все пропадает! При общем дефиците кормов.

— Не потому что труднее стало, — возвышает голос хозяин, — а... пошел в деревне народ другого сословия.

— Какого же?

— Расположенный к куплеву... У нас каждую субботу колхозная машина в Москву за продуктами снаряжается... Колбасу, мясо, консервы везут.

Чем это вызвано? Начинаем сообща разбираться. Николай Петрович говорит, что он внимательно следит за литературой о Нечерноземье, написано много дельного, но что касается отношения молодого поколения к личному хозяйству, то тут в самой постановке вопроса, на его взгляд, допущены просчеты.

— Некоторые писатели и журналисты клонят к тому, чтобы усиленно свертывать личное хозяйство, и в сенсационном тоне пишут о колхозах и совхозах, которые продают своим мясо и молоко. Ленинградские колхозы, совхозы восхваляют, причем завязали в один узел проблему жилья, быта и домашнего хозяйства и таких перспектив понабросали, что... В каком-то совхозе построили деревню из небоскребов — взхлеб ее расписывают: супергородские удобства, председатель утонул в заявлениях с просьбами принять на работу. Ваш брат-писатель воспекает

такую жизнь: раньше-де поросенка держали не из необходимости, а просто от дурной привычки, и этот поросенок, скотина безрогая, намертво привязывал к дому, ни сходить, ни съездить никуда. — Николай Петрович поднялся, очевидно от волнения. — Чушь какая! Будто те, кто ведет хозяйство, и в гости не ездят и в кино не ходят. И еще такая мысль вашим братом подкидывается порой: сейчас, мол, комплексы, механизация-автоматизация, и если оператор, повелевающий в служебное время умной техникой, не будет иметь возможности вернуться после работы в комфортабельную, благоустроенную квартиру городского типа или хотя бы перспективы такой не имеет, то вроде бы и не ждите, что он согласится жить в деревне. Заметьте, комфортабельную! Ну, сказал бы — удобную для сельского жителя. А через несколько строчек открытие: у бывшего крестьянина, живущего сейчас в многоэтажном доме, не наблюдается даже вздохов о парном молочке и огурчиках с грядки. Далее вывод: жизнь требует деревню многоэтажную, деревню каменную, деревню-город. — Николай Петрович прошелся по комнате с руками в карманах, взъерошенный, переполненный энергией сокрушителя. — Да разве в этом разговор. Я когда читал, то все хотел уловить, куда симпатии автора клонятся, и чувствовал — он открытие сделал и вот надо с миром поделиться: родился новый тип человека — образованного, постигшего начала квантовой физики, которому заниматься ручным трудом будет в тягость!

— Ну, это ведь в известной мере так и есть, — возразил я. — Ведь парню, который окончил десять классов, ему уж как-то не того... вилами навоз ворочать.

— Ну, отчасти так. Но взгляните на дело с другой стороны. Не забывайте, что в общем балансе молока и мяса на личные хозяйства в Российской Федерации приходится до тридцати процентов. А ну сбрось это со счета, тогда на прилавках мяса не будет. У меня кое-какие цифры в памяти. В сороковом году в нашей области в частном пользовании было двести сорок тысяч коров, а сейчас девяносто восемь тысяч. Только эти цифры почему-то забывают, а подчеркивают другие — что закуп мяса у населения за эти годы вырос в три раза: было семь тысяч тонн, а теперь двадцать три тысячи тонн. Вроде бы здорово, только я вам вот сейчас один фокус открою. — Он подошел к хозяину. — Ты, Иван Павлович, что держал?

— Корову, нетель, свинью, овечку.

— А сейчас?

— Да овечек пару-тройку.

— Ну вот. Раньше тебе мяса вот так хватало, государству сдавал, а скажи, во что ты овечек сейчас превращаешь?

Иван Павлович ухмыльнулся:

— Дак не секрет... В прошлом годе сдал на девяносто четыре рубля живым несом и купил сто банок консервов... Государство у нас богатое, сдашь с костями и рогами по два рубля кило и по той же цене одну мякоть купишь... У нас каждую субботу, говорю же, машина в Москву за продуктами снаряжается... Эка срамота! — воскликнул Иван Павлович. — Юрка Новоселов, вот тут недалеко живет, тракторист... Отец его по три-четыре поросенка держал, а у этого курицы в дому нет. Мы, говорит, зарабатываем. А мясо в банках с Москвы возят. Ну, сено косить лень, так поросенка держи.

— Охо-хо, — вступает в разговор хозяйка. — Мы сейчас промеж собой смеемся... В Москву везем мясо товарными вагонами, а увозим пассажирскими.

— Вот, а иные «теоретики» свое гнут, — подхватывает Николай Петрович, — ничего, мол, не сделаешь, смена поколений, образовательный уровень поднялся, заработок вырос, а значит, и требования к жизни. А мы формируем эти требования?

— Вот именно! — восклицаю я. — Если бы иные толкователи и рецепторы пожили побольше в деревне, заметили бы, что есть молодые семьи, где муж и жена тоже слышаны о квантовой физике, поскольку десять классов кончили, но работают трактористами, доярками и учатся заочно, успевают и находят время в кино сходить и корову держат, потому что они люди хорошо организованные.

— А про ленинградские высокие деревни-города я вам так скажу...

— Но ведь они, Николай Петрович,— перебиваю я,— они ведь завтрашний день деревни. Это эксперимент.

— Я понимаю, что эксперимент, но зачем за колхозников говорить, что будто они живут припеваючи без домашнего хозяйства, когда на самом-то деле многие из них в Ленинград за мясом ездят? Тенденция не вызывает сомнений, путь один — развивать общественное хозяйство так, чтобы оно в перспективе перекрыло то, что мы сейчас «добираем» от хозяйства личного. Но если бы дело было только в тенденции, тогда зачем огород городить! Ведь мы и так знаем, что тенденция наша — промышленное переустройство деревни. Главное-то, что сейчас делать, когда надо стране давать больше мяса.

Я с интересом слушал Николая Петровича. Он прекрасно понимал, что жизненно важный лозунг стирания граней между городом и деревней никак не посягает на природу как таковую и, следовательно, многие особенности сельскохозяйственного бытия, связанные с близостью к природе, должны сохраняться. Что лозунг этот не имеет ничего общего с установлением некоего единого стандарта для городской и сельской жизни.

Я видел в Сибири нечто другое и стал рассказывать Николаю Петровичу о большом поселке в степи, прирощем тремя или пятью деревнями. Видел великое переселение домов, когда они перевозились целехоньки (только печка убрана) по зимним дорогам на тракторных санях. И еще я видел поселки кирпичные, дома все с узорчиками, штaketничек резной. И вот в таком селище — многоликое человеческое сельское общество, среда, то самое, в чем сейчас особенно нуждается деревенский молодой человек. Там фермы с новым ритмом, оставляющим доярке много свободного времени. Я могу назвать, говорил я, два-три десятка сел, где жизнь соответствует запросам молодежи, хотя ни одного высотного дома там нет. Молодые семьи живут в своих или казенных одноэтажных домах, держат коров и свиней, гусей, сажают огороды, в нахлебниках у государства не состоят.

Я говорил о сибирских колхозах, потому что знаю их хорошо, хотя представляю, что за примерами можно было так далеко не отправляться — их вдосталь и поблизости.

Вспомнил учительницу Марию Севастьяновну и добавил, что очень важно определить, какие задачи ставить, когда речь идет о воспитании молодого человека. Беда не только в том, что можно потерять тысячи и тысячи тонн молока и мяса, но еще и в том, что будет расти на деревне человек, которому страшен деревенский труд с его летним потом и сезонностью. Увлечение же многоэтажными домами, городским образом жизни для тверской деревни, где добрую треть кормов можно взять только вручную, особенно опасно.

— Вот правильно,— подхватил Николай Петрович.— Вы побольше пишите о тех, которые поднимаются по-крестьянски раненю, работают примерно, деревенской страды не чураются, находят время учиться и детей к крестьянской жизни приучают.

Мир этого человека казался мне не до конца понятным: умница, правильно все оценивает, а... в мелочах увяз, медленно, очень медленно действует, деревни не селяет, словно повязан какой-то силой.

Перед окнами остановился «газик». Николаю Петровичу надо было уезжать. Договорились, что утром я приду на наряд.

С вечера поднялся туман. Утром в пять, когда я вышел, кто-то разговаривал на пустыре в белой вате за дорогой, наверное пастухи! Пошел доспать. Проснулся в восемь. Опоздал на наряд! К мастерской подошел к половине девятого. Возле обогретой солнцем стены сидели на корточках шоферы и трактористы, а на дороге стояли их машины. Ниллов появился около девяти. Оказалось, что в одной бригаде поссорились вчера пастухи, один не захотел подменить другого, расшумелись, и овец никто не погнал пасти. Бригадир хотел примирить пастухов, но его сил оказалось мало. Сегодня утром он вышел на тракт, чтобы перехватить председателя, и Николаю Петровичу пришлось самому разбираться с пастухами, а техника в это время бездействовала.

Стало мне понятно, что Николай Петрович — раб уклада, который должно



сломать как можно быстрее. Я представил его рабочий день, как он, всегда готовый к излияниям добрых чувств, с лицом озабоченным крутится в многочисленных малых своих бригадах, разделенных холмами, лесами и болотами. Такая работа притупляет, одуряет прежде всего даже самых честных, потому что они сильнее погружаются в стихию многочисленных связей.

— Вечером в постель бухнешься, — говорил, шагая рядом со мной, Николай Петрович, — а в голове: это достал, это достал, там побывал, с этим говорил, с этим не успел, вот там, черт его бери. забыл побывать, за этим завтра в Торжок надо, с утра бы лучше, да наряд. — Он глянул с выражением полного доверия. — Колгота колгот наше Нечерноземье.

Колгота колгот. Да, стиль, методы руководства в этих местах тоже складывались в известной мере под влиянием местности. Разбросанность, раздробленность, отсутствие надежной связи — и вот выдвигается на первое место влияние одной личности, значение первого лица, которое должно при встречах в каждом как можно больше «оставить себя». Крепко еще держится здесь в хозяйствах интуитивно-волевой стиль руководства с прямыми контактами, в других местах уже сходящий со сцены, с непосредственным — глаза в глаза — волеизъявлением, съедающий массу времени. Из-за разобщенности, при множестве субъектов, с которыми должно вступать в контакты Николаю Петровичу, он выматывается совершенно, он, можно сказать, обезглавлен наполовину, потому что мозги его забиты «мелочью». Глаза же его словно плавают, согретые теплым чувством, на губах неизменное выражение приязни — что ж, выход его только в расточительности сердечных богатств.

Как же помочь ему? Путь один — селиться, укрупняться, вводить новые методы руководства. Я рисую мысленно николевские владения. В центре прекрасная усадьба, рядом — в полукилометре в ту и другую сторону — еще две деревни, а дальше в окружности двадцати километров еще двенадцать. Каждая со своим севооборотом. Оставить бы только три центральные деревни, объединив в одну, севообороты все сломать. Сейчас вокруг Никольского хлеба в основном. А должны бы здесь быть кормовые культуры, потому что тут где-то сосредоточится весь скот, чтобы людям на работу было близко. А там, где дальние деревни, где сейчас и пшеница, и лен, и картофель, свекла, клевер, ячмень, — там бы выращивать преимущественно зерно, сено и пасти молодняк. И люди выезжали бы туда на работу, а к вечеру возвращались. Да ввести бы цеховую структуру управления, да диспетчерскую службу еще! И не нужны были бы тогда ежедневные наряды под руководством председателя, отнимающие у всех столько времени, их заменил бы диспетчерский наряд. Все руководство текущими делами взяла бы на себя диспетчерская, и тогда ум и энергия председателя высвободились бы из плена мелочных забот, обратились на решение перспективных задач.

Николай Петрович смотрит на меня воспаленными от недосыпания глазами, чуть помаргивает, выражая согласие, говорит, что собирался побывать в хозяйствах, где все эти проблемы решены. И вдруг на мой вопрос, что же мешает ему это сделать, чуть прикрывает глаза.

— Недосуг, как говорится. Вот такая жизнь. Ай-яй-яй! Ну, что-нибудь будем делать. В МИСе у нас так же, как вы нарисовали. Так на то они и показательные... Я опять на вашего брата вам буду жаловаться, вот все выходы нам подсказываете. Как статьи про Нечерноземье пишутся? Сначала трудности и болячки вываливаются, потом берется образцовое хозяйство — единый центр, цеховая структура, диспетчерская служба, асфальт, молодежи полно — и предлагается нам, недотепам, рецепт: делай, как он. Да ведь не по волшебству создается такой очаг! У нас есть такой колхоз «Мир», так на него весь район работал, а на МИС — вся область. Они были одни, а нас много, запросы на строительство многократно увеличились вмиг, а строительную базу одномоментно не расширишь. И еще беда: отстают жилье от промышленного строительства. Построим комплекс, а работать некому. Потом дом строим. Нам переселять людей некуда — в центре квартир нет.

— Что же мешает вам делать наоборот?

— Деньги в такой пропорции отпускаются. И в такой последовательности.

— Ну установите свою последовательность. Стройте хозспособом жилье с опережением.

Он поцарапал пальцем в затылке и плавно положил руку на макушку:

— Вот он где, хозспособ! Я строил три года, нажил лысину и инфаркт. Не обеспечивается же хозспособ материалами, выдирать из глотки все надо! Больше не хочу.

Он достал платок, промокнул лоб, нос, подошел к столу. С детским доверчивым взглядом сообщает мне о крахе надежд, а на счету у него полтора миллиона. Поцарапывает в затылке. С сожалением расстаюсь с этим симпатичным человеком и записываю в блокнот: «Докопаться до причин инертности Нилова. Строил, строил хозспособом, энергию выдавал — и вдруг... Он что — выпрыгнул на пороге? Катился, катился катышом, двигая дело, пускал в ход обаяние обстоятельного, со славянской простодушной хитрецей человека, обаяние влажных, доверчиво смотрящих в душу глаз. Что это? Он что, не способен к решительным действиям, к напору, к быстрой ломке, к работе по науке? Или, быть может, это психология здешних мест? Может быть, существует региональная консервативность? Что это, право, за хозяин, который в кубышке полтора миллиона держит?»

#### 4

Я пришел в горном, чтобы поделиться с Кобылиным впечатлениями о поездке в Никольское. Серо-голубые глаза Геннадия Семеновича поблескивают оживленно. Такое состояние его объяснилось, как только он заговорил об уборке. Средний намолот таков, что район, несмотря на засушливый год, не только выполнит, но и перевыполнит план продажи зерна. Урожай кормовых тоже неплохой. Из области запрашивали, сколько сможет район выделить зерна для сверхплановой продажи.

— Вот что значит наша влага! — говорил он чуть возбужденно.

Заговорили о Нилъеве, о психологии хозяйственного руководителя в Нечерноземье. Геннадий Семенович посоветовал мне не спешить с размышлениями на эту тему, рекомендовал побывать еще кое-где. И назвал колхоз «Победа».

Поперек крылечка с простенькими балясинами лежит недописанная «молния», а рядом девочка лет двух, в руках у нее пузырек с водой и кисточка.

Я только что сошел с рейсового автобуса возле конторы колхоза «Победа» и осматриваюсь. На голом месте, образуя площадь, стоят друг против друга сборного типа двухэтажник и магазин с современной навязчивой прямизной в формах и обилием стекла. Рядом джунгли бурьяна.

Вошел в контору. В большой комнате, где считали на счетах и крутили арифмометры молодые женщины, на столах меж графинами с водой и чернильницами играли дети в куклы.

— Ой, девочки, хлеба нет, чем студентов кормить будем? — пропела высокая, худая.

— Вон Василий Васильевич приехал, иди, — указала вторая за окно.

— Студентики уедут, завтра приедут солдатики.

— Вот так. Своих в поле пять, приезжих тридцать пять.

Вышел на улицу. В бурьяне взревел мотор, что-то затрещало и заскрипело, взорвалась тишина, хлопнула дверца остановившейся за штaketником легковушки. Из машины вылез человек в сером пиджаке, ширококостный, с румянцем на щеках, стремительно двинулся по дорожке, перешагнув «молнию», коснулся на ходу рукой головки девочки и вошел в контору. Это был председатель колхоза Василий Васильевич Березин. Пока я представлялся в маленьком кабинетике, он сдержанно постукивал мундштуком папиросы о крышку портсигара, не дослушав перебил:

— Единственное, что я сейчас могу для вас сделать — по селу провести, показать кое-что. Через час надо в Торжке быть, цемент и гвозди выбивать еду.

— Ну так и я с вами в Торжок.

Он энергично щелкнул портсигаром. Это было сигналом подъема.

— У вас что, яслей нет? — спрашивал я, попевая за ним по коридору. — Детей много. Честно сказать, знаете ли, очень приятно видеть в вашей области в деревне столько детей и молодых мам.

— Ясель нет. И клуба нет. Еще только строятся. Я здесь четвертый год, когда пришел, так на счетах ноль-ноль копеек было. А мамы есть. Это верно. Много мам.

Он говорил без улыбки, но манерно, будто с вызовом кому-то.

Мимо конторы по гравийной дороге, швыряя гальками, проскакивали грузовики. Бульдозер теперь уже по-хозяйски ворочался в бурьянах. Мы ехали длинной улице, на которой попадались странные домики — бревна старые, означенные временной серостью, а конопатка свежая, недавно перекатанные, очевидно, но без занавесок, пустоглазые, еще не заселенные.

— Покупаем где придется, перевозим и ставим про запас, — объяснил Василий Васильевич.

— Что значит про запас?

— Ну, чтобы три-четыре дома стояли наготове.

— Ждете кого-то, что ли?

— Подъедут! Вон тот двухэтажник возле конторы приезжими заселен. Я когда принял колхоз, было двадцать два тракториста и сорок тракторов, а сейчас сравнялось... Теперь на вторую смену надо добывать людей.

Я удивлялся. Клуба нет, ясель нет, а народ прибывает.

— У нас свой БАМ.

Я глядел на него требовательно, прося объяснений. Василий Васильевич остановил машину, открыл дверцу.

— Вот послушайте.

По деревне в разных местах стучали топоры, где-то близко кряхтел кран, доносилось издали надсадное завывание бульдозера.

— БАМ — по атмосфере, что ли?

— У каждого должен быть свой БАМ. В душе. Слышите, топоры стучат? Ага! Нечерноземью атмосфера БАМа нужна. — Он энергично захлопнул дверцу. — А в общем-то, довольно просто все. У нас жилье опережает производственное строительство. Двухэтажник мы построили за год до того, как был заложен коровник. И народ подъехал. А у других наоборот: построят комплекс, а жилье через год. Если вы ездили по области, то видели.

— Видел, видел. — Я достал блокнот. — У меня под руками. В Таложне семьдесят коров стоят в комплексе вместо двухсот. В Андреапольском районе в совхозе «Жуковский» в семьдесят третьем году построили коровник на двести голов. Год стоял полупустой, а жилья до сих пор нет. В совхозе «Быстрианский» коровник больше года полупустой, в Глубоком и сейчас стоят семьдесят коров вместо двухсот. В колхозе имени Ленина примерно то же.

— На жилье, на соцкультбыт вообще мало средств отпускается, — сказал Василий Васильевич, — девяносто процентов средств идет на производственное строительство, и только десять на соцкультбыт и жилье. В городе точно такое же соотношение, очевидно, на нас распространяются городские нормы. Но ведь чтобы в городе дать горячую воду в дома, достаточно подключиться к общей сети, а у нас надо в каждой деревне строить котельную. А протяженность коммуникаций! Там дома вверх иду, коммуникации короче. Другие нормы для села нужны!

— Каков же выход?

— Для кого какой. Я хозспособом строю. Своих денег не хватает, берем ссуды. В других колхозах деньги лежат на спецсчетах, а председатели жалуются, что жилье отстает, людей нет, субъектив-объектив, как говорится, крупным планом.

Вот оно что. Не зря, значит, тревожила меня банковская безоблачность торжковских колхозов.

Машина остановилась возле длинного, в строительных лесах особнячка. Рядом на траве стояла бетономешалка, белозубые красавцы армяне таскали на носилках кирпич.

— Вот детский комбинат. Строим хозспособом. — В голосе Василия Васильевича появились сердитые нотки. — Мне абсолютно непонятно, почему на селе детские учреждения нужно строить хозспособом! Прошу вас, напишите, что жилье и соцкультбыт должны опережать производственное строительство... Когда я принял колхоз, то понял, моя задача — заставить всех побыстрее крутиться, быть энергичными. Я сначала делал это элементарно — старался всех загрузить работой. Лучший метод воспитания — труд, такой, чтобы трудно было. Ну и атмосфера БАМа! Вывозили торф, навоз, закупали дома, перевозили, ставили. Кто по дрова, кто продавать, как говорится. Когда человек не под нагрузкой и у него много пустоты в рабочее время, он расхолаживается, к праздному образу жизни его потянуть может. Я начал с того, что сам ходить быстрее стал и шутить по-другому стал: не анекдот, а прибаутка, чтоб не размазывать. Приглядитесь, у нас сейчас никто вразвалочку не ходит. А потом хозспособ помог. Хозспособ всему Нечерноземью нужен, я считаю. Он научит разворачиваться. Если уж взялся, так будешь крутиться! — Он смолк, вздохнул коротко. — Нечерноземье было как бы в тени, на втором плане. Нам многого не давали, но и многого не спрашивали. Да и природа такая... как бы все немного размытое. Отсюда общий несколько ослабленный тонус, в крови медлительность и... финансовая малооборачиваемость. Это я не в обиду землякам, это естественно, из-за слабого спроса. Себя хоть прокормите — вот ведь что было... Сложнее это дело — энергичная атмосфера. Я пять лет с трибуны ратовал за красный кирпич. Куда ни позвонишь — нет фондов. Без кирпича и печь не сложишь. Вот и рыскаешь, клянчишь. Поневоле будешь ораторствовать. На четвертый год наконец добился результата, сказано было: надо заткнуть Березину горло, дать ему вагон кирпича. Это одиннадцать тысяч. А на одну печь две с половиной надо. В районе когда-то был кирпичный завод, много лет действовал, потом его уничтожили росчерком пера, стали возить по железной дороге из-за тридевять... Эти-то росчерки пера рождают безынициативных исполнителей...

— Почему уничтожили?

— От привычки пользоваться государственным. Легче. А итог — особая психология. Атмосфера должна быть такая, чтобы все работало, все кипело, а не уничтожать росчерком пера...

Помолчали.

— Я за четыре года построил хозспособом, считайте: телятник, коровник в Захожье, коровник в Силестрове, овчарник в Бажонках, два зерносклада, магазин, склад материальных ценностей, многоквартирный жилой дом, четыре двухквартирных дома, перевезли и переложили несколько десятков жилых домов. Сейчас в стадии строительства детский комбинат, ремонтная мастерская, четыре километра дорог, два общежития, столярная мастерская. Вот так! А у других деньги мертвым капиталом лежат.

— Так, значит, едет к вам народ?

— Думаю, к нам потому едут, что чувствуют перспективность. Полагаю, что человеку противоестественна вяловатая жизнь. Услышат стук топоров и тянутся. У нас пока нет клуба, ни дetsада, ни столовой хорошей, я только флаг поднял: поставил на площади двухэтажник и магазин, чтобы прорисовать будущее. Детсад строим. А народу у нас еще мало!

— Молодежь после школы остается?

Он махнул рукой:

— С теми не мучаюсь. Только стипендиатов держу сколько необходимо.

Я слушал его очень внимательно. Выстроенная мною система «все должны строить сначала жилье, потом коровники — и все в порядке» дала расселину. Если бы строили все, то Василий Васильевич оказался бы на мели, потому что он улавливает лишь определенную категорию людей, которые по образу жизни или складу характера, по воспитанию могут быть «приписаны к деревне». Глав-

ное в том, как стремящегося огорожиться деревенского парня или девушку задержать в селе. Что им надо? Их влечет БАМ настоящий? Но ведь Нечерноземье — это десятки БАМов и по социальному значению и по затратам. Может быть, не хватает ему громкости, ударности, как целине, как БАМу?

Выехали за село. Машина бежит быстро. Дорога — «щебеночная улучшенная».

— Дороги у нас ужасные были, зимой и летом таскали машины на тракторах. Разве можно так работать? Заказал проект, кредит взял. На дороги деньги не приходится жалеть. Дороги, как и жилье, должны опережать комплексы и прочее. А на деле как раз наоборот. Представьте, если бы в промышленности сначала строили домну, потом железную дорогу. В промышленности такая практика исключена, в сельском хозяйстве почему-то считается нормальной. Допустим, освоено шестьсот гектаров болот. Отсюда же пойдет хлеб по двадцать пять центнеров с гектара, солому к фермам надо вывозить. Надо возить людей на работу. Дорогу все равно придется строить, так почему сначала надо бить технику, а потом строить? — спросил, будто ждал от меня немедленного ответа. — Кто бы только знал, сколь много дороги в деревенской жизни значат! Грузов становится все больше, они тяжелеют, железобетон идет, на плохих дорогах бьются машины, ломаются грузы, доставка запаздывает. Дороги — это часть производительных сил, надо только так смотреть. Мы подошли, кажется, к очень существенному вопросу. Есть в экономике понятие «инфраструктура». «Инфра» значит лежащее в основе, нижележащее. В нашем случае это дороги, коммуникации, техническое обеспечение. Это фундамент, базис, а ему не придается должного значения.

Я опять копаюсь в блокнотах, испытывая потребность сообщить записям системе, а он продолжает:

— Теперь другое преломление: дороги — и настроение, дороги — и состояние души, плохие дороги — как одна из причин того, что молодежь покидает село. Вопрос вот так надо ставить!

Я ждал объяснений.

— Сейчас для молодого человека родная деревня — это гнездо, в котором он оперяется, набирается сил, чтобы отправиться, как он считает, в большой мир. Таково состояние душ. В массе если брать. И вот человек, живя в большом поселке, сильнее ощущает себя частицей общего мира, принадлежащим к нему. В маленькой же деревне, да еще отдаленной, в человеке поселяется чувство оторванности, отрезанности от большого мира. В наш век это гнетет. А если еще и плохие дороги, то чувство оторванности усиливается. Хорошие дороги — это свобода передвижения, надежность связей, свобода связей с театрами, с большой культурой, с родичами, с друзьями. Ко мне родственники приехали и на вокзале просидели три дня...

## 5

Еще одна встреча накоротке, в горкоме.

Меня давят впечатления, потребность обстоятельно поговорить с Геннадием Семеновичем растет. Собираюсь в Нечерноземье, примериваясь, я думал о том, что вот даются сюда большие деньги и ими нужно по-хозяйски распорядиться. Но готовы ли к большому деньгам здесь люди? Получается вроде бы, что не все готовы. Нилов вот не вполне готов. Березин вроде бы готов, но надолго ли его хватит? Сам Кобылин готов ли? Хочется определить место Геннадия Семеновича в здешней сложной обстановке, ведь к нему все сходится и от него расходится.

Та уверенность, которая чувствуется в нем, опирается на знание, позволяет ему хорошо ориентироваться в обстановке. Но ведь все, кто с ним работает, взрослые среди холмов, ручейков и речек, лесов и кустарников, в малых, раскиданных меж ними деревнях — в обстановке раздробленности, определявшей способ и существования и жизнеустройства, характерный чувством клана малой своей деревни, верой не столько в технические возможности, сколько в руки

свои. Я думал, что Геннадий Семенович не мог не испытать этого влияния. Улавливает ли он сейчас самую сокровенную суть вещей и отношений?

Вернувшись из «Победы», я позвонил ему.

Поднимаюсь по ковровым дорожкам пустого здания. Окна в кабинете Кобылина распахнуты настежь. От Тверцы тянет прохладой. Рассказываю о поездке в «Победу». Он слушает внимательно, говорит негромко:

— Всем нам тут, как говорится, внизу, давно ясно, что нужно жилье и дороги. И дело пойдет. А пока что производственное строительство действительно опережает жилищное, опережает кормовую базу. Это серьезный просчет планирующих организаций.— Он извлек из стола толстую тетрадь.— Вот данные по области. На семьдесят шестой — восьмидесятый годы план капвложений составляет шестьсот пятьдесят четыре миллиона, в том числе на производство пятьсот восемьдесят девять. Остальные шестьдесят пять миллионов — жилье, быт, культура. Только десять процентов. Для села очень мало. Березин правильно говорил, что к нам применяют городские нормы. Вот потому и стоят кое-где коровники наполнину пустые. Отстает и кормовая база. Называется комплекс, а решение некомплексное. Нужно предусмотреть опережающее строительство жилья и кормовой базы. Ведь отстает жилье — нет рабочей силы. Можно было бы строить жилье хозспособом, но...— Он аккуратно перевернул страничку.— Тоже цифры по области. Обеспечивается материалами только пятьдесят процентов запланированного по хозспособу, вернее утвержденному, а утверждается мало. На семьдесят четвертый год утверждалось семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч, фактически выполнено тринадцать тысяч. На этот год заявок от хозяйств поступило на пять миллионов триста тысяч — дали только три миллиона девятьсот. Доставка где хочешь цемент, шифер, лес. В общем-то, дело удивительное. Запросы не обеспечиваются материалами, даже план не обеспечивается, а ведь все где-то достают! Там, где материально-техническая необеспеченность, там всякие прилипали и левые силы, это тоже надо учитывать.

Внизу под окнами послышалось шуршание машины.

— Извините.— Кобылин поднялся.— Что касается особой психологии Нечерноземной зоны, типа работника с медлительностью в крови, предписанной природой... Вы верите, что есть региональная инертность?

Я молчал выжидающе.

— Березин-то тоже наш... Денег у нас на текущих счетах потому много, что работать стали лучше, разумнее. У нас все хозяйства на полном хозрасчете, есть возможность для размаха. Да только размах не от нас зависит. Материально-техническая база, службы пока что отстают от запросов. Мощности строительных, мелиоративных, дорожных организаций нужно увеличивать, наращивать как можно быстрее, а у них свои проблемы. Не хватает жилья, а значит, и людей, не хватает запчастей. По нормам для мелиораторов на область надо на год пятьсот гусеничных лент, дали двести тридцать. Дороги можно было бы за счет хозяйств строить, но у них нет соответствующей техники. Очень слабы мощности строительных организаций. — Выговорив все это на едином дыхании, он вышел из-за стола.— И под хозспособ надо материальную базу подвести. Строить за счет обаяния не каждому по плечу. Нилову уже трудно. Вот этим и объясняются медленные темпы сселения...

## 6

Путь мой лежит в хозяйство, которое, по словам Геннадия Семеновича, высокая вежа в Нечерноземье. У крыльца райкома меня ждет «Волга» директора машиноиспытательной станции — МИС.

Геннадий Семенович говорит, что там можно увидеть, как решены все те проблемы, над которыми сейчас бьется Нечерноземье.

Что ж! Если там прошли тот путь, который должно пройти все Нечерноземье, если это действительно вежи, то, значит, идея Большого Постановления зародилась давно и воплощение ее в жизнь — дело материальных возможностей государства. К Нечерноземью, наверное, нельзя было приступить раньше, чем

к целине, потому что недостаточно мощным был промышленный потенциал страны, мало удобрений.

— Вы увидите там другой мир, в известном смысле, конечно.

Вот этими несколько торжественными словами проводил меня Геннадий Семенович. Минут через сорок, когда «Волга» свернула с высокого магистрального шоссе, возле указателя «МИС» я увидел лежащие в траве рядом две дороги — узкую, как говорится, на два колеса ленту асфальта и обыкновенную грунтовку, очевидно для гусеничных машин. Шофер сказал, что без асфальта в хозяйстве просто никак нельзя, потому что «основной народ» живет в центральном поселке и ежедневно люди выезжают на работу, а к вечеру возвращаются, и понятно, что нужна полная независимость от погоды.

Асфальт почти без подстилки, словно бы лежит прямо на грунте.

С этого уже начинался «другой мир». Оказывается, узнал я от шофера, новый директор МИСа Михаил Антонович Бутко, приняв хозяйство в 1960 году, начал с устройства дорог — в первый же год проложил асфальт, «упрощенный» такой, в двенадцать раз дешевле обычного. С тех пор служит, еще не ремонтировали.

Я представил тысячи деревень Нечерноземья, отрезанных от центров из-за бездорожья, промелирированные земли, ставшие цехами по производству кормов, к которым в сезон не только что не подъехать — не подойти...

Километров через пять я увидел пятиэтажные дома с пестрой простенькой разделочкой. врубившиеся в вековой сосновый лес, нечто новое, созерцать которое из машины было бы кощунством. Я попросил шофера остановиться. Дома стояли вперемежку с высокими «пицундскими» соснами, час был предзакатный, и их могучие стройные тела мягко отливали золотом. Тени деревьев лежали на траве, на асфальтовых дорожках, на полянах с беседками и кустами орешника, ломались на стенах домов. По дорожкам молодые женщины с загорелыми лицами катали в нарядных колясках малых детей, ходили по одной и парами. Всюду играли дети постарше. Откуда-то из раскрытого окна еле слышно звучало радио.

— У нас жилая зона считается зоной отдыха, — услышал я голос шофера. — Вон директор идет...

— Да, вот так мы решили жить. — Руку мою энергично сжал несколько суховатый по выражению лица человек. Видимо, сумел он проникнуть в мои думы, уловить мое состояние взволнованности, если как-то очень деликатно, мягким, ровным голосом как бы вклинился в разговоры, что вел я до него. — Лесоград, — он даже не улыбнулся, — или хвойноград... Я изучал подобного типа застройки в Новосибирском академгородке и Зеленограде. Но у нас ведь нет зданий, сделанных по индивидуальным проектам, у нас главное оружие — фантазия, нам надо, используя стандартное, сделать нестандартное.

Секрет микрорайона, кажется, заключался в особой приближенности деревьев к стенам, дверям и окнам, к быту, к общежитию; все здесь воспринималось необычно, как-то картинно. Вон белье на веревке в сумеречной мгле густого сосняка: цветастые рубашки на фоне неба, стволов, зелени — яркие мазки, словно набросанные художником.

— Там, за бельем, лес стеной, — протянул руку Михаил Антонович, — так это не лес, а только лента. За ней частный скот содержится, сараюшки, стога сена. Молоко мы продаем рабочим без ограничения, пока с мясом трудности, нацеливаем, чтобы все держали скотину. Почти у каждой семьи не корова, так поросенок.

Из лесогграда мы отправились в старый, «коренной», как выразился Михаил Антонович, поселок, в обычную одноэтажную деревню, весело раскинувшуюся в два ряда над поймой извилистой речушки. Здесь из множества домов выделялись новенькие, недавно срубленные.

— Красиво у вас! — не удержался я от восклицания.

Михаил Антонович сдержанно улыбнулся.

— Красоты одной сейчас мало, устроенного быта мало, хорошей работы мало. Нас сейчас не волнует проблема кадров, у нас молодые семьи после пер-

вого ребенка вторым обзаводятся, народ оседает. Ребята у нас грамотные, информация у них богатейшая, многие за границей побывали, никто не стремится уезжать в город. Меня волнует другое. Духовный мир рабочего человека становится все многограннее, и вот на душе состояние такое: упускаем мы что-то все же. Стадион у нас есть, спортивные велосипеды есть, гоночные лыжи есть, побед добиваемся в областных соревнованиях, есть клуб... Есть даже гораздо больше! Сегодняшнему человеку надо быть не только работником, но и хозяином. И вот мы отдали землю группам механизаторов на несколько лет по договору. Оплата им за конечный результат с урожая. Земля для них кормилица в полном смысле слова, и они на ней хозяева. И не случайно за нами немало всесоюзных рекордов по льноводству. Я только одну цифру назову. Звено Героя Социалистического Труда Антонова подняло чистый доход с гектара льна с семьдесят одного рубля до восьмисот семи. Рентабельность производства льна у нас составляет двести сорок пять процентов. Попробуйте найдите где-нибудь еще такой показатель. У нас цеховая система. Во главе каждой отрасли стоит специалист с высшим образованием: цех растениеводства, животноводства, механизации, строительства и так далее. Рабочие подчиняются непосредственно человеку образованному, знающему, деловому. Это тоже работает на чувство хозяина. И хорошие дороги работают на это же, они предоставляют человеку ощущение независимости. И все-таки мы что-то упускаем. В деревне все должно быть на хорошем уровне. А не получается. Что за клуб без хорошего художественного руководителя? Путного человека не найдешь, потому что зарплата мизерная. Что за спорт без инструктора? А он по штату не положен. Приходится его и хударку содержать на фиктивных, более или менее прилично оплачиваемых должностях. Стадион у нас примитивный.

Машина как раз огибала зеленое футбольное поле.

— Нам нужен настоящий, с гаревыми дорожками. Но ведь слушать не хотят! За этими гоночными велосипедами — у нас же секция спортивная настоящая — куда мы только не ездили, кое-как выбили.

— Ну, возможности вашего министерства — это в какой-то мере возможности государства, — сказал я, имея в виду стадион.

— Не в этом дело! В Калинин был один стадион, заполнялся не больше чем наполовину. Зачем-то построили второй, еще больше. Теперь старый совсем пустует. Мы хотели гостиницу и чтоб там молодежное кафе было, дак три года ездил выколачивал... Я вот часто думаю: раньше — деревушка затрапезная, а какая церковь стоит! Знали бати, с чего начинать. Нам надо быстрее, смелее в масштабах государства идти на строительство в селе таких объектов, как Дома культуры, стадионы, спортивные залы. И надо же понимать, что клуб без художественного руководителя — это не клуб.

Побыв в поле и на фермах, мы вернулись в сосноград. Мне хотелось пройти по тропинкам, пробитым в траве к лесной полосе. За ней стояли поросята и коровы сарайчики, копны сена. И возле них те самые молодые мамы, которых три часа назад я видел гулявшими с колясками по асфальту.

В отличном настроении уезжал я из этого уголка Нечерноземья. Михаил Антонович провожал меня такими словами:

— Вы только не подумайте, что нам легко все дается, поскольку на нас возложена миссия пионерства. Много приходится выколачивать и пробивать. Одно дело желание областных партийных организаций иметь хозяйство-маяк, вежу, другое дело — устаревшие нормативы и взгляды. Пересматривать их надо. Государство отпускает огромные средства, так обязаны мы распоряжаться ими предельно толково.

## 7

Прощание с тверской землей было для меня мучительным: разрывались узы привязанности. В Торжке оставалось еще попрощаться с Геннадием Семеновичем. Зачем я шел к нему? Чтобы сказать о каких-то самых главных, обобщающих впечатлениях? В чем-то еще раз увериться? Рассеять какие-то сомнения?



Не подумал ли он, что я сожалею о постепенно исчезающей деревянной деревне? Нет! Стирание граней между городом и деревней — неизбежный прогрессивный процесс. Урбанизация неотвратима. В Канаде сельскохозяйственные рабочие давно живут в городах и ежедневно на своих машинах выезжают к фермеру на работу. Предполагается, что у нас к 2000 году на селе будет жить значительно меньше населения, чем ныне. Это потребует высокого уровня механизации. А сейчас он каков? Мы чрезмерно озабочены недостатком людей и значительно меньше недостатком техники. Мы не можем похвастать высокой энерговооруженностью и металлонасыщенностью.

Все это я и сказал Геннадию Семеновичу. На сей раз его не связывали неотложные дела. В окна на Тверцу, играющую солнечными бликами, вливался свежий августовский воздух. Он согласно кивал головой.

— Сейчас мы научились строить хорошо, но без тесной увязки со специализацией, — говорил он, — потому что она до конца в области не проработана. И опять фонды сработают в неполную силу. А механизация, активная часть фондов? Тут тоже не все в порядке. То, что мы считаем большим достижением, на самом деле с учетом новых задач таковым не является. Кое-какие ценности надо переоценивать. Считается, что очистку зерна мы решили, но ведь на каждую сотню комбайнов приходится сто студентов на токах. Это непорядок. Нам нужны такие тока, чтобы зерно из сортировки шло в транспортные средства и в хранилища, а не на площадки для подработки. Ну и такие качества техники надо повышать, как надежность, простота в обращении.

Появилась секретарша и сказала, что приехал секретарь соседнего райкома партии. Надо прощаться. А я ведь хотел еще сказать, что раскатать старую деревню на бревна просто и агрогород бетонный построить просто, а вот нравственную силу деревни, которая и от обычаев, заведенных старшим поколением, и от близости к природе, сохранить не просто — старую деревню с ее трудолюбием.

— Ну, добро вам. — Геннадий Семенович энергично пожал мою руку.

— И вам добро.

\* \* \*

Не так давно, уже после XXV съезда партии, на исходе зимы, я снова побывал в полюбившихся мне местах, снова встретился с Геннадием Семеновичем. Заговорили о делах, о самом насущном.

— Мы ведь год удачно закончили, — сказал он, — продали государству не один десяток тонн зерна сверх плана и передали много кормов в другие области, пострадавшие от засухи. Нас тоже подсушило, только в августе хорошо полило, вот... — Он улыбнулся как всегда сдержанно. — Жалко было отдавать зерно, особенно корма, у самих животноводство растет, а я, понимаете ли, радовался, что отдаем. Мы, тверичане — извечные потребители, кормим других, из потребителей стали производителями. Засуха особенно показала, что мы значим.

На столе лежали газеты, брошюры, там были строки, подчеркнутые красным карандашом.

— И Двадцать пятый съезд партии отметил, что значим мы, Нечерноземье. Вот, — он притронулся рукою к газете: — «Ускорить работы по созданию крупных зон гарантированного производства товарного зерна на мелиорированных землях!» Это ведь о нас. Масштабы мелиоративных работ уже в десятой пятилетке будут огромны.

Геннадий Семенович прошелся по кабинету. Из окна видна Тверца. Подо льдом она казалась совсем маленькой. Геннадий Семенович заговорил, ход его мыслей, несколько несжиданный, мне был, в общем-то, понятен.

— Когда-то ведь Тверца была судоходной. По набережной вот туда, дальше, купеческие лабазы и склады идут, тут везде были пристани, пароходы ходили, а сейчас... Вы ведь летом видели рыбаков на середине реки, по колено стояли. Влага — наше богатство, наше достояние, и я, признаться, когда вижу эти приречные лабазы, с годами оказавшиеся ненужными, испытываю, знаете

ли, беспокойство. Климат в Нечерноземье становится суше. А ведь предстоят огромные мелиоративные работы, связанные в основном с осушением болот. Они уже идут. Правильно ли мы начали, по науке ли ведем? — Он вернулся к столу, взял одну из газет, процитировал: — «...труд земледельца и животновода — это, по существу, использование природы, окружающей нас естественной среды для удовлетворения нужд человека». И дальше слушайте: «К сельскому хозяйству мы, строители коммунизма, должны подходить и еще под одним углом зрения — охраны окружающей среды». Это не просто слова, это формула. У тех, кто до нас жил в этих краях, отношение к земле в основном было потребительским, да и у нас оно такое же. Мы, чего греха таить, смотрим на сельскохозяйственный труд как на средство извлечения продукции, на природу, на землю — как на поставщика. А вот новый взгляд: «Мы должны рассматривать сельское хозяйство как огромный постоянно действующий механизм охраны, культивирования живых природных богатств». Вот нам программа, охранная нам грамота. И за нами контроль!



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

**ЮРИЙ ЖУКОВ,**

*председатель советско-французской секции  
парламентской группы СССР*



## ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

**Н**едавно на прилавках книжных магазинов появился солидный том в синей обложке, на которой крупными белыми буквами вытиснено: «Образование русско-французского союза». Это выпущенный в свет издательством «Наука» капитальный труд известного советского историка А. З. Манфреда, который потратил много лет кропотливого и упорного труда в советских и французских архивах для исследования возникновения и развития союза между Россией и Францией, сформированного в августе 1891 — январе 1894 года и игравшего столь большую роль в жизни Европы на протяжении нескольких десятилетий<sup>1</sup>.

Читатели хорошо знают этого историка с внимательным взглядом и острым пером. Его книги, например пользующаяся большим успехом не только в СССР, но и за рубежом монография «Наполеон», следуют лучшим традициям русской исторической литературы от Ключевского до Тарле, сочетая глубину исследовательской мысли с большой живостью, убедительностью и художественностью изложения.

В новую книгу этого историка читатель входит словно в распахнутые настежь двери министерских салонов той поры — так ярко и красочно, я бы сказал, художественно рисует автор портреты действующих лиц исторической драмы, о которой он повествует.

Вот перед вами Жюль Ферри, глава правительства биржевых спекулянтов, как назвал его Энгельс, — жестокий деятель эпохи колониальных захватов Франции: «Под широким голым черепом надсмотрщика над каторжниками, по краям чуть прикрытого реденькими седыми волосиками, большое одутловатое лицо с пухлым крупным носом и пышными отвислыми усами, перерастающими в развоенные — как у Александра II, — тщательно ухоженные бакенбарды. Странное сочетание внешнего, как бы выставленного напоказ благородства и глубоко спрятанной, и все же проступающей наружу, расчетливой жестокости преступника и злодея. В давних, полузабытых иллюстрациях XIX века, изображающих прячущихся от правосудия тайных убийц в романах Виктора Гюго или Эжена Сю, еще порой встречались такие портреты. «Это генерал, у которого не бывает пленных», — говорил о нем Фрейсине».

Вот лихой и бесшабашный, но в то же время трусливый авантюрист Буланже, которого Энгельс называл безмозглым политиком и шутком. Он затевал переворот, но в последнюю минуту перепугался. В 1891 году Буланже застрелился на могиле своей любовницы, и Клемансо сказал о нем: «Генерал Буланже умер так же, как и жил, — младшим лейтенантом».

---

<sup>1</sup> Первая статья А. Манфреда на эту тему опубликована в 1974 году.

Вот фанфарон — германский император Вильгельм II, «самонадеянный и дерзкий прусский юнкер, непоколебимо уверенный в превосходстве возглавляемой им, по божественному праву, монархии над всеми остальными государствами и народами... Он никогда не расставался с блестящей металлической каской и охотно позировал в военной форме и воинственных позах. Его лицо с нафабреными, закрученными и поднятыми вверх двумя стрелками усов раскрывало чванливую заносчивость и угрожающую агрессивность его натуры» убедительнее трескучих речей, до которых он был большой охотник».

Сколько таких метких и образных характеристик рассыпано по страницам новой книги А. Манфреда!

Именно такое счастливое сочетание глубины и серьезности анализа с художественностью стиля объясняет то обстоятельство, что книги А. Манфреда никогда не залеживаются на полках. Они привлекают читателя тем, что дают ему возможность свободно войти в мир прошлого, смешаться с толпой действующих лиц истории и зримо представить себе не только ход интересующих его событий, но и увидеть их своими глазами и почувствовать аромат эпохи.

Нынешняя работа историка вводит нас в насыщенную драматическими событиями, пропахшую запахами пороха, крови и машинного масла, наполненную все нарастающим лязганьем машин, бурлящую лихорадочной политической жизнью последнюю четверть XIX века — века пара и электричества, века развития капитализма с его острейшими противоречиями, несущими в себе зародыши его неизменных болезней, века формирования колониальных империй. И вместе с тем это век формирования рабочего класса, которому законы развития человеческого общества отвели великую роль могильщика капитализма и строителя нового, социалистического строя, который возникнет в следующую четверть века на востоке континента.

Семидесятые годы. Еще царствуют монархи. В казарменном Берлине, этой молодой столице только что сформировавшейся Германской империи, властвует Вильгельм I. В Петербурге сидит на троне его племянник Александр II. В Вене принимает парады и дает веселые балы Франц-Иосиф. Все трое связаны союзом, но только и думают о том, как бы дать подножку августейшему коллеге. О том же думают короли Англии и Италии. Все заняты мыслями о новых и новых завоеваниях — в Азии и Африке.

А Франция уже республика. Эта республика — третья по счету. Она родилась назавтра после того, как жалкий авантюрист Наполеон III проиграл войну с Вильгельмом I и попал к нему в плен вместе со своей армией, разгромленной у Седана. Но для народа эта Французская республика ничуть не лучше монархии — первый же ее лидер Тьер вступил в союз с пруссаками и утопил в крови Парижскую коммуну. Потерпев сокрушительное поражение в войне с пруссаками и потеряв Эльзас и Лотарингию, французская буржуазия уже мечтает о реванше и ищет союзников.

Сумрачно небо над Европой. В нем пылают багровые зарницы, возвещающие новые, еще более разрушительные и кровопролитные битвы. Но в цехах новых и новых заводов, в депо новых и новых железных дорог — всюду, где работают пролетарии, уже сплачиваются революционные организации, изучающие трагические, но славные уроки Парижской коммуны. Прогрессивная, честная интеллигенция, вооруженная трудами Маркса и Энгельса, включается в эту борьбу. Напряженно ищет выхода из тяжелого положения творческая мысль русских революционеров, там, в городах и деревнях, изнывающих под тройным гнетом — не изжитого еще до конца феодализма, молодого и жадного российского капитализма и иностранного капитала, — создаются исторические предпосылки для рождения могучего революционного движения, которое на стыке XIX и XX веков возглавит Ленин...

Такова обстановка, в которой разворачиваются события, красочно описанные А. Манфредом.

Старый мир, ушедший мир, скажет иной читатель и, наверное, не без внутреннего недоумения мысленно добавит: так стоит ли к этим страницам давнего

прошлого возвращаться? Всем своим трудом историк отвечает: стоит! И не только для того, чтобы «еще резче подчеркнуть, как несопоставимы и наша эпоха, и нынешняя социалистическая внешняя политика СССР с эпохой и политикой последней трети XIX века, исследуемыми в этой работе». Но и для того, чтобы изучить и понять долговременные закономерности, определяющие отношения между государствами в Европе независимо от смены социальных формаций общества.

О, конечно же, тайный договор о франко-русском союзе, вступивший в силу в январе 1894 года, был детищем своей эпохи. Правители буржуазной Французской республики и российской монархии, вступив в сговор и немедленно начав поиски соглашения с Англией, готовили кровавую конфронтацию с Тройственным союзом монархов Германии, Австро-Венгрии и Италии.

Это была эра беспринципных сделок сильных мира сего, и А. Манфред убедительно показывает, как качались стрелки на весах союзов — каждый владыка судеб своей страны был готов сговориться с любым другим против третьего, чтобы сообща осуществлять новые и новые захваты, душить более слабых, а заодно подавлять и свой собственный народ, когда он восставал.

**1871—1877 годы...** Между Францией Тьера и Россией Александра II устанавливаются хорошие отношения, хотя русский царь, родственник германского императора, не скрывает своих симпатий к Берлину. Франция в этот период слаба, она еще не оправилась после разгрома у Седана и после трагедии Парижской коммуны. Она страшится нового нападения Германии и ищет у Петербурга опоры. А русский царь все же побаивается обнаглевшего после легкой победы над Францией августейшего родственника в Берлине и хочет создать равновесие сил в Европе.

**1878—1886 годы...** Франция малость оправилась от поражения. Французская буржуазия перевела дух. Прогерманские и антирусские деятели в Париже подняли голову. В Петербурге тоже ищут дружбы с Берлином. Хитрейший и умнейший «железный канцлер» Бисмарк ведет игру на двух шахматных досках, понимая, сколь важно не допустить франко-русского сотрудничества.

Русский генерал Милютин, возглавлявший военное министерство, записал 22 февраля 1877 года в своем дневнике: Бисмарк «судил полную поддержку свою России в восточном вопросе (то есть против Турции.— Ю. Ж.) не только дипломатическую, но и материальную, войском и деньгами, если только мы предоставим Германии беспрепятственно расправиться с Францией». А в октябре 1884 года Бисмарк является в Париж с парадным визитом в честь германо-французского сотрудничества и говорит: «Мы дружественны, очень дружественны!» И клюнувший на эту приманку военный министр Франции генерал Кампенон откликнулся: «Франция и Германия, объединившись, господствовали бы над всем миром». И сразу же во франко-русских отношениях наступило заметное охлаждение...

**1887—1893 годы...** Маятник дипломатии Парижа снова качнулся в сторону Петербурга. Маятник русской дипломатии опять качнулся в сторону Парижа. И там и здесь явственно увидели, как быстро нарастает опасность германской экспансии, какие опасные замыслы вынашивает двадцатидевятилетний император Вильгельм II, только что похоронивший своего престарелого деда, девяностолетнего Вильгельма I, и отца, который успел процарствовать всего три месяца, и полный амбициозных планов,— Плеханов метко прозвал его «коронованным Хлестаковым».

«В 1890—1892 годах,— пишет историк,— в создавшихся новых условиях внутри страны и в Европе союз с Россией стал главной целью внешнеполитических программ всех партий и групп господствующих классов и широких слоев населения (Франции.— Ю. Ж.). Если раньше, в 70—80-х годах, в рядах господствующих классов, даже среди отдельных групп буржуазии, шла борьба по вопросу о «русском» или «германском» курсе, то в 90-х годах эти разногласия были сняты».

Можно ли считать случайным, что внешняя политика Франции после довольно длительного периода отчуждения вновь вернулась к «русскому курсу», а правительство России отнеслось к этому повороту с пониманием и сочувствием? — спрашивает А. Манфред и отвечает: нет, это не случайность. Независимо от субъективных намерений государственных и политических деятелей той далекой эпохи, вопреки тому, что Александр II, близкий родственник Вильгельма I, был убежденным сторонником русско-германского союза и с опасением относился к Франции, вспоминая о баррикадах Парижской коммуны, а виднейшие государственные деятели Третьей французской республики, в свою очередь, заигрывали с Германией, в конечном счете объективный ход вещей вынуждал и вынудил наконец правительства обеих стран пойти на далекоидущее сближение. «С 1887 года, — говорится в книге, — это сближение двух великих держав совершалось с медленностью и верностью геологических процессов».

Но процесс этого сближения, вызванного растущей опасностью со стороны все выше поднимавшего голову прусского милитаризма, начался еще раньше. Всякий раз, когда на границе Франции и Германии возникала «военная тревога», как тогда выражались дипломаты, Париж с надеждой обращал свои взоры к Петербургу, и оттуда доносились какие-то ободряющие сигналы.

«Позвольте Вас уверить еще раз, что все усилия России будут направлены на то, чтобы сдерживать нетерпение Берлина и дать там преобладание идеям мира...» — заявлял еще в 1875 году французскому послу дальновидный русский министр иностранных дел Горчаков, являвшийся убежденным сторонником французского курса вопреки самому царю. На той же позиции стояли и многие другие видные деятели правительства России, которые прилагали все свои усилия к тому, чтобы ослабить, если не преодолеть вовсе, влияние сторонников германского курса, столь сильных при царском дворе.

Особый интерес представляют приведенные в книге свидетельства современников о той позиции, которую в этой сложной обстановке занимали русские и французские прогрессивные силы, социалисты, марксисты. И те и другие мужественно боролись против своих правителей, угнетавших и жестоко эксплуатировавших свой народ. И тем и другим были в равной мере ненавистны и давящий все живое царский режим, и жестокая власть являвшихся фактическими хозяевами Франции жадных капиталистов и колонизаторов. Вот почему сложился прочный, поистине братский союз французских и русских революционеров.

Во Франции, пишет А. Манфред, «имя Чернышевского, заживо погребенного царской властью в глухой вилюйской ссылке, было одним из самых чтимых и популярных имен среди французских социалистов». В России, указывает он далее, социалисты из группы «Освобождение труда» в своих нелегальных изданиях подчеркивали значение опыта французской революции. Он ссылается также на программную статью Плеханова «Современные задачи русских рабочих», написанную для газеты «Рабочий», издававшейся в 1885 году русской социал-демократической группой Дмитрия Благоева, где также звучит эта мысль.

Автор напоминает о том, что русские и французские революционеры, выражая друг другу взаимные симпатии и в меру возможностей того трудного времени сотрудничая между собой, в то же время устанавливали контакты с молодой социал-демократией Германии, которая в не менее трудных условиях вела борьбу за интересы немецкого рабочего класса.

Такова была чрезвычайно сложная, зачастую противоречивая, наполненная драматическими поворотами обстановка последней трети XIX века в Европе. Нередко начинало казаться, что мир висит на волоске и что волосок этот вот-вот оборвется. Искусно лавируя между Францией и Россией и думая о том, как бы одолеть их поодиночке, «железный канцлер» Вильгельм I Бисмарк, а затем его преемники шли на все, чтобы помешать установлению франко-русского союза.

Правительство Германии попеременно заигрывало то с Парижем, то с Петербургом. «Идти на риск войны на два фронта ни Бисмарк, ни кто иной из политических и военных главарей Германской империи не решался», — подчеркни

вает историк. В этих условиях французский журнал «Ля нувель ревью» с полным основанием писал 26 февраля 1887 года после очередной «военной тревоги»: «Россия в настоящий момент является высшим арбитром, от которого зависит спасение Европы...».

А ведь момент был действительно очень горячий и опасный для Франции — угроза нового германского вторжения в ту пору была вполне реальной. Но в последнюю минуту все утихло, так как Россия отказалась заключить предложенный Бисмарком договор о нейтралитете. Много лет спустя, в 1890 году, уже уйдя в отставку, Бисмарк так объяснял этот внезапный отказ от вторжения во Францию русскому послу Шувалову: «Чего мог я бояться со стороны России?.. Я вполне понимаю, что если бы мы роковым образом оказались втянутыми в войну с Францией, то в случае нашего успеха Россия в известный момент сказала бы нам «стой!», и мы бы остановились...»

Как ни сильны были прогерманские настроения в царском доме Романовых, связанном родственными узами с владыками Германии, как ни сильна была германская мафия, как выражаемся мы теперь, в тогдашнем Петербурге, терпеливые усилия наиболее дальновидных политиков России того времени — таких, как Горчаков, Милютин, затем возглавлявший генеральный штаб генерал Обручев и другие, — принесли свои плоды.

«Царь-тугодум», как его именует А. Манфред, Александр III в конце концов был вынужден дать согласие на подписание русско-французского договора о союзе. Этот договор, как сказано выше, был составлен втайне, но внешней манифестацией союза явились такие акции, как обмен визитами военных эскадр в Кронштадт и Тулон, как всевозможные манифестации светского и культурного характера и неизмеримо менее красочные, но куда более весомые операции по представлению царскому правительству французских займов.

Вся Европа в те дни писала и говорила как о сенсации о том, что Александр III, питавший нескрываемую ненависть к республиканской форме власти, слушал с обнаженной головой исполнявшую оркестром по случаю торжественного приема французской эскадры «Марсельезу», за пение которой в России жандармы разбивали головы рабочим. И даже сам Победоносцев, фанатик-мракобес, обер-прокурор святейшего синода, о котором Блок писал, что он «над Россией простер совиные крыла», ничего не мог поделать — перевертывалась важнейшая страница в истории Европы, для судеб которой заключение франко-советского союза имело огромное значение.

«Все усилил дипломатии Бисмарка, 20 лет сложного маневрирования в поисках хитроумных комбинаций ради одной заветной цели — предотвратить, не допустить русско-французского сближения (или — не дай бог! — союза), все, все оказалось напрасным, — пишет историк. — «Железный канцлер», изображавшийся столько лет непревзойденным гением дипломатической игры, непогрешимым мастером долгосрочных расчетов, оказался попросту неспособным управлять ходом событий. Они развивались, вопреки его желаниям и усилиям, и против него. Русско-французское сближение — то было не только банкротство главных внешнеполитических доктрин Бисмарка, то было крушение всей его политики».

Франко-русский союз, заключенный вопреки тому, что Франция была республикой, а Россия царской империей, был, подчеркивает А. Манфред, в сущности, предрешен образованием коалиции срединных держав, возглавляемой милитаристской, агрессивной Германией. Сердцевина этого соглашения заключалась в том, как писали авторы секретного «Общего обзора министерства иностранных дел в царствование императора Александра III», что оно было «противовесом союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии».

Являясь людьми своей эпохи, творцы этого союза мыслили привычными им категориями силы, с помощью которой в те времена пытались решать любые политические, экономические и социальные проблемы. И закономерно, что политика, построенная на противоборстве и конфронтации противостоящих друг другу военных группировок, в конечном счете привела к мировой империалистической войне 1914—1918 годов.

Об этих исторических уроках нелишне напомнить и в наше время тем, кто все еще уповает на «политику с позиций силы» и на противопоставление одних военных группировок другим. Ныне благодаря Великому Октябрю, благодаря созданию великой социалистической державы — Советского Союза и братских социалистических стран, которые приняли на вооружение принципиально новую внешнюю политику — политику мирного сосуществования и сотрудничества между государствами, принадлежащими к различным социальным системам, — открылись реальные возможности для обуздания сил агрессии и упрочения мира.

Блестательным доказательством реальности этих возможностей явилось заключение договоров между СССР и ФРГ, между ГДР и ФРГ, между Польшей и ФРГ, между Чехословакией и ФРГ, подписание Берлинского соглашения, Основ взаимоотношений между СССР и Францией, целой серии соглашений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки и, наконец, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Все это было осуществлено в соответствии с Программой мира, принятой XXIV съездом КПСС. И теперь, когда на практике доказано, что можно и нужно создать принципиально новую систему международных отношений, построенную на основе ленинского принципа мирного сосуществования между государствами, открывается возможность сделать следующий, важнейший шаг — достичь всеобщей договоренности об отказе от использования силы и угрозы силой как средства решения международных проблем.

В новой программе дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, предложенной Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым и принятой XXV съездом нашей партии, записано: «Стремиться к заключению всемирного договора о неприменении силы в международных отношениях».

Эта поистине грандиозная дипломатическая идея, воплощение в жизнь которой будет иметь поистине историческое значение для всего человечества, уже встречает растущую поддержку самых широких кругов общественности на всех континентах.

Не приходится сомневаться, что большую роль в осуществлении этого замысла может и должно сыграть дальнейшее конструктивное сотрудничество Советского Союза и Франции.

В своем докладе на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев особо отметил успешное развитие отношений Советского Союза и других социалистических стран с Францией. Он подчеркнул, что в ходе ставших традицией советско-французских переговоров на высшем уровне позиции обеих стран по внешнеполитическим вопросам сблизилась и что разносторонние советско-французские связи и контакты активизировались.

Все это, конечно, неизмеримо ценнее и важнее для упрочения мира, нежели тайный сговор о заключении союза, достигнутый без малого сто лет назад в специфических целях тогдашними правителями Франции и России. Но при всем том события, описанные А. Манфредом, чрезвычайно поучительны и сегодня, коль скоро они убедительно показывают, что уже тогда — естественно, в практическом преломлении, свойственном той эпохе, — явственно сказались глубинная общность интересов национальной безопасности обеих стран и огромное значение русско-французских отношений для судеб всей Европы.

Книгу «Русско-французский союз» с глубоким интересом прочтут все, кто кровно заинтересован в сохранении и упрочении нынешнего конструктивного и взаимовыгодного курса в отношениях СССР и Франции.





---

---

**И. В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,**  
доктор исторических наук,  
заведующий отделом прогнозирования социальных процессов  
Института социологических исследований АН СССР



## СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В 1976—1990 годах страна будет располагать примерно вавое большими материальными и финансовыми ресурсами, чем в истекшем пятнадцатилетии. Тем самым создаются новые возможности для решения основных социально-экономических задач, поставленных Программой партии, последними съездами. Это относится прежде всего к дальнейшему повышению благосостояния советских людей, улучшению условий их труда и быта, значительному прогрессу здравоохранения, образования, культуры — ко всему, что способствует формированию нового человека, всестороннему развитию личности, совершенствованию социалистического образа жизни.

*Л. И. Брежнев, из Отчетного доклада  
ЦК КПСС XXV съезду.*

1

**С**лово «образ» имеет в русском языке два основных значения: вид, облик, картина и строй, порядок, способ. В данном случае подразумевается второе значение — строй жизни, порядок жизни, способ жизни. Собственно, почти на всех славянских языках русское «образ жизни» звучит именно как «способ жизни». Это означает способ производства, труда, плюс способ культуры, быта, плюс способ общественно-политической деятельности и любой другой жизнедеятельности человека, класса, нации, семьи, любой социальной группы всего общества в целом. Способ производства оказывается в основе способа жизни, определяет его, но последнее не сводится к первому, так как включает в себя, помимо сферы труда, все остальные сферы жизнедеятельности людей. Образ жизни есть совокупность форм жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом, гласит одно из научных определений (дискуссии по уточнению дефиниции продолжаются), форм, взятых в единстве с условиями этой жизнедеятельности.

Положение о единстве форм и условий имеет особое значение. Одни ученые склонны сводить понятие образа жизни только к «формам жизнедеятельности» или даже непосредственно к формам поведения людей, другие — к «условиям жизнедеятельности», к социально-экономическому строю общества. На деле все оказывается сложнее. Люди ведут тот или иной образ жизни. Но обстановка позволяет человеку или даже заставляет его вести себя так, а не иначе.

Вот почему в образе жизни людей приходится учитывать и их поведение — стиль жизни, и обстановку, определяющую их поведение, — уклад жизни. Неразрывное сочетание субъективного и объективного — важная особенность обобщающего понятия «образ жизни».

Десятки, если не сотни лет словосочетание «образ жизни» употреблялось в публицистическом или быденном смысле, указывая на самые общие, важнейшие особенности жизни людей. К нему не предъявлялось научных требований строгой дефиниции, четкой структуры понятия, определения его соотношений со смежными понятиями и т. д. Все понимали, о чем идет речь, но о чем именно — таким вопросом даже не задавались.

На протяжении нескольких последних лет понятие «образ жизни» все шире разрабатывается учеными разных стран как строгая научная категория с определенной структурой и функциями в системе других научных категорий. Это вызвано тем, что в условиях современной научно-технической революции и ее социально-экономических последствий оказывается недостаточной экономическая категория «уровень жизни», ориентированная на оценку степени удовлетворения материальных и духовных потребностей, которые поддаются прямому количественному изменению (зарплата, метраж жилплощади, расходы на культуру и т. д.). Уровень жизни был и остается важной — можно даже сказать, важнейшей — научной категорией, с помощью которой анализируют особенности жизни людей. Однако в современных условиях все чаще приходится принимать во внимание не только количественные, но и качественные характеристики жизнедеятельности: содержательность труда и досуга, удовлетворенность трудом и досугом, уровень комфорта в труде и быту, качество питания и условия приема пищи, качество и модность одежды, качество жилья, жилой и окружающей среды вообще, качество социального управления, культурно-бытового обслуживания, качество удовлетворения потребностей в общении, знаниях, творчестве и т. д.

Экономическая категория «уровень жизни». Социологическая категория «качество жизни» (не путать с шумной пропагандистской кампанией «за новое качество жизни», развернувшейся за последние годы на Западе, — это тема особого разговора). Социально-психологическая категория «стиль жизни». Социально-экономическая категория «уклад жизни»... Философско-социологическая категория «образ жизни» обобщает четыре предыдущих.

Коль скоро мы определяем образ жизни как совокупность форм, видов жизнедеятельности, логично сообразовать структуру этой категории с основными сферами жизнедеятельности людей. Труд, быт, общественно-политическая деятельность — таковы основные стороны образа жизни. Иногда приходится рассматривать более детальные плоскости: материальное благосостояние, социальное обеспечение и здравоохранение, жилищное обеспечение, транспорт и связь, окружающая среда, народное образование и культура, брак и семья, национальные отношения, ценностные ориентации, антиобщественные явления и др. По каждой плоскости выделяются специальные показатели. С их помощью образ жизни моделируют, анализируют, прогнозируют.

И это понятно: категория «образ жизни» введена в научный оборот не для игры новыми словами. Она составляет часть научного инструментария, посредством которого решаются определенные научные проблемы. В свою очередь, научные проблемы решаются не просто для удовлетворения потребности в новых знаниях (хотя это очень важная потребность человека), а для содействия решению социальных проблем.

Социальная проблема — это противоречие, разрыв между действительным и желательным. Если действительное совпадает с желательным, то «нет проблемы». Стало быть, нечего приводить в действие рычаги планирования и управления: так держать! Но если разрыв налицо, то для того и существует управление, чтобы вовремя повернуть руль и сократить, а по возможности и ликвидировать разрыв, решить проблему. Необходимо, чтобы управленческие решения были не произвольно-волевыми, а научно обоснованными, чтобы они опирались на продуманные планы, а те, в свою очередь, на детально разработанные прогнозы.

Вот тут, в прогнозных и плановых разработках, и «работают» конкретные показатели, сведенные в систему показателей образа жизни.

К социальным проблемам наблюдается подчас предубежденное отношение как к чему-то отрицательному. На деле проблема — стимул деятельности, жизни человека и общества. Представьте себе на мгновение, что все проблемы решены или решаются автоматически, без усилий с вашей стороны. Столь же автоматически теряет смысл жизнь: оказывается, жить не для чего. Но проблем хватает. Дело в том, каких проблем. Когда-то проблемой у нас было наесться досыта. Когда-то проблемой может стать реконструкция солнечной системы. Мы давно миновали первый уровень, и нам еще далеко до второго. Чем успешнее будет разворачиваться коммунистическое строительство, тем выше уровень проблем, которые предстоит решать.

Основные черты и особенности социалистического, в частности советского, образа жизни общеизвестны. Это коллективизм, демократичность, подлинная гуманность всех общественных отношений, развитие чувства человеческого достоинства, общественного долга, товарищеской взаимопомощи, социалистический интернационализм и патриотизм, новое отношение людей к труду и новое отношение общества к трудящемуся человеку, полное равноправие женщины с мужчиной, всенародная забота о детях, морально-политическое единство, социальный оптимизм и т. д. В этих и многих других чертах социалистический образ жизни противоположен буржуазному. И социальные проблемы, связанные с социалистическим образом жизни, принципиально отличны от социальных проблем в условиях буржуазного строя.

В этих заметках мы коснемся лишь одной из сторон исследования образа жизни — связанных с ним социальных проблем. При этом ограничимся только актуальными проблемами современности и только в условиях нашей страны.

Социальные проблемы бывают двоякого рода. Одни носят субъективный характер. Недобросовестность, головопятство, халатность, волонтаризм — вот типичные источники их происхождения. Такого рода проблем немало, но они сравнительно менее серьезны, легче разрешимы. На них мы также останавливаться не будем. Другие — числом поменьше, но характером посерьезнее — носят объективный характер. Здесь главный «виновник» — некоторое отставание надстройки от развивающегося базиса, уходящее вперед общественное бытие, нередко опережающее общественное сознание. Важно не допустить, чтобы разрыв оказался чрезмерно большим и чтобы цена решения социальной проблемы не оказалась чрезмерно высокой. Важно решить социальную проблему своевременно и оптимально. Именно на это нацелено социалистическое планирование. Именно это имеет в виду политика партии и правительства, научно обоснованное управление социальными процессами в условиях развитого социализма.

В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», принятых XXV съездом КПСС, дается директива: «Совершенствовать систему взаимосвязанных народнохозяйственных планов — долгосрочного, пятилетних и годовых... Шире использовать в планировании программно-целевой метод, осуществить разработку комплексных программ по наиболее важным научно-техническим, экономическим и социальным проблемам».

Рассмотрим внимательнее, как решаются социальные проблемы образа жизни советского общества на современном этапе коммунистического строительства в нашей стране. Из многих десятков проблем такого рода выберем для примера всего две-три, связанные с рождением будущего нового гражданина страны, с его подготовкой к роли полноценного участника социалистического общественного производства, с организацией и стимулами его труда на производстве.

## 2

Если задаться вопросом, какие особенности определяли образ жизни семьи в далеком прошлом, то одной из таких особенностей безусловно была высокая детская смертность. На протяжении тысячелетий было скорее правилом, чем ис-

ключением, что почти половина родившихся детей умирала в грудном возрасте. А из оставшейся половины, в свою очередь, почти половина умирала до достижения брачного возраста, то есть до тех пор, пока начиналось воспроизводство потомства в следующем поколении. И это еще в редкие благополучные десятилетия! Наступал голод — и вымирало вообще до половины населения. Обрушилась эпидемия — и вымирало до трех четвертей населения, как это было в XIV веке во время эпидемии чумы, прокатившейся по Европе. Разражалась война — и мучительной смертью погибало до четырех пятых населения, как это было в Чехии во время Тридцатилетней войны XVII века. Низкая рождаемость в таких условиях была бы равнозначна самоубийству общества. Родители по опыту знали, что из каждых трех — пяти родившихся у них детей в среднем примерно один доживет до зрелых лет и будет опекать их в старости. Для людей тех времен «статистика» нормальная, привычная, а для нас с вами ужасная, невыносимая. Возврата к ней, к счастью, нет, быть не может и не должно.

Общество реагировало на такое положение единственно возможным образом. Чтобы выжить, каждое племя, народность, нация выработали специальный социальный механизм воспроизводства новых поколений. У каждого народа он отличался любопытными особенностями: у русских не такой, как у французов, у индусов не такой, как у китайцев. Но особенности пустяковые по сравнению с чертами, общими для всех. Суровый закон выживания на разных языках гласил одно и то же:

1. Все девочки по достижении ими половой зрелости (около четырнадцати лет в южных странах и около шестнадцати лет в северных) должны быть выданы замуж. Исключение только для умалишенных, инвалидов, уродок и жриц того или иного культа — считанных процентов от общего числа девушек. Старая дева рассматривается как из ряда вон выходящее явление, позорящее и ее саму и ее родителей.

2. Каждая выданная замуж девушка (по нашим меркам едва вышедшая из категории «дети до шестнадцати лет») должна рожать каждый год. Теоретически примерно тридцать раз, а практически не более пятнадцати — двадцати, да и то если отличается здоровьем и если повезет с новой родней. Тяжкая каторга домашнего хозяйства, антисанитария, антигигиена, кулаки мужа и всех, кто физически сильнее, самое большее через пятнадцать — двадцать лет превратят ее, тридцати-сорокалетнюю, в старуху, уже не способную больше рожать. Бабий век — сорок лет. А бездетная жена — величайшее несчастье и позор.

3. Чтобы будущие невесты и женихи познакомились и продемонстрировали себя «на людях», то есть на глазах родителей и прочей старшей родни, которой надлежит решать, кого на ком женить, устраиваются ритуальные игрища (танцы, хороводы и пр.). Личные симпатии принимаются в расчет только «при прочих равных условиях». Любовь объявляется таким же из ряда вон выходящим явлением, как и старая дева. Это романтический сюжет для песен и сказок. А в жизни она, любовь, подлежит беспощадному осуждению и подавлению.

Если вспомнить, что свирепые параграфы этого неписаного закона неукоснительно действовали в классовом обществе, где социальное положение, богатство, расчет воинствующе попирали любовь, человечность, разум, то нетрудно представить, каково приходилось людям, и прежде всего женщине.

Таково было бытие и соответствовавшее ему сознание.

К середине XX века человечество за столетие ушло довольно далеко от того, что было. Мы же за последние двадцать пять лет проделали в этом отношении путь гораздо более значительный, чем за предшествовавшие двести пятьдесят, а может быть и две с половиной тысячи лет.

Резко упала детская смертность. Смерть ребенка в наших условиях — ЧП. По меньшей мере девять шансов из десяти, что даже один ребенок доживет до своей свадьбы и принесет бабушке с дедушкой внука. При этом старость бабушки и дедушки не зависит от помощи детей: о стариках заботится государство.

Возросли и потребности людей, а отсюда возникли и новые проблемы: молодоженам нужна комната, а по возможности и квартира. Одному надо институт

кончать, другому школу или техникум. Очень хочется летом к Черному морю. Ну и, конечно, ребенка завести, а то и двух: сказывается инстинкт материнства и отцовства, да и престиж матери или отца семейства все еще высок.

Но как совместить ребенка с учебой, работой? А ведь нынешние молодожены в отличие от своих предков, у которых дети появлялись по принципу «бог дал — бог взял», сознательно решают заранее, будет у них ребенок или нет (по крайней мере, второй ребенок).

Таково стало совершенно иное бытие. Ну а сознание? Что думают, как решают молодые родители?

Некоторые считают, что не следует спешить с браком и тем более с ребенком лет до тридцати — тридцати пяти (что не очень хорошо с точки зрения интересов общества). А многие из этих «некоторых» никак не могут найти друг друга: с ритуальными играми покончено, а до создания новых ритуалов руки не дошли, так что приходится полагаться только на танцплощадку во всей ее многократно обсужденной и осужденной неприглядности. В результате много людей в идеальном для брака возрасте — от двадцати пяти до тридцати пяти лет — все еще ждет или уже не ждет свою суженую (суженого). И это уж совсем нехорошо ни для человека, ни для общества в целом.

Ну а нашедшие друг друга совершенно не знают, что такое семейная жизнь. Раньше им и знать этого было не положено: патриархальная семья с первой брачной ночи и до гробовой доски опекала каждый шаг супругов, подсказывала, что делать и как вести себя в труде и быту, разрешала конфликты, диктовала жесткие правила поведения. С патриархальной семьей тоже покончено — и хорошо, что покончено! Но что взамен? Как молодоженам благоустроить свой быт? Кому что делать по дому? Кто кому и в чем должен подчиняться? Кто глава семьи? Культурно-бытовое обслуживание еще далеко не достигло тех высот, на которых оно могло бы учитывать специальные интересы молодоженов. Поэтому им приходится не сладко, особенно на первых порах. Этику в школе не проходят. Заниматься половым воспитанием почему-то считается предосудительным. Поэтому в этическом и половом отношении они часто вопиюще невежественны. В результате почти каждый третий брак кончается разводом. Только один из трех разводов имеет действительно серьезную, неустранимую причину (физиологическая или психологическая несовместимость, новая любовь и т. п.), остальные два — из-за бытовой неустроенности, порой этической дикости. А эти беды вполне можно отвести.

Но вот молодая семья создана. Решается вопрос: сколько иметь детей? Именно этот вопрос задали десяткам тысяч сравнительно молодых семей социологи. Ответ поразительный.

На вопрос: сколько бы вы хотели иметь детей? — ответы распределились довольно обнадеживающе. Подавляющее большинство (до двух третей молодых родителей) ответило, что хотело бы иметь двух детей, большей частью мальчика и девочку. От четверти до трети хотели бы иметь трех детей. Ограничиться одним ребенком или иметь более трех желали бы считанные проценты, а вообще не иметь детей — совсем ничтожная доля процента. Что ж, именно это и нужно обществу для оптимального воспроизводства новых поколений: не слишком бурный, умеренный рост, соответствующий возможностям экономического развития в смысле обеспечения потомства всем необходимым.

Зато на вопрос: а сколько детей вы имеете на деле? — ответы пришли самые обескураживающие. Почти две трети ограничились одним ребенком, одна шестая — двумя, одна шестая предпочла вообще не иметь детей и только считанные проценты обзавелись тремя и более детьми. Итак, в среднем налицо — однодетная семья как все более преобладающий стереотип. Хорошо это или плохо?

Есть такое понятие в демографии: возрастная структура общества. Какова процентная доля детей (скажем, до шестнадцати лет), какова — трудоспособных взрослых и какова — нетрудоспособных стариков (допустим, принятого у нас пенсионного возраста). При подавляющем преобладании многодетных семей, как

это было раньше, около половины приходилось на детей, примерно столько же на взрослых, а на престарелых оставались считанные проценты. С переходом на однодетную в среднем семью процентная доля взрослых и особенно детей снижается, а престарелых возрастает.

Сейчас в Советском Союзе примерно 45 миллионов пенсионеров — в основном по старости. Каждый шестой житель страны! То, что пенсионеров много, это хорошо, потому что показывает сравнительно высокую степень благосостояния общества, способного взять на иждивение почти полсотни миллионов ветеранов труда и инвалидов. А вот то, что каждый шестой, не особенно хорошо, потому что оказываются вакантными миллионы рабочих мест, которые занимали будущие пенсионеры, когда создавалась нынешняя пенсионная система и когда в пенсионном возрасте находилась вдвое-втрое меньшая процентная доля населения страны.

Растущий дефицит людских ресурсов общеизвестен. Откуда брать новые кадры? До сих пор черпали (и черпаем) главным образом из деревни. Но теперь представляется целесообразным притормозить этот процесс, привести отток рабочих рук из деревни в соответствие с не поспевающими за ним темпами комплексной механизации сельского хозяйства. Был и еще один ресурс: домохозяйки. Теперь и они чуть ли не на девять десятых вовлечены в общественное производство. Вовлечем всех — еще более значительно повысится процентная доля бездетных и однодетных семей. Остается два источника: молодежь и пенсионеры. К пенсионерам мы вернемся несколько позже, а молодежь надо прежде всего производить на свет божий. И здесь мы опять возвращаемся к проблеме повышения рождаемости.

Большая, сложная социальная проблема!

Сначала вопрос: какой уровень рождаемости требуется нашему обществу в современных условиях? Однодетность, как мы видели, не подходит. Многодетность тоже — надо считаться с возможностями экономики. Чтобы шло простое воспроизводство, то есть чтобы двух родителей сменяли двое детей, нужно, чтобы примерно три из каждых четырех семей были двухдетными, а четвертая трехдетной (компенсирующей убыль от болезней и несчастных случаев в добрачном возрасте). А чтобы шло умеренно расширенное воспроизводство, желательно, чтобы примерно половина семей была двухдетными и около половины — трехдетными (при условии, что бездетные и однодетные не превысят нескольких процентов).

Понятно, что такая «уравниловка» ни к чему. Есть множество семей, члены которых — отличные работники общественного производства, но никудышные родители. И пусть такие семьи лучше остаются бездетными. Пусть желающие ограничатся одним ребенком. Но чтобы «средняя» семья оставалась двух-трехдетной, надо, чтобы известное количество бездетных и однодетных семей компенсировалось соответствующим количеством многодетных (практически в основном трех-четырёхдетных).

Отсюда задача: создать такие условия, при которых большинство матерей могло бы иметь двух-трех детей без ущерба для своего статуса и престижа в общественном производстве по сравнению с бездетными и однодетными, а желающие могли бы иметь четырех и более детей с полной компенсацией во всех отношениях за длительное отключение от непосредственного участия в производстве, точнее за переключение на другую форму такого участия — на воспитание новой смены работников.

Решается ли эта проблема? Да, начинает решаться. Вот первые шаги, зафиксированные в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»: дотация на ребенка в семьях с доходом менее 50 рублей в месяц на человека, частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, более широкие возможности матерям с детьми работать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю или работать на дому, расширение сети дошкольных учреждений, школ и групп с про-

дленным днем, развитие бытового обслуживания, общественного питания, продажи полуфабрикатов, льготы по пенсионному обеспечению многодетных матерей...

Можно ли сделать что-либо еще в этом же направлении? Конечно, можно. Не следует только забывать, что такого рода шаги обходятся государству в миллиарды и миллиарды рублей. Необходимо изыскать, «заработать» эти миллиарды. И необходимо основательно изучить каждый шаг, поставить дело так, чтобы каждый рубль давал эффект. Стало быть, необходимы научные исследования и научные рекомендации.

Такие исследования начаты. Сейчас еще рано говорить о рекомендациях. Подождем итогов.

### 3

Обратимся к следующей социальной проблеме, на этот раз связанной с подготовкой работников общественного производства.

В том океане дегтя, который являла собой патриархальная семья, имелась крошечная, но весомая ложка меду. Каждый ребенок двух-трех лет, как только он становился на ноги и приходил в разум, безо всякого конкурса разом попадал и в трудовой коллектив и в Великую Домашнюю Академию Наук, Искусств и Ремесел, учеба в которой была обязательной и всеобщей. В «академии» на протяжении примерно десятка лет он в совершенстве овладевал профессией родителей и готов был в любую минуту заменить отца или мать. А в коллективе привыкал не только подчиняться строжайшей дисциплине труда и быта, но и отвечать за своих младших братьев и сестер, за выполнение различных поручений. Его постоянно опекал «корпус воспитателей» в составе старших братьев и сестер, дядьев и теток, родителей, деда с бабкой и т. д.

И вот к четырнадцати—шестнадцати годам появлялся социально зрелый человек, который вскоре сменял отца за сохой или в мастерской ремесленника либо принимал хозяйство в доме мужа. Тяжкая это была академия, во многом лишавшая детей их детства. Возврата нет к ней. И хорошо, что нет.

Но вот патриархальную семью сменила современная однодетная. Ненаглядное чадо теперь, как правило, не наследует профессии родителей. Оно ни за что не отвечает. Напротив, все отвечают за него. Нередко у него дома вместо авторитетных воспитателей просто прислуга — мама с папой. Кроме того, иногда даже не прислуга уже, а верноподданные рабы — две бабушки и двое дедушек (большей частью еще работающие), наконец, четыре прабабушки и четверо прадедушек, находящихся на пенсии и души не чающих в своем потомке. А затем идут бездетные дядья, незамужние тетки и прочая и прочая. Целый придворный штат.

Никому из «придворных» не жалко пятерки-другой, чтобы порадовать ребенка подарком. Но всем им не хватает времени на то, чтобы воспитывать своего кумира не занудными нотациями, а общением, примером. Все заняты (даже пенсионеры). У всех дела. Что же касается любимого чада, то у него на корню чихнут стимулы к труду. Ему доподлинно известно, что он может «дотянуть» до собственной пенсии на «дотации», подбрасываемые любящими «предками». Оно знает, что его «должны учить» — и чем дольше, тем престижнее. Оно знает, что в дальнейшем его «должны трудоустроить» — и чем ближе к письменному столу, тем престижнее. Конечно, со временем все становится на свои места. Жизнь берет свое, и новый работник постепенно «вживается» в систему общественного производства. Но с каким трудом и ценой каких моральных (и не только моральных) издержек!

Все это может происходить не только в однодетной семье. Там, где верх берет слепая родительская любовь, получается и «дважды однодетная» и даже (правда, редко) «трижды однодетная» семья.

Кроме того, явилась невеста откуда взявшаяся акселерация. В четырнадцать лет современный ребенок почти по всем статьям то же самое, что его дед и бабушка в семнадцать лет полвека назад. А в семнадцать лет равнозначен двадцатилет-

нему полвека назад. В физиологическом отношении он взрослый человек, в интеллектуальном — еще как! И только в одном очень важном отношении — социальном — он в отличие от своих неакселерированных «предков» надолго остается дитятей. И до шестнадцати лет формально «дети». И до двадцати восьми лет формально «молодежь». А если он доучился до научного сотрудника, то он и до тридцати трех лет формально «молодой ученый» (а не формально чуть ли не до сорока).

Из «домашней академии» в патриархальной семье выходили социально зрелые люди. Их не надо было воспитывать: их воспитала жизнь (мы здесь не касаемся вопроса, как воспитала). Их не надо было обучать профессии: они в совершенстве владели профессией родителей. На долю школы оставалось научить читать, писать и считать, а также немного «отшлифовать» в целом сформированного зрелого человека. Да и много ли молодежи шло в школу?

Перед советской системой народного образования в 20-е годы встали две задачи: в исторически кратчайший срок превратить сотни миллионов неграмотных и малограмотных мужиков и баб в работников социалистического общественного производства с минимум начальным, а желательно и неполным средним образованием; кроме того, создать советскую интеллигенцию — дипломированных специалистов для промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, просвещения, науки, культуры. Именно решению этих двух задач и была подчинена система народного образования, начавшая формироваться более полвека назад и сформировавшаяся в основном более трети века назад. С тех пор она непрерывно совершенствовалась, но задачи оставались теми же и она в принципе оставалась той же.

В этой системе средней школе отводилась, по существу, роль подготовительного факультета для поступления в вуз (точнее, во втуз, так как подготовка инженеров была важнейшим звеном в тех условиях). Ее оканчивало в 20—50-х годах не более 5—10 процентов восемнадцатилетних (36 тысяч в 1922 году и 228 тысяч в 1950 году, не считая вечерних и сменных школ). Иными словами, только один из двадцати одногодков получал среднее образование и еще меньше поступало в высшие учебные заведения. Остальные сверстники давно уже трудились к тому времени на производстве.

Прошли годы. Задачи, стоявшие перед системой народного образования, выполнены и перевыполнены. Подавляющее большинство работников (свыше трех четвертей!) имеют среднее (полное и неполное) образование. Завершен переход ко всеобщему среднему образованию. Это означает, что каждый год в ряды работников производства может вливаться примерно три миллиона человек, имеющих как минимум полное среднее образование. Выпуск дипломированных специалистов со специальным средним и высшим образованием доведен почти до двух миллионов человек в год. В этом отношении мы оставили далеко позади США и все остальные страны мира. Мы близки к полному насыщению нашего народного хозяйства дипломированными специалистами.

Словом, бытие существенно изменилось. Можно ли было в этих условиях по-прежнему оставлять среднюю школу на положении подготовительного факультета во втуз? Конечно, если мобилизовать все силы и пожертвовать чем-то жизненно важным, можно добиться того, чтобы все до единого выпускники средней школы поступали в вузы. Но разумно ли это? Нужно ли это? Ведь производству требуются специалисты не только разного профиля, но и разного уровня квалификации. Наряду с инженерами, агрономами, педагогами, врачами требуется гораздо большее количество рабочих, шоферов, поваров, портных.

В дело вмешалась сама жизнь. Труд недипломированных специалистов оказывался все более дефицитным. Все чаще приходилось доплачивать за дефицитность. Доплаты росли. Водитель автобуса или троллейбуса получает столько же, сколько кандидат наук. Все это (не только зарплата, конечно!) стало менять отношение молодежи к специальному образованию.

Правда, по инерции конкурсы в вузы все еще сравнительно велики. Абитуриент все еще продолжает чувствовать себя «одним из двадцати» и полагает,



что раз закончен «подготовительный факультет», надо поступать на первый курс, «а там видно будет». В этом их ревностно поддерживают мамы и папы, бабушки и дедушки, которые никак не возьмут в толк, что времена «одного из двадцати» прошли.

Но первые сдвиги уже налицо. Лет десять назад до 96—98 процентов десятиклассников ориентировались на поступление в вуз и рассматривали как величайшую жизненную драму неудачу на конкурсе. Теперь на поступление в вуз ориентируется около половины выпускников — вдвое меньше. Удовлетворительно ли такое положение?

Значит ли это, однако, что средняя школа и вуз второй и третьей четверти XX века — венец творения в области народного образования, не поддающийся дальнейшему совершенствованию? Значит ли это, что очерченное выше противоречие (отнюдь не антагонистическое!) неразрешимо? Конечно, нет. Просто настала пора приводить учреждения просвещения в соответствие с изменившимся бытием.

И эта социальная проблема тоже начинает решаться. О первых шагах в ее решении красноречиво говорят строки «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»: расширение сети профессионально-технических училищ, превращение все более значительной части их в училища, позволяющие получать одновременно специальность и общее среднее образование, расширение материальной базы всех учебных заведений — от средних до высших — и внедрение в учебный процесс новых технических средств и методов обучения, чтобы улучшить качество подготовки работников производства.

Попытаемся опять-таки в порядке гипотезы (которую должны подтвердить или отвергнуть научные исследования) представить последующие шаги по окончательному решению проблемы<sup>1</sup>.

Стоило бы подумать о всеобщем дошкольном образовании. Да-да, образованию — и воспитанию и обучению. Есть серьезные основания полагать, что именно в период до пяти—семи лет формируется в значительной мере личность будущего гражданина и что до пяти—семи лет будущий гражданин способен очень многому научиться, если, конечно, учить его не так, как десятилетнего или двадцатилетнего. Это означает обязательное для всех детей трех—шести лет посещение детского сада, в котором они не только усвоили бы элементарные нормы общезначимого и элементарные навыки труда (включая уважительное отношение к труду), но и научились бы читать, писать и считать. Критерием оценки качества работы детского сада должно стать самочувствие его абитуриента при переходе в начальную школу. Если переход незаметен, безболезнен (а сейчас он зачастую очень болезнен) — значит, детсад прекрасно выполнил свою роль.

Опыт показывает, что все это — реальное дело. У хороших воспитателей дети играючи овладевают искусством чтения, счета и письма. У хороших! Значит, необходимо, чтобы в детсады шли лучшие воспитатели, цвет нашего педагогического корпуса. А это, в свою очередь, значит, что престиж и зарплата у воспитателя детсада должны быть выше, чем у любого другого педагога. И это значит, разумеется, что на каждого воспитателя должно приходиться не 30—40 воспитанников, а гораздо меньше. Как этого достичь? Практически, в частности, путем появления у каждого профессионального воспитателя десятка ответственных помощников из числа родителей (и не только родителей), способных уделить несколько часов в неделю играм, прогулкам, занятиям с малышами.

Стоило бы подумать также о дальнейшем совершенствовании начальной школы. Сейчас учитель первых—третьих классов в труднейшем положении: он обязан учить не умеющих читать, писать и считать азам грамоты, игнорируя растущее число тех, которые уже овладели этими азами и для которых поэтому слово «класс» синоним слова «скука». А если бы все шестилетки умели читать, писать и считать? Тогда больше времени можно было бы уделить азам труда и

<sup>1</sup> Подробнее см. «Прогнозирование развития школы и педагогической науки», т. 1. М. Изд-во Академии педагогических наук СССР. 1974.

науки, естествознанию и обществознанию, ремеслу и искусству, этике и эстетике. А главное — больше времени можно было бы уделить выявлению у ребят-шек задатков, способностей к тому или иному ремеслу, искусству, науке (в наше время все три понятия становятся равноценными в бытии, хотя по инерции остаются еще неравноценными в сознании). Критерием оценки качества работы начальной школы должна стать именно степень выявления и эффективность стимулирования способностей каждого ученика.

Заслуживает внимания опыт факультативов в неполной средней школе. Выявленные способности подлежат развитию. Жизнь показывает, что наилучший способ для этого, когда молодому человеку десять—четырнадцать лет, — общеобразовательная школа с уклоном. Не только с математическим, физическим, языковым, но и с техническим, ремесленным, домоводческим (кулинария, кройка-шитье), воспитательским и т. д. При этом не должно быть и следа престижности (псевдопрестижности!) того или иного уклона. Ремесленный — не хуже математического! Воспитательский — не хуже языкового! Бытие 1976—2000 годов, по данным социального прогнозирования, наверняка подтвердит: не хуже! И этот прогноз не худо бы довести до сознания школьников и их родителей.

Очень важен вопрос об оптимальном совмещении общего и специального образования в полной средней школе. Мы уже говорили, что в век акселерации недопустимо зачислять молодого человека четырнадцати-шестнадцатилетнего возраста в категорию «дети до шестнадцати лет». Это взрослый человек! И сколько бы ни старались мамы и папы держать его на положении «недоросля», он взрослый человек со всеми проистекающими отсюда последствиями. Нельзя обращаться с ним как с ребенком. С него надо спрашивать как со взрослого. В частности, это означает, что в четырнадцать лет молодой человек не может оставаться школьником, которого водят за ручку и чуть что — вызывают родителей. Он должен стать студентом — ну, скажем, таким же, каким является студент техникума, — студентом профессионально-технического училища, дающего одновременно полное среднее образование.

«ПТУ со средним образованием» — не самое краткое и благозвучное из названий такого рода учебного заведения. Можно придумать короче и благозвучнее. Но дело не в названии. Дело в том, чтобы выпускник этого учебного заведения в семнадцать лет (или даже в шестнадцать лет, если в школу начнут принимать с шести лет, как это делается сейчас в ряде стран) получал бы хорошее общее образование подобно выпускнику лучших наших средних школ, а вместе с тем и хорошее специальное образование подобно выпускнику лучших наших техникумов и других специальных средних учебных заведений.

Реально ли это? Да, реально при надлежащей постановке дела.

И неверно, будто при этом дело сводится к ранней профессионализации, которая, как общеизвестно, ничего хорошего не сулит. Речь идет о том, чтобы восемнадцатилетний гражданин Советского Союза не только писал выпускные и вступительные сочинения, что труд — благо, а тунеядство — зло, но чтобы он сам, собственной головой и собственными руками познал, что такое труд и что такое честно заработанный рубль. Без этого немислим социально зрелый человек. Немислим без умения толково делать хоть что-нибудь, иными словами — без специальности.

Конечно, плоховато, если молодой человек ошибется и придется идти на дополнительные расходы средств и сил, чтобы переквалифицироваться. Но это полбеды, даже ничтожная доля беды по сравнению с той настоящей бедой для общества, когда из средней школы выходит человек, стремящийся лишь к одному — поступить в какой-нибудь институт, а там видно будет. Хуже такого педагогического брака быть уже вообще ничего не может.

Но сумеет ли обыкновенный молодой человек, будь он хоть сто раз акселерант, закончить одновременно и «лучшую из средних школ» и «лучший из техникумов»? Нет, если останется существующая система: шесть часов уроков плюс шесть часов в день домашних заданий. Да! — если будут шире применяться оправдавшие себя прогрессивные методы обучения.

Нынешняя общеобразовательная школа не очень-то общеобразовательна. Уже говорилось, что она в свое время была задумана и реализована, по сути, как подготовительный факультет для поступления во вуз. В этой роли она вполне на высоте. Но ее абитуриенты имеют самое смутное представление о современной науке и технике, литературе и искусстве, не знают ни автодела, ни бытовой техники, ни иностранного языка, ни высшей математики, ни экономики, ни экологии, ни этики, ни эстетики. Настало время позаботиться о действительно общем образовании в неразрывной связи с профессиональным.

Лекции, семинары, учебное кино и телевидение, специальные учебники по одному и тому же предмету отдельно для «профессионалов» и для «непрофессионалов», для тех, кто собирается изучать предмет досконально для своей будущей работы, и для тех, кому достаточно прочитать увлекательное учебное пособие, чтобы понять что к чему на всю жизнь, если это не их будущая профессия, — вот лишь некоторые из тех неисчислимых резервов, которые пока почти совершенно не тронуты и которые способны дать за два-три года достаточно высокие общие и специальные знания одновременно. А если к этому добавить регулярную производственную практику на протяжении каждого учебного года, минимум месячную летнюю практику каждый год и еще год-два преддипломной практики перед окончанием среднего учебного заведения, то к восемнадцати—девятнадцати годам молодой человек имеет все шансы стать широкообразованным и высококвалифицированным специалистом.

А дальше, видимо, перед ним должны быть широко распахнуты двери вечерних университетов для получения общего высшего образования. Это образование человек высокой культуры может и должен повышать всю свою последующую жизнь. Он имеет право выбрать любой любимый предмет или круг предметов, будь то математика или социология, кибернетика или искусствоведение, космогония или фенология. Этого можно добиться только в том случае, если подсистема общего высшего образования по статусу и престижу (а главное — по организации обучения) ничем не будет уступать подсистеме специального высшего образования, если вечерний университет во всех отношениях станет равнозначен университету государственному.

Наконец, требует изучения вопрос о целесообразности дифференциации специального высшего образования. Здесь следует руководствоваться не честолюбием абитуриента или его родителей, а потребностями общественного производства в дипломированных специалистах разного профиля и уровня. Надо ли всем до единого будущим инженерам и агрономам, педагогам и некоторым другим специалистам просиживать на студенческой скамье пять-шесть лет, зубрить то, что заведомо не потребуется в их будущей работе, выходить из стен вуза недостаточно подготовленными к своей производственной деятельности и еще два-три года заканчивать «второй вуз» непосредственно в цехе, на поле, в школьном классе? Может быть, целесообразнее прислушаться к предложению преобразовать нынешние техникумы на базе всеобщего среднего образования в первую ступень специального высшего образования для подготовки так называемых практиков, составляющих подавляющее большинство дипломированных специалистов? Два-три года основательной теоретической подготовки и еще два-три года реальной преддипломной практики непосредственно на производстве со сдачей минимумов по четко определенному кругу общих и специальных дисциплин. Может быть, в результате мы получим более грамотного и опытного, а главное — более зрелого в профессиональном и социальном отношении командира производства, педагога детсада, начальной и средней школы? Не забудем: ведь он придет в вуз из ПТУ со средним образованием.

Конечно, по ряду специальностей (в частности, для подготовки врачей и научных работников) двух-трехлетней теоретической подготовки может оказаться мало. Что ж, пусть готовятся еще два-три года. Но выпускник вуза должен будет твердо знать: на производстве ему будут платить не за количество лет, проведенных на студенческой скамье, а за то, как им инженером, агрономом, педагогом, врачом он покажет себя в жизни. Раньше допустимо было приплачивать

за дипломы: обладателей было очень мало и они служили как бы маяками для остальных. Ныне же, когда счет докторам наук пошел у нас на десятки тысяч, кандидатам наук на сотни тысяч, научным работникам и деятелям культуры, инженерам и агрономам, медицинским работникам и педагогам и того больше, резонен вопрос: а что обладатель диплома умеет делать? За что конкретно он претендует на повышенную зарплату?

Не хотелось бы, чтобы краткость (по необходимости) в изложении сложных вопросов, связанных с путями дальнейшего совершенствования нашей системы народного образования, произвела впечатление излишней категоричности суждений. Очень многое здесь требует еще раздумий, исследований, экспериментов... Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС особо выделил вопрос о «необходимости дальнейшего серьезного совершенствования всей общеобразовательной системы, и в первую очередь — средней школы. В современных условиях, — указывал он, — когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации. Тут нас ждет большая работа. Конечно, работа осмотрительная, вдумчивая, без ненужной ломки или поспешных решений».

#### 4

Половинная рабочая неделя для матери с малолетними детьми. Полдюжины ребятишек на одного воспитателя, педагога. Мгновенное выполнение любого заказа в магазине и ателье по первому телефонному звонку. Срочный консилиум опытных врачей при первом же обращении в поликлинику, безо всякой записи и безо всякой очереди. Реально ли это? Да, реально, но только при условии, если производительность труда в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве повысится настолько, что один справится за пятерых и окажется возможным высвободить десятки миллионов рабочих рук для сфер культурно-бытового обслуживания, народного образования, здравоохранения и т. д.

Но реально ли такое повышение производительности труда? Да, реально. Если сравнить средний уровень производительности труда с передовыми мировыми стандартами или с нашими же собственными рекордными достижениями, то разрыв все еще значительный, следовательно, резервы есть, и необходимо лишь привести их в действие.

Ускорение темпов роста производительности труда — ключевая социальная проблема образа жизни. От решения ее в значительной мере зависит успешное решение десятков других социальных проблем, в том числе обеих упомянутых выше. Вот почему партия и правительство обращают особое внимание на эту сторону дела. Производительность труда растет у нас высокими темпами. И все же нас не удовлетворяют такие темпы. Необходимо сделать все возможное, чтобы темпы стали еще выше. Главная задача десятой пятилетки, говорится в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», состоит в последовательном осуществлении курса Коммунистической партии на подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства и повышения его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях народного хозяйства.

Решению этой ключевой социальной проблемы уделялось и уделяется первостепенное внимание. Но решить ее, пожалуй, посложнее и потруднее, чем две предыдущих и десятки им подобных.

При капитализме существует сугубо негативный стимул труда: снизил темп, упала работоспособность — вон, на улицу! Может быть, уволенный и найдет другую работу. Все равно он как прокаженный. Чтобы избежать подобной социально-экономической расправы с ним, работник годами выкладывается в невероятном напряжении, как спортсмен на финише. Лишь бы удержаться, лишь бы не уво-

лили! Ум человеческий не выдумал ничего бесчеловечнее такого стимула. Производительность труда резко возросла. Но какой ценой! Половина больничных коек в США и других капиталистических странах занята неврастениками, и одна из причин — бесчеловечные условия труда и быта.

Социализм начисто покончил с негативными стимулами как средствами повышения производительности труда. Исчез страх перед расправой, и это величайшее социальное достижение нового общественного строя. Взамен выдвинут мощный позитивный стимул, самый мощный из всех, какие знала история: каждому по труду, то есть зарплата, престиж, почет, слава сообразно количеству и качеству труда. Этот принцип действует и поныне. Сложности его применения связаны только с деталями, а именно с вопросами как и чем измерять количество и качество труда.

До недавних пор можно было удовлетворяться приблизительными оценками. Количество измерялось в основном по валу: вспахал тысячу гектаров — получишь вдвое больше вспахавшего пятьсот. Сшил три костюма — получишь вдвое больше сшившего один. Что же касается качества, то в дело вступал «поправочный коэффициент квалификации». Условно предполагалось, что продукция токаря шестого разряда должна быть гораздо выше по качеству, чем у токаря четвертого разряда, за что и шла соответствующая надбавка. Точно так же условно предполагалось, что доктор наук давал научную продукцию вчетверо более качественную (если судить по зарплате), чем младший научный сотрудник без ученой степени. И это было в какой-то мере оправдано: высококвалифицированных рабочих было сравнительно немного в огромной массе низкоквалифицированных, докторов наук на всю страну в свое время насчитывалось несколько сот. Что же касается действительного качества продукции, то оно по необходимости оставалось на втором плане. Остро не хватало всего — автомашин, тракторов, одежды, обуви, книг. Все шло нарасхват, все раскупалось мгновенно — давайте только товары.

Но вот развитие достигло высокого уровня. Положение стало меняться. Если вспахал тысячу гектаров, а урожая с них получил меньше, чем с пятисот, то за что же платить вдвое? Если сшил три костюма, а они три года пылятся в «неликvidaх», если написал книгу, а ее никто не читает, — за что же платить? Шестой ли у тебя разряд или десятый, доктор ты или фельдшер — если качество твоей работы не удовлетворяет потребителя, то не спасает никакое количество.

Вот почему качество продукции получило ныне первостепенное значение. Не случайная десятая пятилетка провозглашена пятилетней эффективности и качества. Ускорение темпов роста производительности труда оказывается неразрывно связанным с ускорением темпов повышения качества продукции.

Формула решения этой двуединой ключевой социальной проблемы образа жизни: зарплата и почет по количеству и качеству продукции, доведенной до потребителя, с возможно более длительным гарантийным сроком потребления. Но, как вы сами понимаете, претворить эту формулу в жизнь одним махом невозможно. Требуется высокая степень культуры и организации труда, сознательности и дисциплинированности работников, увязка тысяч проблем: заказчик — поставщик, а иногда даже заказчик — подрядчик — поставщик. Требуется активное участие трудящихся не только в обсуждении, но и в принятии решений с коллективной заинтересованностью и ответственностью за их выполнение (при строгом соблюдении единоначалия и с персональной ответственностью руководителя за организацию выполнения решения согласно принципам демократического централизма). Требуется «обкатка» новых, прогрессивных форм организации труда в десятках и десятках социальных экспериментов, прежде чем дать новым формам дорогу в жизнь.

Бригадный подряд в строительстве, щекинский опыт в промышленности, безарядные звенья в сельском хозяйстве — все это вехи на пути к оптимальному решению сложнейшей социальной проблемы. Усилить стимулирующую роль оплаты по труду, обеспечить прирост продукции, как правило, при той же или меньшей численности работников, полнее учитывать в планах общественные по-

требности и предусматривать их удовлетворение при наименьших затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов, осуществлять переход к планированию и оценке деятельности строительных организаций по законченным и сданным заказчикам готовым объектам, развивать эффективные формы привлечения трудящихся к управлению производством — таковы наметки «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», связанные с решением этой проблемы. Обеспечивать усиление стимулирующей роли заработной платы в росте производительности труда, ускорение научно-технического прогресса, повышение качества продукции и снижение ее себестоимости, более широкое применение прогрессивных форм материального поощрения за увеличение выпуска продукции с меньшей численностью работников (бригадная оплата за конечные результаты труда в промышленности и других отраслях, аккордная оплата труда, особенно в строительстве и сельском хозяйстве)...— читаем мы в том же документе.

Так шаг за шагом решаются социальные проблемы образа жизни.

\* \* \*

На основе роста экономики и повышения эффективности общественного производства обеспечить более полное удовлетворение возрастающих материальных и духовных потребностей народа, последовательное развитие социалистического образа жизни, дальнейшее совершенствование социальной структуры советского общества, говорится в тексте «Программы социального развития и повышения уровня жизни народа». Это обязывает советских ученых более всесторонне и глубоко разрабатывать научные проблемы социальных потребностей, социальной структуры, образа жизни. И это придает социальным проблемам образа жизни особую актуальность в смысле соответствующего формирования общественного мнения, мобилизации сил советского общества на выполнение решений XXV съезда КПСС.



---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН ГОЛИК



## ПОЛЕ ДРУЖБЫ, ПОЛЕ БОРЬБЫ

1

**Н**аш век живет под воздействием идей Великого Октября, и «траектория» современного литературного процесса все в большей мере испытывает силу притяжения марксистско-ленинской идеологии. Направлением, определяющим художественный климат времени, давно уже стало искусство социалистического реализма, разработка его творческих принципов, пополнение теоретического арсенала; эти процессы носят ныне международный характер, осмысление новых явлений, углубление понятий, уточнение критериев ведется представителями разных стран на основе мирового опыта социалистической литературы и искусства. Выявляются общие закономерности и национальные особенности, анализируется конкретный вклад отдельных культур в сокровищницу мировой социалистической культуры.

Поиски и открытия художников и теоретиков стран социализма подчинены главной цели — полнее раскрыть характер современника, строителя нового мира. «Заслуга наших писателей, художников в том, — сказал Л. И. Брежнев в Отчетном докладе на XXV съезде КПСС, — что они стремятся поддерживать лучшие качества человека — его принципиальность, честность, глубину чувства, исходя при этом из незыблемых принципов нашей коммунистической нравственности».

Укрепление интернациональных позиций социалистического реализма — характерная черта современности. Передовой метод творчества переживает сейчас этап нового подъема, находит новых сторонников среди прогрессивных мастеров культуры буржуазного Запада. Наши 70-е годы можно рассматривать как важную веху в развитии художественной практики и тео-

ретической мысли социалистического реализма. Сложившийся в недрах этой практики, он прошел уже большой путь и на разных этапах обогащался новыми качествами. Новое в художественном процессе и обуславливает углубление и обогащение творческого метода, теории. Марксистская эстетика проверяет себя, сопоставляя свои принципы с живым развитием, движением литературы и искусства. Все увереннее объединяет усилия теоретическая, литературно-эстетическая мысль стран социализма. Поставив перед критикой задачу всемерного укрепления ленинских принципов партийности и народности, борьбы за высокий идейно-эстетический уровень произведений, постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» особо обратило наше внимание на необходимость активизации «усилий ученых в исследовании современного художественного процесса, взаимодействия культур стран социалистического содружества».

Полезно сравнить положения этого исторического документа с важными документами VI пленума ЦК Социалистической единой партии Германии, пленума, специально обсуждавшего задачи развития социалистической культуры. На пленуме подчеркивалось, что искусство социалистического реализма должно стремиться к художественному освоению нового в действительности, к раскрытию «заложенных в ней ростков будущего», к поиску новых тем и новых форм изображения. Остро встал вопрос о развитии сотрудничества между мастерами культуры стран социализма.

На другом, VIII пленуме ЦК СЕПГ Э. Хонеккер в заключительном слове говорил: «В культуре мы также являемся поборниками нового, развивающегося мира — мира социализма. Эта культура включает в себя все прогрессивное, что есть на

земле, и выступает в поддержку всего того, что прокладывает человечеству путь в будущее. Это культура, которая постоянно обогащается прежде всего благодаря все более тесным связям нашего народа с жизнью Советского Союза и других социалистических стран».

Проблемы развития литературы и искусства нашли свое отражение в докладе Я. Кадара на прошедшем в марте 1975 года XI съезде ВСРП и других документах. В конце 1972 года в Будапеште было опубликовано постановление Рабочей группы по вопросам культурной политики при ЦК ВСРП «Некоторые вопросы литературной и художественной критики», содержащее глубокий анализ состояния литературной и художественной критики и наметившее задачи повышения ее эффективности. В октябре 1974 года Рабочая группа напечатала новый документ — «Актуальные вопросы социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма», в котором отмечается значение международного опыта Советского Союза и других стран социалистического содружества.

Проблемы развития и сближения социалистической культуры находят в поле зрения всех братских партий. Мало этого, они постоянный предмет совместных обсуждений того, что можно назвать стратегическими задачами идеологического характера. Таким образом, интернационализм, единый марксистско-ленинский курс, прочно доминирует в культурной политике коммунистических партий стран социализма.

Складывается новый тип идеологического сотрудничества в области интернациональных культурных отношений, основанных на единстве идейно-эстетических принципов — партийности, народности, высокой ответственности мастеров культуры перед обществом. Этот тип отношений между народами, которые строят социализм, выражается, как сказала Анна Зегерс, в интернациональном сознании, в «одинаковом восприятии и отношении к жизни, в том, что у людей одинаковый критерий порядочности, одинаковое представление о том, что считать справедливым и что несправедливым».

Литература социалистического реализма отличается не только идейной цельностью, единством метода, но и художественным богатством, эстетическим многообразием. В период зрелого социализма она особенно расширяет духовный горизонт, обогащает

палитру новыми красками. Все это, естественно, находит отражение в теоретическом осмыслении современного литературного процесса. Широкое признание получили теоретические труды советских ученых — М. Храпченко, Ю. Барабаша, Б. Сучкова, Д. Маркова, Т. Мотылевой, А. Овчаренко, С. Петрова. Значителен вклад в литературную науку болгарских теоретиков — Т. Павлова, П. Зарева, В. Колевского, венгерских — Й. Сигети, Бела Кёпели.

Смелый поиск, марксистская наступательная позиция отличают теоретические исследования, которые ведутся в ГДР. Прежде всего следует назвать фундаментальный труд «К теории социалистического реализма» (1974), созданный коллективом литературоведов и искусствоведов, под общей редакцией известного теоретика лауреата Национальной премии Ганса Коха. Важно, что в нем теоретические проблемы социалистического реализма органически связываются со всем художественным процессом, включающим в себя многие явления культуры развитого социалистического общества. В нем отчетливо обнаруживается стремление выйти за рамки литературоведческой сферы (которой часто ограничиваются теоретические работы), сформулировать эстетические принципы, которые были бы обращены ко всему ансамблю искусств. Привлекает в этом труде и то, что читатель все время ощущает точки соприкосновения, живую связь социалистического реализма с реалистическим искусством прошлого и здоровыми современными тенденциями художественного развития в капиталистическом мире. Известно, что буржуазные и ревизионистские теоретики конструируют далекие от науки схемы, в которых искусство социалистического реализма относится к явлениям «пропагандистским», «утилитарным», изолируется от классического наследия и прогрессивного искусства наших дней. Путь социалистического реализма в интерпретации этих теоретиков выглядит как бы прерывистым. В частности, они прогивопоставляют литературу первых послевоенных лет литературе нынешнего десятилетия. Книга немецких ученых опровергает их измышления и убедительно показывает, что социалистический реализм — закономерный результат художественного развития человечества, стадия его высокой зрелости.

Многие прозаики, поэты, драматурги, вышедшие из буржуазной среды, ясно осо-



знали, что пути подлинного искусства и революционного народа нераздельны. Гражданская и художественная честность привела их к новому миропониманию, к новому эстетическому кодексу, к новому, социалистическому гуманизму. Другие же, честные и талантливые, с ненавистью смотревшие на буржуазную действительность, но не нашедшие верного пути, не понявшие революционного движения пролетариата, остались на позиции наблюдателей, созерцателей жизни, погрузились в разного рода формальные эксперименты, в поиски «высочайшей» виртуозности в сфере языка. Этот процесс размежевания, выбора, определения пути продолжается и сейчас.

Принципиально новыми процессами ознаменован период зрелого социализма. Начинается такой этап социалистической культурной революции, когда идеология рабочего класса, марксистско-ленинской партии становится идеологией широчайших народных масс, всего общества. Без этого научного мировоззрения невозможно правильно понять и эстетически освоить окружающую действительность. Тесная связь партии и мастеров культуры, коммунистической идеологии и эстетического метода, благотворно влияет на художественную практику, на развитие литературной теории.

Литература и искусство в период развитого социализма все в большей мере способствуют сближению стран и народов. Укрепление социалистического единства, ни в малейшей мере не ущемляющее национального своеобразия отдельных культур, благодаря взаимному обмену, использованию опыта других культур делает каждую национальную культуру все более богатой, более зрелой.

В спектре проблем, поднимаемых немецким ученым В. Гирусом в книге «Линии будущего. Размышления о теории социалистического реализма» (1974), на первый план выступает проблема эстетической активности искусства, отношения к наследию прошлого. «Свободное» обращение модернистов с реальными событиями приводит к отрицанию, разрушению, разрыву исторических связей, искаженному изображению общественной жизни и человеческих характеров. Нигилистическое отношение к опыту прошлого неизбежно обедняет эстетическую палитру современного художника и может привести его на путь ложного новаторства.

Основой художественных открытий социалистического реализма стала новая действительность. Художественное открытие предполагает не только фиксацию того, что уже заявило о себе в жизни, но и раскрытие возможностей, которые присущи реальной действительности. Некоторые теоретики модернизма не прочь порассуждать об этой особенности художественного творчества. Однако в основе таких рассуждений — желание вообще изгнать действительность из сферы искусства, заменить ее субъективными рефлексиями, возможное и вероятное сделать единственным предметом изображения.

Немецкий литературовед К. Ярмац в исследовании «Прогресс в искусстве социалистического реализма» (1974) показывает новаторский характер, внутренние движущие силы социалистического реализма и ту дополнительную энергию, которую он получает от постоянного взаимодействия с прогрессивным реалистическим искусством современного мира в противоборстве с различными модернистскими течениями.

Теоретики социалистического реализма разных стран все глубже осваивают ленинскую теорию отражения, раскрывают ее значение для литературы и искусства наших дней. Этому посвящена работа Э. Прахта «Отображение и метод. Эссе о социалистическом реализме» (1974). Серьезное внимание автор уделяет рассмотрению понятия художественной правды. Он опровергает концепции буржуазных ученых, сводящиеся к тому, что искусство будто бы не принимает участия в познании мира, в расширении человеческих представлений о нем, в открытии истины, в «добывании правды», а также убедительно критикует тех представителей буржуазной науки, которые пытаются разорвать эстетическую и познавательную функции искусства, понятие партийности «вынести за скобки» художественной правды, рассматривать его обособленно, придав ему чисто метафорический характер.

Идеологическая направленность, партийность литературы и искусства социалистического реализма вытекают из глубокой убежденности, мироощущения самих творцов художественных ценностей, а не приносятся извне, как это пытаются представить буржуазные критики. Социалистическое видение, социалистическое восприятие действительности художником — вот где корни партийности литературы и искусства.

Говоря об отношении социалистического реализма к живой действительности, следует подчеркнуть, что наш метод — при всей его эстетической широте — не имеет ничего общего с мифологизацией искусства, которую настойчиво насаждают буржуазные и ревизионистские теоретики. Миф у них несет в себе антиисторизм, элементы отрицания прогресса. Это совершенно противоречит той концепции мира, которую афористично выразил Б. Брехт: «Социализм — это вступление разума в историю».

Отстаивая конкретно-исторический подход к художественному произведению, интересные мысли о значении для искусства ленинской теории отражения высказывает чешский теоретик Сава Шабуок, опубликовавший в 1973 году книгу «Берега реализма», а затем новую работу «Социалистический реализм и проблема художественной правды» (1975).

Актуальные вопросы современного художественного процесса и теории социалистического реализма все чаще становятся предметом совместного обсуждения литературоведов и критиков социалистических стран. Результатом таких встреч, ставящих целью объединенный поиск научной истины, выработку общей точки зрения, явился ряд коллективных трудов. На русском языке вышли книги: «Литература в изменяющемся мире» («Художественная литература». 1975), «Борьба идей в эстетике» («Искусство». 1974), «Современные проблемы литературоведения и языкознания» («Наука». 1974), на немецком — «Мир в социалистическом стихотворении» («Ауфбауферлаг». 1974). В создании этих книг принимали участие авторы из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии. Радует то, что здесь обнаруживаешь стремление исследователей проникнуть в динамику художественного мышления, в глубинные процессы. С сопоставления внешних признаков, тематического сходства произведений акцент перемещается на раскрытие закономерностей, типологической общности, внутреннего родства, единых методологических критериев.

Характерной для нашего времени стала активная заинтересованность художников слова в теоретическом осмыслении новых явлений литературы и искусства. Вопросы теоретического характера обсуждаются на съездах и встречах писателей. Растет число писательских книг о художественном твор-

честве («По велению души» М. Шолохова, «Писатель, искусство, время» К. Федина, «Литература и время» Л. Леонова, «Контрапункт» Э. Межелайтиса и многие другие). В таких книгах — осмысление собственного литературного опыта, диалог с читателем, размышления о путях развития искусства слова. Выступления мастеров культуры по творческим проблемам — факт сам по себе примечательный, свидетельствующий о нерасторжимости художественного творчества и эстетической мысли, о сближении литературы и критики. Собственно, это одна из важнейших традиций социалистической литературы и искусства. Широко известно, какой большой вклад в эстетическую мысль внесли выдающиеся художники разных стран — Горький и Маяковский, Иоганнес Бехер и Бертольт Брехт, Станислав Костка Нейман и Никола Вапцаров, Владислав Броневский и Аттила Йожеф, Мартин Андерсен-Нексе и Пабло Неруда. Теоретические поиски крупных мастеров литературы и искусства — составная часть всего художественного процесса, проявление общей закономерности, выражение общей концепции, передового направления эстетических исканий нашего времени.

## 2

Роль советской литературы все возрастает в мире, овеянном свежими ветрами Хельсинки. Советский Союз подает пример истинно серьезного отношения к духовным ценностям других народов. Наша страна находится на первом месте в мире по переводам и изданию (на русском и других языках народов СССР) зарубежной литературы. В СССР вышли в свет произведения более 1200 писателей стран социалистического содружества — это свыше 8 тысяч названий книг общим тиражом более 30 миллионов экземпляров.

Книги советских писателей читают во многих уголках земного шара, на разных языках. По данным ЮНЕСКО, каждый год в 50 государствах мира издается около 2500 книг и брошюр советских авторов. Выходящую у нас художественную литературу на иностранных языках закупают 130 стран.

Как друга и советчика, активного помощника в строительстве новой жизни встречают советскую литературу в братских

странах социализма. В Болгарии, например, 60 процентов всей переводной литературы — книги советских авторов. Кроме того, произведения наших писателей, изданные на русском языке, расходятся там общим числом примерно 16 тысяч экземпляров в год. Общий тираж произведений советской литературы, распространенных в 1974 году в Болгарской Народной Республике, население которой 8 миллионов человек, превысил 8 миллионов экземпляров.

Проникнутые духом интернационализма, произведения советской художественной литературы становятся насущной потребностью, органично входят в духовный мир человека нашей эпохи. «Ничто так непосредственно и плодотворно не воздействует на формирование человека, как правдивая, высокогуманная, написанная с идейной убежденностью книга, — подчеркивал Первый секретарь ЦК БКП Т. Живков. — А именно такой является советская книга, без которой нельзя было бы объяснить ни героизма нашей борьбы против фашизма и капитализма, ни успехов за тридцать лет свободной жизни».

А вот факты из современной действительности ГДР. Социальная и нравственная проблематика советской литературы близка трудящимся республики. Поэтому произведения наших авторов воспринимаются там так же горячо, обсуждаются с таким же интересом, как и книги немецких писателей. Этим и объясняется все усиливающийся приток советской художественной литературы в культурную жизнь первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян. Статистика говорит, что количество ввозимых в ГДР советских книг возросло с 1971 по 1973 год на 140 процентов. Если в 1966 году издательства ГДР выпустили 266 произведений советских писателей, то в 1973 году число книг увеличилось до 383 и составило свыше 48 процентов всей переводной литературы, изданной в республике за год. Новинки советской прозы, поэзии, драматургии сравнительно в короткий срок попадают на книжные полки читателей ГДР благодаря тесным связям издательств наших стран: в 1972 году было опубликовано 50 названий новых книг из Советского Союза, в 1973 — 63, а в 1974 году — 73.

В Германской Демократической Республике широко исследуются основные черты и тенденции развития советской литературы. Помимо обзоров и статей, которые

систематически появляются в периодической печати, наши немецкие друзья создали ряд интересных монографических работ, посвященных отдельным проблемам и отдельным писателям. В последнее время вышли в свет фундаментальные труды «История русской советской литературы» в двух томах и «История многонациональной советской литературы». Заслуживает упоминания еще одна книга — «Встреча и союз», вышедшая в берлинском издательстве «Академи». В ней обстоятельно и глубоко прослеживаются тенденции развития и взаимовлияния двух социалистических литератур — советской и немецкой (ГДР). Книга эта привлекает внимание и составом авторов и широтой проблематики. Примечательно, что в ней участвуют писатели, критики и ученые двух братских стран. Такие книги помогают читателю глубже понять идейно-эстетическую суть произведений писателей различных творческих манер и лучше обозреть панораму современного литературного процесса в целом.

Интернациональная миссия советской литературы удачно выражена в словах Германа Канта. «Если литература одной страны, — подчеркивал он в приветственном слове на V съезде советских писателей, — может сказать о себе, что она помогла гражданам другой страны, других стран вообще, обрести революционное понимание жизни, стала органической частью сознания других народов, то эта литература должна знать, что она блестяще выдержала испытание на интернационализм и сослужила огромную службу делу мира и взаимопонимания».

Все шире входит советская литература в круг чтения венгерских читателей. На их книжных полках уже стоят книги многих наших классиков и современных писателей. В Будапеште издается «Библиотека советской литературы» в пятнадцати томах, куда входят лучшие произведения прозы, поэзии и драматургии. Более плодотворными становятся контакты критиков и литературоведов двух стран в области литературной науки, исследования актуальных проблем художественного процесса. Общими усилиями недавно выпущена серьезная книга «Европейский романизм», большая работа проделана над новым совместным трудом «Великая Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература».

В конце прошлого года вышла в свет на

русском и польском языках «Книга друзей» — своеобразная антология произведений писателей СССР и Польской Народной Республики, рассказывающая о традиционной дружбе наших народов и литератур, у истоков которой стояли бессмертные Пушкин и Мицкевич. В опубликованной здесь статье Леона Кручковского интерес польских читателей к советской литературе объясняется тем, что она «не только своими наиболее выдающимися достижениями, но и в целом, как общее явление, как направление определенной творческой динамики, восстанавливает гуманистическую основу человеческой солидарности, ныне уже совершенно чуждую буржуазной литературе».

Расширяются и углубляются наши литературные связи с Чехословакией, Румынией, Демократической Республикой Вьетнам, Монголией, Кубой. Большой успех советской художественной литературы в странах социализма, живой интерес огромной читательской аудитории СССР к лучшим произведениям писателей братских стран — одно из свидетельств взаимовлияния и взаимообогащения национальных социалистических культур. Черты родства прозы, поэзии, драматургии, все более тесные творческие контакты писателей и критиков социалистического содружества — проявление в конкретных формах общих закономерностей, тенденций развития социалистического искусства, интернационального по своему характеру.

Естественному процессу сближения национальных художественных культур активно способствует политика коммунистических партий братских стран. В январе этого года в Гаване состоялось совещание руководителей книгоиздательского дела десяти социалистических стран — Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии, которое наметило конкретную программу дальнейшего расширения сотрудничества в области издания и распространения литературы. Политика коммунистических партий, направленная на взаимосближение культур, проявляется в самых разных организационных формах: в совместном обсуждении важнейших творческих проблем, в переводе произведений литературы, в выпуске специальных номеров литературных журналов, в репертуаре театров, в регулярном обмене выставками изобразительно-

Интерес к советской литературе растет и в капиталистических странах. Здесь большую роль играет журнал «Советская литература», выходящий на многих иностранных языках и завоевывающий все большую популярность на разных континентах. Он знакомит зарубежных читателей с новыми произведениями советской художественной прозы, поэзии, драматургии, рассказывает о творчестве писателей разных национальностей нашей страны. Журнал активизирует интерес издателей к советской литературе. Только за восемь месяцев прошлого года были заключены договоры на издание 1808 книг советских писателей за рубежом. Заметно увеличился, например, книгообмен между СССР и Англией. В числе английских фирм, проявляющих интерес к советской литературе, и крупнейшая корпорация «Пергамон пресс». С этим издательством подписано долгосрочное соглашение, предусматривающее издание до 30 произведений советских авторов в год. И английские деловые круги, и английские читатели заинтересованы в широком сотрудничестве в области литературы. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует английский еженедельник «Букселлер»: «У Советского Союза есть что продавать, продукция его издательства, до того неизвестная в Великобритании, — новый и богатый источник для перевода на английский язык».

У советской литературы немало подлинных друзей, живущих в разных странах, друзей, которые высоко ценят масштабность проблематики и высокие художественные достоинства нашего искусства. И все-таки удельный вес его в культурной жизни народов капиталистического мира еще недостаточно высок. Г. Марков в докладе на XXV съезде КПСС сказал: «К сожалению, на Западе часто делают вид, что, дескать, мир социализма стремится сдерживать обмен культурными ценностями. Но так ли это? Возьмем, к примеру, лишь три страны: США, Францию, Англию. Только за послевоенные годы у нас выпущено около 7 тысяч произведений американских авторов, по 4,5 тысячи издано английских и французских авторов. Общий тираж этих книг составляет свыше 600 миллионов экземпляров. Цифры, как видите, внушительные. А что же издано в этих странах из нашей литературы и какими тиражами? Мало, скудно, во много раз меньше, чем у нас. Так кто же сдерживает обмен, кто

перед кем в долгу? Вывод, как говорится, ясен: без лишних слов».

Советская литература, проникающая в мир капитала, встречается там с двумя противоположными тенденциями. Одна из них обладает как бы силой притяжения, помогая демократическим слоям населения знакомиться с художественными ценностями социалистического искусства, другая наделена силой отталкивания — реакционная буржуазная критика фальсифицирует произведения советских писателей, трактует их заведомо искаженно.

Сознание того, что искусство слова призвано активно вторгаться в общественную жизнь, влиять на судьбы мира и прогресса, порождает у передовых писателей капиталистических стран внутреннюю потребность более пристально всматриваться в развитие эстетической мысли, следить за художественной практикой Советского Союза и других стран социализма.

Интерес писателей к Советскому Союзу и советской литературе связан с их стремлением находить верные творческие и жизненные ориентиры. На повестку дня сегодня встала одна из важнейших проблем художественного творчества — проблема реализма. Обсуждение ее интенсивно идет в ФРГ. Примечательно, что дискуссии о творческих принципах приводят прогрессивных писателей от простого понимания важности реалистического метода в литературе к осознанию более высокой истины — необходимости служения своим искусством передовым идеям века, к признанию принципов партийности литературы. Категория партийности после V съезда советских писателей стала предметом оживленного обмена мнениями в демократических кругах художественной интеллигенции Западной Германии.

Характерным примером того, как в сложном процессе общественного развития, идейно-эстетической борьбы в условиях капиталистической действительности художник становится на более четкую идейную позицию, может служить биография западногерманского писателя М. Вальзера. В начале 60-х годов он придерживался той точки зрения, что писатель должен соблюдать «дистанцию» по отношению к политической партии, что это якобы дает лучшую возможность приносить пользу. И от врача, говорил он, не ждут, чтобы он ложился в постель к больному, которому хочет помочь, — бывают заразные болезни. Одна-

ко весь ход общественно-политической жизни в ФРГ, американская агрессия во Вьетнаме и другие события на международной арене привели его к другому пониманию миссии писателя. Выступая на рабочей конференции ГКП в марте 1974 года, он сказал: «Многие считают меня членом ГКП, хотя я им не являюсь. Значит, такое впечатление на людей я произвожу своими выступлениями или статьями. Но я хотел бы, чтобы такое же впечатление производили и мои книги».

Еще более определенно обнаруживает свою идейную позицию молодой, популярный ныне драматург Франц Ксавер Крещ. Его привлекают люди, ищущие социальной справедливости, возлагающие основные надежды на пролетарскую солидарность, открывающие реальную жизненную перспективу в активном действии, в классовой борьбе. Крещ вынашивает замысел написать пьесу «ГКП живет», где будущее реалистического искусства было бы связано с образом сознательного борца за дело прогресса — коммуниста. Такая позиция, несомненно, требует мужества от художников, ибо произведение искусства, в котором коммунист изображается положительно, не имеет в Западной Германии шансов увидеть свет театральной рампы, попасть на телевизионный экран или прозвучать по радио. И тем не менее художник слова должен сделать выбор. «Писатель, — констатирует Крещ, — который желает бороться за дело прогресса, стоя на политической нейтральной позиции, это боксер, наносящий удары по тени... Лишь писатель, развивающийся в направлении к социализму, представляет для господствующих классов опасность».

В своих теоретических рассуждениях, а равно в художественной практике Крещ утверждает мысль о реализме как единственном художественном методе, который позволяет с наибольшей полнотой раскрыть закономерности жизни в исторической перспективе.

Определенный тон в дискуссии о реализме задает прогрессивный мюнхенский журнал «Кюрбискерн». Выступая активным посредником между советской и западногерманской литературами, он за десять лет своего существования приобрел самый большой тираж по сравнению с другими литературными журналами Западной Германии. Журнал объединил вокруг себя силы писателей, стоящих на позициях реализма. Он фактически определяет уровень

сегодняшней прогрессивной литературной критики в ФРГ. На его страницах систематически печатаются Мартин Вальзер, Гюнтер Вальраф, Гюнтер Гербургер, Уве Тимм, Герд Фукс, Макс фон дер Грюн и другие прозаики, поэты, критики. Этот печатный орган продолжает демократические, революционные традиции немецкой литературно-эстетической мысли, обращается к опыту развития культуры в странах социализма.

В кругах демократической интеллигенции ФРГ все чаще высказываются за сотрудничество с Советским Союзом в области культуры. Эту идею с большой убежденностью развивал профессор Гарольд Раш, председатель Германно-советского общества во Франкфурте-на-Майне, в книге «Бонн и Москва. О необходимости германно-советской дружбы» (1969). Лейтмотив этого серьезного труда выражен уже в эпиграфе, взятом из Томаса Манна: «Россия и Германия должны лучше знать друг друга. Они должны рука об руку идти в будущее». В книге критически рассмотрена вся послевоенная политика Западной Германии, обнажены ее уязвимые места, показана пагубность для немецкого народа реваншистского курса Аденауэра. Вместе с тем автору удалось собрать крупицы опыта, в том числе и из области культурных связей, свидетельствующие о важности и плодотворности сотрудничества наших народов. Всей логикой рассуждений и труднооспоримых фактов он подводил читателя к выводу о необходимости для ФРГ дружбы с Советским Союзом.

Новые оттенки внесло время и во взгляды официальных боннских политиков, отвечающих за культурное сотрудничество ФРГ с другими странами.

В начале 1971 года правительство ФРГ обнародовало «Тезисы внешней политики в области культуры». В них подчеркивалась роль культуры как «части динамического процесса, происходящего в обществе, который обозначает путь к интернациональному сотрудничеству». И хотя кое-что здесь выглядело декларативно, не подкреплялось конкретными предложениями, появление «Тезисов» уже было заметным сдвигом, изменением к лучшему. Вскоре как бы в их развитие правительственная газета «Дас парламент» опубликовала статью Оскара Шрлета, высказавшегося за такое культурное сотрудничество между Западом и Востоком, которое опиралось бы на реальную политику, сложившуюся в мире, а

не на старую догму о превосходстве европейской культуры.

Ныне «третья сцена внешней политики», как называют в боннских официальных кругах сферу культуры, определенно расширила свой интернациональный репертуар. Ганс Арнольд, руководитель отдела культурной политики федерального министерства иностранных дел, в статье, опубликованной в пятом номере журнала «Ойропа-архив» за 1975 год, подчеркивает активизацию внешних контактов ФРГ в области культуры. Причем Европу, куда включает он и Советский Союз, называет темой номер один. Автор подчеркивает значение договора в области культуры с СССР и совместных усилий, направленных на претворение его в жизнь, что создает платформу для более широкого обмена культурными ценностями. Однако, как явствует из статьи, объем культурного сотрудничества ФРГ с европейскими странами социализма пока еще невелик и составляет лишь 16 процентов ее европейского баланса, 84 процента средств расходуются на культурный обмен с капиталистическими странами Западной Европы.

### 3

Процессу международной разрядки, который все отчетливее заявляет о себе в сфере культуры и культурного обмена, противостоят, однако, и тенденции прямо противоположные. Страницы западной прессы стали своеобразной ареной борьбы этих двух тенденций.

Правда о Советском Союзе, о нашей культуре все чаще находит отражение в статьях, публикуемых в западной печати писателями, побывавшими в СССР. Впрочем, и в путевых очерках разных авторов советская действительность предстает поразному — все зависит от мировосприятия автора. Генрих Гейне когда-то остроумно заметил об одной особенности такого рода литературы: «...чего нельзя вывести из своих наблюдений, всегда можно ввести от себя». Слова эти вспоминаются, когда читаешь книгу Вольфганга Геддеке «Путешествие по России» (1974). Поэт и публицист впервые приехал в Советский Союз, посетил Москву, Ленинград, Сибирь, во все глядывался пристально, жадно прислушивался к мнениям и суждениям, не упускал случая задавать вопросы людям самым разным. И написал книгу об увиден-

ном, услышанном и о своих размышлениях в дни путешествия по нашей стране. Многие увидел автор неожиданного для себя, нового, волнующего. Гедеке как бы заново пережил ужас минувшей войны, бушевавшей на огромных просторах России. Там где-то, в проплывающей под крылом самолета чужой земле, лежит его двоюродный брат Герхард, участвовавший в восточном походе Гитлера. В Царском Селе, под Ленинградом, гость с берегов Рейна услышал из уст простого советского человека слова, одобряющие ратификацию в Бонне исторического договора между СССР и ФРГ, и назвал их «неопровержимым голосом народа». Из своих наблюдений Гедеке выводит факт мирного устремления нашего народа и факт невозможности покорить Россию военным путем.

Не ускользнули от писательского взора и новые черты в духовном облике советского человека. В Иркутске его покорила рабочие чайной фабрики знанием литературы не только русской, но и немецкой — Гёте, Гейне, Ремарка. «Мы были поражены, — признается Гедеке. — Такое увлечение литературой невозможно себе представить в подобных социальных кругах ФРГ». Не без сожаления он добавил при этом, что доступ советской книги к западногерманскому читателю все еще неоправданно затруднен. Из своих наблюдений автор выводит также, что в СССР очень высок общественный авторитет писателя. В книге встречаешь места, написанные с неподдельным чувством восхищения нашей страной, городом на Неве, картинами русской природы, которую он называет огромным эмоциональным резервуаром поэзии.

Однако вторым планом в книге проходит то, что автор «вводит от себя», — философские размышления, которые резко контрастируют с описаниями увиденного и услышанного. Сделав оговорку, что он приезжал в Советский Союз не как турист-революционер или ходатай по делам социализма, а просто как «упрямый наблюдатель», Гедеке начинает настойчиво проводить идею конвергенции, твердить, что нет якобы существенной разницы между капитализмом и социализмом и что обеим этим системам должно быть противопоставлено другое общество, другое товарищество. Что же это за общество? «Своего рода аскетическое общество, — резюмирует автор, — кооперация обеих больших общественных систем вместе со всеми их вари-

антами». Желая остаться «над схваткой», философствуя о примирении, Гедеке просто повторил избитые антисоветские тезисы о тоталитарном обществе, о контролируемой литературе и воздал хвалу модной ныне доктрине буржуазных идеологов о конвергенции. Читателя «Путешествия по России» поражают алогичность, противоречивость выводов этой книги, которая, кстати, не осталась незамеченной прессой Запада.

Журнал «Литератур унд критик» напечатал открытое письмо своего редактора Женни Эбнер Вольфгангу Гедеке по поводу его книги. Обращает на себя внимание одно положение этого письма. Разделяя общую концепцию путевых заметок, фрау Эбнер всячески стремится опровергнуть Гедеке, пишущего о таких качествах русских людей, как душевность, откровенность и сердечность, что, по его мнению, не часто встретишь на Западе. Если же русские этими качествами и действительно обладают в большей мере, то это, на ее взгляд, свидетельствует скорее не о превосходстве, а об их... отсталости.

Процесс разрядки напряженности, «таяния льдов», утверждения здоровой атмосферы сотрудничества активизирует силы прогресса и демократии, но антисоветизм по-прежнему остается оружием международной реакции. Разрядка даже по-своему «подхлестывает» его!

В легионе антикоммунизма одно из ведущих мест принадлежит советологам Федеративной Республики Германии. Это объясняется тем, что они наиболее активны, что от них исходят многие концепции, теории и методы, получающие потом хождение и в других странах, — по расчетам международной реакции, после второй мировой войны «воинствующий антикоммунизм в ФРГ... должен был стать как бы острием копья мирового империализма, направленного против социализма в Европе» (см. книгу «Современный антикоммунизм. Политика, идеология». М. «Международные отношения». 1973).

Кажется парадоксальным, но в ФРГ число учреждений и организаций, занимающихся исследованием социалистического Востока, увеличилось по сравнению с гитлеровскими временами в два с лишним раза! Сейчас идеологический спрут, известный под названием «Остфоршунг», объединяет более ста таких институтов, обществ под самыми разными вывесками. Многие

из них, в том числе и, так сказать, головное учреждение — государственный федеральный институт по изучению восточной и международной политики, первейшее внимание уделяют именно проблемам советской литературы и искусства.

Ряды советологов довольно разношерстны. Но они, как бы следуя доктрине старого прусского маршала «идем врозь, сражаемся вместе», создают свою интеграцию. После первого международного конгресса, состоявшегося в Западной Германии в 1956 году, подобного рода форумы советологов проходили затем в Австрии, Голландии, Греции, Японии. Одной из последних иллюстраций к такому «объединению усилий» служит шеститомная энциклопедия «Советская система и демократическое общество» (1972). Она создана западногерманскими советологами в тесном сотрудничестве с их коллегами из других стран. Это «плод усилий» более четырехсот авторов, на титульном листе ее стоят имена советологов ФРГ, США, Англии, Франции!

Примером того, как ревизионистские «новации» теоретиков используются советологами для своих «нужд», может служить наследие Георга (Дьердя) Лукача. Смерть венгерского философа и эстетика в 1971 году вызвала новую волну интереса к его личности, его книгам и его концепциям. В буржуазной печати появились статьи, в ход пошла параллели, сопоставления, аргументы.

Все промахи, все ошибочные суждения Лукача, идущие вразрез с марксизмом, берутся на вооружение буржуазными критиками, используются в борьбе против социалистического реализма, против советской литературы. Близость, а точнее, приверженность к ревизионистским идейно-эстетическим положениям Лукача легко обнаружить в теоретических рассуждениях, скажем, такого западногерманского советолога, как Лео Кофлер. В книге «Абстрактное искусство и абсурдная литература. Эстетические заметки» (1970), касаясь некоторых проблем социалистической литературы, воспринятия искусства буржуазного и социалистического, он почти дословно повторяет Лукача. «В действительности,— пишет Кофлер,— довольно трудно обозначить ясный рубеж между социалистической литературой коммунистического Востока... и современной буржуазной литературой».

## 4

Стремясь дискредитировать нашу литературу, советологи сосредоточивают основные удары на ее герое, в котором особенно полно выражен жизнеутверждающий характер коммунистической идеологии.

В своих суждениях о советской литературе буржуазные критики стремятся всеми силами приуменьшить значение Великого Октября, его воздействие на широкие массы, закрыть глаза на то, что Октябрь — это и революция человеческого духа, в которой участвует не только разум, но и сердце, что в нашем обществе меняется не только внешняя, но и внутренняя, духовная биография человека. Эти перемены хорошо почувствовал немецкий писатель Бодо Узе, сказавший в статье «Мысли о Ленине»: «Перемены, которые совершаются в людях после Октябрьской революции благодаря Ленину, касаются не только отношения их к труду, их представления о справедливой зарплате, их отношения к государству, религии или их понимания литературы. Они, эти фактические перемены, коснулись и личной жизни людей и даже таких явлений, которые ошибочно считались неизменными, как наши ощущения и чувства, ненависть, дружба и любовь, радость и боль. И в этом мы изменились, приобрели новые оттенки, приняли другое направление, другие формы и другое содержание, каждый из нас — и поэт, и рабочие, и белый, и желтый, и черный».

О том, какое большое воздействие на зарубежных читателей оказывает герой советской литературы, воплощающий в себе высокие идеалы коммунизма, хорошо говорит такой эпизод недавнего времени. На международной писательской встрече в Вильнюсе, где вопрос о герое современной литературы стоял в центре обсуждения, слово взял Вольфганг Йохо, старый немецкий романист, написавший много книг. Он сказал, что «Цемент» Ф. Гладкова в 20-е годы открыл для него совершенно новый мир, что главный герой этого произведения человек новой формации Глеб Чумалов оказал на него настолько сильное воздействие, что он решил вступить в Коммунистическую партию Германии, стать борцом за дело трудящихся...

Представляю, как для будущих исследователей любопытно будет сопоставление двух миров, двух потоков книг, литературоведческих трудов. С одной стороны —



книги советских писателей, чутко реагирующих на глубинные процессы общественного развития, изменения психологии, интеллектуального уровня героя, утверждающих, что человек становится все сложнее, многограннее. Если говорить о самых «сегодняшних» книгах такого рода, то это «Сибирь» Г. Маркова, «Кузнецкий мост» С. Дангулова, «Берег» Ю. Бондарева, это широко популярная повесть В. Титова «Всем смертям назло», где выведен герой цельный, готовый на самопожертвование во имя дела, за которое мы боремся.

Но будущему исследователю откроются и ниспровергатели этой литературы. На каком же философском фундаменте строят буржуазные критики советской литературы свои концепции личности, свое понимание литературного героя? Да на чем угодно, на теориях самых разных, старых и новых, сходных и разноречивых, пессимистических и псевдооптимистических. Советологи ищут опору и у тех, кто видит в научно-технической революции причину человеческого кризиса, и у тех, кто объявляет «человека индустриального» прототипом личности для будущего, они со всем согласны, только бы наличествовал в этих теориях реактив антикоммунизма.

Советологи всеми способами стремятся противопоставить «изначальный марксистский идеал индивида» социалистической личности наших дней, подчеркнуть утопичный характер «марксистского видения» человека будущего. Они твердят, будто бы коммунизм в состоянии породить лишь «гомо экономикус» или «гомо политикус».

Западногерманский критик Петер Йокостра в статье «Литература и политика», опубликованной в февральском номере журнала «Литератур унд критик» за 1975 год, бросает упрек всему «восточному блоку» в пренебрежении личностью, в том, что якобы в странах социализма на первом плане экономика, что там стремятся только к одному: «...любой ценой, даже ценой человеческой жизни... воздвигнуть новый химический комбинат или открыть новые залежи руды».

Мечта всех советологов, как признавалась в книге «Бунт личности» Гелен фон Сахно, — возникновение в советской литературе таких персонажей, которые стали бы «вместилищем всех сокровенных надежд, голосом открытого и скрытого протеста». Им видится «конец социалистического реализму», видится, как наше искусство,

«освободившись от натуралистического и идеологического эпитонства, устремляется к абсолютному».

Тревогу в стане советологов вызвал успех у западного читателя таких произведений, как романы К. Симонова, повести Василя Быкова, «Блокада» А. Чаковского, только что вышедшая в издательстве «Реттебергер». Впрочем, советологи и раньше никогда не упускали из поля зрения довольно большой массив советской литературы, связанной с темой Великой Отечественной войны. В их статьях и рецензиях, где идет речь о советской военной литературе, встречается немало вздора: повторяются стереотипные рассуждения о причинах поражения гитлеровских войск на Восточном фронте (суровая зима и огромные пространства России), героизм Советской Армии низводится до второстепенного фактора... Некоторые буржуазные критики, рассматривая произведения нашей литературы, старательно выискивают во взглядах их авторов «раздвоенность души».

Типичная фигура такого тенденциозного критика — Карл Аймермахер из ФРГ. Его перу принадлежит напечатанная в третьем томе энциклопедии «Советская система и демократическое общество» статья о военной литературе. Аймермахер задался целью сравнить советскую военную литературу и немецкую. Принимая позу бесстрастного судьи, выступающего с «общечеловеческих позиций», он, однако, довольно последовательно искажает характер Великой Отечественной войны советского народа против фашистского нашествия. На фронтах сражались «просто люди», просто солдаты немецкие и советские. Литературу о войне он перелистывает «как альбом со страшными картинками», с подписями на разных языках, где рассказывается о долге солдата вообще, о мужестве, стойкости, о смерти. Аймермахер говорит о фашистской литературе, но ни слова о том, что это она проповедовала идеи расизма и войны, отравляла сознание людей ядом ненависти ко всему гуманному, человеческому. Ни слова о том, что уже в конце 20-х и начале 30-х годов прогрессивные художники разоблачили суть этой литературы, в частности Вальтер Беньямин в статье «Теории немецкого фашизма», написанной по поводу выхода в свет сборника статей «Война и воин», показывал всю опасность проповедуемой в литературе идеологии войны, прославления разбоя и насилия.

В энциклопедической статье Аймермахе-ра не нашлось места ни для того, чтобы отметить значение прогрессивной литературной критики в борьбе с профашистскими концепциями искусства, эстетизирующими войну, ни для того, чтобы подчеркнуть роль всей эмигрантской немецкой литературы, внесшей солидный вклад в разгром фашизма. Советская военная литература, столь разнообразная и по тематике и по эстетическому богатству, охарактеризована как литература, «художественные достоинства которой отстают на задний план перед господствующей идеологической схемой».

Любопытно, что советологии свойственно свое «развитие». Прошло время голого, глобального отрицания всей литературы социалистического реализма. Конечно же, когда Сабина Брандт в статье «Социалистический реализм» (1969) просто отметала все положительное в советском искусстве, тут примитив налицо: она писала, например, что в странах социализма «руководство» определяет, какое произведение литературы и почему относится к социалистическому реализму, пользуясь при этом критериями, которые меняются вместе с политической ситуацией...

В последнее время советология все чаще прибегает к мимикрии, силится выглядеть непредвзятой. Так, Иоганнес Хольтхузен, автор многих тенденциозных работ о русской и советской литературе, в книге «Россия в стихах и прозе» (1973), выдержанной, в общем-то, в том же недоброжелательном духе, пускается в рассуждения о методах интерпретации советской литературы и журит своих коллег за то, что они настойчиво охотятся за фактами внелитературного характера. Он даже называет такой способ анализа опасным.

Другой интерпретатор советской литературы, Вольфганг Казак, написавший книгу «Стиль К. Г. Паустовского» (1971), казалось бы, демонстрирует чисто лингвистический интерес к предмету. Он берет для разбора лишь пять рассказов писателя и рассматривает их с помощью нового формалистического метода, довольно безразличного к идейной стороне произведения. Но Казак то и дело отступает от избранных им принципов и свои структурные схемы дополняет «тонкими» идеологическими штрихами, которые придают облику разбираемого писателя нужный оттенок. И получается, что Паустовский — исключение в советской ли-

тературе, художник, противостоящий канонам социалистического реализма, и т. д. Примерно в таком же духе препарировал Казак и творчество Виктора Розова. Казак проследживает творческий путь мастера советской драматургии, высоко ценит его талант, но при этом всеми силами стремится противопоставить Розова другим советским писателям, главным тенденциям современного литературного процесса.

## 5

Наш современный идеологический противник многолик.

В сложных взаимоотношениях с советологией находятся теоретики «новых левых», которые, высмеивая пороки буржуазной цивилизации, свои критические стрелы направляют против искусства социалистического. Деградацию западного искусства теоретик из ФРГ Адорно, например, не связывая ее с современным этапом развития капитализма, рассматривает как вообще некое радующее явление времени. Другой буржуазный теоретик культуры, Г. Маркузе, слышущий среди бунтующих «новых левых» пророком будущего, в книге «Контрреволюция и бунт» утверждает, что искусство и культура должны искать спасения в бегстве от политики, от идеологии, в отчужденности от общества. Заодно он перечеркивает традиции прогрессивной гуманистической культуры и отрицает перспективы развития искусства социалистического реализма.

Не удивительно, что ультралевые всех разновидностей — и современные «интерпретаторы» ветхих заветов Каутского, и последователи Троцкого, и приверженцы идей Мао Цзэ-дуна — в последнее время все более активно участвуют в антикоммунистическом разгуле, в кампании клеветы на социализм, на страны социалистического содружества. Представляя собой раздробленные группировки и секты, они совершенно дискредитировали себя в глазах рабочих, зато в глазах реакции приобретают все больший авторитет. Их бунт против капиталистического строя носит чисто «словесный» характер, их общей платформой действий стал антисоветизм. В минувшем году западногерманское издательство «Ровольт» выпустило книгу, одна из глав которой так и называется — «Антикоммунизм — узаконенная проблема немецких левых». Растущий интерес к социализму, к

наследию Маркса, Энгельса, Ленина по-своему используют антикоммунисты. Спекулируя на этом интересе, они подсовывают читателю свой товар вроде изготовленной Фрицем Радацем книги «Карл Маркс. Политическая биография» (1975), которую коммунистическая газета «Унзере цайт» назвала «биографией Анти-Маркса».

Где-то между «академическими» советологами и разнузданными «левыми», между проповедниками «массовой культуры» и откровенными неонацистами нашли себе место те, кто борется против социалистической литературы с помощью лозунга так называемой деидеологизации. К примеру, такой литератор, как Гюнтер Грасс, столь наглядно и последовательно демонстрирующий свою ангажированность буржуазной системой и не скрывающий ненависти к коммунизму, даже он на словах не прочь предать идеологию анафеме, «отлучить» ее от литературы. В книге «Двойная интерпретация», где рассматриваются проблемы развития поэзии и ее восприятия, Грасс заявлял, что в лирике он все «постижимые» предметы освобождает от идеологии. Вольфганг Геддеке и Ульф Михе в предисловии к составленной ими антологии стихов «Панорама современной лирики» отмечали, что у современного стихотворения «один главный враг: он называется идеологией».

Новейшее создание буржуазной теоретической мысли — «теория фантазии и новой чувствительности», проповедуемая Г. Маркузе и П. Шнайдером. В ней на первый план выступает субстанция переживания, бессознательное, отбрасывается все понятийное, логическое, любые анализы и выводы. Здесь взято «всего понемногу» от философии Бергсона, Дильтея, Шпенглера.

Подобные идеи оказались по душе Петеру Хандке, молодому прозаику и драматургу, вышедшему в ФРГ на авансцену литературной жизни. Он признает только автономию языка и отрицает все категории и идеологии и самой реальности. Хандке не видит различия между монополистическим капитализмом и социализмом, для него такие понятия, как Гитлер, Освенцим, напалмовая бомба, слишком политичны, чтобы их использовать в литературе. Автор антироманов и модернистских пьес, Хандке выпустил и книгу теоретических и критических статей под претенциозным названием «Я — обитатель башни из слоновой кости». В чем же состоит его творческое кредо? Художественный метод, по его

мнению, при повторном обращении к нему низводится до тривальности, до ремесла. Хандке утверждает одноразовость и неповторимость творческих принципов. «Метод моей первой пьесы,— пишет он,— состоял в том, чтобы прийти к отрицанию всех предыдущих методов».

К чему же на практике может привести писателя такая позиция? Гёте когда-то заметил, что «содержание без метода ведет к фантазерству, метод без содержания — к пустому умствованиям». Нет, вовсе не так уж наивны фантазии Хандке, чуждые реализму, абсолютизирующие индивидуальные ситуации, далекие от общественных проблем времени. Мартин Вальзер не без резонности видит в сочинениях Хандке боязнь разума, бегство от сложных проблем, потому что автор не в состоянии дать на них ответ. В его пьесах пропадает все историческое, связь человека со временем. Другой критик, Райнгард Баумгард, характеризует творчество Хандке как «литературный плод болезненного миража самолюбования».

Модернистская литературная критика, основанная на идеалистической философии, попирающая художественную мысль, метод, основывает свои приговоры на абстрактных нормативах, психологических нюансах и капризах чувств. Один из ее представителей, Райх-Райницки, предупреждает читателя, чтобы тот не искал в его статьях никаких принципов. «Критика рождается из соприкосновения с живым произведением искусства,— пишет он,— а живое произведение взрывает все дамы теории, не заботится о правилах и критериях, презирает принципы, разрушает масштабы». Так кризисному состоянию в художественном творчестве соответствует и кризисное состояние в литературной критике, разрыв между литературой и читателем. Чем дальше отходит буржуазное искусство от проблем времени, теряя свою роль в жизни общества, тем ответственнее роль критики, ее значение для широкого читателя.

Показав на примере литературной жизни ФРГ характерные для Запада процессы, хочется еще раз подчеркнуть, что как бы ни были влиятельны писатели «модернистской серии», не они определяют ведущую тенденцию развития литературного процесса. В широких творческих кругах ведется поиск возможностей объединить силы на совместной платформе, укрепить кон-

такты с массами. Если съезд немецких писателей в 1970 году проходил под девизом «солидарность одиночек», то съезд 1974 года свидетельствовал о явном обращении к политической проблематике: было принято заявление против фашистского переворота в Чили, раздавались протесты против ущемления свободы мастеров культуры, подчеркивалась необходимость общественной ответственности писателей. Доклад Гюнтера Вальрафа назывался «Радикалы на службе общественности».

За активность общественной позиции художника сегодня высказываются многие писатели. Зигфрид Ленц выступает за связь писательского труда с буднями общественной жизни, за искусство слова, которое «восстанавливает действенный пакт с читателем», дабы способствовать уменьшению социального зла. Романист и критик Дитер Веллерсхоф в диалоге с писателем Иоахимом Фурманом, опубликованном в третьем номере журнала «Акценте» за 1975 год, называет литературу медиумом познания жизни, средством обновления и расширения представлений о ней; сам процесс создания общественно значимого произведения, процесс писания для него есть «акт солидарности», в то время как писатели, пренебрегающие логикой социального развития, остаются наедине со своей субъективной логикой, производят искусство для искусства, «литературу, отражающую литературу».

У мастеров культуры разных творческих пристрастий все более ошутимо проявляется сознание нераздельности искусства, жизни и политики. Недовольство писателей Запада буржуазным общественным миропорядком обнаруживают такие произведения прозы, как «Время встать» Аугуста Кюна (1975), «Горячее лето» Уве Тимма (1974), поэзия Клауса Конецки, Петера Майвальда, Франца Йозефа Дегенхардта. В книгах этих и других писателей ощущается новая реальность. Этот процесс подтверждает мысль В. И. Ленина о том, что «социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма»<sup>1</sup>.

Проблемы развития общества сейчас, в пору разрядки напряженности, становятся предметом острых дискуссий в писатель-

ской среде, активизируют эстетическую мысль, более заметно входят в произведения литературы и искусства. Положение в мире все настойчивей требует от писателей капиталистических стран выбора пути, определения своего места в борьбе социальных сил. Прогрессивное искусство смелее вторгается в политику, пытается влиять на тенденции общественного развития. Прогрессивные писатели все яснее осознают свою ответственность за здоровую атмосферу на планете, за судьбы человечества, все более близкой становится им великая истина — будущее мира связано с социализмом.

В период нарастания революционного процесса, смены «духа времени» активнее заявляют о себе в каждой национальной культуре капиталистического Запада демократические, социалистические элементы.

Литература социалистического реализма, подлинно новое направление современного искусства, несущее в себе «элемент будущего», рисующее реальную перспективу человеческого бытия, изо дня в день расширяет сферу своего воздействия. Этому способствует и оздоровление международного политического климата. Общевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству открыло новые возможности для развития контактов, расширения культурного сотрудничества между народами.

«Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка,— говорил Л. И. Брежнев в докладе на XXV съезде КПСС,— создают благоприятные возможности для широкого распространения идей социализма. Но, с другой стороны, идейное противоборство двух систем становится более активным, империалистическая пропаганда — более изощренной.

В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтралizmu и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям».

В этих словах с большой глубиной раскрыты основные тенденции современной эпохи и со всей ясностью определена задача, стоящая перед нашим идеологическим фронтом, в том числе и перед советской литературной наукой.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 193.



---

В. ПОРУДОМИНСКИЙ



## НЕ УКЛОНЯЯСЬ ОТ ДОБРА И ПРАВДЫ

К 150-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева

**Г**лавный труд А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» давно издается под названием «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева». Между тем Афанасьев не сочинял сказок и, за редким исключением, сам не записывал — лишь издал. Но потомки присвоили сбереженным сокровищам имя Афанасьева, как присваивают имена открывателей новым землям и законам науки: остров Врангеля, таблица Менделеева, сказки Афанасьева...

Труд огромен: около 600 сказок сохранил Афанасьев для будущих поколений, возвратил народу. Если отметить на карте, откуда пришла сказки в сборники Афанасьева, краска ляжет вдоль западных границ России, захватит северные земли, подползет к горам Кавказа, густо покроеет Поволжье, переберется через Уральский хребет; расщеченными окажутся больше 30 губерний — Вологда и Астрахань, Орел и Пермь, Гродно и Оренбург, Казань и Харьков...

Издание сказок не только как основа для научных исследований и тем более не как самоцель, но как исполнение долга, возвращение народу сторицей того, что взято у него, — эту важную историческую и нравственную сторону труда Афанасьева почувствовали уже современники. Один из них сообщал Афанасьеву из деревни: «Книжки ваши надобно прятать, чтобы их не затаскивали в избы, а дети слушают их охотнее всех нравственных рассказов и повестей».

«Народные русские сказки» — далеко не все, что успел сделать за недолгую жизнь Афанасьев. Но именно они оказались нужнее всего и дороже всего новым поколениям. Потомки сами определяют, что для

них главное в жизни ушедшего человека. Для нас Афанасьев — «сказочник».

Справедливости ради заглянем в собственноручно составленный Афанасьевым список напечатанных его трудов. Он содержит 134 названия: научные статьи, публикации, книги, журнальные рецензии, выпуски народных сказок, обширное трехтомное исследование «Поэтические воззрения славян на природу». Рядом с нашумевшим сборником «Народные русские легенды», который вызвал гнев высшего духовенства, скромно притулился под одним общим номером беглый перечень библиографических заметок — и среди них «Заметки к изданию соч. Пушкина», содержащие многие прежде не опубликованные строки поэта, в том числе не пропущавшиеся цензурой. Рядом с широко известной книгой о русских сатирических журналах XVIII столетия упоминается «Указатель статей к «Отечественным запискам» Свиньина» — справки о статьях, аннотации, указатели имен, мест, предметов, составленные с таким трудолюбием и такой тщательностью, которые, по словам Чернышевского, дают составителю «полное право на благодарность всех занимающихся русскою историею». Тематическое разнообразие трудов Афанасьева открывает широту его интересов и познаний: устное творчество народа и славянская мифология, русская история и история литературы, журналистика и этнография.

Современники отдавали должное необыкновенной эрудиции Афанасьева. «Вы, конечно, следите за всем, что выходит по русской истории», — писал Некрасов только что окончившему университет Афанасьеву, предлагая ему готовить для «Современника» разборы всех выходящих книг и

«принять на себя ответственность за полноту» отдела критики. Краевский, которому не откажешь в умении подбирать сотрудников, замышляя «Энциклопедический лексикон» и подыскивая редакторов разделов — «ученых, на знания и добросовестность которых вполне можно положиться», просил Афанасьева принять на себя составление статей по истории всеобщей, археологии, генеалогии, мифологии, геральдике, нумизматике, русской истории, истории народов славянских, а также народов нерусских, входящих в состав России. Семевский, едва начал выпускать «Русскую старину», также обратился к Афанасьеву: «У Вас такая масса материалов и столь обширные сведения в области отечественной истории, археологии и этнографии, что Вам без труда можно поддержать издание, встречаемое публикой с самым лестным сочувствием».

Есть нечто общее в посмертной судьбе большинства собирателей: дело каждого широко известно, долго служит людям, бережно и радостно принимается новыми поколениями, а о человеке-деятеле мы знаем, как правило, обидно мало. Может быть, горы накопленных сокровищ, которые вроде бы и не являются детищем собственно творчества собирателя, скрывают за собой его личность, перипетии его жизни.

Афанасьев не избежал обычной участи. Десяток небольших некрологических статей, запечатлевших, когда они написаны кем-либо из приятелей, некоторые черты его натуры и подробности биографии, да два очерка о его жизни и трудах, приложенных к посмертным изданиям его сказок, — один принадлежит А. Е. Грузинскому (издание 1897 года), другой Ю. М. Соколову (издание «Academia», 1936). И хотя читателей давно привлекает образ Афанасьева такой, каким он предстает даже по немногим печатным источникам и, конечно же, по собранию сказок, потому что поставленные им перед собой задачи, отбор материала, его расположение, объяснение и использование достаточно определенно раскрывают его личность, — все это не унимает, а лишь еще сильнее возбуждает желание узнать о нашем «сказочнике» возможно больше<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В последние годы появилось несколько работ, углубивших наши представления об А. Н. Афанасьеве. См.: Э. В. Померанцев. Судьбы русской сказки. М. 1965;

Личного фонда Александра Николаевича Афанасьева в архивном справочнике не значится. Но таковой существует и насчитывает десятки единиц хранения. Большая часть афанасьевских документов «купятана» в фонде Якушкиных — это бумаги, сохраненные его другом Евгением Ивановичем Якушкиным, сыном декабриста. Письма Афанасьева и сведения о нем находим в фондах его знакомых — Забелина, Срезневского, Пыпина, Щепкиных. Профессор Грузинский, работая над биографией Афанасьева, собирал воспоминания современников, хотел «представить личность и деятельность А. Н. Афанасьева в возможно полном виде». «Цели издания и ряд внешних условий» (то есть цензурные затруднения) позволили ему написать «лишь небольшой биографический очерк». Но часть заготовленных им «припасов» сохранилась в его архиве.

Самым замечательным из архивных материалов является так называемый дневник Афанасьева, озаглавленный самим автором «Дневник. Отрывки из моей памяти и переписки». Заголовок определяет своеобразие документа, хотя и не в полной мере. «Дневник» Афанасьева менее всего повседневные записи событий его личной жизни. «Я убежден, что записки частного человека могут быть весьма любопытны, если он сумеет представить характеристичные черты того общества, какое в разное время окружало его детство, юность и старость», — объяснял Афанасьев задачу, которую ставил перед собой. Состав «Дневника» определяется на первых же страницах: «Если бы кто вздумал записывать все ходячие слухи как образчик современного настроения общественного мнения, собирать все доступные частные письма, почемуже-либо интересные, и сочинения, подвергнувшиеся ценсурной опале, я думаю, лет в десять составил бы прелюбопытный и поучительный сборник».

В «Дневнике» между разрозненными заметками встречаем страницы уже как бы

И. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденции «Полярной звезды». М. 1966; Л. М. Равич. «А. Н. Афанасьев и журнал «Библиографические записки». — «Советская библиография», 1971, № 6; С. Лазутин. «Дневник А. Н. Афанасьева», — «Подъем», 1973, № 4. Позволю себе назвать также свою работу — «Я полюбил Пушкина еще больше» (Пушкин в «Библиографических записках». Из писем Афанасьева к Геннади), — «Прометей», 1974, № 10.

обработанные, имеющие характер связанных статей, документальных рассказов, воспоминаний: о 1848 годе, о Белинском, о петрашевцах, о проектах освобождения крестьян, о крестьянских бунтах и студенческих волнениях, о положении литературы в конце 50-х годов, о различных общественных событиях. Без труда обнаруживается отличное знакомство Афанасьева с зарубежными изданиями Герцена, подпольной революционной литературой, с ходившими по рукам произведениями вольной русской поэзии. На страницах «прелюбопытного сборника» находим запрещенные стихи, выдержки из прокламаций, записи речей, отчеты о театральных представлениях и заседаниях ученых обществ, рассказы очевидцев о различного рода происшествиях, ходячие анекдоты, каламбуры. Мысль Афанасьева о том, чтобы каждая заметка о «виденном, слышанном и испытанном мною самим» была частичей и отражением общественных явлений, политических и культурных, в дневнике очень ощутима.

26 октября 1848 года: «Видел недавно у М. С. Щепкина Гоголя; он среднего роста, лицо несколько выдающееся вперед и весьма выразительное, глаза исполнены живости; носит усы, испаньолку и длинные черные волосы. Весь вечер говорил он тихо, вполголоса и преимущественно со стариком Щепкиным, других, кажется, не хотел удостоивать своим разговором. Рассказывают о нем, что он наконец образумился и сам Недоволен своей «Перепиской». Дай-то Бог, а плохо верится».

28 апреля 1850 года: «Был на выставке, на которой главное, на что следует смотреть, это картины и эскизы Федотова. Прелесть как хорошо! И лица, и сцены, и обстановка — все на этих картинах знакомое, все целиком и неподдельно взято из русской обиходной жизни. И купец, и офицер, и чиновник, и барыня, старуха с возлюбленной Фиделькой, и дьячок — представлены с их типическими особенностями и так верно, естественно, что лучшего и пожелать нельзя. Каждая картина, по содержанию своему, есть целая повесть...»

Январь 1857 года: «Видел возвратившихся декабристов и удивлен, что люди, так много и долго пострадавшие, могли так сохранить свои силы и свежесть чувства и мысли. Матвей Ив. Муравьев и Пушчин возбуждали общую симпатию. По приезду своем в Москву Пушкин был жив, весел и остроу-

мен; он мне показался гораздо моложе, чем на самом деле, а его оживленная беседа останется надолго в памяти. Либеральничавшим чиновникам он шутя говаривал: «Ну так составьте маленькое тайное общество»...»

«Дневник» Афанасьева не опубликован (за исключением нескольких выборочных записей) и, к сожалению, по-настоящему не вошел в научный обиход. Из автобиографических материалов посмертно напечатаны подготовленные к изданию самим автором и частично его друзьями воспоминания Афанасьева о детстве, гимназических годах и Московском университете.

Александр Николаевич Афанасьев родился 11 июля 1826 года, буквально за два дня до виселицы на кронверке Петропавловской крепости, до костров, в огне которых сжигали эполеты и мундиры «государственных преступников», до кандалного звона, который обозначал их дальний путь в каторгу. Дата рождения Афанасьева много говорит об «условиях тогдашней русской жизни», в которых ему предстояло жить, предполагает необходимость выбрать смолоду свое отношение к этим «условиям», определенные убеждения.

У Е. И. Якушкина читаем: «Афанасьев был человек с очень определенными и твердыми нравственными понятиями, не допускавшими никаких компромиссов. Человек прямой, он высказывал свои мнения, ничем не стесняясь, и нередко с большой резкостью... Меня привлекала к нему его нравственная чистота и та прямота в характере, которая и тогда (как и теперь) встречалась очень редко».

...Осенью 1848 года, когда встревоженное европейскими революциями русское правительство видело всюду «опасный дух», министр народного просвещения Уваров приехал в Москву осматривать университет. Нескольким наиболее способным студентам, и Афанасьеву в их числе, было предложено прочитать в присутствии министра лекции. «Афанасьев, может быть, рассчитывал, что его лекция откроет или облегчит ему путь к кафедре», — объяснял Грузинский. В «Дневнике» Афанасьева читаем: «Я прочел коротенькую лекцию о влиянии государственного (самодержавного) начала на развитие уголовного права в XVI и XVII столетиях на Руси. Лекция эта вызвала несколько замечаний министра, из которых, однако, я не догадался тотчас же

согласиться». Такая «недогадливость» закрывала Афанасьеву путь на кафедру. Впрочем, немалую роль сыграло, видимо, и само содержание лекции, вызвавшей замечания министра: не случайно Шевырев объявил лекцию чуть ли не «крамольной», а Погодин обвинил Афанасьева в том, что он является представителем новых воззрений на русскую историю.

Научные взгляды Афанасьева складывались под влиянием его молодых университетских учителей Соловьева и Кавелина, но это не мешало ему не соглашаться с теми или иными их утверждениями, а порой горячо спорить с ними. «Мы убеждены, что добросовестный спор лучше безусловных и никому не нужных похвал», — писал Афанасьев, разбирая первый том соловьевской «Истории России с древнейших времен».

Еще студенческая работа Афанасьева «Государственное хозяйство при Петре Великом» была напечатана в «Современнике»; Белинский писал Кавелину об этой работе: «Я совершенно согласен с Вами насчет достоинств статьи Афанасьева, но более как статьи ученой, нежели журнальной».

После окончания университета Афанасьев не сразу нашел службу и вынужден был жить уроками. В это время Кавелин настойчиво предлагал ему заняться историей русского законодательства: «Могу вам обещать и деньги и имя». Но Афанасьев уже увлечен устным народным творчеством, народными верованиями; он предпочел самостоятельно идти по избранной стезе, надеясь «как-нибудь выкарабкаться до материального обеспечения».

Вскоре увидели свет первые работы Афанасьева, в которых он, по словам Пыпина, «обратился на объяснение народного мифа, предания, поэзии и следов древности в современном быте и обычае» («Дедушка домовый», «Религиозно-языческое значение избы славянина», «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями», «Ведун и ведьма», «Мифическая связь понятий: света, зрения, огня, металла, оружия и желчи» и др.).

Афанасьев старался разгадать содержание старинных преданий, поверий, обычаев, обрядов, обнаружить в них следы древнейших представлений и быта; эти уцелевшие следы помогали ему, в свою очередь, восстанавливать характер мироощущения и картину быта древнейших народов. Статьи Афанасьева — серьезные, подкрепленные

обильным фактическим материалом изыскания и при этом живые, исполненные творческого воображения рассказы, пластические и красочные реконструкции материальной и духовной жизни языческих предков. Знаменательно, что расхождения Афанасьева с Соловьевым касались, в частности, и видения прошлого: Соловьев, по мнению Афанасьева, «провозглашает бесцветность там, где автор не вгляделся в краски». Даже в одном этом замечании открывается и характер афанасьевского исследования и характер самого исследователя.

В первых же работах Афанасьева выказаны общие идеи, которые он утверждал и развивал впоследствии в течение всей своей жизни.

Кавелин писал: «Обряды, религиозные верования, предрассудки упорно хранят тайну своего значения и смысла. Чтобы заставить их говорить, нужны известные приемы, известная манера, способ спрашивать».

Способ спрашивать, который применял Афанасьев, чтобы заставить говорить материал своих исследований, выдавал в нем представителя так называемой мифологической школы<sup>2</sup>. Не вдаваясь в детальное сопоставление, отметим, что теоретические положения Афанасьева подчас существенно отличают его от зарубежных представителей школы. Общность метода и многих посылок не исключает самостоятельного подхода Афанасьева к решению ряда вопросов и, что очень заметно, особой атмосферы его исследований, развившихся под влиянием русской демократической мысли 50—60-х годов. Теоретические построения Афанасьева начинаются с глубокой и светлой веры в нравственную силу народа и его неустанную творческую энергию.

В своих трудах Афанасьев изучал, по существу, словотворчество и мифотворчество народа, их взаимосвязь. Ключ к разгадке привычных и вместе таинственных представлений и образов он видел в языке — в «живом слове человеческого». Язык — «единственный источник разнообразных мифических представлений».

Язык начинается с образования корней — основных звуков, которыми первобытный

<sup>2</sup> Подробная характеристика мифологической школы, и в частности научных взглядов Афанасьева, дана А. И. Баландиным (см. книгу «Академические школы в русском литературоведении», гл. 1. М. «Наука», 1975).



человек обозначал свои впечатления. Первые и самые обильные впечатления приносила человеку природа, от которой зависела его жизнь и к которой были обращены его чувства и помыслы. Большинство первоначальных понятий относилось к явлениям природы, пластически обрисованным словом «как верным и метким эпитетом».

Всякий предмет, всякое явление, обладая разнообразными признаками, производит на человека разнообразное впечатление (в зависимости, например, от формы, цвета, функции, характера движения и проч.). Рождаются синонимы, обрисовывающие предмет или явление с разных сторон. В совокупности синонимов предмет определяется наиболее полно. Разные предметы могут обладать сходными признаками и в ряде случаев производить на человека одинаковое впечатление. Сближая такие предметы по общему признаку, человек давал им одно и то же название или названия, произведенные от одного и того же корня. Синоним, обозначавший какое-либо свойство или качество одного предмета, служил для обозначения подобного свойства или качества другого предмета и, таким образом, связывал предметы между собой. Образовывались метафорические выражения. «Слагать хорошие метафоры — согласно Аристотелю — значит подмечать сходство (в природе)».

«Первобытные языки были исполнены метафор,— объяснял Афанасьев.— Всякий предмет рисовался... не как отвлеченная мысль, а как живой образ... Обогащая природу, признавая в ней живое существо, человек... все свои верования выразил в поэтических описаниях, где большая часть представлений была чистые метафоры. Миф и поэзия были одно и то же».

С веками человек все более удалялся от «сочувственного созерцания природы», а вместе и от свежести первоначальных впечатлений. Все более обнаруживалось стремление обратить язык «в твердо установившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей». Служ, по определению Афанасьева, утрачивал свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, слово теряло свой исконно живописующий характер и делалось «фонетическим знаком для указания на известный предмет или явление в его полном объеме, без исключительного отношения к тому или иному признаку». Забывалось значение корней слов, становилась неощутимой связь пред-

ставлений. Названия, которые рождались как смелые метафоры и потому сами по себе были проявлением художественного творчества, потеряли поэтический смысл. В силу исторических условий язык не сохранялся в неприкосновенности, подвергался различного рода влияниям; слова и выражения старели, отживали свой век, закреплялись в одной местности и вымирали в другой; изменялось и обновлялось значение слов. «Исходный смысл древних речений становился все темнее, и начинался неизбежный процесс мифических обольщений»,— развивал свою мысль Афанасьев. Метафора приобретала «значение действительного факта». «Светила небесные уже не только в переносном смысле именуется «очами неба», но в самом деле представляются народному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы о тысячеглазом неусыпном ночном страже Аргусе и одноглазом божете солнца; извилистая молния является огненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка летних гроз — огненными стрелами... Мифические представления отделялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, независимо от них существующее. Смотри на громоносную тучу, народ уже не усматривал в ней Перуновой колесницы, хотя и продолжал рассказывать о воздушных поездах бога-громовника и верил, что у него действительно есть чудесная колесница».

Благодаря богатству метафор одни и те же явления природы в языке выражались по-разному и, соответственно, в разных образах удерживались в памяти людей. Разъединение географическое и историческое привело к раздроблению мифических сказаний между народами. Афанасьев подчеркивал необходимость сравнительного изучения древних преданий и верований: оно позволяет точнее установить изначальные корни слов, первообразы.

Если вначале человек, заимствуя поэтические образы из собственной житейской обстановки, «заставлял божественные существа творить то же на небе, что делал сам на земле», то с утратой метафорического языка мифы стали пониматься буквально и «боги мало-помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных пространств стали низводиться на землю». На смену шумным битвам богов во время грозы пришло их участие в бесконечных людских сражениях, представ-

ление о богах, кующих стрелы молний, выгоняющих стада облаков, рассыпающих плодоносный дождь, сменилось превращением богов в кузнецов, пастухов, пахарей. Миф и история сливались в народном сознании. «Поэтическое предание получает историческую окраску, и мифический узел затягивается еще крепче». Появление государственных центров вызывает стремление возвысить мифический материал до нравственного, духовного идеала. Уже не сам народ, а жрецы, ученые, поэты устраняют из сказаний все несогласия, связанные с географическим распространением и историческими влияниями, создают канонические редакции, устанавливают иерархический порядок между богами, организуя их общество по образцу земного.

Сказки предлагали Афанасьеву огромный материал для приложения метода, проверки идей и обобщения выводов: «Если разоблачить все метафорические образы, встречающиеся в народном эпосе, то все фантастическое, все загадочное в нем объяснится само собою...»

Как пример «разоблачения» метафорических образов народного эпоса Афанасьев разбирает, в частности, известную сказку о Марье Моревне. Образ Марьи Моревны, по мысли Афанасьева,— поэтический образ солнца. В отчестве — Моревна — высказано представление о солнце как о дочери моря. Солнце восходит из-за моря и опускается в него. На рассвете и закате солнце «купается» в море (частый образ сказок — «купающиеся царевны»). Сестры Ивана-царевича, похищенные женихами-птицами (Соколом, Орлом и Вороном),— образы небесных светил, скрывающихся от человеческого взора во время грозы (прилет женихов сопровождается темной тучей, вихрем, молнией — в некоторых записях сказок женихи названы не именами птиц, а Дождем, Ветром, Громом). Кашей Бессмертный, прикованный в чулане на двенадцати цепях и взявший прежнюю силу, когда Иван-царевич поднес ему три ведра воды напиться,— образ тучи, окованной зимним холодом, снова набирающей свою силу, когда вдоволь напьется воды, то есть весной. Тогда она срывается с места и уносит Марью Моревну — закрывает солнце. Иван-царевич на богатырском коне, ударом копыта убившем Кашея,— образ Перуна, бога грома и молнии: своим могучим ударом он разбивает тучи и «освобождает» солнце.

Здесь сосредоточены, по существу, все основные толкования скрытого смысла сказок, предложенные Афанасьевым. «Чудесное сказки,— писал он,— есть чудесное могучих сил природы и потому... нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас невероятностью, то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с Древними преданиями и их живое понимание».

К богу грома и молнии (громовнику, Перуну) по тем или иным своим признакам возводится в конечном счете едва ли не большинство сказочных героев.

Сюжеты, связанные со смертью и оживлением героя, с пробуждением от долгого сна, временным безобразием (Царевна-лягушка), возвращением молодости толкуются как образы смены годовых времен (чаще всего зима — весна). Соответственно мертвая и живая вода превращаются под увлеченным пером Афанасьева в весенние дожди, возвращающие земле жизнь и плодородие. Во всяком оружии сказочного героя Афанасьеву видится молния: она и меч-кладенец, и дубинка-самобой, и толкач Бабы-Яги, и богатырская палица. Облака, тучи реализуются в образах различных птиц и зверей, «возникших из одного общего для тех и других понятия о быстроте». Отсюда сказочный добрый конь, который «поднимается выше лесу стоячего, горы и доли промеж ног пропускает, хвостом воду застилает». Бег коня разворачивается подчас в поэтическую картину грозы: «Конь бежит, земля дрожит, шум по целому свету, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, следом горячие головешки летят». Другая связь представлений рождала образ стада небесных коров, готовых излиться на землю благодатным, живоносящим молоком-дождем. Наконец, тучи и облака могут явиться и в образе «небесной ткани» — быстро несущегося ковра-самолета, шапки-невидимки, скатерти-самобранки. «В связи с этими представлениями стоят сказочные предания, что взмахом платка (полотенца или простыни) можно творить реки и моря, т. е. туча в своем воздушном полете посылает дождевые потоки».

Толкования Афанасьева манят увлеченностью, неутомимой пронизательностью, неожиданными находками. Однако они настораживают однообразием. Неутомимое желание свести в одну точку самые разные явления подчас обедняет исследователя. Уже современники иронизи-

рвали над желанием Афанасьева увидеть в Илье Муромце все того же бога-громовника, окованного зимней стужей (сиднем сидит), который должен напиться весенних дождей (пива), чтобы поднять меч (молнию). Превращение же веселого работника Балды (имя производится «от санскритского bhal, bhag — разить, ударять, рубить») с его могучими щелчками в Перуна, вооруженного молниеносной палицей, воспринималось самопародией.

Чернышевский писал еще о первых работах Афанасьева: «С какой недоверчивостью, например, очень многие смотрят на исследование г. Афанасьева; а между тем среди многих утрированных истолкований в мифологическом смысле и таких поверий, которые не заключают в себе ничего мифологического, у него часто встречаются объяснения, с которыми нельзя не согласиться... Но желание открывать во всем следы древней мифологии вредит успеху его исследований».

Обращение к собиранию и изданию сказок побуждалось научной задачей, поставленной перед собой Афанасьевым, стремлением развить и утвердить успех исследований, как он сам его понимал. Однако счастливое осуществление громадного предприятия вряд ли связано лишь с личными научными устремлениями Афанасьева.

«Народные русские сказки» были изданы в восьми выпусках с 1855 по 1863 год. Когда появились первые выпуски, еще не увидели света ни песни, собранные Киреевским, ни пословицы Даля, ни былины, присланные Рыбниковым из северного Олонецкого края, — афанасьевские сказки открыли в России издание подлинных творений народного слова. Но и сказки Афанасьева, и песни Киреевского, и былины Рыбникова, и пословицы Даля, и его же «Толковый словарь» появились на протяжении одного десятилетия. Советский ученый Ю. М. Соколов объясняет невиданную по размаху собирательскую деятельность фольклористов 50—60-х годов прошлого столетия огромным «общественным интересом к крестьянскому устно-поэтическому творчеству, в конечном же счете — остротой крестьянского вопроса в ту эпоху».

В августе 1851 года Афанасьев спрашивает редактора журнала «Отечественные записки» А. А. Краевского: «Не согласитесь ли вы уделить в ваших «Записках» место... для русских народных сказок?..» В

феврале 1852 года Русское географическое общество постановило передать Афанасьеву все поступившие записи народных сказок<sup>3</sup>. В феврале 1854 года Афанасьев пишет известному филологу И. И. Срезневскому: «Теперь меня сильно занимают сказки, которых я собрал уже довольно»; еще немного усилий — и можно «немедля приступить к изданию сказок». Но чтобы приступить, помимо усилий самого Афанасьева, потребовались перемены общественные. Через полтора месяца после смерти Николая I, в марте 1855 года, Афанасьев отмечает: «Я далек от тех слишком наивных увлечений, которые завладели многими из наших знакомых, неумеренных в своих восклицаниях...» И тут же: «Я отдал в московскую цензуру 1-й выпуск народных сказок...»

27 августа 1855 года Афанасьев сообщает Срезневскому: «На днях приступаю я к печатанию первого выпуска народных сказок». Спустя несколько дней он заносит в «Дневник» сведения о волнении крестьян у него на родине, в Воронежской губернии: «Во многих деревнях правительство приступило к наказаниям розгами и этим средством унимало и патриотический порыв и жажду свободы».

В бумагах Афанасьева часто встречаются записи, относящиеся к крестьянскому делу: заметки о настроении в деревне, размышления о путях освобождения крестьян, сердитые отзывы о грабительских, убогих проектах «дарования свободы» и многочисленные свидетельства того, что вопрос «вовсе еще не решен манифестом и положением».

И рядом в тех же записях и письмах — о сказках, о том, что «сказки надо покончить, это будет моя заслуга в русской литературе. Надо покончить не только начатое издание, а приготовить еще другое для детей». В предисловии к первому выпуску сказок Афанасьев писал: «Сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды; она требует наказания всякой неправды и представляет добро торжествующим над злобою».

В 1858 году в Москве начал выходить журнал «Библиографические записки». Ре-

<sup>3</sup> Впоследствии Афанасьев получил около тысячи сказок (с вариантами) от В. И. Даля из его личного собрания, а также некоторое количество текстов от других частных «дателей».

доктором числился Николай Михайлович Щепкин, но, по свидетельству не склонного к бахвальству Афанасьева, «все лежит на мне одном».

Испрашивая разрешение издавать журнал, Афанасьев бесстрастно перечислял: «Библиографические записки» собираются знакомить читателей «с живым содержанием редких, малодоступных и тем не менее любопытных изданий». В письме к знакомому, раскрывая задачи журнала, Афанасьев шуточно признается: «В наш век... басни снова получают силу и значение, следует только дать им современное направление, о чем я пуще всего и хлопочу».

«Библиографические записки» требуют внимательного — «басенного» — членя: нужно расшифровывать «невинные», казалось бы, фразы, ничего на первый взгляд «не значащие» слова, сноски под страницами, указания, объявления.

Заголовок: «Из непечатной литературы 20-х годов»; затем следуют два стихотворения, подписанных «К. Р. 1826. А. Р.». Но русские читатели уже приучены разгадывать подобную «тайнопись». «Из непечатной литературы 20-х годов» — значит, из декабристской; «К. Р.» — Кондратий Рылеев; «1826» — год следствия и ожидания казни; «А. Р.» — Алексеевский равелин. Так читатели узнали стихи, которые вождь декабристов сумел переслать в камеру своему другу Оболенскому.

Небольшая сухая заметка, интересная как будто немногим исследователям старины: «Русские студенты в Лейпцигском университете (1766—1771)». Но все объясняет имя одного студента в прилагаемом списке — Радищев.

В «Библиографических записках» напечатаны не опубликованные прежде стихотворения и письма Лермонтова, Грибоедова, Полежаева, декабристов, очерки и заметки о Новикове, Фонвизине, Радищеве, статьи и воспоминания деятелей прошлого. Задумывая «Библиографические записки», Афанасьев писал: «Пора восстановить тот благородный журнальный тон, основанный на уважении к науке и искусству, на любви к просвещению и народности, о котором заботился Пушкин».

Радостная встреча с Пушкиным ждала читателя едва ли не в каждом номере «Библиографических записок». Журнал Афанасьева открыл читателям многие пушкинские стихотворения и строки, его «Заметки по русской истории XVIII века», страницы

«Путешествия из Москвы в Петербург», изъятые прежде цензурой, отрывки из «Путешествия в Арзрум» и из «Истории Пугачевского бунта». В журнале увидел свет письма Пушкина к брату, Гоголю, Жуковскому, лицейскому приятелю Яковлеву, трагические письма к шефу жандармов Бенкендорфу.

Номера «Библиографических записок» с трудом проходили цензуру, вызвали неудовольствие властей, нападки «охранителей» от журналистики. «Редакция «Библиографических записок» еще раз приостанавливает свое периодическое издание на год или на два, смотря по обстоятельствам. О возобновлении «Библиографических записок» при более благоприятных условиях... всем интересующимся нашим изданием своевременно будет заявлено», — сообщало объявление в последнем номере. Афанасьев писал: «Свой труд приносим мы бескорыстно русской науке в чаянии, что будет же время, когда сумеют оценить это по достоинству».

Мы ценим по достоинству не только материалы «Библиографических записок», но и удивительные «совпадения», которые обнаруживаются в журнале Афанасьева и герценовской «Полярной звезде». Много общих тем: история и литература XVIII столетия, декабристы, Пушкин. Много материалов, явно связанных между собой. Стихи, проза, письма, помещенные «Библиографическими записками» лишь в отрывках, в «Полярной звезде» печатаются полностью. Воспоминания декабристов, тщательно собираемые Евгением Якушкиным (журнал Афанасьева может только глухо упоминать об их существовании), также появляются на страницах «Полярной звезды». Статьи, заметки, объявления, которые в «Библиографических записках» требуют читательской расшифровки, в «Полярной звезде» звучат открыто и страстно. В Лондоне у Герцена тайно побывали ведущие деятели «Библиографических записок» — Афанасьев и Николай Щепкин, Касаткин, Гаевский. Гербель; Е. Якушкин и Ефремов заботились о материалах для Вольной печати, не выезжая за пределы отечества.

Грузинский не находил в Афанасьеве «задатков борца и проповедника», отводил ему в удел «мирную ученую работу». Но подчас «мирная ученая работа», «работа пером» не исключает участия в «движениях общества», в борьбе. Афанасьев был с теми,

кто помогал Герцену развернуть революционную агитацию.

Ранней весной 1862 года в Россию приехал Василий Иванович Кельсиев, один из «главных агентов» Герцена и Огарева. Летом тайный приезд Кельсиева стал известен правительству. Среди тех, с кем, находясь в Москве, Кельсиев «был в личных сношениях», донесения называли служащего в тамошнем архиве министерства иностранных дел надворного советника Афанасьева.

Обыск у Афанасьева был произведен в конце ноября, но серьезных доказательств его вины обнаружено не было. В декабре Афанасьева допрашивала в Петербурге особая следственная комиссия; так как Афанасьев «на допросе не сознался и на очной ставке не был уличен», комиссия разрешила ему «возвратиться на постоянное место его жительства». Но одновременно в докладе царю председатель комиссии предлагал обратить на Афанасьева особое внимание. Царь пометил карандашом на полях доклада: «Необходимо». Тотчас после петербургского допроса Афанасьев «по хорошо известной причине», как пишут его друзья, должен был оставить службу.

Явился на свет последний выпуск «Народных русских сказок» — их читали по всей России, уже начинали называть просто «Сказки Афанасьева». Журналы, газеты, издательства приглашали Афанасьева сотрудничать. Знаменитые европейские профессора высоко оценивали ученую деятельность Афанасьева, восхваляли его обширные познания, глубину и важность его трудов. Сам же первый издатель русских сказок, известный ученый и литератор Александр Николаевич Афанасьев «после тщетных попыток поступить вновь на службу, сколько-нибудь сродную его способностям и наклонностям, в 1865 году принужден был, — по свидетельству его родственника, — принять должность помощника городского секретаря при Московской думе, а в 1867 году занял должность секретаря мирового съезда г. Москвы 2-го округа». «В настоящее время я сижу за приготовлением к печати 2-го тома «Поэтических воззрений славян на природу»... — сообщает Афанасьев в письме к другу. — Труд мой подвигается медленно, потому что за служебными занятиями остается слишком мало времени, которым мог бы я располагать свободно».

«Необыкновенно деятельный и трудолюбивый, он находил возможность не оставлять и своих ученых занятий; но здоровье его, потрясенное со времени постигшего его несчастья, в эти годы сильно расстроилось, особенно после зимы 1867—1868 года, которую он проводил на службе мирового съезда, помещавшегося в сырой и холодной квартире», — вспоминает родственник Афанасьева. «Личные невзгоды он переносил очень спокойно, но, конечно, ему было тяжело не иметь почти времени для научных занятий, тяжело ему было расстаться с превосходной, собранной с большим трудом и жертвованиями библиотекой, которую он принужден был продать вследствие денежных затруднений», — рассказывает Якушкин.

В Петербурге действовало Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым; члены общества, знакомые Афанасьева, одолевали его письмами — просили известить того или другого нуждающегося литератора, определить размер пособия. О помощи самому Афанасьеву разговор возник весной 1872 года: И. С. Тургенев в письме из Парижа доказывал А. А. Фету, что литературные труды Афанасьева давали ему право на пособие («обеспечение от голода, холода и других гадостей»)... а Афанасьева полгода как похоронили.

Александр Николаевич Афанасьев умер от чахотки 23 сентября 1871 года.

За девять лет, прожитых после «несчастливого эпизода», мыкаясь по канцеляриям съездов и банков, Афанасьев написал ряд серьезнейших трудов, среди них огромное (две с половиной тысячи страниц!) трехтомное исследование «Поэтические воззрения славян на природу». Премия, присужденная ему Академией наук за этот труд, едва нашла Афанасьева в его убогом жилище (по адресу — «на Грачевке, в доме Угримова, во дворе во флигеле»). Пренебрегая многими материальными нуждами, Афанасьев потратил премию на издание двухтомного иллюстрированного собрания «Русские детские сказки».

В «Поэтических воззрениях славян на природу» Афанасьев развил и обобщил положения, высказанные им прежде в статьях, исследованиях, примечаниях к народным сказкам. Для доказательства и подкрепления своих теоретических положений он привел фантастически богатый материал. Подбирая факты и необходимые сведения, он удивил

тельным образом сумел обследовать едва не все доступные в то время монографии, сборники, труды по различным отраслям знаний, журнальные и газетные статьи (вплоть до многолетних подшивок «Губернских ведомостей»). В качестве исходного материала привлечены и рассмотрены не только сказки, но и другие произведения народной словесности: песни, былины, духовные стихи, предания, пословицы, загадки. Известный советский ученый М. К. Азадовский указывал, что Афанасьев «подверг пересмотру весь состав русского фольклора».

Современные ученые ставят «Поэтические воззрения славян на природу» в один ряд с такими широкоизвестными трудами, как «Первобытная культура» Тэйлора и «Золотая ветвь» Фрэзера. Хотя с методологической стороны труд Афанасьева, конечно, устарел, он и ныне являет собой для всякого изучающего фольклор, этнографию, славянскую мифологию незаменимый, тщательно систематизированный и подобранный, необъятный фактический материал, остается «точкой приложения сил» для новых поколений исследователей. Увлекательность богатейшего материала и увлеченность автора оказывают известное влияние на развитие новых фольклористических, этнографических и исторических изучений. Труд Афанасьева открывает поэтическую природу слова, являет бесценную помощь при изучении памятников народного поэтического творчества, позволяет выснить метафорическую сущность многих поэтических образов русской литературы, классической и современной.

Материалистически и рационально настроенные современники Афанасьева увидели в его работах освобождение человека от обольщения тайной. Эта сторона труда явственно прослеживается, в частности, в проведенном исследовании поверий и примет. Афанасьев различал приметы, родившиеся как итог многовековых наблюдений, и приметы суеверные, основанные не на опыте, а на мифическом представлении: «...под влиянием старинных метафорических выражений все получало свой особенный, сокровенный смысл» (распространенная примета, будто светлая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает назавтра ясную погоду, а черная — ненастье, берет начало не от действительного наблюдения скотоводческих племен за своими животными, а от перенесения на реальное стадо

представления о небесных стадах — облаках). Происхождение многих примет и суеверий должно искать в языке, в слове (большого, погеравшего речь — язык отнялся, — носили лизать язык колокола). Прикрепленность приметы к слову, а вместе с тем и произвольность ее любопытно подтверждается парами противоположных примет: когда сажали капусту, брались за голову, чтобы капуста была «головистая», «в головы складывалась», а когда сели просо, старались невзначай не дотронуться до головы, иначе в злаках заведется головня. В частном случае — исследовании примет — выявляется общее направление труда Афанасьева, который в целом может восприниматься и как одна из попыток создать рациональное объяснение происхождения религиозных верований.

Общественное значение труда Афанасьева ясно почувствовали и осознали уже современники. Так, А. А. Котляревский видел заслугу автора в том, что он «в корне подрывает обольщения и силу» суеверий, опутывающих народную жизнь. Рецензент «Отечественных записок» смотрел на дело шире и напоминал, что предрассудки и заблуждения, которые науке приходится разрушать в области человеческих дел, понятий и верований, «так живучи и так срослись с современным общественным строем, что падение их стоит больших жертв и усилий со стороны людей, обречших себя на служение истине». В этом также сказывается самостоятельность научного творчества Афанасьева. М. К. Азадовский противопоставляет исследование Афанасьева «романтическим построениям» Буслаева с их «идеализацией старинного предания в целом, включая сюда и суеверную практику народа»: критерии Афанасьева сложились «в атмосфере не романтических концепций, но воззрений и приемов реалистических». Советский этнограф С. А. Токарев указывает, что в отличие от многих ученых-современников в основе олицетворения небесных явлений Афанасьев видел «явления земной материальной действительности». Видимо, не случайно труд Афанасьева, отличающийся тщательно продуманным расположением материала, завершается главой о народных праздниках, тесно связанных по большей части с трудовой деятельностью людей. Сам Афанасьев закончил свой труд словами: «После представленных нами исследований мы вправе сказать, что духовная сторона человека,

мир его убеждений и верований в глубокой древности не были вполне свободным делом, а неизбежно подчинялись материальным условиям, лежавшим столько же в природе окружающих его предметов, сколько и в звуках родного языка... Часто из одного метафорического выражения, как из зерна, возникает целый ряд примет, верований и образов, опутывающих жизнь человеческую тяжелыми цепями, и много-много нужно было усилий, смелости, энергии, чтобы разорвать эту невидимую сеть предрассудков и взглянуть, на божий мир светлыми очами».

Если бы исследования Афанасьева исчерпывались теоретическими построениями, они, видимо, остались бы лишь интересным памятником определенного этапа в развитии отечественной науки. Но труды Афанасьева не укладываются в хронологические границы. Громадный фактический материал, овеянный оптимистической верой Афанасьева в неиссякаемое, приносящее добрые плоды творчество народа, оберегает от действия времени даже его специальные научные исследования. И сегодня со «Сказок Афанасьева» (в особом ли их издании

или с распечатанных по многочисленным сборникам, хрестоматиям, детским книжкам) начинается наше познание народного слова и образности народного мышления, народного склада ума и оберегаемых народом нравственных начал. Афанасьев прекрасно понимал, что широкий читатель — народ — откроет книгу сказок не ради учебных примечаний. Не случайно в предисловии к первому выпуску сказок Афанасьев уходил от теоретических изысканий, отводя им место в конце тома. Он писал о поэтической чистоте и искренности сказок, их пленительной наивности и простоте, светлом и спокойном тоне, о раскрывающемся в них неподражаемом искусстве живописать всякий предмет. Афанасьев видел в сказках одну из основ первоначального воспитания: «Увлекаясь простодушной фантазией народной сказки, детский ум нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных лобуждений и познакомится с чистым народным языком».

Непреходящая ценность трудов Афанасьева пробуждает и укрепляет в новых поколениях интерес и уважение к жизни и деятельности их создателя.



# ЖИЗНЬ И ОБЗОРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Левин.** «Весь мир воображеньем опоясан». — **А. Бочаров.** Не рвется цепь времен. — **В. И. Кулешов.** Книга живых идей и споров.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Мотышов.** С тревогой и надеждой. — **И. Дрейцер.** Великие и боль таланта. — **Эрнст Генри.** Духовный облик Мао Цзе-дуна.

## Литература и искусство

### «ВЕСЬ МИР ВООБРАЖЕНЬЕМ ОПОЯСАН»

**П. Антокольский.** Собрание сочинений в четырех томах. М. «Художественная литература». 1971—1973.

**П. Антокольский.** Ночной смотр. Стихи. 1970—1974. М. «Советский писатель». 1974. 142 стр.

**П. Антокольский.** Путевой журнал писателя. М. «Советский писатель». 1976. 303 стр.

Э то было ровно десять лет назад, 1 июля 1966 года друзья Павла Григорьевича Антокольского съехались к нему на дачу, чтобы отпраздновать его семидесятилетие. Я приехал раньше назначенного времени, но Антокольский был уже не один: задолго до меня явились С. Головановский и Л. Первомайский. А еще раньше, днем, заходил поздравить юбиляра дачный сосед А. Твардовский. Он принес оттиски стихов Антокольского «Ночь в театре» и «Музыка», а также моей статьи «Четыре жизни» из недавно вышедшей шестой книги «Нового мира». (Впоследствии Антокольский включил эти стихи в книгу «Повесть временных лет», а на основе статьи возникла моя книжка о его жизни и творчестве.)

Пока гости съезжались, а Павел Григорьевич и его жена Зоя Константиновна Бажанова принимали поздравления и подарки, я читал телеграммы, полученные юбиляром. Больше всего телеграмм было, конечно, от поэтов. «Двадцать семь лет назад вы благословили двух наглых юнцов. Последствия сего отношу на ваш счет. Люблю вас поныне и на веки веков. Борис Слуцкий». Спра-

шиваю у Антокольского: кто второй юнец? Выясняется, что Михаил Кульчицкий.

Телеграмма от Ю. Завадского: «Павлик, тебе семьдесят, но вот я слышу и вижу тебя по телевидению: это ты, Павлик Антокольский тех лет нашей незабываемой вахтанговской молодости. Ты ничего не утратил из однажды возникшего в тебе, только стал еще мудрей, точней, страстней».

Подарок от О. Верейского: его вариант знаменитого автопортрета Рембрандта с Саскией на коленях. Очень похоже на оригинал, но вместо Рембрандта и Саскии — Антокольский и Бажанова...

Когда шумное праздничное застолье кончилось, состоялся своего рода поэтический фестиваль. Стихи читали М. Алигер, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, К. Каладзе, Б. Окуджава, К. Симонов.

Конечно, читал стихи и сам юбиляр.

С тех пор, повторяю, прошло десять лет. Много это или мало? Если обратиться к тому, что сделал за эти десять лет Павел Антокольский, без всякого сомнения, очень много.



Свою статью об Антокольском Е. Евтушенко назвал «У мастера нет возраста». Он с удивлением заметил: «...пожалуй, лучшие его стихи написаны за последние лет десять—двенадцать». Действительно, какое нам дело до возраста, если и на седьмом и на восьмом десятке Антокольский пишет так же горячо, страстно, пламенно, как на третьем или четвертом!

Знаменитый норвежец Бьёрнстjerne Бьёрнсон в семьдесят семь лет написал «Когда цветет молодое вино».

Откройте одну из недавних книг Антокольского — и вы найдете в ней пламенный лирический цикл «Очей очарованье», написанный с юношеской силой:

Такая молодость. Такое  
Веселье дикое в глазах.  
Не предвещает нам покоя  
Зеленой молнии зигзаг.

В 1971—1973 годах вышло собрание сочинений Павла Антокольского.

Десять лет назад, к семидесятилетию, были изданы его избранные произведения в двух томах. В статье о них Л. Озеров мечтал о будущем шеститомном собрании сочинений Антокольского. По его мысли, к двум томам стихов и поэм должны были присоединиться два тома прозы и два тома переводов. «Это будет еще неполное собрание, — писал Л. Озеров, — но оно сможет дать представление о значительности вклада Павла Антокольского в сокровищницу русской поэтической культуры».

Конечно, очень жаль, что за бортом четырехтомника осталась многолетняя и необыкновенно плодотворная работа Антокольского-переводчика. Ведь это органическая составная часть работы поэта. Почти полвека переводит он, например, французов. Собранные под одной обложкой, талантливые его переводы создают широкую картину французской поэзии XIX—XX веков — от Беранже до Элюара! И это тоже немаловажный вклад Антокольского в сокровищницу русской поэтической культуры. По-прежнему много работает он и над переводами с языков народов СССР. Больше десяти лет назад в Тбилиси вышла его книга «Побратимы», содержащая стихи о Грузии и переводы грузинских поэтов. Если бы дополнить ее новыми переводами, сделанными за последние десять лет, она выросла бы едва ли не вдвое.

Жаль также, что не вошла в собрание

сочинений текущая газетно-журнальная проза Антокольского — многочисленные его отклики на самые разные явления нашей культуры, юбилейные статьи, предисловия к избранным сочинениям маститых наших поэтов и к тоненьким первым книжкам молодых стихотворцев, рецензии на новые книги, фильмы, спектакли. Эта критическая проза, или, если хотите, поэзия (даже самую короткую рецензию Антокольский пишет с таким темпераментом, коего вполне хватило бы на стихотворение!), составила только что вышедшую книгу «Путевой журнал писателя». В нее вошли исследовательские очерки о классиках (Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Маяковский) и статьи о друзьях-современниках, ушедших из жизни и здравствующих поныне: Н. Заболоцком, М. Светлове (обе эти статьи опубликованы впервые), О. Берггольц, М. Алигер, Н. Брауне, Г. Фише, В. Ковалевском, А. Цветаевой. Особое место занимают в книге мемуарные рассказы о Е. Вахтангове, К. Станиславском, Вс. Мейерхольде, Б. Щукине. Особое потому, что во всех этих рассказах, и прежде всего в блестящем этюде о Вахтангове, не только воссозданы образы крупнейших театральных деятелей, но и показано, как формировался сам автор, как он пришел в мансуровскую студию, как сложились его отношения с Вахтанговым, как он вместе с Ю. Завадским и другими покинул своего учителя, а затем вернулся и получил отпущение грехов, как ему, пусть и урывками, посчастливилось наблюдать режиссерские уроки Станиславского, как Мейерхольд помогал вахтанговцам ставить пьесу В. Гюго «Марион де Лорм».

Что же касается собрания сочинений, то хотя в нем и не отражено все многообразие работы Антокольского, оно все же дает ясное представление о выдающемся советском художнике, чей подвижнический труд на протяжении многих десятилетий является неотъемлемой частью нашей поэзии, нашей литературы.

Прочтите страницу за страницей четыре тома собрания сочинений Антокольского — и у вас возникнет ощущение необычайной цельности всего того, что им создано в поэзии, прозе, драматургии, публицистике.

В книге «Четыре жизни» я уже цитировал его вступительную заметку к сказке «Пожар в театре», написанной в 1918 году и впервые напечатанной через полвека: «...сказка моя продиктована той же трево-

гой по поводу той же загадки, которой посвящены все мои последние стихи шестидесятых годов,— власть Времени над Человеком, власть Человека над Временем». Это действительно так — «Пожар в театре» естественно вписывается в тот же круг поэтических интересов, который нельзя не ощутить в книгах «Мастерская» (1958), «Высокое напряжение» (1962), «Четвертое измерение» (1964), «Повесть временных лет» (1969), «Сказки времени» (1971), «Ночной смотр» (1974), «Путевой журнал писателя» (1976). Я сознательно ставлю рядом книги поэзии и прозы, ибо в конечном счете все они продиктованы, как сказал Антокольский, «той же тревогой по поводу той же загадки».

На протяжении многих лет Антокольский неизменно тяготел к трагическому в жизни и в искусстве. За последние годы это тяготение приобрело новую окраску. Теперь оно все чаще выражается в пристрастии к сказочному. «Пожар в театре», помимо всего прочего, показывает, что сказка давно влекла к себе Антокольского. Теперь это влечение превратилось в стойкую привязанность. В сущности, ведь и знаменитая «Баллада о чудном мгновении» (Евтушенко назвал ее «неповторимо зачарывающей») тоже своего рода поэтическая сказка.

Показательны в этом смысле «Сказки времени» — книга не только не случайная для Антокольского 70-х годов, но глубоко закономерная и принципиальная. Сказочная правда — великая сила в искусстве. Это очень хорошо понимал покойный друг Антокольского Владимир Луговской. «Без сказки — правды в мире не бывает. Мне сказочное видится во всем: в борьбе, природе, жизни человека», — писал он.

В одной из сказок Антокольский прерывает свое сказочное повествование, чтобы воскликнуть: «Только, пожалуйста, не спрашивайте, милый читатель, так ли оно было на самом деле, не утруждайте себя, не мучайтесь этим праздным вопросом!» В сказке «Незванный-негаданный» к Гоголю является Хлестаков, и они ведут долгие беседы. А во «Втором Болдине» Пушкин разговаривает с Петром Первым, представшим перед ним в образе Медного всадника. А в «Четырех гостях» Лермонтов встречается с Пушкиным и бросается ему в ноги...

Включая в книгу «Сказки времени», а затем и в собрание сочинений старые свои рассказы о Пушкине, Антокольский вводит

в них сказочный элемент. Встречи Пушкина с Медным всадником раньше не было, как не было и встречи Пушкина с Лермонтовым. Зато в другом рассказе о Лермонтове, «Демон», с самого начала была встреча поэта со своим героем: «Демон обнимал смуглыми ручищами колени, скрытые в складках синего плаща, на лоб ему упали крутые завитки иссиня-черных волос, плечи отливали блеском тысячелетней ржавой бронзы, а за плечами качались странные дымные цветы, никогда не расцветающие на земле». Это написано прозаиком, явно причастным к поэзии и одновременно к живописи.

Заканчивая «Сказки времени», Антокольский спрашивает: что же означает название этой книги? Значит ли оно, что само Время диктовало писателю его сказки? Или оно было их главным героем, двигателем сюжета? Или «автор осмелился в них утверждать свою власть над Временем, идти наперекор Времени, пересекать его прямую дорогу и перемещаться в нем, как все мы ежечасно перемещаемся в трехмерном пространстве...»? «На это я не могу точно ответить», — заключает Антокольский. — «Да и нужна ли точность, если речь идет о сказке?»

«Сказки времени» открывают третий том собрания сочинений Антокольского. Сразу за ними следуют разделы «Солнце русской поэзии» (о Пушкине), «Три Демона» (о Гоголе, Лермонтове, Блоке), «Святые камни Европы» (о Шекспире, Шиллере, Гюго, Рембо).

Только что покинув волшебнo-призрачный мир сказки, читатель оказывается в совсем ином мире — научного исследования. Хотя оно и выполнено поэтом, но остается научным, в достаточной мере строгим и трезвым. «На следующих страницах этого тома, — поясняет Антокольский в нескольких новых абзацах, завершающих теперь «Сказки времени», — читатель найдет статьи, очерки литературоведческого характера, которые отчасти перекликаются со сказками, ибо герои этих статей остаются те же — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Шекспир. Однако статьи эти как бы опаривают сказки, несмотря на то, что писал их тот же автор. Так что перекличка идет очень издалека, чуть ли не с другой планеты».

Но все-таки идет!

Все дело именно в том, что «Баллада о чудном мгновении» и очерк об Анне Пет-

ровне Керн, рассказ «Второе Болдино» и этюд «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», сказка «Незванный-негаданный» и предисловие к «Мертвым душам», сказка «Волшебный подарок» и статья о Лермонтове написаны одной и той же рукой человека, рыцарски преданного литературе, свободно владеющего ее богатствами, на протяжении многих лет не перестающего дышать воздухом ее поистине горних вершин. Этим и создается то ощущение органической цельности, которое испытывает читатель собрания сочинений Антокольского. Все здесь внутренне связано, все дополняет и обогащает друг друга.

Разделу «Солнце русской поэзии» предпосланы строки из стихотворения, написанного около пятидесяти лет назад:

Это жизнь, не застывшая бронзой,  
Черновик, не вошедший в тома.  
О, постой! Это юность сама.  
Это в жизни прекрасной и грозной  
Сила чувства и смелость ума.

В течение полувека Антокольский не расстается с Пушкиным, посвящая ему и отдельные статьи, и целые книги («Пушкинский год», «О Пушкине»), и рассказы, и стихи. Обратитесь к любому из этих сочинений — и в каждом из них вы почувствуете то, что не может их не объединять: помимо любви к предмету изображения и исследования, помимо глубокого знания и понимания предмета, еще и особую атмосферу разговора поэта о поэте, подлинную свободу размышлений о Пушкине и поэзии вообще.

В сказке «Парижские встречи» Антокольский возвращает нас почти на пятьдесят лет назад. В 1928 году Театр имени Евг. Вахтангова гастролировал в Париже. Воспоминание о молодой любви («В ту пору я был без ума от любви к молоденькой своей жене, актрисе Зое Бажановой») сменяется рассказом о единственном представлении «Виринеи» Л. Сейфуллиной в Париже («...современники-зрители (речь идет о русских эмигрантах.— Л. А.), застигнутые врасплох, переселились на одиннадцать лет назад, когда решалась их политическая и личная судьба»). Сказка начинается после спектакля, когда Антокольский и Бажанова отправляются бродить по ночному Парижу. Неожиданно они оказываются в XV веке. Какой-то проходимец поет:

Нас дождями вымыла гроза,  
Солнце высушило для красоты,

Выклевали вороны глаза,  
Выдрали нам брови и усы...

В конце сказки выясняется, что он не кто иной, как давний герой поэзии Антокольского французский поэт Франсуа Вийон.

Тогда мы вспоминаем, что песня, которую он пел, уже звучала в драматической поэме о нем, написанной Антокольским в 1934 году.

Так «Парижские встречи», относящиеся к 70-м годам, «ауканутся» с тем, что было создано в 30-х. Еще одно доказательство необычайной цельности всего того, что Антокольским создано.

«Парижские встречи» кончаются тем, что столь неожиданно воскресший через пятьсот лет «несчастный и гениальный» Вийон непоправимо тает в сумерках рассвета. «Ничего не осталось от его изможденного лица,— пишет Антокольский,— от клоуновски разлетающихся бровей, от милой остроколючей шапочки, сползшей ему на правое ухо. Ничего решительно, кроме медленно светавшего утра над гребнями крыш и первых капель июльского теплого дождя. Ничего, кроме памяти и воображенья...» Подчеркнутые мной слова далеко не случайны для Антокольского. В особенности же не случайны они для Антокольского 70-х годов.

В «Некоторых итогах», своего рода философско-поэтическом трактате, завершающем собрание его сочинений, Антокольский пишет: «Ремарк когда-то сказал, что долгая жизнь — это долгая память. Мне с этим приходится мириться: моя долгая жизнь действительно перегружена памятью. Однако в силу того, что я поэт, память продолжает дружить с воображеньем (разрядка моя.— Л. А.), и это удваивает силу памяти».

Память, помноженная на воображение (и, что само собой разумеется, на талант, которого Антокольскому не занимать и который не слабеет с годами), — не на этой ли почве возникла в его творчестве волшебная стихия сказки? И не только возникла, но и развилась, окрепла, отвоевала для себя территорию и в поэзии и в прозе.

Второй том собрания сочинений заключают стихи и поэмы, написанные после книги «Повесть временных лет». Эпиграф к этому разделу как бы прямо обращен к активно продолжающейся жизни и работе Антокольского: «Ямщик лихой, седое Время везет, не слезет с облучка» (цитата приведена неточно: у Пушкина «время» с маленькой бук-

вы, но в этом подсознательном искажении пушкинского текста — весь Антокольский!).

После поэмы «Зоя Бажанова», в которой воплощена вся безмерная боль невозвратимой утраты, Антокольский написал большой лирический цикл, так и озаглавленный — «После поэмы». Он проникнут все той же острой неутраченной болью, но сквозь нее не может не проступить воля к жизни, к творчеству:

Прости за то, что я так стар,  
Так нищ, и одичал, и сгорблен  
И все же выдержал удар  
И не захохотал в душевной скорби.

Прости за то, что не могу  
Опять с тобой соединиться,  
Что вечно бодрствует в мозгу  
Седая зимняя денница,

Что труд мой спорится опять.  
А жизнь, владычица лихая,  
Не отступает ни на пядь,  
Огнем жестоким полыхая.

С пронзительной силой написано «Заключение»: «Товарищ, я прожил три четверти века. Я все подытожил — поставлена крайняя веха». Кстати, именно в «Заключении» содержится чистосердечное признание: «Тайком, не опознан, беснуется в старце подросток» (примерно в то же время, когда писались эти строки, Павел Григорьевич подарил мне свою пластинку фирмы «Мелодия» с надписью: «На добрую память об этом дряхлом подростке»). Глубоко потрясают слова, которыми Антокольский заканчивает «Заключение», а вместе с ним и весь двухтомный поэтический раздел своего собрания сочинений: «Я жил в мироздании. Я знал первозданность. В посмертном издании живым, а не мертвым, останусь».

В этот же раздел «1969—1971» вошли две небольшие поэмы — «Мощи Александра Невского» и «Княжна Тараканова». Обе они попали в собрание сочинений чуть ли не прямо с письменного стола — во всяком случае, ни в одной из книг Антокольского они не публиковались.

Рассказывая потешную историю, приключившуюся с пресвятыми мощами Александра Невского, которые Петр Первый приказал доставить из Владимира в престольный Питер, поэт словно повторяет свой призыв: «...только, пожалуйста, не спрашивайте, милый читатель, так ли оно было на самом деле...»

То же самое мы вправе сказать и о поэ-

ме «Княжна Тараканова», где рассказано о горестной судьбе таинственной авантюристки, выдававшей себя за внучку Петра и за сестру Пугачева. Недаром этой поэме предпослан эпитафия из Ключевского: «Сказка бродит по всей нашей истории». Бродит она с некоторых пор и по всему творчеству Павла Антокольского.

В книге «Путевой журнал писателя» Антокольский вновь вспоминает Ключевского: «На что был учен, трезв, осторожен лучший русский историк Василий Осипович Ключевский, но ведь и он обмолвился крылато: «Сказка бродит по всей нашей истории». Что Ключевский имел в виду? Думаю, не только варягов и вещего Олега, не только Лжедмитрия и Тушинского вора, не только Пугачева и княжну Тараканову, не только Александра I, воскресшего странником Федором Кузьмичом, но и многосотпудовую махину, свинутую и поднятую на плечи Петром Великим, и четырнадцатое декабря 1825 года, и всю жизнь Бакунина, и Софью Перовскую, и Желябова, включая в этот ряд Апрельские тезисы Ленина и гром «Авроры», до которых Ключевский не дожил».

Крылатая обмолвка Ключевского возведена здесь в степень своего рода концепций; охватывающей русскую историю от варягов до «Авроры». Вы можете с ней не согласиться, но она бесспорно помогает нам осмыслить творчество Антокольского 70-х годов.

Это подтверждается и последней по времени поэтической книгой Антокольского — «Ночной смотр». В нее вошла поэма «Кубок Большого Орла». Кстати сказать, эпитафия из Ключевского, предпосланная «Княжне Таракановой», переключал и сюда. Поэт как бы заранее предупреждает, что и здесь нам предстоит встреча со сказкой. И в самом деле: широкий поэтический обзор многих важных событий русской истории за несколько веков внезапно прерывается фантастической сценой, действие которой происходит в 1700 году. К шведскому королю юному Карлу XII в палатку над Нарвой является... репортер «Ньюс-Геральд», юноша XX века «в помятом пиджаке и узких брюках».

Прежде чем перейти к этой фантастической сцене и ко всему, что за ней следует, Антокольский считает необходимым нас предупредить: «Но здесь наука не укажет, здесь только вымысел и сказка». Это переключается с мыслями, высказанными в заключении к «Сказкам времени»:

«Сказки противоположны науке. В них невозбранно действует, владычествует, хозяйничает воображение и вымысел. Фантастика утверждает свои законы».

В свое время Антокольский много размышлял о взаимных отношениях поэзии и науки. Теперь его, как мы видим, особенно интересуют взаимоотношения науки и сказки. Само словосочетание «научная фантастика» представляется ему нелепым и несуществующим...

Между тем разговор Карла XII с репортером «Ньюс-Геральд» быстро переходит в соору. Репортер говорит: «Не позабудьте о Полтавской битве!» (до нее остается еще девять лет). Карл превращается в свой бронзовый памятник на одной из площадей современного Стокгольма. В беседу с перекочевавшим сюда репортером вступает на этот раз уже сам автор. Они идут в театр, где встречаются с Мельпоменой. Муза трагедии, давняя знакомая Антокольского, оказывается нашей прелестной современницей, «девушкой в косынке красной». Действие переносится в Эрмитаж. Юная экскурсоводка чуть не падает в обморок, увидев, как Восковая Персона неожиданно превращается в живого Петра Первого. В их разговор вмешивается некое чучело, называющее себя Хроносом и в конце концов оказывающееся автором поэмы. Так, извилистыми путями поэтической фантастики Антокольский вновь и вновь ведет нас все к «той же тревоге по поводу той же загадки». Не забудем, что Хронос по-гречески — время.

Наконец, в «Ночном смотре» есть и особый раздел, озаглавленный «Сказки». В него вошли стихи, которые, конечно, не мог бы написать никто, кроме Антокольского: «Манон Леско», «Похищение Европы»,

«Смерть Гоголя», «День рождения шестого июня 1974». В каждом из них безошибочно узнается Антокольский. Я уж не говорю о том, что присуще ему одному и что принято называть его безграничным культурно-историческим кругозором. Антокольский узнается не только по выбору тем и сюжетов, но и по интонации, по ковке и чеканке стихотворной строки, по почерку, по походке.

Никто, кроме Антокольского, не смог бы написать и стихотворение «Калиостро», также вошедшее в раздел «Сказки». Имя мажаршарлатана, колдуна Джузеппе Калиостро овеяно легендой, на что поэт сразу обращает внимание своего читателя: «В другой, изрядно путаной легенде описаны их жуткие дела», «Летят года, беснуется легенда», «Но мечется легенда наугад»...

В этом стихотворении есть строфа, мимо которой нельзя пройти, ибо она могла бы, на мой взгляд, послужить Антокольскому 70-х годов чем-то вроде поэтического девиза. В ней поэт как бы определяет пафос всего своего сегодняшнего творчества, включая сюда и поэзию, и прозу, и работу над переводами, и деловую публицистику. Вот эта строфа:

Пора! Пора! Еще ничто не ясно.  
Воображение — лучший проводник.  
Весь мир воображеньем опоясан,  
Он заново разросся и возник.

С таким юношески свежим, острым, истинно поэтическим ощущением заново возникшего, разросшегося, опоясанного воображеньем мира в полную силу живет и работает восьмидесятилетний Павел Григорьевич Антокольский.

Л. ЛЕВИН.



## НЕ РВЕТСЯ ЦЕПЬ ВРЕМЕН

С. Я. Фрадкина. Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. Метод и герой. Пермь. Пермское издательство. 1975. 317 стр.

А. Коган. Перечитывая войну. Литературно-критические очерки. М. «Художественная литература». 1975. 321 стр.

Литература великого подвига. Великая Отечественная война в литературе. Выпуск 2. М. «Художественная литература». 1975. 350 стр.

Есть у литературы и исторической науки немаловажное сходство: чем дальше по времени отходят они от события, ставшего предметом либо художественного, либо научного исследования, тем полнее познают его политические, социальные, нравственные, психологические аспекты.

Опираясь на перекрещивающиеся свидетельства очевидцев, на документы, малодоступные большинству участников, изучая диалектику причинно-следственных связей, не всегда заметную раньше, воссоздают истории и писатели все более полную, разветвленную картину минувшего.

Для литературы, как и для истории, познание картины нравов, быта, событий той или иной эпохи будет неполным, если ограничиться, условно говоря, «срезом» знаний только минувшей поры, ставшей предметом изучения. Нужно еще вникнуть и в то, какие тенденции набрали силу в более позднее время и тем самым прояснили, осветлили облик ушедшего времени: цепь времен не рвется, она наращивает все новые кольца.

Стоит ли удивляться, что тридцатилетие победы стало важным рубежом не только в развитии самой литературы о войне, но и в осмыслении этого развития. Книжки и статьи, обозначившие этот рубеж, укрупненно, словно хороший полевой бинокль, придвинули и литературу фронтовых лет да и последующую нашу литературу о войне, создававшуюся уже в мирные десятилетия. Мирные, но стойко удерживающие горьковатый дым того всесветного пожара.

Мне представляется, что за последнее время наиболее четко обозначилось три центра притяжения литературоведческой и критической мысли, концентрирующей свое внимание на военной теме: роль литературы о войне в упрочении метода социалистического реализма, успехи военной литературы в познании общественных и нравственных устоев нашей жизни и, наконец, место книг на военную тему в современном литературном процессе.

Работы, выделенные мною из общего потока, позволяют разглядеть (с той или иной степенью отчетливости) три названных центра.

Уже из подзаголовка книги С. Фрадкиной о русской советской литературе периода войны мы узнаем об аспекте исследования — метод и герой. Эта солидная научная монография (она издана в Перми как пособие к университетскому спецкурсу) выросла из многолетнего изучения художественных произведений, критических трудов и рецензий, архивных материалов. Свободно ориентируясь во всем этом богатстве, С. Фрадкина прослеживает, как достижения литературы военных лет — при всей ее специфичности — способствовали упрочению метода социалистического реализма, его ведущих тенденций.

С. Фрадкина не создала бы свою монографию без ранее появившихся книг А. Абрамова и А. Павловского о поэзии военных лет, И. Кузьмичева о жанрах литературы военных лет, А. Журавлевой и

В. Синенко о прозе периода войны и т. д. Но, опираясь на их выводы, она смогла пойти дальше в теоретических обобщениях — и потому, что включила в сферу своего анализа и поэзию, и прозу, и драматургию, и потому, что, не ограничивая себя проблемами либо жанра, либо стиля, либо поэтики, обратилась к узловым вопросам нашего творческого метода. С. Фрадкина главным образом решает теоретические, литературоведческие задачи. Художественные произведения интересуют ее прежде всего с точки зрения их вклада в развитие метода социалистического реализма. Не слишком широко раздвигая рамки наших фактических познаний о литературе тех лет, книга С. Фрадкиной закрепляет, подтверждает основные положения метода советского искусства. А уже значительность критериев высвечивает значительность самих творений.

Зато А. Коган старается передать непосредственный накал, живую атмосферу литературы о войне, преимущественно поэзии: даже прозаические произведения он рецензирует главным образом те, что тяготеют к романтико-поэтическому видению мира. В предисловии он признает, что его книга ни в какой мере не может конкурировать с проблемными монографиями, «скорее она может служить лишь дополнением к ним». Но автору кажется, что это дополнение не бесполезно... И действительно, радость — именно так: радость! — познания литературных россыпей, отчасти малоизвестных, составляет пафос, внутреннюю нацеленность и серьезнейшее достоинство книги. Так иная новелла, будучи «менее значительной», чем роман, волнует нас порой гораздо больше искренним и свежим описанием знаменательного факта действительности.

С проникновенной сердечностью и эмоциональностью рассказывает А. Коган о братьях Занадворовых, о Борисе Богаткове, Гершензоне, рисует творческие портреты С. Гудзенко и П. Шубина, комментирует многие документальные издания, а среди них — том «Литературного наследства», посвященный деятельности писателей в годы войны. К этой своей книге он пришел после многих публикаций о поэтах военной поры, вооруженный дотошным знанием о тех, чья строка была оборвана пулей и кому посчастливилось дожить до победы. Автор книги хорошо улавливает и точно передает связь творчества поэта с его жизнью

И эта волнующая связь прежде всего определяет характер нашего читательского отклика на работу А. Когана.

Разносторонне и многогранно рассматриваются проблемы военной литературы и в коллективном сборнике «Литература великого подвига», подготовленном Институтом мировой литературы имени А. М. Горького. Первый его раздел содержит статьи литературоведов и критиков, анализирующие сегодняшнюю литературу о войне, и назван «Проблемы. Тенденции. Поиски». А второй — «С высоты времени» — образован публиковавшимися в «Вопросах литературы» беседами с писателями-баталистами, сегодня создающими романы о войне, главным образом романы эпопейного типа, — К. Симоновым, А. Чаковским, Ю. Бондаревым и другими.

Мне представляется знаменательным тот факт, что статьи первого раздела сосредоточены преимущественно на изображении личности в военных катаклизмах, увиденной как бы изнутри, а беседы «отданы» писателям эпического склада. М. Алексеев уверенно предсказывает даже, что военный роман завтрашнего дня ему видится как утверждение в искусстве народного романа-эпопеи. «Предчувствие народной эпопеи...» — так и названа беседа с ним.

Перед нами как бы два крыла, два фланга современной литературы, стремящейся соединить в неделимое единство и глубину постижения внутреннего строя личности, и широкое осмысление исторической правды происходившего. «Психологическая выверенность, неотъемлемая от выверенности исторической, является критерием масштабности лучших книг о мужестве духа», — сформулировала эту идею Л. Иванова в статье, открывающей сборник.

Собранные здесь статьи подтвердили ту бесспорную истину, что тема войны и по сию пору во многом определяет развитие всей многонациональной литературы, концентрирует ее новые эстетические качества.

Итак, перед нами разные по объему, по научной глубине, по характеру изложения работы. Общим для авторов является прежде всего признание широты художественных возможностей и многообразия советского искусства, широты, противостоящей всяческому «декредитированию», схематизации, обрубанию «беззаконных» ветвей. «Думается, что отдавать предпочтение од-

ному из способов отображения действительности... значит обеднять и обесцветивать палитру, ограничивать возможности художника», — утверждает В. Борщук. «Нынче все сходится на том, что не стоит «генерализировать» ни один из способов изображения, противопоставлять его другим как единственно возможный», — вторит ему А. Коган. Причем и сама идея широты получала по мере развития советской литературы все более полное критическое истолкование, и об этом убедительно свидетельствует достаточно точный при всей его неизбежной конспективности исторический обзор В. Борщукова «Связь времен», а также многие высказывания самих писателей. И И. Авижюс признает, что такие типы, как Гедиминас с Адомасом из «Потерянного крова», «вряд ли были бы возможны в литовской литературе военных и первых послевоенных лет», и Ю. Бондарев считает, что одиннадцать лет, отделивших «Горячий снег» от повести «Батальоны просят огня», явили собой «порую более широкого осмысления человека на войне, порую какого-то накопления, сделанного не мной, а самим временем».

Этот акцент на богатстве палитры нашей литературы, в частности на многообразии героев, тем более заслуживает быть отмеченным, что еще и сегодня встречаются рецидивы печально памятной концепции «идеального героя». Сошлюсь на примечательную цитату из статьи Л. А. Заманского, опубликованной в прошлом году в журнале «Русская литература»: «Горьким же был разработан в романе «Мать» принцип, получивший развитие во всех талантливых произведениях литературы социалистического реализма, который условно можно назвать принципом диалектической взаимосвязи центрального и решающего характеров. Центральный характер в произведениях (Ниловна, Чапаев, Морозка, Иван Шадрин и т. д. и т. д.) несет на себе основную идейно-эмоциональную нагрузку, самой судьбой своей, поведением, чувствами выражает современность, отражает характер эпохи; решающий же характер (Павел Власов, Левинсон, Давыдов...) в большей мере олицетворяет будущее, перспективу развития жизни он вскрывает тенденции дальнейшего развития, движения, прежде всего нравственного, и потому оказывает решающее воздействие на современников, в частности — на характер центральный. Вме-

сте с тем его способность проникнуть в будущее, нравственные качества, которые присущи людям будущего, создаются и усиливаются связью с характером центральным»<sup>1</sup>.

Так выглядит под пером сегодняшнего автора концепция героев, олицетворяющих народные массы, и героя, «опередившего время»: оказывается, он вскрывает тенденции развития, а все прочие персонажи выражают современность, и этот герой, а не жизнь оказывает решающее воздействие на современников!

Но почему Чапаев должен развиваться в Клычкова, Нилова — в Павла Власова, а Морозка — в Левинсона?! Каждая из этих фигур — живое свидетельство своей эпохи со своими достоинствами и недостатками, каждая по-своему отражает характер эпохи. В книге С. Фрадкиной категория эстетического идеала тоже связывается, причем достаточно жестко, все с тем же героем, опередившим время. Но разве суть в том, что генерал Панфилов, Зоя, Олег Кошевой «забегали вперед», а теперь пришлось бы «ко времени» или что такие люди стали уже массой? Отчего же стараемся мы сейчас бережно познать и воссоздать то время, породившее массовый героизм, время, в котором сердца людей возгорались от «прошлого» — от светлого пламени революции? И можно ли — а главное, нужно ли — отделять Теркина, сына своего времени, своего народа, от «героев, обогнавших время»? Героическое начало нашей литературы — в самом ее духе, в полноте и многомерности изображения высоких и славных дел народа, вдохновленного высокими идеалами, а не в умозрительном распределении героев хоть по двум, хоть по трем разрядам.

Конечно, каждое сопоставление условно. Но все-таки если центральной фигурой литературы военных лет видится Теркин, если в книгах Ю. Бондарева, В. Рослякова, Г. Бакланова преимущественное внимание уделялось юноше, герою-офицеру 1941 года, то за последние годы особо видное место занял военачальник Серпилин. И даже Васков, такой вроде недалекий Васков в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...», говорит: «Война — это ведь не просю кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает».

Не случайно в книге С. Фрадкиной под-

черкивается масштабность мышления героя. Не просто сосредоточенность на одолевании врага в конкретной схватке, на героическом деянии, а именно широта взгляда на коренные вопросы века. И не удивительно, что в сборнике «Литература великого подвига» мы встречаем все новые исследовательские категории, которыми овладела наша литература в своем развитии: структура личности, свобода и детерминированность и т. д.

Если С. Фрадкина вслед за В. Синенко делает особый упор на то, что «социалистическая социальность» стала природой характера советского человека, показанного во весь рост литературой в военные годы, то Г. Белая сосредоточивается на психологизме современной прозы. И это не противостоящие друг другу позиции: просто акцентируются разные стороны творческого процесса.

Обобщенно сформулировать то, что заметно отличает и нынешнюю литературу о войне и направленность современной критической мысли, можно, по-видимому, так: интерес к цельной, исторически конкретной концепции личности. Основное внимание и основные завоевания литературы последнего времени лежат в сфере познания духовного мира человека, ввергнутого в немаломо тяжелые физические и нравственные перегрузки войны. Ибо литература — это прежде всего познание человека, и с высот сегодняшнего дня открывается обширное поле обзора, приобретают большую отчетливость типы человеческого поведения.

Когда-то книга В. Перцова о литературе военных лет называлась «Подвиг и герой», что отвечало общей направленности литературы тех лет. В последующем движении исследовательской мысли наметилось как бы смещение от темы «человек на войне» к теме «человек и война», на первый план вышла историческая концепция личности. Это ничуть не противоречит героическому аспекту нашей литературы — он по-прежнему является ее основой, — но в соответствии с прожитым временем, с движением общественной мысли литература стала пристальнее вглядываться в духовный мир человека, исходить из более развернутых параметров личности, из более общей постановки вопроса о цели и смысле человеческого бытия. И уже с сегодняшних позиций пишет Фрадкина о принципиальном новаторстве «свойственной социалистическому реализму концепции личности», а А. Хайлов, один из авторов сборника, формулирует тему

<sup>1</sup> «Русская литература», 1975, № 2, стр. 125.



непосредственно в подзаголовке своей статьи — «Концепция личности в современной военной прозе».

В этом упорном исследовательском акценте — естественное развитие тех черт, которые в «свернутом» виде содержались и в военные годы. Но развитие примечательное и хорошо очерченное в «Литературе великого подвига».

Если внимание прозы в годы военного лихолетья было больше приковано к характеру подвига, то постепенно литература стремилась все полнее познать характер в подвиге. Перцов справедливо констатировал в свое время, что «герой представлен по преимуществу в исполнении своей военной функции». А Св. Бэлза уже с полным основанием формулирует: «Для писателей социалистических стран сейчас чрезвычайно характерно обостренное внимание к человеческой личности, настойчивое стремление к углубленному психологическому анализу, к выяснению во всей его полноте и сложности вопроса о роли и месте индивидуума в таких крупнейших катаклизмах, как война».

Философская насыщенность и этическая острота произведений возросли ныне столь резко оттого, что цельная и действенная концепция личности, проверяемая в условиях духовных перегрузок, стала весомым аргументом «в широко развернувшемся сегодня остром споре о человеке» (Г. Белая). И сборник «Литература великого подвига» сейсмографически чутко отразил эти существенные сдвиги, не оторванные от лучших достижений прошлых этапов, но образовавшие в своей совокупности новое качество литературы.

В своем известном докладе 1942 года А. Толстой нашел броскую формулу — «человек идеи и действия», характерную для прозы того времени, а теперь Г. Белая берет для заголовка статьи слова Чернышевского «связь чувств с действиями» и пристально вглядывается в диалектику чувств, разума, воли, ничуть не ставя, однако, под сомнение, что этот значительно усложнившийся «мотивационный» мир проверяется и осуществляется через поступок, через общественно-социальное проявление личности. «Драматизм самоопределения», «диалектику чувств» выделяет А. Коган в военных стихах А. Недогонова.

И в этом примечательное слияние реального качества сегодняшней литературы, уловленного Г. Белой, и сегодняшнего

взгляда на литературу военных лет, явленного в этюде А. Когана. Недаром А. Коган назвал свою книгу «Перечитывая войну»: именно перечитывая в сегодняшние дни, сегодняшним нашим зрением.

Еще один творческий спор, который реально возник ныне в литературе и критике, — спор о причинах устойчивого писательского интереса к драматическим коллизиям тех лет. Л. Иванова, полемизируя с В. Оскоцким, активно оспаривает усмотренное в его словах утверждение, будто для писателя важны не сами исторические события, а лишь художественное исследование нравственных конфликтов. Да и Г. Белая спорит с теми, кто допускает, что драматические коллизии, в которые писатели ставят своих героев, могут быть «интересны художнику не сами по себе, а как возможность исследовать идейную и нравственную основу характеров в беспримесно-чистых, едва ли не лабораторных условиях». Полагаю, что и Л. Иванова и Г. Белая изложили взгляды своих оппонентов несколько утрированно. Вот как звучат они в «чистом» виде у Св. Бэлзы: «...для писателя наших дней «крайние ситуации» войны нередко служат своего рода моделями для решения сложнейших нравственных проблем современности». А В. Быков говорил, что структура его повестей определится вопросом: как должен вести себя человек в критической ситуации, если перед ним альтернативные «или — или»? И Ежи Путрамент так комментировал свой «партизанский» роман «Болдын»: «...роман не является дополнением к литературной истории освободительной борьбы поляков в период оккупации. Это — исследование человеческой психики, испытывающей воздействие чрезмерных перегрузок от власти и ответственности». Да и «Пастух и пастушка» В. Астафьева тоже, конечно же, «своего рода модель».

Как видим, и такого рода исследовательские задачи, связанные с испытанием «нравственной основы характеров», могут ставить перед собой писатели. И останавливаюсь я на этом не ради того, чтобы выступить в роли дипломатичного примирителя, а дабы защитить право художников на многообразие решений. Историзм литературы не сводится к достоверности исторической обстановки, он заключается и в исторически обусловленном, исторически оправданном разрешении социальных и нравственных коллизий. Равно как психологический анализ не исключает интереса к общим началам челове-

ческой нравственности. Стремление некоторых художников к «моделированию» — очевидное качество современной прозы; можно одобрять либо не одобрять его, но нельзя не считаться с ним как с эстетической реальностью. А кстати, в подобных повестях и рассказах обычно укрупнена, резко выделена опять-таки концепция личности: испытывается ее нравственный потенциал в условиях перегрузок — и военная ситуация выступает как один из видов крайней ситуации.

Органически входят в развитую концепцию личности и рассмотренные П. Топером на страницах сборника некоторые аспекты трагического. Есть в его статье «дерзновенное» замечание по поводу столь полюбившейся всем повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...»: «...подвиг старшины Васкова закономерно венчает подвиг всего его погибшего отряда. И все же есть в этом нечто не обязательное по художественной логике повести... как это ни покажется странным, после гибели девушек для нас уже не играет решающей роли, кем и как были задержаны оставшиеся диверсанты». Само по себе это замечание, быть может и чересчур категорическое, знаменательно исходит больше из концепции личности (разумею характеры зенитчиц), исчерпывающе развернувшейся в ходе боя, чем из концепции непосредственного деяния, которое должно быть подтверждено осязаемым результатом.

В согласии с П. Топером, утверждающим, что «тенденция к более «густому», «концентрированному» изображению войны, к сгущению трагического колорита прослеживается все же с достаточной ясностью у самых разных писателей», Л. Лавлинский, анализируя (все в том же сборнике) нынешние стихи об Отечественной войне, также выделяет как очевидный факт «усиление и углубление в поэзии трагического элемента». Он показывает это и на поздних стихах Твардовского, где трагическое напряжение набирало новую высоту, и на поэзии Смелякова, и на творчестве поэтов фронтового поколения.

Стоит выделить интересный ход мысли Л. Лавлинского о связи героического с трагическим: «Лучшие из сегодняшних стихов о войне, думается, проникают в новые пласты трагического. Эти новые глубины не требуют обязательного раскрытия внутреннего «механизма» подвига или его внешне-го изображения. Трагедия как бы довольст-

вуется сама собой — подвиг, естественно, подразумевается». И это еще один путь освоения глубинных пластов личности: известно, что содрогнуться перед трагическими обстоятельствами может каждый, но на трагическое преодоление способны только сильные духом.

Познание личности в прозе последнего времени все заметнее концентрируется на аспекте нравственного выбора, на многосложности человеческих побуждений в критический момент. И я искренне порадовался отточенности формулы, которую встретил в сборнике «Литература великого подвига»: «Реалистическое искусство не пренебрегает и тем, что сопряжено с биологической природой человека, с особенностями психики, включая те ее слои, что находятся за чертой сознательного, — но при этом главным для него остаются социально-исторические связи индивидуума» (Св. Бэлза). На основе этого четкого представления о многосложности исследуются в сборнике художественные искания нашей военной прозы в общем движении современного мирового искусства: повышение удельного веса драматически напряженных «микророманов», эстетическая действенность внутреннего монолога, фабульное течение через восприятие событий героями и т. д. Во всем этом несомненное укрепление метода социалистического реализма, расширение его возможностей. Если книга С. Фрадкиной как бы обрисовывает и подытоживает на «военном» материале канонические положения нашей эстетики, то «Литература великого подвига» раскрывает реальные завоевания литературы последнего времени.

Отмечая другие черты, крупно проступившие на рубеже тридцатилетия, нельзя миновать тему многонационального характера нашей литературы о войне. Многие работы о литературе периода войны содержат в заголовке слово русская (русская поэзия у А. Павловского, русская повесть у В. Силенко, жанры русской литературы у И. Кузьмичева, да и монография С. Фрадкиной ограничивается русской литературой). Статьи же сборника «Литература великого подвига» свободно опираются на произведения многонациональной советской литературы. А это важное качество исследования. Скажем, С. Фрадкина могла выделить особый раздел — «Национальные истоки в характере героя»; в рассматриваемом же сборнике такая постановка вопроса была бы сопряжена с очень большими трудностями:

внимание авторов привлечено к общим процессам, характерным для всей советской литературы. Не случайна и несомненная близость (убедительно показал это Св. Бэлза) между литературами социалистических стран Европы и наших прибалтийских республик; для огромного числа людей выбор сражающегося стана был и выбором последующего социального пути: «В тему «человек и война» в этих книгах естественно вплетается тема «человек и революция», что требует дополнительных оттенков при воссоздании психологической атмосферы тех лет».

Это лишь один из примеров того, что рассмотрение многонациональной литературы предполагает расширение профессионального арсенала исследователя. И отраднo, что наша критика, в том числе критика военной литературы, уверенно справляется с этой задачей.

И наконец еще одно качество рецензируемых книг, отражающее общее состояние критики, — открытая, наступательная полемичность. Напористо и резко полемизирует С. Фрадкина с догматическими воззрениями на книги военных лет. Насквозь полемична книга А. Когана. Автор не регистрирует — он отстаивает. Отстаивает свою точку зрения, отстаивает критерии строгой эстетической взыскательности при подходе к произведению искусства. А в статье «Опыт жизни и опыт искусства» темпераментно спорит с попытками свести поэзию военных лет к атмосфере военной жизни без учета способов и уровня ее эстетического освоения. Полемичны П. Топер и Св. Бэлза по отношению к современным буржуазным теориям о роли

и месте личности, об активности человека, о трагическом. Убедительно, тактично, но неуступчиво опровергает В. Борщукoв ряд упрощенных субъективистских утверждений П. Глинкина, И. Кузьмичева.

Комментируя замысел «Блокады», А. Чаковский сказал: «Сознаюсь, мне хотелось быть в этой книге не только летописцем, но и — солдатом».

Эти слова мог бы сказать чуть ли не каждый писатель, обращающийся к военной теме, ибо в них, пожалуй, заключается общий смысл сегодняшней литературы и сегодняшней критики. И здесь полемика — одно из доказательств неуступчивой активности сегодняшней критической мысли, ведущей борьбу за правдивое прочтение истории, за торжество социальных и нравственных ценностей, равно важных и для войны и для мира.

Справедливо заметил В. Борщукoв: «...покрою в нашей критике подчеркивается, что один этап развития литературы отличается от другого большей масштабностью изображения, более широким охватом событий, более глубоким историзмом и т. п. На мой же взгляд, дело здесь совсем в другом — в переходе к постановке новых проблем, к качественно новому уровню их разрешения в соответствии с требованиями нового времени».

Тридцатилетие победы подвело итоги, но оно открыло и дальнюю перспективу. То, что развитие военной литературы плодотворно продолжается, говорит о ее силе, внутренней энергии, общественной необходимости.

А. БОЧАРОВ.



## КНИГА ЖИВЫХ ИДЕЙ И СПОРОВ

Г. П. Макогоненко. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833). Л. «Художественная литература». 1974. 374 стр.

В книге Г. Макогоненко глубоко и полемически остро поставлены важные вопросы пушкиноведения. Она и сама вызывает на споры. Убедительные ответы на ее вызовы воспедают не сразу и, вероятнее всего, в капитальных разработках. Но важно уже теперь осознать, что в ней удалось и что не вполне удалось.

Пушкиноведение обладает удивительным свойством: то бурно развиваться, то как бы застыть на достигнутом рубеже. Послед-

нее происходит оттого, что уж слишком легко к Пушкину — «нашему началу начал», «нашему все», непререкаемому художественному «эталону» — прикладываются некоторые общепринятые, догматизированные в литературоведении мнения.

Но именно поэтому наблюдаются и резкие перепады разнотолков в пушкиноведении, как только литературная наука выдвигает новый метод изучения текста, новый принцип отсчета явлений. Даже маленький,

но реальный сдвиг в традиционных представлениях о поэте немедленно вызывает пересмотр очень многих следствий; нередко они касаются всей русской литературы XIX века.

Г. Макогоненко предлагает весьма радикальное переосмысление типов реализма Пушкина и его высот, вполне обрисовавшихся в 30-е годы. Чрезвычайно оригинальные разборы «маленьких трагедий», «Повестей Белкина», «Медного всадника» выстроены в целую систему доказательств качественного своеобразия пушкинского реализма после первой болдинской осени.

Развивая свой главный тезис о важности 30-х годов в судьбах пушкинского реализма, Г. Макогоненко хочет решить сразу три задачи. Выделить 30-е годы как особый, важный период в русской литературе XIX века, полный внутреннего динамизма художественных и идеологических исканий. Поставить Пушкина во главе 30-х годов, а не Гоголя, как повелось со времен Белинского и что старательно в наше время обособывал Г. А. Гуковский. И, наконец, повторю, обособить 30-е годы в творчестве Пушкина как самую зрелую, чрезвычайно специфическую стадию развития его реализма.

Первая обширная задача, естественно, решается попутно: она далеко выходит за рамки книги. Но действительно 30-е годы должны быть изучены сполна, они представляют собой самостоятельный научный предмет.

Что касается ведущего места Пушкина в эпохе 30-х годов, тут Г. Макогоненко говорит много принципиально важного. Удельный вес Пушкина в этой эпохе до сих пор, конечно, недооценивался. Пушкин все еще остается в сознании многих ученых поэтом 20-х годов, главная заслуга которого в том, что в его творчестве особенно резко обнаружился переход русской литературы от романтизма к реализму. Но Пушкин вел русскую литературу вперед и в следующем десятилетии. Особенно впечатляют остроумные переосмысления Г. Макогоненко идей Белинского о повестях Гоголя. Белинский хвалил в них «простоту вымысла», «совершенную истинную жизнь», «народность». Кажется, у самого Белинского эти оценки родились скорее под впечатлением от «эталонных» — ранее появившихся повестей Пушкина. Такая догадка исследователя представляется не только остроумной, но и плодотворной.

И все же легко улавливается у Г. Макогоненко тенденция утвердить значение Пушкина в 30-х годах за счет Гоголя. Нужно ли одного гения вытеснить другим? Тут есть какое-то еще не постигнутое наукой взаимодействие. Такие определения, как «простота вымысла», «совершенная истина жизни» и особенно «народность», далеко не одно и то же значили бы у Белинского в применении к Пушкину и Гоголю. Г. Макогоненко готов поставить между ними знак равенства. Не так-то легко может быть перечеркнуто предпочтение Белинским гоголевской реалистической прозы пушкинской прозе. Критик к тому же в 1835 году еще не знал «Капитанской дочки». Г. Макогоненко рассматривает вопрос о месте Пушкина, ограничиваясь лишь оценкой первых прозаических его произведений. А надо решать вопрос, опираясь на все его творчество.

Отправляется в своих построениях Г. Макогоненко от общеизвестного: где-то в 1823—1825 годах, когда Пушкиным создаются первые пять глав «Евгения Онегина» и «Борис Годунов», сформировался в творчестве поэта художественно-реалистический метод в его, так сказать, первой типологической разновидности. Сразу же бросим упрек автору рецензируемой книги: ему надо было бы обстоятельнее охарактеризовать этот «изначальный» тип реализма Пушкина, не полагаясь на существующие его описания, показать внутреннюю связь между двумя столь разными произведениями, как «Онегин» и «Годунов», чтобы от этой ступени с учетом жанровых разновидностей эпоса и драматургии отсчитать новые уровни становления реализма Пушкина.

1826—1829 годы Г. Макогоненко называет «переходным периодом», «подведением итогов», собственно 30-е годы начинаются с болдинской осени. Но резонно ли считать 30-е годы периодом целостным и «неделимым»? Полной ясности в структуре книги, авторских выкладках по периодизации нет. На титуле тема обозначена широко — все 1830-е годы, и в скобках стоит локализирующая дата: 1833 год. Но эта дата в концепции автора работает слабо. Правда, книга заканчивается разбором «Медного всадника», написанного в 1833 году, хотя и увидевшего свет после смерти поэта. Но почему не привлечена «Пиковая дама», увидевшая свет в том же 1833 году? Она не менее важна для характеристики становления пушкинского реализма; ведь разговор

о прозе уже начат с «Повестей Белкина». Постоянное обращение Г. Макогоненко к «Капитанской дочке», «Истории Пугачева», «Памятнику» хорошо помогает локализовать 30-е годы в творчестве Пушкина, но мешает проведению внутреннего их членения. Нельзя брать факты «навалом» из самых последних лет творчества поэта для характеристики особенностей его реализма начала 30-х годов. Тут нарушается конкретный историзм подхода. В четвертой главе — «О реализме и народности Пушкина 1830-х годов» — опять целиком взяты 1830-е годы! Кстати, почему бы этой явно итоговой главе не быть последней? Вслед за ней идет глава с разбором «Медного всадника». Она чисто внешним образом оправдывает оговорку на титуле, что изучается лишь короткий отрезок 30-х годов — с 1830 по 1833 год. Общие выводы о реализме 1830-х годов ее упредали.

Применяемое исследователем понятие «переходность» к стремительно развивавшемуся Пушкину не очень подходит. Но главная мысль Г. Макогоненко здравая: после 1825 года перед Пушкиным встал вопрос о выработке новых ориентиров. Это было особенно сложно сделать в рамках начатого им и уже заявленного публике «Онегина». Как продолжать роман, куда вести героя? Автобиографическая близость Онегина к автору, причастность к заговору стали вещами невозможными. В восьмой главе поэт, как предполагает Г. Макогоненко, заново переосмысливает, уже с сознанием горечи поражения декабристов, многие острые мотивы первых глав. И лирика в «переходные» годы стала менее личной, приобрела более отвлеченно-философский характер.

В этой связи Г. Макогоненко подвергает убедительному пересмотру циклы лирических стихотворений, которые традиционно связывались учеными с увлечением Пушкина Амалией Ризнич и Елизаветой Воронцовой. Перепроверяя все факты, относящиеся к этим явно преувеличенным легендам, Г. Макогоненко обуживает круг стихов, посвященных Ризнич и Воронцовой. Попутно автор почти начисто отвергает «биографический» метод прочтения лирики как узкий и субъективистский. Надо вызволить Пушкина из плена домслов. Но не впадает ли сам Г. Макогоненко в «биографизм», когда утверждает, что, не имея возможности привести Онегина в стан декабристов, Пушкин наделяет героя своим жизненным опытом и возрождает его при помощи люб-

ви к Татьяне? Отлучение лирики от «прототипов» завершается тем, что Пушкин вдруг сам стал прототипом для Онегина... Г. Макогоненко, кстати сказать, и не задается вопросом: а способен ли был Онегин дорости до декабризма, в цензуре ли тут только дело? Для автора здесь все аксиоматически ясно: «Онегин не стал декабристом, но он принадлежал к тому же типу людей», «невозможность показа дальнейшей эволюции Онегина... тяготила поэта», «сняв проблему политическую... Пушкин показал нравственное возрождение личности Онегина через любовь». Такую подмену Г. Макогоненко считает подвигом поэта: нравственная ценность человека проверяется через любовь. По правде говоря, все эти категоричности нам не представляются убедительными. Коснулся бы автор хотя бы спорной проблемы десятой главы романа. Даже эта глава в дошедших строфах не дает ответа на вопрос, как бы вел себя Онегин «у беспокойного Никиты. У осторожного Ильи». А уж первые-то главы дают основания заключать о его известном прозаизме и себялюбии: «Затем, что он равно зевал среди модных и старинных зал». Может быть, новая истинная «проблема политическая» и заключалась накануне 30-х годов в показе возрастания в Онегине тех черт, которые все более отдаляли его от Чацких и декабристов, все более сближали с людьми обломовского типа, «без цели, без трудов». Ведь в этом тоже была великая правда реализма позднего Пушкина.

Г. Макогоненко считает, что «Бесы» — ключ ко всем 30-м годам: «Сбились мы. Что делать нам!» (Так и в «Осени»: «Куда ж нам плыть?».) Бесы — это злые силы николаевской действительности, мутные вихри времени. Подстановка таких реалий естественна и правдоподобна. Глубокая и точная символика усматривается Г. Макогоненко в целой сюите пушкинских образов русской природы, проникнутых духом мудрого оптимизма. «Сладки мне родные звуки звонкой песни удалой» — это тоже стихи о степи, ямщике, раздумьях в пути. Обретение тверди под ногами увидено исследователем в «Капитанской дочке» («Вожатый»). Вихревое движение перерастает в бунт. Сначала это образы непокорства природы. Потом полусерьезный-полушаржированный сказ о горюхинцах, потом о Кирджали, о Дубровском и наконец о Пугачеве. Частные наблюдения предшественников сошлись в рамках единой концепции. Реализм 30-х го-

дов у Пушкина, как отмечали еще Б. В. Томашевский и Г. А. Гуковский,— это особенное развитие гуманизма, историзма и народности поэта.

Эти три ипостаси реализма показаны Г. Макогоненко в их нерасторжимом единстве и с твердой опорой на анализ художественных произведений Пушкина. Попутно оспорены явно устаревшие толкования жанра и трагического в «маленьких трагедиях».

«Маленькие трагедии»—не трагедии, заявляет Г. Макогоненко. Трагедия не может быть маленькой, предпочтительнее другое, пушкинское наименование — «драматические сцены». Привычка славить Пушкина привела иных ученых к стиранию подлинной специфики пушкинского гуманизма, который выразился не в возвеличивании некоего борения страстей, судеб человеческих, а в трезвом отборе того, в чем есть подлинное величие и что его лишено. Г. Макогоненко наперекор традиции не видит величия в слезах убийцы Моцарта, нельзя в Сальери уважать трагического героя: он в принципе бездуховен, враждебен всему живому. Лишь трагикомическим может быть Барон, скупой рыцарь, эгоист, лжец и клеветник, нет величия в его стяжательстве и наслаждениях сознанием своего денежного могущества. Вряд ли человеком ренессансного начала, Моцартом в любви, является Дон Гуан. Искатель сильных ощущений, он себялюбив, деспотичен, кощунствует в сценах с Доной Анной: надругательство над святынями чувств оказалось наказуемым. Сочувствие писателя центральному персонажу — верный признак трагедии. Надо сказать, что никто до Г. Макогоненко не предлагал столь целостного, неожиданного по выводам и при этом подкупающего своей проникновенностью суждения о пушкинской интерпретации таких образов мировой литературы, как Фауст, Дон Гуан, Дона Анна. Тут был именно спор Пушкина с традицией, проявление его гуманизма и народности, русское решение «вечных» тем.

Три повествовательных уровня в «Повестях Белкина» — демонстрация синтетичности, диалектичности реализма 30-х годов. Тут и введение демократических героев на уровне первого простецкого рассказчика, и пародирование романтических штампов в тогдашней прозе с ее усложненным сюжетом, когда сам Белкин и не подозревает об иронии «судьбы». Полное пушкинское воспитание читателя достигается переигрыва-

нием изначальных романтических ситуаций в реалистическом духе, с «благополучными» концами. Пушкин верит в некую большую серьезность жизни, в другую логику взаимодействия обстоятельств и личности: бретер Сильвио нашел себя среди гетеристов, Дуняша счастлива с Минским. Но все три плана сосуществуют в повестях и порождают обаятельную, сложную игру смысловых оттенков.

Особенно удачно все приемы анализа раскрылись в главе о «Медном всаднике». Главу пронизывает полемический пафос — спор с Мицкевичем, вчуже судившим о Петре I, с «государственниками», В. В. Сиповским и другими, которые привносили в идею необходимости элемент фатализма. Тяжело читать у Г. А. Гуковского самозабвенное идолопоклонение перед жестокостью «закономерного», которое «без остатка подчиняет себе» личность, когда «частные цели и индивидуальное счастье... должны быть принесены в жертву поступательному ходу государственности...». «Таков закон иерархии бытия, и этот закон благ». А ведь сам же Г. А. Гуковский установил особенное, «двойное» отношение Пушкина к Петру I — преобразователю и раздраженному помещику, к исторической «необходимости». Г. Макогоненко показывает, как в разных ракурсах в лексическом отборе выступают в «Медном всаднике» обе силы — Петр и Евгений. Возвышенные славянизмы щедро потрачены и на бедного чиновника, которого «чело» «к решетке холодной прилегло», «по сердцу пламень пробежал». С особой мощью звучит его простонародная угроза: «Ужо тебе!» И неколебимый властелин полумира теряет покой, срывается со скалы. Вот где суждено его гордому коню опустить свои копыта. Тут же, на мятежной площади. И он суетно погнался за тем, кто смутил его величие. В единоборстве предстали обе силы. Просиял ум Евгения, герой тоже «дум великих полн»: «Самостоянье человека — залог величия его».

Новым словом реализма Пушкина в 30-х годах было осознание антинародности самодержавной власти не только Николая I, но и Петра. Это осознание и привело Пушкина к еще более зрелому взгляду на контрверсии истории в самом конце жизни, когда появился образ Пугачева. Этот гений народной вольности, знающий «упоение в бою», заслонил собой в повести официальных деятелей истории и саму «великую» Екатерину.

И снова мы обращаемся со своими упреками к автору книги: если уж и Радищев понимал двойственность Петра, то как быть с дистанцией, отделяющей Пушкина от Радищева? Ведь через всю книгу проходит мысль о дистанции, о диалектике движения. Приводимые автором исторические суждения Пушкина и Радищева поставлены в книге слишком уж «встык». Также не следовало бы валить в одну кучу разные примеры взаимодействия личности и среды. Получается так, что в число личностей, «отвергающих рабство среды», попадают на равных и Гильвио, и Дубровский, и Пугачев. В число «мирящихся и покорно губящих» свою личность отнесены Самсон Вырин, Троекуров, Гриневы. А «безответственно» относящимися к своему достоинству объявлены беззаботный Дон Гуан, расчетливый Барон и азартный Германи. Кстати, настолько ли уж меркантильно-буржуазен Германи у Пушкина? Он ведь пока еще только картежный авантюрист. Многовато ему отмерено в книге: Германи — жестокий практик бесчеловечного буржуазного общества.

В книге в целом хорошо выдержан тон пушкинской эпохи, чувство соразмерности, сообразности. Множество тонких наблюдений приведено о внутренней оправданности выбора Пушкиным посредника-повествователя Белкина, но как-то вне партитуры ве-

ликого мастера оказываются слова Г. Макогоненко о выборе Белкиным литературного поприща после 1825 года: «Литература оказывалась той высокой трибуной, с которой можно и следовало сказать много». Так ли уж нужна была высокая трибуна незадачливому Ивану Петровичу Белкину, разве он Грановский или Белинский? Напрасно затеял Г. Макогоненко спор на тему: Пушкин не был «критическим реалистом». Г. Макогоненко доказывает, каким приемлющим мир был Пушкин, у него и сатиры-то почти нигде нет. Но общепринятый термин «критический реализм» применяется ко всей передовой русской литературе XIX века. Конечно, Пушкин — «критический реалист», да еще родоначальник этого направления. Зачем же запутывать ясный вопрос?

Г. Макогоненко работает над продолжением своего труда о реализме Пушкина 1833—1837 годов. Если там даже и будет частичное повторение уже сказанного, это не помешает читательскому интересу. «Заявки» на развитие темы в рецензируемой части монографии жизненно важны для науки, и путь решения намечен верный. Эрудиция и методологическая искушенность автора обещают поднять весь разговор о Пушкине на новый уровень.

**В. И. КУЛЕШОВ,**  
доктор филологических наук.



### Политика и наука

## С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ

Ю л. М е д в е д е в. В первом приближении. М. «Советская Россия». 1975. 270 стр.

**Н**аше отношение к окружающему миру, к самим себе, к настоящему и будущему земной цивилизации в возрастающей степени определяется тем громадным влиянием, которое оказывает на различные стороны человеческого бытия научно-техническая революция. Рожденный ею шквал перемен зримо заявил о себе прежде всего количественными характеристиками. Невиданный рост производительных сил и научных знаний, материального богатства и бытовых удобств, скоростей передвижения и продолжительности жизни вызвал прилив энтузиазма, гордость за могущество

человеческого разума. Однако вскоре все явственнее стали обнаруживаться и тревожные последствия — загрязнение воздуха и воды, сокращение природных ресурсов, экспоненциальный рост народонаселения, разбухание городов.

Нужно с самого начала подчеркнуть, что отрицательные моменты, сопряженные с индустриальным развитием, имеют в корне разную остроту и тенденции развития в условиях двух противоположных социальных систем. В социалистических странах, где хозяйство ведется по плановому принципу, где основная цель производства —

благо человека, экологическая ситуация значительно благоприятнее, чем в капиталистическом мире, особенно в его промышленных регионах. Экологической программой, намеченной в документах XXV съезда КПСС, предусмотрены новые важнейшие меры по охране окружающей среды в нашей стране.

Вместе с тем гигантски возросшие масштабы преобразовательной деятельности человека на современном этапе развития науки и техники приводят к тому, что проблема взаимоотношений человека с окружающей средой обретает глобальный, общепланетарный характер, она может быть решена только усилиями всех стран. Сегодня люди все больше убеждаются в необходимости совместной заботы о единой основе своего существования — о биосфере в целом.

Повсюду в мире люди хотят знать, что им принесет дальнейшее ускорение технического прогресса, каким образом им строить свои взаимоотношения с природой, чтобы с надеждой смотреть в завтрашний день. Найти верный ответ на эти вопросы совсем не просто. Начать с того, что среди ученых, призванных внести ясность, нет единодушия в оценке ряда проблем и путей их решения. Вопрос запутывает также сонм дилетантов, падких до любой «модной» темы. Именно в их сочинениях за истину нередко выдается то безудержный «инженерный оптимизм», игнорирующий или преуменьшающий остроту экологической тематики, то панический «биологический пессимизм», требующий наложить запрет на технический прогресс. Отнюдь не более плодотворны и характерны для спекулятивной литературы попытки отыскать «золотую середину», выливающиеся чаще всего в механическое «примирение» противоположностей.

Вот почему еще одна книга на экологическую тему, принадлежащая перу «неспециалиста», вызывает поначалу некоторую настороженность, несмотря на то, что автор с лучшей стороны показал себя в прежних книгах о науке и людях науки. Но уже с первых страниц становится ясно, что читатель и на сей раз не будет обманут в своих ожиданиях. Серьезно и заинтересованно отнестись к авторским намерениям побуждают два обстоятельства. Во-первых, намеченная Юл. Медведевым задача выходит за рамки узкопрофессионального разговора, в котором непосвященному заранее

отведена роль в лучшем случае добросовестного слушателя, но не равноправного участника. Во-вторых, не может не импонировать взятый в книге тон — тон размышления, поиска, подчеркнутого отказа от позиции всезнающего оракула. Это несколько не мешает авторитетности высказываемых автором соображений, ибо в разноголосице мнений его точка зрения всегда четко определена.

Не обходя вниманием количественные аспекты научно-технической революции, Юл. Медведев особенно выделяет те качественные изменения, которые технологический переворот внес в экономическое и социальное развитие, в познание и практическое освоение человеком природы. Он стремится к тому, чтобы эти изменения стали максимально наглядными и красноречивыми для читателя — задача, понятно, не из легких. Недаром автор считает нужным заметить, что хотя «печать регулярно просвещает и, если можно так выразиться, протрезвляет массы насчет глобальных расходов, приходов и остатков», инерция прежнего мышления демонстрирует поразительную живучесть. «Мы все еще придерживаемся образа жизни богачей, — пишет он, — текущий счет которых не может быть исчерпан ни ими самими, ни их детьми и внуками».

В данной ситуации, думается, неоспоримы преимущества той неторопливой последовательности, с какой Юл. Медведев аргументирует необходимость неотложной перестройки взглядов людей на природу и свое место в ней, согласования умоностроений и социальных действий с новой качественной ступенью общественного прогресса. В первую очередь это касается психологических и этических установок, регламентирующих взаимоотношения общества со средой обитания, а также умения вовремя остановиться там, где научные возможности вступают в конфликт с нравственностью. С помощью продуманных доказательств и богатого фактического материала читатель подводится к выводу о том, что развернутая в книге идея отнюдь не является просто пожеланием или вариантом выбора. Речь идет о не имеющем другой разумной альтернативы способе сохранить уникальное единство человека и биосферы.

Одновременно с лавиноподобным умножением в нашей жизни всевозможных нововведений, знаний и вещей, параллельно с «акселерацией» общественных процессов



растет число проблем, требующих повышенной моральной ответственности от все возрастающего числа людей. В век всеобщей рационализации и перепоручения сложных умственных функций компьютерам развитое нравственное самосознание часто становится главным критерием способности и права принимать решения и верховным судьей, когда мнения разделяются.

Современная наука демонстрирует разительные примеры того, что служение знанию только ради него самого большей частью недостаточно, а иногда преступно. Успехи молекулярной биологии и генетики, кажется, вплотную подвели нас к тому желанному часу, когда «человек... схватит саму пружину эволюции, сожмет рулевое колесо мира» (Тейяр де Шарден). Но сразу возникают вопросы: кто, как, с какой целью этим может воспользоваться? Лабораторные опыты с носителями наследственности — генами — делают потенциально возможной, скажем, «утечку» бактерий, случайно или по воле исследователя наделенных крайне вредоносными свойствами. Зарубежные ученые законно озабочены также возможностью использования достижений генетики милитаристскими кругами.

Конфликт между логикой научного и инженерного поиска, с одной стороны, и вероятными результатами свободного от нравственных ограничений исследовательского интереса — с другой, рождает личные драмы. И обнадеживающим признаком в подобных случаях являются победы, которые моральная ответственность одерживает над честолюбивыми замыслами. Симпатии Ю. Медведева на стороне ученых, которые способны, как, например, группа биохимиков из Стэнфордского университета, приспособить эксперимент на самом интересном и обещающем этапе, если риск катастрофических последствий не равен нулю. В то же время автор предостерегает и от абсолютизации верного в целом положения, согласно которому неполнота знаний в сочетании с решительностью поступков опасна.

Книга «В первом приближении» вообще отличается гибкостью, диалектичностью как в постановке вопросов, так и в попытках ответить на некоторые из них. Хочется еще раз подчеркнуть, что это вовсе не свидетельствует об уклонении Ю. Медведева от прямых «да» или «нет» (всюду, где ка-

тегоричность необходима, она есть), а показывает лишь сложность, неоднозначность, противоречивость жизни и выдвигаемых ею проблем.

Без максимально развернутых экспериментов с теми же генами трудно ожидать успеха в борьбе с наследственными заболеваниями. И кто знает, может быть, именно здесь человечество обретет спасительное средство против своего зловещего врага — рака. А сколько великих, значительных или просто полезных открытий не удалось бы сделать, если бы «здоровый смысл» всегда торжествовал над неумной жадной дерзаний и полетом человеческой фантазии. В какой степени это справедливо, подтвердили исследования космоса. Усилия по его освоению, которые даже Макс Борн считал ошибкой здравого смысла (в основном по причине гигантских и, как казалось ему, не первостепенной важности расходов), оправдали себя с сугубо практической стороны. Телевидение, телефонная связь, геология, метеорология уже широко опираются на достижения космонавтики.

Таким образом, и осторожный Биолог и самоуверенный Инженер, как автор условно разделил оппонентов, оба обладают набором довольно весомых аргументов. Не считаться с ними нельзя. Но выход, который предлагает Ю. Медведев, заключается отнюдь не в примирении несовпадающих точек зрения, не в выработке некоего усредненного взгляда. Он заключается, как это ни звучит парадоксально, в необходимости сохранения различных, в том числе и диаметрально противоположных, взглядов, в продолжении спора, в многообразии путей, на которых ведется поиск истины. Однако при одном неперемennom условии: ни одна из дискутирующих сторон не должна пользоваться монопольным правом на истину, на утверждение своей позиции в качестве единственно приемлемой. Взаимное уважение и научная добросовестность, а не престижные или конъюнктурные соображения должны лежать в основе доводов за и против. Осторожность и риск одинаково необходимы миру. Но в отдельности осторожность бесплодна, а риск азартен. Попытка примирить их погасит мысль. Значит, единство и борьба противоположностей!

Разумеется, речь идет не о том, чтобы Инженер и Биолог крутили «рулевое колесо мира» в разные стороны. Напротив, все помыслы и заботы автора о том, чтобы они, следуя каждой логике собственного поис-

ка, совместно обеспечивали общее движение в направлении социального прогресса. Любой ученый, исследователь и вообще человек, причастный к научно-технической революции, обязан сегодня учитывать в своей деятельности разнородные и отдаленные причины и следствия. Главное — уметь сочетать и соизмерять степень новизны со степенью устойчивости, устремленность в грядущее с вниманием к настоящему, желание уберечь человечество от новых источников тревог с надеждой найти на пути к неизведанному спасительные средства против существующих и возможных опасностей. То есть нужна та самая целостность миропонимания, способность выстраивать свои поступки и побуждения в систему, от которой, как утверждает Юл. Медведев, зависит будущность племени людей. И с этим утверждением трудно не согласиться.

Убедительность многих выдвигаемых в книге положений достигается тем, что они не продекларированы, вернее, не просто продекларированы, а показаны, так сказать, во плоти своего реального бытия. Повествует ли Юл. Медведев о судьбах ученых, с которыми свела его работа журналиста, идет ли по следам новейших открытий и сенсационных гипотез, вводит ли читателя в содержание кипящих в научных кругах споров или знакомит его с нынешним состоянием и перспективами глобальных проблем — он неизменно обнажает ситуации, когда последнее слово оказывается за нравственным самосознанием. От степени его зрелости порой больше, чем от интеллектуальных возможностей и квалификации, зависят эффективность использования огромных людских, материальных и финансовых ресурсов, темпы прогресса, общественное благо.

Примеры того, какую исключительную роль играет нравственная позиция ученого, читатель найдет в очерке о советском агрохимике и биохимике Ф. В. Турчине, чей творческий портрет любовно и талантливо нарисован автором. Поучителен в этом плане и рассказ о работах академика Ф. Ф. Давитая, наследовавшего научные и человеческие принципы своего учителя академика Н. И. Вавилова.

Только в атмосфере высокой моральной ответственности будет найдено решение вставших перед человечеством проблем — такова важнейшая мысль книги. «Служение знанию, — пишет Юл. Медведев, — недостаточно для того, чтобы отстоять жизнь

перед лицом предстоящего испытания надежности нашего, людского владычества на Земле. Служение благу, неравнодушие к делам человеческим — вот дополнительные требования к свойствам души тех, кто будет насаждать среди нас всех трезвые представления об экологической ситуации».

Было бы, однако, неверно полагать, что автор переносит решение экологических проблем исключительно в этическую сферу. Взаимоотношения человека и природы не могут быть сведены к этическим, техническим или организационным вопросам. Это вопрос социальный и в огромной степени политический. Юл. Медведев неоднократно указывает на зависимость последствий научно-технической революции от господствующих в обществе социальных отношений. Обосновывая оптимистический взгляд на будущее человечества, он приводит слова академика В. А. Энгельгардта: «Позволю себе выразить уверенность, что путь будет найден правильный... Возможность получения положительных результатов заложена в самой природе научного искания, а опасность, в сущности говоря, — только в действиях человеческого общества». Эти действия, как известно, в условиях социализма и капитализма глубоко различны.

В книге содержится немало красноречивых фактов, подтверждающих неспособность буржуазного общества взять под контроль научно-техническую революцию. Вот некоторые из них. Уже сегодня США, Англия, ФРГ и Япония близки к критической точке, когда затраты на ликвидацию растущих загрязнений станут невыносимыми. Специалист по вопросам продовольствия англичанин Бойд Орр признал, что западная цивилизация нацелена на производство такого количества продовольствия, которое выгодно продать, а не такого, какое необходимо для удовлетворения человеческих нужд.

И все-таки Юл. Медведеву можно адресовать упрек в недостаточно четком отражении социально-политической сущности и значения нынешних глобальных проблем. Данное упущение объясняется скорее всего тем обстоятельством, что книга собрана из написанных в разное время очерков, раздельная публикация которых не ставила задачи специального рассмотрения социальных корней обостряющейся при капитализме проблемы окружающей среды, кризиса городов, энергии и сырья, нехватки продовольствия, демографических трудностей и

т. д. Однако при подготовке книги этим аспектам взаимодействия общества и природы следовало бы, думается, уделить большее место и внимание.

Такая необходимость вызывается, в частности, идеологическими спекуляциями западной псевдонауки и пропаганды вокруг экологических проблем, попытками превратить последние в инструмент социального маневрирования. Кризисная экологическая ситуация в капиталистическом мире используется для обоснования политических и экономических акций государственно-монополистического капитала, приносящего насущные нужды миллионов людей в жертву своим корыстным узкоклассовым интересам. Изошренная экологическая демагогия, взятая на вооружение буржуазной концепцией «качества жизни», сваливает всю ответственность за нарушение равновесия биосферы на рядового потребителя, оправдывает замораживание жизненного уровня трудящихся, доказывает, что источник бед заключен в техническом прогрессе и экономическом росте независимо от политической структуры общества. Поэтому хотелось бы видеть больше определенности в рассуждениях автора, когда он говорит, например, о вине «индустриально развитых стран» за загрязнение среды обитания, подчеркивает «общечеловеческий» характер этой проблемы, знакомит читателей с дискуссией вокруг книги группы американских социологов «Пределы роста». Действительно, вода и воздух не признают государственных границ. Любая страна, особенно промышленная, может сегодня своим необдуманным вторжением в окружающую среду вызвать глобальные потрясения. Поэтому вопрос о необходимости рассматривать деятельность людей в любой части планеты, при любом социальном строе как общечеловеческую и координировать ее в интересах всего человечества — вопрос практический, неотложный.

Вместе с тем речь идет о взаимоотношениях с природой не «человека вообще», а людей, действующих в рамках конкретной социальной системы. Капиталистические и социалистические страны не только несут разную ответственность за нынешнюю экологическую напряженность, но и принци-

пиально по-разному решают задачи природопользования.

Предпринимаемые в буржуазных странах меры по охране среды оказываются часто неэффективными в силу внутренних законов антагонистической системы. Комплексный подход к использованию богатств Земли попросту невозможен в условиях стихийного общественного развития, безудержной погони за чистоганом, распространения принципа «использовал — выбросил» как на человека, так и на природу.

Только в социалистическом обществе, хотя и оно не застраховано от ошибок, налажено планоное, с учетом длительных перспектив развитие науки и производства, только здесь стала возможной действительная гармонизация взаимоотношений человека и природы. Доказательством тому служит разработанная на нынешнюю пятилетку комплексная программа по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Она предусматривает, в частности, практическое применение новых методов и средств борьбы с вредными выбросами веществ в атмосферу, переход во всех отраслях промышленности на использование оборотных вод, внедрение технологических процессов, обеспечивающих уменьшение отходов и их максимальную утилизацию. На эти цели, указано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, выделяется 11 миллиардов рублей. И эта сумма будет увеличиваться.

Выводы о социальной обусловленности взаимодействия общества и природы подразаумеваются в книге, логически вытекают из авторского анализа поднятых в ней проблем. Однако для читателя, который, возможно, впервые приобщится к экологической тематике через работу Юл. Медведева, нужны более строгие и ясные ориентиры. В целом же книга «В первом приближении» — интересный и полезный труд. Она привлекает нешаблонным взглядом автора на наиболее значительные вопросы, связанные с влиянием научно-технической революции на общество и природу, удачным сочетанием глубины содержания и доступности литературной формы.

**В. МОТЯШОВ.**



## ВЕЛИЧИЕ И БОЛЬ ТАЛАНТА

Оскар Нимейер. Архитектура и общество. М. «Прогресс». 1975. 191 стр.

Очевидно, не будет преувеличением сказать, что успехи современной бразильской архитектуры, воспринявшей лучшие достижения европейского зодчества и тем не менее не растворившейся в международном архитектурном стандарте, во многом обусловлены творчеством ведущего ее мастера Оскара Нимейера.

«Я стою за почти неограниченную свободу пластических форм, противопоставляя ее рабскому подчинению соображениям техники и функционализма, за свободу, которая в первую очередь будит воображение, позволяет создавать новые и прекрасные формы, способные удивлять и волновать своей оригинальностью и элементом творчества; я за свободу, которая создает атмосферу вдохновения, мечты и поэзии». В этих словах — творческое кредо художника, который вот уже на протяжении четырех десятилетий являет удивительную верность своим эстетическим идеалам, зодчего, который, если судить по его ранним работам да и по собственным высказываниям, «вышел» из Ле Корбюзье, но уже скоро сам стал оказывать серьезное влияние на развитие национальных архитектур многих стран мира.

...Специалистам еще предстоит объяснить уникальное явление: каким образом страна, отягощенная колониальным прошлым и почти лишенная национальных традиций в зодчестве (можно говорить лишь о португальских традициях), за короткий промежуток времени добивается огромного прогресса в развитии архитектуры?

Если принять в качестве своеобразной точки отсчета здание министерства просвещения и здравоохранения, строительство которого завершилось в 1943 году, то в следующие несколько десятилетий в стране возникло целое созвездие интереснейших сооружений, а очень многие из градостроительных решений стали предметом серьезного изучения специалистами во всем мире.

Прежде всего это были годы реализации крупнейшей архитектурно-социальной программы — проектирования и строительства города Бразилиа, новой столицы, возведенной в самом центре страны, по генеральному плану старейшего бразильского архитектора Лусиу Коста, при участии и под непосредственным руководством Оскара Ни-

мейера — автора общественных зданий и фактического вдохновителя и руководителя застройки, считающего строительство Бразилиа основным делом своей жизни.

В этот период наиболее явственно обнаружались гражданские качества и профессиональный талант Оскара Нимейера — новатора в архитектуре и истинного патриота, для которого торжество победившей на площадке Бразилиа градостроительной концепции глубоко омрачалось тем обстоятельством, что истинные строители города, каждодневно вершившие свой незаметный подвиг под палящим солнцем, были лишены возможности получить жилье в построенном ими городе.

Литературное творчество О. Нимейера не столь масштабно, как его работы в области архитектуры и градостроительства. Это главным образом произведения архитектурно-мемуарного жанра, публицистика, предисловия к нескольким сборникам и множество статей в различных периодических изданиях на родине зодчего и за рубежом, в том числе и в нашей стране. Большинство теоретических работ зодчего впервые увидело свет в журнале бразильских архитекторов и художников «Модуло», издававшемся с 1954 по 1964 год и закрывшемся после реакционного переворота в стране.

С рядом работ О. Нимейера советский читатель уже имел возможность познакомиться ранее. Кроме книги «Мой опыт строительства Бразилиа», вышедшей в 1963 году, переводы его статей публиковались в книгах «Бразилиа (экономика, политика, культура)», «Современная архитектура Бразилии» (автором этой монографии является составитель рецензируемого сборника В. Хайт), в вышедшем в прошлом году сборнике «Зодчество», в журналах и газетах. Таким образом, выход книги «Архитектура и общество» завершает ознакомление нашего читателя с основной частью литературного наследия выдающегося зодчего, если можно так выразиться о творчестве, которое, к счастью, еще продолжается. Архитектура и общество...

Соотношение этих вынесенных в название сборника понятий составляет основной стержень раздумий Оскара Нимейера. Тема, которой не может не болеть истинный художник, человек большого общественно-го темперамента. Для Нимейера очевидна

связь архитектуры с теми социально-экономическими условиями, в которых она развивается. Именно в них архитектор усматривает основные предпосылки к благотворному развитию творческих потенций художника: «...нашей архитектуре необходим не только технический прогресс, хотя и это, конечно, важно, не только более опытные технические кадры, но в первую очередь понимание ее основной задачи, которую позволит решить только социальный прогресс».

Эта мысль о социальной ущербности современной западной архитектуры проходит своеобразным рефреном через многие статьи и выступления автора. «Я думал, — пишет он в журнале «Модуло», — как, впрочем, думаю и теперь, что при отсутствии справедливого распределения богатств между всеми слоями населения основная цель архитектуры, или, иными словами, ее социальная база, очень ограничена, и работа архитектора сводится лишь к удовлетворению капризов зажиточных классов». И несколько позже: «Проблема, если мы действительно хотим организовать жизнь в интересах человека, заключается прежде всего в том, чтобы добиться справедливой социальной базы, которая может обеспечить эффективность осуществления планов и не позволит проекту превратиться в обманчивую фантазию, в нечто сугубо умозрительное, не способное в конечном итоге привести ни к какому положительному результату».

О. Нимейер работает много и продуктивно. С 1937 по 1974 год по проектам зодчего построено около семидесяти зданий различного назначения. И это обстоятельство следует подчеркнуть особо. Нимейер — художник широкого диапазона. В наш век углубленной специализации такая широта не может не поражать. Он строит жилые дома и дачи, театры и правительственные здания, культовые сооружения и спортивные комплексы. Такой профессиональный универсализм художника выгодно отличает его от многих виднейших современных архитекторов Запада и в какой-то мере объясняет одну из причин большой популярности зодчего.

Основа же успеха работ архитектора — в высоком уровне их художественности, обеспечиваемом в первую очередь новаторством Нимейера, раскованностью его образного мышления, богатством пластического языка. Для всех построек Нимейера харак-

терна глубокая осмысленность художественных решений, особая виртуозность в использовании монолитного железобетона — материала воистину неограниченных пластических возможностей.

Дополнительную выразительность своим работам зодчий сообщает рядом чисто нимейеровских новшеств, которые были с большим пониманием встречены архитекторами во многих странах мира. Здесь прежде всего следует назвать криволинейные планы, позволяющие очень хорошо вписывать сооружаемые объекты практически в любые площадки независимо от ландшафтно-топографической ситуации.

Поиски выразительных средств приводят архитектора к мысли о выделении лифтов и лестниц в отдельные башни. Нимейер значительно расширяет арсенал функционально-планировочных средств, достигая гармонического единства возводимых им зданий с окружающей природой.

В статье, написанной для сборника «Зодчество», он скажет: «Я ищущ в архитектуре удивительное: новую и легкую форму, неожиданную и чувственную кривую. Я убежден в том, что это не утяжелит структуру, а заставит еще выше оценить железобетон и раскроет его возможности. Легкость, изогнутость, тонкие и волнистые поверхности, свободные пространства — вот его настоящие характеристики».

Поэт железобетона, Нимейер достигает высот пластичности при помощи материала таких широких возможностей формообразования. При этом новаторская смелость зодчего питается тем счастливым обстоятельством, что на протяжении многих лет он работает вместе с выдающимся инженером-конструктором Жуакином Кардозу, который, по выражению зодчего, всегда стремится найти для каждого замысла верное решение, позволяющее сохранить задуманный архитектурный образ, который, как и Нимейер, убежден в том, что архитектура, чтобы стать произведением искусства, должна прежде всего быть творческой и прекрасной. Нужно ли удивляться в этой связи, что зодчий не упускает случая подчеркнуть плодотворность такого сотрудничества, точнее соавторства, всякий раз выражая свою признательность и свое восхищение талантом конструктора.

Никогда не абсолютизируя роли архитектора, Нимейер рассматривает конструктора, художника-монументалиста, скульптора, ландшафтного архитектора как равноправ-

ных партнеров, коллективно создающих архитектурно-художественный образ здания. Это объясняет его успехи в области синтеза искусств, его новаторство в использовании скульптуры и монументальной живописи. Вот почему его здания всегда столь органично вписываются в ландшафт.

«Подлинного синтеза искусств,— пишет О. Нимейер в предисловии к книге французского искусствоведа П. Дамаза «Искусство в архитектуре Латинской Америки»,— можно достичь только в исключительных обстоятельствах. Во-первых, необходимо создать коллектив, способный начать работу с самых первых эскизов архитектора, дружески обсуждая все вопросы проекта в мельчайших деталях, рассматривая все специальные разделы как части единого и гармоничного целого. Такое сотрудничество следует начать с выбора мест, для которых будут выполняться работы отдельные члены коллектива, и закончить подготовкой спецификаций на отделочные материалы, определением соотношения между произведениями изобразительного искусства, архитектурной декорацией и окружающими их элементами с учетом характерных для них проблем освещения, цвета, температуры, акустики, функции, движения и т. д.».

Приверженность этой теоретической концепции Нимейер постоянно подтверждает своей творческой практикой. Такой подход к вопросам синтеза реализован зодчим, по существу, во всех зданиях, построенных как у себя на родине, так и за рубежом. Достаточно назвать здесь такие его работы, как жемчужину современной бразильской архитектуры — здание министерства просвещения и здравоохранения, построенное Нимейером совместно с большим авторским коллективом, который консультировал Ле Корбюзье, основные общественные здания в Бразилиа, его собственный дом в Каноя близ Рио-де-Жанейро и многие другие.

Творчество любого большого и сложного художника всегда неоднозначно. Таков и Нимейер с его новациями в области формы. Если большинство разработанных им приемов получило очень широкое хождение, стало, что называется, тиражироваться (криволинейные планы, ажурные опоры сложной геометрии), то отдельные идеи оказались менее продуктивными, не привились в пластическом слове современной архитектуры, например наклонные фасады. Однако не эти частности являются определяющими в оценке творчества зодчего.

Основной областью бытования архитектуры всегда было да и всегда будет градостроительство. В конечном счете город — диалектическое единство хорошо сбалансированных, гармонизированных ансамблей зданий. И в своей зодческой практике и в теоретических изысканиях Нимейер много занимается поиском оптимальных соотношений отдельного объема с городом.

Художника удручает тот факт, что «в современных городах, где уровень развития техники позволяет осуществить практически любой проект, архитектура утратила своеобразие, превратившись в простое скопление зданий». Это, по мнению зодчего, тем более досадно, что «архитектура опирается на постоянные принципы, на вечные законы равновесия, пропорциональности и гармонии, которые позволяют ей при наличии таланта и творческого духа ее создателя превращаться в подлинное произведение искусства».

В этой связи становится понятным утверждение автора о том, что одна из важнейших проблем современного градостроительства — проблема архитектурного единства, достигаемого соблюдением постоянных пропорций. Не случайно немалое значение при строительстве Бразилиа Нимейер придавал тому влиянию, которое новый город окажет на развитие архитектуры страны. Это влияние как раз и должно, по автору, состоять в наведении определенного порядка в завтрашнем градостроительстве, в проектировании объемов и свободных пространств. При этом исходной посылкой Нимейеру всегда служит мысль о том, что архитектура и градостроительство во все времена социальны. Они прямо обращены к человеку.

...Человек в современном городе. Архитектор сокрушается по поводу того, что эта проблема, к великому сожалению, очень часто ускользает от внимания зодчих, людей, творящих вторую природу, в которой живет человек.

Вот почему при проектировании Бразилиа так полно учитывалась вся совокупность социальных, физико-географических, экономических, административных и других факторов («Здесь есть архитектурная выдумка», — скажет зодчему великий Ле Корбюзье, осмотрев уже построенный город).

Вот почему Нимейер с тем же тщанием отнесся к разработке генерального плана города Марина, в котором с блеском решена проблема зонирования, необычно разделено

движение транспорта и пешеходов, а зеленые зоны вокруг жилья создают атмосферу полного единения с природой, обеспечивая наилучшие условия для горожан (этот проект остался нереализованным, однако принятые в нем планировочные решения представляют самостоятельный интерес).

«Городом тишины» назвала одна парижская газета спроектированный Нимейером жилой комплекс в Грассе (Франция) на две тысячи квартир, размещенных в трех восемнадцатизэтажных блоках общей протяженностью около ста восьмидесяти метров. По времени эта работа совпала с проектированием здания ЦК Французской коммунистической партии, которое Нимейер считал для себя неожиданной честью.

Эти две работы — лишь незначительная часть того, что создано за пределами своей страны. Начиная с 1939 года, когда он вместе с Л. Костой построил павильон Бразилии на Всемирной выставке в Нью-Йорке, архитектор регулярно выполняет зарубежные заказы. И одно из наиболее значительных событий в этом ряду — приглашение участвовать в проектировании комплекса зданий Организации Объединенных Наций, выражение международного признания таланта художника.

На 60-е и начало 70-х годов приходится длительный период зарубежных странствований выдающегося архитектора и общественного деятеля, причиной которых послужило усиление реакции на родине Нимейера. «Временем энтузиазма и взрыва» называет он в книге первое пятилетие этого периода (1961—1966), с которым связано

много общественных потрясений в Бразилии и много творческих удач художника и борца за социальную справедливость, против угрозы новой мировой войны.

Не случайно вторая ипостась художника получила столь высокое признание. В 1963 году он был удостоен Международной Ленинской премии мира. Примечательно, что чествование общественного деятеля Нимейера проходило в городе, сооруженном талантом и энергией Нимейера-архитектора, городе красивом и цивилизованном, но, к сожалению, испорченном отжившей и несвоевременной социальной структурой, как вынужден был с горечью признать архитектор в своей речи по случаю вручения ему столь высокой награды.

В январе 1974 года, перед расставанием со Старым Светом, по которому он путешествовал в течение десяти лет, Нимейер заявил: «Я постоянно думаю о моей далекой Бразилии, о Латинской Америке, которая страдает и одновременно бурно развивается как сила природы, которая не смирилась с преступлением против Альенде и с грустью прислушивается к песням протеста и любви нашего незабвенного и ныне умолкнувшего брата Неруды. Но, к счастью, нам остается Надежда. И уверенность в том, что жизнь изменится и что приход лучшего мира, о котором мы всегда мечтали, предначертан историей».

В этом — весь Нимейер. И стоит ли удивляться, что книга создателя названа «Архитектура и общество»?

И. ДРЕЙЦЕР.

Кемерово.



## ДУХОВНЫЙ ОБЛИК МАО ЦЗЭ-ДУНА

Федор Бурлацкий. Мао Цзэ-дун: «Наш коронный номер—это война, диктатура...». М. «Международные отношения». 1976. 392 стр.

О маоизме и о самом Мао Цзэ-дуне написаны десятки книг и тысячи статей. На Западе по радио и телевидению о «великом кормчём» говорят без умолку день за днем. Но для многих из тех, кто читает и слушает, все же остается один существенный вопрос: что за человек этот пекинский диктатор, из-за которого в мире так много шума и волнения? Кто он не только как политик, а именно как личность? Каков его духовный облик?

Это действительно отнюдь не безразлично для понимания того, что уже десятками лет

творится в Китае. Тень Мао Цзэ-дуна не сходит с горизонта, и когда речь идет о диктаторах, задумываться приходится не только об их официальных идеях и философии, но и об их характере, психике, складе ума. Мы знаем, что одно трудно отделить от другого.

Правда, политика общественных деятелей диктуется прежде всего такими основополагающими факторами, как экономика, история, классовые интересы, национальные особенности. И все же опыт новейшей исто-

рии бесспорно подтверждает, что и личное играет немалую роль в политике.

Вот почему недавно вышедшая в свет книга Ф. М. Бурлацкого о Мао Цзэ-дуне вызывает особый интерес. Автор ставит перед собой именно задачу нарисовать «идейно-психологический портрет» Мао, «составить всестороннее суждение о духовном облике Председателя КПК».

Это как будто не так просто. «Трудно постигнуть психологию человека,— пишет автор,— в руках которого в известном смысле оказались судьбы более чем 800-миллионного народа. О чем думает, чем живет, что испытывает этот человек, наделенный такой невиданной властью и обремененный столь высокой ответственностью?.. Мы часто видим лишь ту маску, которую нам показывают. А жаждем мы познать подлинное лицо... Как случилось, что имя человека, которое раньше связывалось с великой революцией, стало ныне синонимом национализма и контрреволюции,— вот один из основных предметов раздумий автора этой книги».

Конечно, будучи марксистом, Бурлацкий пишет не только о сугубо личных чертах характера Мао Цзэ-дуна. Так называемого психоанализа в книге не найти. Автор следит за жизнью и поступками пекинского диктатора на фоне истории китайской компартии. Но лицо Мао Цзэ-дуна все-таки все время прорезывается сквозь эту историю, сквозь политику и экономику. Его профиль не стереть.

Литераторов именно это и должно привлечь к данной книге. Я не знаю, приказано ли уже в Пекине китайским писателям сочинять романы о «великом кормчём». Быть может, они уже заготовляются. Но если когда-нибудь будет действительно написан правдивый роман о Мао Цзэ-дуне, то автор найдет для себя у Бурлацкого немало документального материала и интересных мыслей. Можно только предугадать, что такой роман своим реализмом окажется одним из самых зловещих в истории мировой литературы. Ни Чингисхан, ни Торквемада, ни Наполеон Бонапарт не представляли для писателя столь драматической темы.

С точки зрения самого подхода к ней возможно одно «принципиальное» возражение с самого начала. Некоторые — это касается прежде всего людей в капиталистическом мире — могут сказать, что поскольку Мао Цзэ-дун китаец, то понять его как личность европейцам вообще трудно, если не

невозможно. Нельзя пройти через наглухо закрытую психологическую дверь.

Кое в чем это, вероятно, так. Но только не в самом главном. Никакой специфической «азиатской тайны», никакой восточной неизъяснимости или непроницаемости в облике Мао Цзэ-дуна искать не приходится. За полвека с лишним своей деятельности на политической сцене он успел показать себя весь, будь то для азиатов или для европейцев и американцев. Главные черты его личности ничуть не таинственны и не «локальны».

Каковы эти черты? Читая насыщенный материалом книгу Бурлацкого, постепенно приходишь к выводу, что духовный облик пекинского лидера определяется прежде всего тремя свойствами: его властолюбием, его полуинтеллигентностью и его национализмом. Каждое из этих свойств оказывало и оказывает огромное влияние на его поведение на политической сцене. В их совокупности ключ к его психике.

Вся жизнь Мао Цзэ-дуна с юных лет по сей день говорит о том, что он всегда был одержим стремлением к личной власти.

Это и только это стояло и стоит у него на первом месте, не давая ему покоя, диктуя самые чудовищные из его поступков, толкая его на безумные авантюры. Именно личная власть, а не диктатура пролетариата — его неизменная цель, и это объясняет многое в злоключениях китайской компартии. Прикрываясь демагогической фразеологией и псевдофилософскими рассуждениями, он никогда не останавливался ни перед чем, чтобы пробраться наверх и сбросить других вниз.

«Личная власть, ее укрепление, ее расширение, ее постоянная максимизация,— пишет Бурлацкий,— становится постоянным законом существования такого человека, и тогда — что ему люди? Что ему жена, друг, дети, политический соратник? Что ему жестокость, добро и зло?» И что ему коммунизм? — добавим мы.

«Если возникала дилемма — личная власть или интересы единства КПК,— подчеркивает автор в другом месте,— она всегда решалась им в пользу личной власти. Это стало правилом его деятельности на всю жизнь и давало немалые преимущества в борьбе с менее эгоистично настроенными соперниками».

В книге приводится документ: решение, принятое цзянсийским провинциальным комитетом КПК еще 15 декабря 1930 года, за



четыре года до того, как Мао Цзэ-дун возглавил партию. «Мао Цзэ-дун,— говорится в этом решении,— как известно всем, весьма хитрый и коварный человек с чрезвычайно развитым индивидуализмом. Его голова забита тщеславными мыслями, на товарищей он обыкновенно воздействует приказами, угрозами, опираясь на систему наказаний... Мы указываем и разоблачаем замысел Мао Цзэ-дуна перед партией и Союзом молодежи всей страны для их мобилизации против него, чтобы не позволить ему громить партийную организацию Цзянси, переделывать партию в свою собственную группировку, а самому в качестве императора в партии погубить китайскую революцию».

«Император в партии!» Это звучит как бред сумасшедшего, как чудовищное противоречие в себе. Но именно неукротимое тяготение к своеобразному монархизму действительно пронизывает все мышление Мао Цзэ-дуна. Он хочет не руководить, а повелевать. Партия для него — немое и слепое личное войско, народ — необходимый инструмент, «чистый лист бумаги, на котором можно писать любой иероглиф» (собственные слова Мао), сам он — вождь и вероучитель народов, выше которого никого нет и быть не может.

Хотя он демонстративно ходит в заплятанной одежде и фотографируется в ней, не снимает с себя даньи, при случае ест чумизу и другую скудную пищу, в нем витает дух типичного восточного деспота. Это и есть оборотная сторона «китаизированного марксизма». Он нежится в атмосфере культа своей личности, иногда не скрывая, как ему это нравится. На партийном совещании в Чэнду 9 марта 1958 года он даже пытался сослаться при этом на... Ленина. «Некто,— заявил он,— выступив против Ленина, назвал его диктатором. Ленин ответил напрямик: «Чем позволить вам быть диктатором, уж лучше я сам буду им». Это прямая и на редкость наглая ложь. Ничего подобного Ленин, конечно, никогда не говорил. Но Мао Цзэ-дуна это нисколько не смущает: ему должны верить как богу. Книга полна подобными примерами.

Как же все-таки Мао Цзэ-дун, называющий себя коммунистом, установил свою личную власть, ничем, кроме декораций, не отличимую от самодержавия старых китайских богдыханов? В первую очередь тремя способами: с помощью изодранных фракционных интриг, небывалого физического

террора и все того же культа своей личности.

У Мао, пишет Бурлацкий, можно обнаружить «поистине уникальное мастерство групповой борьбы». В книге приводится еще один документ, достоверность которого находится под сомнением, но содержание которого тем не менее очень похоже на правду. Это так называемый «проект 571», будто бы составленный Линь Бяо. О Мао Цзэ-дуне в нем говорится:

«Он каждый раз вытаскивал одну силу (в партии.— Э. Г.) для разгрома другой, сегодня вытаскивает эту для разгрома той, завтра вытаскивает ту для разгрома этой; сегодня поет дифирамбы одним, а завтра приклеивает им ярлыки предателей и уничтожает их, сегодня вместе с ними сидит на троне, а завтра они его узники. Из истории нескольких десятков лет видно, что тех, кого он начинает поднимать, впоследствии неизбежно ожидала политическая смерть. Какие политические силы могли сотрудничать с ним до конца? Его бывший секретарь — убийца из убийц, тюремщик из тюремщиков, один из наиболее близких его соратников и приближенных сам оказался в тюрьме. Он даже не пощадил собственного сына и довел его до сумасшествия, он является злым интриганом и извергом, он может любого живьем закопать в землю и все плохое свалить на него. Ясно, что все, кто был его приближенным и был низвергнут, в действительности являются козлами отпущения».

Так Мао Цзэ-дун систематически и действует внутри партии. Ему либо искренне верят и затем гибнут, либо боятся и так же беспрекословно подчиняются. Это тоже испытанная практика восточных тиранов. На всех ключевых постах — его доверенные люди или обманутые им лица. Кадры армии и госбезопасности воспитываются в духе совершенно безоговорочной лично ему преданности. В состав высшего политического руководства КНР (учрежденного в 1968 году «пролетарского штаба») он вводит трех человек из органов безопасности, свою жену, своего зятя и даже своего бывшего телохранителя. В то же время на началах слепой покорности ему непрерывно муштруется аппарат «ганьбу» — 20—30 миллионов функционеров, занятых в партийных, государственных, хозяйственных и военных учреждениях. Это и есть ядро системы, заменившей коммунистическую партию в Китае.

Вокруг же нее вакханалия того культа, который доводится до буквального обожевления Мао Цзэ-дуна. Об этом уже много писалось, но в рецензируемой книге связь между «стихийным» культом и работой аппарата личной власти выявляется особенно отчетливо.

Когда разворачивается кампания «отдайте ваши сердца» (читай — Мао Цзэ-дуну), когда художники рисуют Мао на фоне солнца, лучи которого согревают Китай, когда продававший сложную операцию на сердце хирург заявляет: «Я сделал это потому, что следовал учению Мао», то дело прежде всего не в каком-то массовом психозе, а в точно налаженном и управляемом сверху механизме. Кесарю кесарево.

И все-таки вся эта система едва ли сработала бы, если бы не была залита потоками крови.

Сколько людей уничтожено в Китае по воле Мао Цзэ-дуна и его ставленников? Бурлацкий приводит ряд цифр. По примерным подсчетам из разных источников, «большой скачок» и «народные коммун» стоили стране одного-двух миллионов жертв, кампания против национальных меньшинств — 500 тысяч или миллиона, «культурная революция» — 250 или 500 тысяч (не мало ли? — Э. Г.), «школы перевоспитания» — от 15 до 25 миллионов. В общем и целом погублено было по одним подсчетам 17 миллионов китайцев, по другим — 29 миллионов. Не удивительно после этого, что сам Мао так невозмутимо говорит о возможности гибели «половины человечества» в случае войны. Что для него смерть других!

«Когда китайцы говорят про смерть, — сказал он однажды, — то называют это «белой радостью». С одной стороны, похороны, погребение, поминовение усопшего, все скорбят. А с другой стороны, смерть называют «радостью», благостным событием. И это соответствует диалектике. По-моему, это действительно радостные торжества... Неодобрительно относиться к смерти — значит, быть не диалектиком, а метафизиком».

Подлинные слова Мао. Смерть — это хорошо. Но только смерть во имя Мао и для него. Сколько ни в чем не повинных людей еще будет уничтожено в Китае для утверждения его власти и власти его клики? В КПК, сообщает автор, укореняли принцип: «Если кто со мной согласен, тот может жить, а кто со мной не согласен, тот должен умереть». Жестокость и произвол делают «нормой массового сознания» (а не

только политики верхов. — Э. Г.), подчеркивает автор. Это, может быть, самое страшное. Становится понятно, почему хунвейбины «понимали свою миссию так: убить всех руководителей, кроме Мао Цзэ-дуна и его ближайших сподвижников».

Террор, но не красный террор в защиту революции, а террор в сугубых интересах личной власти. Ван Мину, одному из действительных основателей китайской компартии, которого Мао Цзэ-дун в годы войны, по-видимому, пытался отравить, «великий кормчий» в минуту откровенности как-то сказал: величие той или иной исторической личности измеряется количеством пролитой крови.

Так он понимает величие. И таким он видит историю в движении. Для него это «диалектика». Чем больше крови для укрепления его самодержавия, тем выше, по его мнению, будут ставить его современники и потомки. Здесь опять-таки ключ к его психике и «философии».

Можно сказать, что испуганное, ненасытное властолюбие — главный секрет характера Мао Цзэ-дуна. Но, разумеется, для такой фигуры это не все. Мало знать, к чему он стремится, интересно и то, что он как личность вообще из себя представляет. Кто такой Мао Цзэ-дун по своему социальному облику? В книге достаточно данных для ответа и на этот вопрос.

Ясно следующее. Мао Цзэ-дуна нельзя назвать ни рабочим, ни крестьянином, ни интеллигентом. Глава маоистов — типичный полунинтеллигент со всеми его свойствами. Это, в свою очередь, влияет на его идеологию и объясняет в нем многое, чего иначе не понять.

Полунинтеллигентность Мао Цзэ-дуна является самым различным образом. Он малообразован, не знает иностранных языков. По словам Бурлацкого, он «черпает уверенность в себе только при общении с менее образованными и культурными людьми». Тип этот достаточно известен. Сам Мао Цзэ-дун на партийном совещании в Чэнду сказал дословно: творцами новых идей всегда были «молодые люди, не блиставшие ученостью... В истории люди необразованные всегда свергали людей образованных». Очевидно, он имел в виду и самого себя.

Как всякий мелкобуржуазный полунинтеллигент, Мао Цзэ-дун ненавидит настоящую творческую интеллигенцию и боится ее. Однажды он сказал: «С нашей точки зрения,

интеллигенция — наиболее невежественная часть общества». В другой раз добавил: «Нужно выгнать из городов артистов, поэтов, драматургов, литераторов в деревню. Если они не отправятся в низы — не выдавать им продовольствия. Кормить лишь тех, кто поедет».

Это и делалось. В 1974 году в КНР было объявлено, что за шесть лет в деревню выслано 10 миллионов грамотных молодых людей. Это несмотря на острую нехватку в стране школьных учителей. Очень похоже на то, что весьма значительная доля тех 15—25 миллионов людей, которые погибли в маоистских «школах перевоспитания», приходилась именно на интеллигенцию. Писатели и профессора кончали с собой.

Особенно показательно в этой связи отношение Мао Цзэ-дуна именно к литературе. Он не скрывает своей зависти к великим писателям. Под его влиянием в Китае, как известно, преданы анафеме Гомер, Данте, Шекспир, Бальзак, Пушкин, Лев Толстой, Горький и десятки других мастеров художественного слова. Памятник Пушкину в Шанхае был разрушен. В книге Бурлацкого цитируется следующее высказывание Мао, сделанное еще в Яньани: «Если те или иные произведения китайского и мирового искусства недоступны неграмотному человеку, то нужно не грамоте учить, а создавать упрощенные работы, понятные неграмотным, изымать непонятные произведения...»

Это типичная точка зрения завистливого полуинтеллигента. Что выше его понимания, то плохо и не нужно. Лучше неграмотность, чем настоящая образованность. Как все такие лица, Мао Цзэ-дун не выносит мысли, что кто-то может писать талантливее, чем он, автор посредственных стихков. Отсюда его подход к литературе. Мао Цзэ-дун, замечает автор, «берет правильный тезис о том, что искусство должно служить народу, но вульгаризирует его и приходит к отрицанию самого искусства как такового». Зато его самого громогласно провозглашают «лучшим поэтом Китая». Сколько непоправимого вреда принесли подобные деятели делу искусства в ходе истории!

Самое опасное — современную китайскую молодежь он старается настроить на свой лад, натравить ее на интеллигенцию. Мао Цзэ-дун учит ее ненавидеть настоящую культуру. Вот приводимые Бурлацким некоторые лозунги хунвейбинов в дни «культурной революции», когда они врываются в книжные магазины, храмы и пагоды, унич-

тожая бесценные сокровища китайского народа: «Мы не будем с вами деликатничать: вы все провоняли, от вас осталась одна гниль! Мы презираем вас, будем бить, крушить...», «Разобьем их собачьи морды! Пусть наши штйки напьются их крови!», «Чтобы они расшибли себе мозги! Перебили себе все кости!».

Это голос звериной, неутолимой злобы. Сам Мао так не говорит, но так он сознательно влияет на незрелую молодежь, указывая ей направление и в будущем. Причем — это особенно знаменательно — в будущем не только самого Китая. Выступая 18 августа 1966 года на площади в Пекине перед сотнями тысяч взвинченных юнцов и объявляя им о создании организации хунвейбинов, Мао подчеркнул, что организация эта имеет не только общенациональное, но и интернациональное значение. Смысл его слов достаточно ясен. Забывать об этом высказывании нельзя.

Можно не останавливаться на множестве других отмеченных в книге проявлениях мещанской ограниченности (не говоря уж о завистливости) маоистского лидера, доходящей до прямого невежества: например, знаменитый «поход на воробьев», результатом которого была экологическая катастрофа — нашествие на природу и людей бесчисленных отвратительных насекомых. Характерна и такая деталь быта, как банкет в присутствии Мао у его главного палача Кан Шэна, когда приглашенным подавалось семьдесят блюд (что несколько не мешает «кормчому» носить заплатанную одежду). Все это штрихи на одном и том же портрете.

«Мелкая буржуазия — вот социальный источник такого рода лидеров», — пишет Бурлацкий. Я думаю, он прав. Ничего от рабочего класса в духовном облике Мао Цзэ-дуна нет, хотя некоторые люмпен-пролетарские черты, добавим мы, в нем заметны. Совершенно очевидно, что Мао, сын деревенского торговца рисом, настроен не только против интеллигенции, но и против рабочего класса. Зато на неграмотное, отсталое крестьянство он делал ставку с самого начала: здесь он действительно может писать на «чистом листе бумаги». В книге приводится письмо Мао Цзэ-дуна в ЦК КПК, написанное еще в апреле 1929 года: «По нашему мнению, ошибочно бояться того, что усилится власть крестьянства, что она пересилит руководство рабочих и приведет к гибели революции... Ре-

волюция никак не пострадает, если крестьянская борьба разовьется настолько, что крестьяне станут более могущественными, чем рабочие». Известно и то, что Мао Цзэ-дун в свое время публично утверждал: лидерами в надвигающейся национальной революции могут быть только торговцы.

Мелкобуржуазный полуинтеллигент Мао Цзэ-дун боялся и боится рабочего класса, как и всего действительно передового в своей стране. В глубине души, в истоках своего сознания человек этот не «ультра-левый», а правый. Именно поэтому для него так естественно стремиться не к диктатуре пролетариата, а к личной власти.

Властолюбие, сопряженное с манией величия, малообразованность, страх перед рабочим классом, ненависть и зависть к интеллигенции — все это уже обрисовывает облик человека и политика. Недостает только одной черты, которая дополняет и логично завершает этот образ, — национализма.

У Мао Цзэ-дуна эта черта в последние годы выступает наружу все отчетливее и отчетливее. Бурлацкий считает, что это «самая характерная» его черта, ибо национализм для Мао — «синоним личного величия». Одно сливается с другим. Так уже часто бывало в истории.

Действительно, от маоистской «китаизации марксизма» до испуганного китайского национализма один шаг. Первое служит второму, второе же — прежде всего самому Мао, видящему в себе повелителя новой «поднебесной».

«Мы должны покорить земной шар, — сказал Мао еще в 50-х годах. — Нашим объектом является весь земной шар... Что же касается работы и сражений, то, помимо, важнее всего нам земной шар, где мы создадим мощную державу. Непременно надо проникнуться такой решимостью».

Иначе говоря, глобальный китайский национализм — венец всего. 20 января 1956 года он подчеркивает эту мысль на совещании в ЦК КПК, заявляя: «Не должно случиться так, что спустя несколько десятилетий мы все еще не станем первой державой мира».

Прошло уже два десятилетия, пророчество все еще не исполняется. Но великоимперские планы Пекина остаются в силе. Отсюда претензии на полтора миллиона квадратных километров советской территории. Отсюда намеки на «интернацио-

нальную» роль хунвейбинов. И отсюда, наконец, заявления, подобные следующему, сделанному в директиве съезду Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев в декабре 1956 года: «Развалится ли социалистический лагерь? Я думаю, даже если он развалился бы, в этом не было бы ничего страшного, ничего неслыханного».

«Ничего страшного», потому что, по идее Мао Цзэ-дуна, социалистическое содружество будет сметено его собственной всемирной империей. Когда интернационализм подменяется национализмом, даже буржуазные националисты не могут угнаться за ренегатами. Можно ли считать, что гегемонистские фантазмагории Мао — плод дегенеративного мышления восьмидесятилетнего старца? Я думаю, нет. Он всегда был таким. Национализм — органическая черта его духовного облика. Так было и тогда, когда он еще носил маску интернационалиста.

Вырисовывается совершенно определенная личность. Человек этот отнюдь не столь сложен. Ничего действительно выдающегося в нем нет. Мао Цзэ-дун не глубокий мыслитель, не гениальный политик и не честный деятель. Он только ловкий тактик, умелый игрок и беспощадный, хитрейший интриган. Этого отнять у него нельзя, и это в известных условиях не так-то мало. Здесь он действительно крупный знаток своего дела. Самое же главное: он самодержавно правит огромной страной, восьмисотмиллионным народом, только что проснувшимся после вековой спячки и расправляющим плечи. В этом, а не в нем самом его сила. Но надо, чтобы люди знали, кто такой он сам.

Остается несколько вопросов.

Ф. Бурлацким собран большой материал, его размышления интересны, его главные выводы, на мой взгляд, правильны. Трудно согласиться только с одним — с ответом, который автор дает на часто задаваемый геперь вопрос: почему коммунистами за пределами Китая не были своевременно приняты во внимание предостережения насчет Мао Цзэ-дуна, сделанные еще до создания КНР таким вдумчивым наблюдателем, как связной Коминтерна в Яньани П. П. Владимиров? Это немаловажный вопрос.

Автор предлагает различные объяснения. Он пишет, в частности, что «оценки Владимира в известной степени были так же неожиданны и уникальны, как и сообщения

Рихарда Зорге накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз», тем более что от самой КПК в то время «шел огромный поток сообщений прямо противоположного характера».

Так ли это? Я не думаю, что оценки Владимиров в 1942—1945 годах (так же, впрочем, как и предостережения Зорге в 1941 году) были «уникальные». Известны и другие сходные оценки, причем сделанные значительно раньше. Достаточно упомянуть, что еще в марте 1924 года, когда Мао был одним из секретарей ЦК КПК, тогдашний представитель Коммунистического Интернационала молодежи в Китае С. Далин написал взволнованное письмо Г. Н. Войтинскому, занимавшемуся в Исполкоме Коминтерна китайскими делами. В этом письме говорилось: «Ты услышишь здесь от секретаря ЦК Мао... такие вещи, что у тебя волосы дыбом встанут... По крестьянскому вопросу — классовую линию нужно бросить, среди бедного крестьянства нечего делать, нужно связаться с помещиками и чиновниками».

Мао Цзэ-дун уже тогда не был марксистом. Книга Далина с этими данными была опубликована в Москве в прошлом году. Предостережения насчет Мао Цзэ-дуна шли и от старого руководителя КПК Ван Мина, человека, глубоко преданного мировому коммунистическому движению. Есть и решение цзянсийского комитета КПК от 15 декабря 1930 года. Объяснения автора не кажутся мне достаточными. Главное, по-видимому, заключается в том, что поистине огромные заслуги китайской Красной армии ошибочно приписывались Мао Цзэ-дуну лично, а не героической китайской компартии в целом.

Возникает еще один важный вопрос. Можно ли считать то, что произошло и происходит в Китае, чем-то неизбежным и закономерным, сводя все исключительно к специфике такой отсталой страны, как Китай?

Автор книги считает, что нет, и он совершенно прав. Хотя многое из того, что случилось, действительно объясняется объективными факторами, самой историей Китая и особенно слабостью китайского рабочего класса, нельзя игнорировать субъективные факторы и довольствоваться каким-то географическим фатализмом. Под руководством подлинных революционеров ленинской школы дела в КНР, несмотря на все объективные трудности, несомненно, пошли бы иначе. Нельзя не согласиться с

Бурлацким, указывающим на необходимость «не смазать вопрос о личной ответственности Мао, а также всех тех китайских руководителей, которые поддерживают его политику».

Приговор вынесен самой жизнью и обжалованию не подлежит. Личной и исторической ответственности Мао Цзэ-дуну и его сообщникам перед китайским народом и перед всем человечеством не избежать.

Наконец последний вопрос, тот, который интересующиеся Китаем люди ставят теперь все чаще: что впереди?

«Мы видим,— пишет Бурлацкий,— старого, очень старого и большого человека. Он едва передвигает ноги, и его, как правило, ведут служители, поддерживая с двух сторон. Когда ему нужно посмотреть в сторону, он медленно разворачивается всем телом... Рука, которую он протягивает для пожатия, холодна и безжизненна».

Дряхлость? Не только. Может быть, и сознание чего-то другого, вопроса, который Мао Цзэ-дун ставит перед самим собой: стоило ли жить так, как он жил? Самый страшный из всех личных вопросов перед смертью. Лев Толстой писал о нем, хотя и не в политическом разрезе, в повести «Смерть Ивана Ильича».

Государство, которое построил Мао Цзэ-дун на костях миллионов коммунистов и других честных китайцев, кажется огромным, но действительно ли так оно сильно? Не сбылась мечта Мао об «экономическом скачке». Китай, как отмечает Бурлацкий, остается одной из самых бедных стран в мире. Не оправдался расчет на «скачок в коммунизм»; военно-бюрократический режим Мао Цзэ-дуна стоял и стоит поперек пути перехода к развитому социализму. Не сбылась мечта о признании Мао Цзэ-дуна духовным вождем революционеров во всем мире; реакционеры в капиталистических странах теперь, по существу, намного ближе ему, чем левые группы. И полным провалом кончились попытки Мао Цзэ-дуна диктовать Советскому Союзу. СССР по-прежнему стремится к братской дружбе с китайским народом, но и здесь Мао Цзэ-дун ставит себя поперек пути.

Что еще остается из сокровенных расчетов этого человека? Видимо, только одно, самое главное и самое страшное: мечта о третьей мировой войне, о катастрофе человеческой цивилизации, на дымящихся развалинах которой Мао Цзэ-дун хотел бы построить свою империю. Этот пункт номер

один на его внешнеполитической повестке дня не снят; ради этого расчета он и вступает в сговор с империалистами и реакционерами. «Войны не нужно бояться», «...наш коронный номер — это война, диктатура», «...мы должны покорить земной шар» — такие лозунги Мао Цзэ-дуна остаются для него и его сообщников все время в силе. Пока он держится на троне личной власти, он их не сдаст.

Долго ли продержится сам трон? Что будет после Мао? Книга Бурлацкого вышла в свет до недавних событий в КНР, когда на улицах китайских городов внезапно появились несогласные с политикой Мао. Будущее покажет, можно ли уже говорить о росте серьезной антимаоистской оппозиции в Китае.

Но рассчитывать на быстрое крушение маоизма, думается, рано. Нельзя забывать, что за последнюю четверть века он все же пустил корни в стране. Очень многое зависит от того, сумел ли Мао Цзэ-дун отравить националистическим ядом сколько-нибудь значительную часть молодого поколения в Китае.

Книга Ф. Бурлацкого — нужная, продуманная и актуальная работа, написанная

свежим языком. Чувствуется, что автор не просто пишет, а глубоко переживает свою тему, одну из самых трагических тем современности. В книге говорится о том, с чем международное пролетарское движение никогда раньше не думало столкнуться. Предательству таких масштабов не было прецедентов. Тем важнее понять — и не простить.

Хорошо и то, что Бурлацкий пишет не для специалистов-международников. Его книгу может прочесть и усвоить любой грамотный и мыслящий человек. Конца этой теме пока еще не видно. Она едва ли будет исчергана и тогда, когда сойдет со сцены давшее ей свое имя лицо.

Духовный облик самого Мао Цзэ-дуна достаточно ясен. Это не тема для психоаналитиков, а предмет исследований для марксистских ученых — политиков, экономистов, социологов, философов, историков. Но весь вопрос в том, на какой срок времени может человек с таким обликом заставить сойти со своего настоящего пути великий народ.

ЭРНСТ ГЕНРИ.



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВЛАДИМИР САНГИ. Женитьба Кевонгов. Роман. «Дружба народов», 1975, №№ 3, 4.**

Роман нивхского писателя Владимира Санги «Женитьба Кевонгов» переносит читателя на далекий остров Сахалин конца прошлого и начала нынешнего века. В прежних произведениях («Голубые горы», «Изгян», «Ложный гон») писатель показывал внутренний мир нивхов, их взаимоотношения с широким миром; много внимания уделял почти неисследованному поэтическому творчеству малого народа.

В романе «Женитьба Кевонгов» острее, чем в других произведениях Санги, чувствуется дыхание истории. Содержание его — трагический удел нивхов в эпоху развития буржуазных отношений.

О старой и новой жизни этой народности писали русские литераторы. Начиная с великого Чехова вплоть до наших современников — Г. Гора, В. Канторовича, Т. Борисова. В. Санги дал читателю возможность посмотреть на жизнь нивхов глазами нивха, увидеть ее изнутри.

...В разгаре ход кеты. Несметные косяки рыбы устремляются из морей в нерестовые реки, обещая людям сытую зиму. Тяжек, но и радостен в эту пору труд рыбаков. «В мире ничего нет красивее увешанных юколой вешалов! — пишет Санги. — Юкола обильно вбирала в себя солнце, становилась частью его, чтобы в самую стужу, в буран съел ее человек и стало ему сытно и тепло, обошли его болезни и напасти».

Но минуты радостного подъема не столь уж часто выпадают на долю героев книги. Вымирает когда-то могущественный род речных людей Кевонгов. От него осталось три человека: глава рода Касказик да сыновья — Наукун и Ыкилак. Касказик, мечтающий о возрождении рода, отправляется в самые отдаленные уголки нивхской земли, надеясь отыскать там невест для сыновей. Однако нивхам уже трудно понять друг друга. Деньги, которые стали водиться на острове, водка подорвали прежний строй их жизни. Многие из нивхов бросили свой многовековой промысел — рыболовство и охоту на таежного и морского зверя — и стали наниматься к купцам перевозить товары. Стародавним традициям и обычаям приходит конец.

Мудрый Касказик пытается встать на защиту традиционных ценностей нивхов, в частности сохранить царившее среди нивхов взаимное доверие, но проигрывает в неравной борьбе.

В финале романа, потеряв младшего сына, убитого соперником в поединке, Касказик с недоумением и горечью восклицает: «Что же произошло, люди? Что случилось в этом мире? Что случилось, лю-ю-ди?»

Это вопрос миру и веку.

Новые условия жизни заставили героя пересмотреть свое отношение к миру. Через свою беду он понял губительность кровной мести. Ему ясна необходимость объединения нивхов перед лицом наступающего на них зла. Постигая суть хищнических порядков, принесенных на его землю, Касказик не желает смириться с ними.

Автор упорно выводит своего героя из круга сугубо национальных проблем и конфликтов, позволяя читателю ощутить широту исторических процессов и закономерностей, действие которых прослежено в рамках нивхских поселков. В. Санги эпически воспроизвел в романе «Женитьба Кевонгов» мир народной жизни во всех его драгоценных подробностях, точно передал его дух, сделав основной акцент на неизбежности отпора капиталистическому хищничеству, отпора, который поднимался из глубин народной жизни, предвещая недолговечность хищнического закона.

**В. Мамонтов,**

*кандидат филологических наук.*



**ЛЕВ ОЗЕРОВ. Далекая слышимость. Книга стихов. М. «Молодая гвардия». 1975. 144 стр.**

В новой книге стихов Льва Озерова «Далекая слышимость» приметы нашего сегодняшнего дня живют неотрывно от лирического чувства и философского осмысления происходящего. В небольшом авторском предисловии к сборнику поэт пишет: «Всегда мне по нраву были люди, которые слышали далекие зовы из будущего». Примерно о том же говорит и название книги. И далеко не случайны в ней такие строки: «Раздвигаю звучанье души до звучанья органа».

Если рана болит, то на все мироздание рана...»

Есть в сборнике стихотворение о женщине, приходящей на берег моря и зовущей своего любимого. Он не вернулся. «Но она приходит на берег и разговаривает с любимым, превратившимся в море». А где-то на другом континенте, на другом берегу скорби тоже стоит женщина и зовет своего возлюбленного. И эти вдовы слышат друг друга... Таков один из характерных для Л. Озерова «сюжетов», передающий трагедию женщины.

В книге «Далекая слышимость» с новой силой заявила о себе тема родины — одна из ведущих в творчестве Льва Озерова. «От «Слова о полку» до наших дней мне голос Ярославны все слышней», — пишет он, подчеркивая линию преемственности, идущую к нам из глубины исторического и духовного опыта народа.

Емко и образно сказано о связи истории с современностью в стихотворении «Волга». «Ее текущая поляна соединяет сотни лет: и струги Разина Степана, и легкие тела ракет». В последней строфе открывается глубина замысла и широта поэтического обобщения: «Влетает в душу ветер волгый. Молчу, а кажется — пою. Не я плыву по Волге — Волга переплывает жизнь мою».

Проникновенно говорится в стихотворении «Среди берез» о великой связи человека с землей отцов и о скромной русской березе как символе родной земли: «Куда бы жизнь ни бросила меня: в пустыню, в синь нездешнего причала — повсюду мне белесого огня и дивного мерцанья не хватало». Какой необходимый и запоминающийся эпитет — «белесого». И все стихотворение построено на игре полусвета, полутени: «А мне милы, как чернь на серебре, березовой коры седые пряди». В этом образе ощущается и присутствие старины, древности, отзвуки голосов, быть может таких же далеких, как голос Ярославны.

Родина! Ее историей поэт гордится, и он видит Россию великих преобразований, которые свершил советский народ. «Россия. Руки бурлаков. Россия, разговор веков» — это начало стихотворения, лирический центр которого образуют такие строфы:

...Роса. И косы на заре.  
И волжский плес. И свет лампы.  
И залп «Авроры» в Октябре.  
И партизанские отряды.

Россия! Небо за листвою.  
И весь — до устья от истока —  
Путь воспаленно-огневой  
От Аввакума и до Блока.

Россия. Степь. Орлиный взор.  
Глаза озер. Сквозь хмуры и дрему.  
Сквозь вихрь — дорога на простор...  
От бездорожья — к космосу.

Думается, что в книге «Далекая слышимость» читатели найдут отзвук своих голо-

сов и мыслей, как бы аккумулярованных в слове поэта, ощутят созвучность его мира внутреннему ритму, творческому накалу нашего времени.

Юрий Богданов.

Барановичи.



ЛЕОНИД ЛЕНЧ. Избранное. М. «Художественная литература». 1975. 560 стр.

Открывают сборник юмористические рассказы. Лучшее из созданного за четыре десятилетия — рассказы довоенные, военной поры, произведения последних лет.

Эта небольшая антология дает наглядное представление о том, как эволюционировал веселый талант писателя, как Л. Ленч постепенно шел от сравнительно простых зарисовок двух-трех человеческих характеров («На лыжах», популярный «Сеанс гипнозизера») к рассказам более сложным по замыслу, гротесковым, в которых умело проанализированы человеческие и общественные отношения в их широте и многообразии («Как промазала Би», «Кроха», «Арбатский шарик»).

Если бы сделать не хронологическую, а тематическую дифференциацию юмористических рассказов, наиболее интересными следовало бы признать новеллы Л. Ленча о детях. Чувствуется, что они написаны человеком, который понимает великую важность каждодневных ребячьих забот. Читатели с большой охотой включат в круг своих друзей и десятилетнюю Леночку Найденову, мечтающую примирить повздоривших родителей («Визит»), и деловитого Сережку Дудникова, отец которого добровольцем поехал работать на Алтайскую МТС («Отцовский голос»), и совсем юного атеиста Юрку («Кукарача»).

Действие повести «Черные погонь» происходит в самом начале 20-х годов на Дону. Гимназист-старшеклассник Игорь Ступин должен срочно поехать из своего городка в Ростов, чтобы отвезти документ, который позволит брату избежать мобилизации в белую армию.

За это короткое, но стремительно текущее время герой повести из желторотого гимназиста превращается во взрослого мужчину, подхватывающего вслед за красноармейцами слова «Интернационала».

Многие произведения нашей литературы и искусства рассказывают о том напряженном периоде истории молодой Советской республики, когда польхал огонь гражданской войны, о ее заключительной стадии, когда Первая конная отшвырнула денкинец к Черному морю. Постепенно возникла большая мозаичная панорама жизни той поры, и повесть Л. Ленча — выразительный штрих в общей картине. Без ложного пафоса, без нагнетания «страстей», без романтической экзотики писатель сумел просто и трезво показать живую правду тех героических лет.



В повести виден сатирик-новеллист, привыкший строить произведения «на малой площади», остро чувствующий законы новеллистической эстетики, ее требование лаконизма, предельной точности деталей. Среди других, возможно, наиболее зримым образом стали черные погоны марковской дивизии — символ вероломства и морального разложения белогвардейцев. Кинематографически точная деталь, свидетельствующая о художнической зоркости мастера.

Завершает книгу цикл автобиографических рассказов. Эти истории, нередко звучащие трагикомически, достаточно четко позволяют представить, под влиянием каких узловых событий формировалось мировоззрение писателя, воспитывались чувства. Особенно врезается в память сцена, относящаяся к августу 1914 года. На даче собрались гости, чтобы отпраздновать день рождения девятилетнего мальчика, и вдруг среди нарядных гостей и их детишек появилась босоногая сельская почталыонша. «Что-то было в ее взгляде новое, какие-то не свойственные ей суровость и осуждение, и мама, как человек нервный и чуткий, первая почувствовала это и спросила дрогнувшим голосом:

— Что вы нам принесли, Авдотья?

— Войну! — сказала Авдотья и достала из сумки газету».

Конечно, по своей основной «специализации» Л. Ленч был и остается сатириком — удельный вес произведений, подобных «Черным погонам» и «Рассказам из моей жизни», в его творческом багаже невелик, читателям они, наверно, известны меньше. Сведенные вместе произведения разнородных жанров отлично взаимодополняют друг друга в этой интересной и талантливой книге.

А. Хорт.



**Н. БАЙРАМУКОВА. Кайсын Кулиев. Очерк творчества. М. «Советский писатель». 1975. 270 стр.**

Для молодого карачаевского литературоведа Н. Байрамуковой Кайсын Кулиев — один из тех художников, у которых правда биографии и правда творчества неразделимы.

Стремясь как можно глубже постичь жизненные корни поэзии Кулиева, сложность ее идейно-художественного становления, критик свободно выходит за границы внутрилитературного ряда и рассматривает творчество поэта на широком общественно-историческом фоне.

В очерке Н. Байрамуковой возникает образ поэта во всей его человеческой и поэтической индивидуальности — человек, влюбленный в мир, убежденный, что «непобедимы свежий хлеб горячий, пеленок детских вечное тепло», утверждающий: «Земля, я силен силой твоей, жизнью твоей могуч». И поэт, вскрывающий диалектическую взаимосвязь человека, общества, ок-

ружающего мира, поднимающийся до широких исторических и философских обобщений. Глубина мысли в сочетании с простотой и естественностью художественного воплощения — в этом видит критик характерную черту поэзии К. Кулиева.

Появление поэта такого масштаба предстает в книге Н. Байрамуковой как определенный этап развития балкарской поэзии, имеющей древние фольклорные традиции, глубоко и органично воспринятые К. Кулиевым и обогащенные влиянием русской и мировой культуры.

Ярко выраженная национальная сущность образной системы К. Кулиева, по мнению Н. Байрамуковой, обусловлена личностью самого поэта, выражающего в своих произведениях народную жизнь во всех ее проявлениях — политических, социальных, эстетических.

Отмечая тематическое многообразие поэзии К. Кулиева, критик подчеркивает, что одной из главных тем для поэта всегда была и остается историческая судьба народа и осмысление через нее народного характера. В этой связи в книге рассматривается целый ряд стихотворений — «Руки горца», «У очага», «Глаза матерей», «В мой легкий день» и др. (критик, однако, отмечает в некоторых из них повторяемость, нагроможденность образов — «В ночном ущелье», например).

В последних книгах К. Кулиева — «Мир дому твоему», «Кизиловый ответ», «Книга земли» — Н. Байрамукова обнаруживает внутреннюю эволюцию поэта, еще более глубокое проникновение в сущность всего происходящего. Теперь, как бы резюмирует критик, единой темой поэта становится человек и мир, человек и общество, и в свете этой темы он решает для себя все проблемы современности.

Тщательно исследует Н. Байрамукова поэтику Кайсына Кулиева, особенности его письма, удивительное строфическое, ритмическое и рифмическое разнообразие, поиски в области формы. Новаторскую роль Кайсына Кулиева в карачаево-балкарском стихосложении критик особенно интересно раскрывает на анализе стихотворения «В ночном пути», причем весьма успешно доносит до русского читателя поэтическую музыку оригинала.

К лучшим страницам книги Н. Байрамуковой относятся те, где в результате художественного анализа читателю открывается процесс возникновения из незначительного, казалось бы, жизненного впечатления поэтической мысли, облекающейся поэтом в тонко организованную гамму неповторимых художественных образов.

К сожалению, иногда толкование критиком того или иного произведения К. Кулиева выглядит несколько упрощенным. В «Песне охотников», например, Н. Байрамукова видит лишь «яркую картину горского быта и черт национального характера» и не замечает ее обобщенно-исторического звучания. Нельзя не сказать и о подмене на некоторых страницах литературоведческого

анализа простым пересказом, этим страдает разбор любовной лирики поэта. Хочется также пожелать молодому автору избавиться от встречающихся в книге литературоведческих штампов.

При всем этом, читая книгу Н. Байрамуковой, ясно ощущаешь сложность и неподатливость ее материала и вместе с автором переживаешь радость преодоления.

С. Николаева.



**А. ЗИСЬ. Искусство и эстетика. М. «Искусство». 1975. 447 стр.**

Книга А. Зиса написана пером ученого и полемиста, отлично знающего современное искусство и активно стремящегося к решению его актуальных проблем. Автор справедливо говорит о том, что наша литературно-художественная критика только тогда выполнит требования, предъявленные к ней в известном постановлении ЦК КПСС, если во всей своей конкретной практике будет последовательно опираться «на твердые научно обоснованные объективные принципы марксистско-ленинской эстетики». И это единство критики и эстетики ученый не только декларирует, но и подтверждает собственным опытом. Книга содержит многочисленные примеры аналитического отношения к произведениям современного искусства, и во всех этих случаях автор исходит из единой концепции, отстаивает единые критерии.

Особое внимание уделяет А. Зись опровержению всякого рода модернистских и ревизионистских концепций искусства. Необходимость такой полемики подтверждается «обострением идеологической борьбы, охватившей решительно все сферы духовной жизни общества, и возросшей ролью литературы и искусства в этом процессе». Poleмические страницы книги написаны ярко, темпераментно и оставляют ощущение точного попадания в цель.

«...искусство отличается от науки не степенью и не просто характером познания, а несет в себе некоторое такое содержание, которого нет ни в философии, ни в науке», — читаем мы у А. Зиса, и это особенное содержание определяется здесь достаточно ясно: «...любая картина жизни, воссозданная искусством... всегда связана с выражением определенного человеческого содержания». «...среда, в которой живет человек, и вещи, которые его окружают, и природа отображаются в искусстве в органичной связи с человеком, его мыслями и чувствами, и, способствуя раскрытию его сущности, они приобретают как бы очеловеченный характер».

Мир, воспринятый человеком, и человек, воспринятый человеком, — таково неповторимое содержание искусства, которое на языке диалектики отлично передается как единство объективного и субъективного. Книга А. Зиса может служить еще одним доказательством того, что именно благодаря диалектическому подходу к явлениям жи-

ни марксистско-ленинская эстетика достигает подлинной глубины проникновения в свой предмет.

В книге А. Зиса немало свежих наблюдений, касающихся внутренних законов искусства. Каждый образ, по А. Зисю, можно рассматривать как единство устойчивости и изменчивости (новые поколения читателей особенно чутко улавливают в образе созвучное своей эпохе), но вся книга А. Зиса, как уже отмечалось, доказывает, что только диалектика — надежный ключ к пониманию искусства. В подобных суждениях А. Зиса обнаруживается историзм и диалектичность его позиции — качества, которые также отчетливо проступают и в общетеоретических положениях, составляющих основу и пафос этой полезной и своевременной книги.

Л. Финк.



**Д. ЗАТОНСКИЙ. Зеркала искусства. Статьи о современной зарубежной литературе. М. «Советский писатель». 1975. 343 стр.**

Широко известно тонкое замечание В. И. Ленина о природе эксцентрики, высказанное им в разговоре с М. Горьким. Речь шла об «эксцентризме» западного театра начала века. «Тут есть, — сказал он, — какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!»

Размышляя в своей книге над ленинским замечанием, Д. Затонский пишет, что подобного рода искусство в ту пору только возникло, но ленинская диалектика как бы предвидела его развитие. Действительно, приведенные здесь ленинские слова звучат удивительно современно. Во всяком случае, такая характеристика вполне применима к Б. Брехту, М. Фришу, Ф. Дюрренматту и их последователям. Да и не только к драматургам — трагическая парадоксальность художественного отражения, как известно, свойственна многим зарубежным прозаикам и поэтам.

Очерки Д. Затонского охватывают большой круг имен и явлений. Помимо вышеназванных писателей, автор знакомит с творчеством популярных писателей ГДР, обращается к новеллам и романам Л. Франка, анализирует многие ранние и зрелые произведения Э. Хемингуэя, удивительно зорко обнаруживает анатомию успеха производственно-авантюрных романов А. Хейли, пронизательно и объективно высказывается по поводу детективного взрыва, метко аттестует кумиров «массовой культуры».

Сравнив весьма сходные ситуации в романах «Америка» Ф. Кафки и «Подсматривающий» А. Роб-Грийе, критик наглядно иллюстрирует процесс дегуманизации искусства, провозглашенный «новым романом». У А. Роб-Грийе, точно так же как и у Н. Саррот, человек — всего лишь деталь

урбанистического пейзажа или интерьера, загроможденного разнородными предметами. Нарочитое отчуждение перечеркивает человека, отводит герою повествования второстепенную скучную роль.

В западной критике и эссеистике порой настороженно относятся к широчайшему читательскому успеху современных классиков. К примеру, популярность Хемингуэя принудила некоторых критиков пересмотреть его писательскую репутацию: не слишком ли автор «Старика и моря» демократичен, не являются ли его новеллы и романы всего лишь вариацией «массовой культуры»? Так выдумываются всякие ниспровергательские концепции. Рискнул же один из элитарных мэтров назвать его современным заместителем приключенческого Майн Рида! Поэтому особенно полезны глубоко аргументированные очерки Д. Затонского о Хемингуэе, показывающие эстетическое новаторство и гуманизм мужественного художника.

В сборник органично вошли заметки, в которых литературоведческий анализ сочетается с непосредственными впечатлениями от встреч с западными писателями, с конкретными наблюдениями, сделанными при знакомстве с книжным рынком и театрами. Портретные зарисовки придают книге личностный характер, помогают за текстом увидеть живого писателя, а сам автор в этих диалогах раскрывается более непосредственно.

Сборник составлен из статей, опубликованных в последние десять — пятнадцать лет. Но даже самые «ранние» из них не утратили актуальности. Собранные воедино, они создали целостную картину текущей зарубежной литературы.

**В. Пронин.**



**Н. ВЕЛИКАЯ. Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство. 1975. 198 стр.**

В серьезных научных исследованиях при всей их возможной отстраненности от спонимутных дел всегда четко просматривается сегодняшний день науки.

За последние два десятилетия изучение советской литературы 20-х годов прошло несколько этапов. От жадного накопления забытых фактов, первичного освоения целого ряда текстов, прочитанных после большого перерыва (вторая половина 50-х — начало 60-х годов), исследователи двигались к проблемному осмыслению в целом этого сложного периода (60-е годы). В 70-е ученые смогли достичь искомого слияния широкой концептуальности со скрупулезным анализом произведений.

Н. Великая в книге «Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов» стремилась, по ее собственному признанию, «совместить конкретный анализ особенностей художественного мира того или иного писателя с наблюдением над

закономерностями литературного процесса».

Новое художественное сознание формировалось, полагает Н. Великая, прежде всего как эпическое, «связанное с ощущением внутреннего единства народной жизни и своего собственного слияния с ней, с восприятием событий во взаимосвязи с «целостным бытием», бытием природы и общества, «миром нации и эпохи».

Эта посылка реализуется в обращении к творчеству очень разных художников: А. Малышкина («Падение Даира»), В. Иванова («Партизанские повести»), Б. Лаврентьева («Ветер»), И. Бабеля («Конармия»), М. Шолохова («Донские рассказы»), А. Платонова («Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Происхождение мастера»), А. Фадеева («Разгром»).

Перспективность избранной Н. Великой методики, когда исследователь углубляется в стилевую ткань произведения, чтобы аргументировать собственные наблюдения над литературным процессом, раскрывает глава, посвященная «Конармии» И. Бабеля.

Хотя споры вокруг новелл Бабеля, начавшиеся в момент публикации, не прекращаются до сих пор, но это уже иные споры. «В центре современного спора о Бабеле, — читаем в книге Н. Великой, — стоят вопросы о структуре его «Конармии», об особенностях идейно-эстетической концепции писателя, о его художественном сознании и свойствах его художественного метода».

Автор книги справедливо подчеркивает, что трактовка позиции автора в «Конармии» осложнена тем, что эта позиция вырисовывается из соотношения «голосов», определяется на пересечении «чужих сознаний», не совпадающих полностью с авторским. Исследуя динамику бабелевского стиля, Н. Великая убедительно показывает, как Бабель «прорывается сквозь Лютова», как формируется и зрякает о себе авторская позиция в рассказах.

В романе А. Фадеева «Разгром» (глава о нем закономерно венчает книгу Н. Великой), по мнению исследователя, с особой полнотой проявились поиски гармонии и синтеза, которые дали о себе знать еще раньше в рассказах М. Шолохова и повестях А. Платонова. Как доказывает Н. Великая, у Фадеева «процесс синтезирования оказался всеохватывающим, он проявился не только в жанровой форме романа, тяготеющего к эпичности, в особенностях психологизма, в природе художественного метода, но и в форме повествования, подчиненной принципу глубокой всесторонней эпизации». Повествовательная речь в «Разгроме» иная, чем у авторов первой половины 20-х годов. Фадеев стремится достичь гармонического единения «голосов», сохранив господство литературно-художественной речи автора. Стиль «Разгрома» — многоголосый романтический стиль, которому Фадеев посредством внутренней переключки «голосов» и особенно благодаря всеобъемлющей повествовательной речи придает форму прочного единства

Книга Н. Великой не замкнута в 20-х годах — ее принципиальные положения и выводы связаны со всем опытом советской литературы. Автор справедливо утверждает, что целостная и динамическая картина мира и человека, свойственная эпическому сознанию молодой советской прозы, содержится в себе тот историзм мышления, который является неотъемлемым свойством социалистического реализма.

Е. Краснощекова.



**Я. ФРИД. Анатолий Франс и его время. М. «Художественная литература». 1975. 392 стр.**

Анатолий Франс — один из популярных у нас зарубежных писателей; не удивительно, что новый труд о нем вызывает живой читательский интерес.

Я. Фрид создал в итоге многолетних размышлений и размышлений современную книгу об Анатоле Франсе: французский писатель показан здесь с дистанции времени, как один из художников, определивших лицо мировой литературы в нашем столетии. Жизненный и творческий путь Анатоля Франса автор рассматривает на широком фоне его эпохи: тут присутствуют и Бальзак, и Флобер, и Верлен, и Барбюс, и еще множество других деятелей французской литературы. Франс все время дается в сопоставлении, во взаимодействии с французской культурой XIX—XX веков.

Автор книги внимательно анализирует художественное своеобразие франковского творчества. В его исследовании Франс предстает как наследник Бальзака и Стендаля в далеком, опосредствованном смысле и наследник Флобера и Бодлера в смысле более непосредственном. Но и от этих близких предшественников он отличается. При всей горечи отрицания старого мира, присущего автору «Острова пингинов», Франс не мог отказаться от поисков идеала. Устремленность в будущее, свойственная художническому мышлению писателя, предвещала его сближение с борцами за новый, социалистический мир. Вместе с тем Франс в известном смысле, как человек и художник, аристократ духа, и это была не только слабость: отсюда шло у Франса острое отвращение к пошлости буржуа.

Ново и интересно все, что говорит Я. Фрид о поэтике «художественной незавершенности» у Анатоля Франса. Мастера реалистического романа XIX века исследовали французскую общественную жизнь в разных ракурсах. У Франса картина социальной действительности не сужается, скорей даже расширяется, в сравнении с Флобером или Мопассаном, но в то же время утрачивает пластическую законченность, включает в себя материал текущих наблюдений, газетной хроники. Франс заботится не столько о четкости сюжета, сколько о движении авторской мысли, о том, чтобы активизировать мысль читателя. Особенно характерна в этом плане четырехтомная «Современная история». «Сквозное действие персонажей

романа-хроники, — пишет Я. Фрид, — прерывно, пунктирно. Но и оно, и вся мозаичная структура, как ветвистое дерево из корневой, растут из фундаментальной ситуации эпохи — политической». А. Франс приспособил фрагментарность, незаконченность для целостного изображения общества своего времени: в этом смысле Франс убедительно сопоставляется и с живописцами-импрессионистами, и с тем новым, что внесли во французскую литературу стихотворцы «конца века». Франс был мастером интеллектуальной прозы, но на иной лад, чем Ромен Роллан, Томас Манн или Г. Уэллс. В произведениях Франса соседствуют, взаимодействуют разные планы — высокий, духовный, и гротескно-комический. Напряжение обобщающей, философской мысли совмещается у него с иронией, сатирой, подчас и с буффонадой и с фарсом. Художественная условность «работает» у Анатоля Франса смело и по-новому, обнажая, особенно в «Острове пингинов», жестокий абсурд эксплуататорского, империалистического мира.

Важное место занимает в книге Я. Фрида русская тема, творческие и идейные связи Анатоля Франса с Тургеневым, Толстым, впоследствии с Горьким. Автор монографии напоминает о том, что В. И. Ленин в письме от 10 марта 1908 года называет труд Анатоля Франса «Жизнь Жанны д'Арк» в ряду книг, которые он рекомендовал сестре Марии Ильиничне для перевода на русский язык. В книге цитируется, с другой стороны, признание Анатоля Франса, сделанное в письме 1920 года: «Я всегда восхищался Лениным»...

Т. Мотылева.



**А. АГАРЫШЕВ. Гамаль Абдель Насер. М. «Молодая гвардия». 1975. 191 стр.**

«Революция — выбор трудного пути... В тот день, когда мы выберем легкий путь, мы перестанем быть революционерами».

Эти слова вождя египетской революции, выдающегося политического деятеля современности можно было бы взять эпиграфом к его биографии, недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Они как нельзя лучше выражают суть всей его жизни и борьбы.

...Железнодорожная станция Сиди-Бишр в Александрии. Здесь 15 января 1918 года в семье почтового служавшего Абдель Насера родился первенец Гамаль. Первые крупницы грамоты будущий президент получил в школе для детей железнодорожных служащих. Став каирцем, Гамаль поселился у дяди Халиля, участника революции 1919 года. Именно рассказы дяди заронили в душу мальчика первые семена свободолюбия. В школьном журнале он помещает статью «Вольтер — человек свободы».

И вот Гамаль офицер. Служба в Мунк-абаде, в песках Судана. Здесь, в армии, мысли об освобождении впервые облекаются в плоть. Вместе с соратниками он создает

группу «Свободные офицеры». Автор рассказывает, как совершенствовалась структура организации, росла ее численность. Насер уделял огромное внимание конспирации, благодаря чему основные силы «Свободных офицеров» избежали арестов и были готовы к действиям.

В обстановке усилившегося политического кризиса в стране «Свободные офицеры» решились на выступление. 23 июля 1952 года вставшими был провозглашен исторический манифест.

Руководствуясь прежде всего мыслью об освобождении родины, египетские революционеры поначалу не стремились четко сформулировать свою политическую программу. Перед ними были два врага: король и англичане. Но вот враги повержены. Что делать дальше? Тут начались разногласия. Одни склонялись к сотрудничеству с буржуазной верхушкой, с реакционной организацией «Братья-мусульмане», другие устремляли взоры к США, полагая, что такой союзник поможет противостоять английскому вмешательству. Обладая политической дальновидностью, Насер понимал, что революция, свершившаяся для народа, не может существовать без поддержки народа. Во главу своих политических взглядов он поставил идею национального возрождения. Уже в первых манифестах нового правительства говорилось о необходимости ограничения собственности на землю, отмены косвенных налогов. Вслед за этим началась национализация крупных предприятий и страховых компаний. Возросшая популярность президента среди народа свидетельствовала о правильности избранного им пути.

А. Агарышев отмечает, что Насер испытал несомненное влияние марксистских идей. «В кабинете Насера,— пишет автор,— до сих пор бережно хранятся все переведенные на арабский и английский языки работы классиков марксизма-ленинизма с его пометками». И все же Насеру пришлось пройти нелегкий путь борьбы и идейной эволюции, прежде чем в последние годы жизни он мог заявить: «Если условно марксизм сформулировать в 20 пунктах, то под 18-ю из них я готов подписаться».

К наиболее удачным в книге относятся страницы, посвященные дипломатическому поединку Насера с Дж. Ф. Даллесом, А. Иденом, С. Ллойдом. На протяжении двух лет лидеры западной дипломатии усиленно стремились втянуть Египет в антикоммунистический Багдадский пакт. Участие в нем означало бы не только военную, но и политическую зависимость от империализма, это неизбежно привело бы к утрате революционных завоеваний в стране. Насер принял правильное решение. Основой внешнеполитического курса молодой республики стала политика «позитивного нейтралитета». На Бандунгской конференции 1955 года Насер вместе с Неру, Сукарно и другими руководителями освободившихся стран Азии и Африки выступил инициатором движения неприсоединившихся государств.

Значительное место уделено сотрудничеству Египта с Советским Союзом. Поставки

советского оружия помогли в трудные для Египта дни сохранить его национальную независимость. Когда империалистические круги в 1956—1957 годах объявили экономическую блокаду страны, Египет получил из Советского Союза необходимые ему нефть и пшеницу. На берегах Нила благодаря усилиям двух стран возникло новое «чудо света» — Асуанский гидроэнергетический комплекс. В торжественной речи, которую Насер произнес на перекрытии Нила, были слова глубокой благодарности: «Я буду говорить о великой стране и ее великом народе, о нашем друге, который в трудные годы пришел к нам на помощь,— я буду говорить о Советском Союзе!»

Преодолевая сопротивление внутренней реакции, египетский народ под руководством президента Насера добился важных социально-экономических преобразований в стране. В Манифесте национальных действий, провозглашенном 30 марта 1968 года, Насер заявил о твердом намерении построить в Египте социализм.

Смерть настгла его на посту. Насер ушел в самый разгар борьбы.

Опыт Насера и египетской революции, по словам советских историков И. Беляева и Е. Примакова, заслуживает «самого серьезного изучения». Насер как революционер, политик и человек встает перед читателем во всей его многогранности и сложности.

Сегодня, когда нынешние руководители Египта, в одностороннем порядке разорвав Договор о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом и беря курс на сближение с империалистическими кругами, на ликвидацию революционных завоеваний в стране, предадут забвению заветы Гамалы Абдель Насера, книга А. Агарышева обретает особую актуальность. Она является выражением верности советского народа политике дружбы и солидарности с египетским народом, свидетельством нашей памяти о его вожде.

**В. Сутырин.**

Свердловск.



**А. И. АЛЕКСЕЕВ. Судьба Русской Америки. Магадан. Книжное издательство. 1975. 326 стр.**

Лет двадцать назад я получил письмо от неизвестного мне офицера Тихоокеанского флота. Он просил сообщить ему дополнительные сведения о некоторых героях моей книги «Летопись Аляски». Я выполнил его просьбу. А. Алексеев стал работать в архивах, отыскивая все новые и новые свидетельства о подвигах русских мореплавателей и землепроходцев.

И вот передо мной лежит последняя замечательная книга доктора исторических наук А. Алексеева «Судьба Русской Америки».

История Русской Америки ведет свое начало с великого открытия Витуса Беринга и Алексея Чирикова — достижения ими в 1741 году Северной Америки со стороны

Тихого океана. А затем началась целая эпоха плаваний русских мореходов, купцов, промышленных людей — Е. С. Басова, М. В. Неводчикова, А. Толстых, П. Башмакова, С. Г. Глотова, Г. Л. Прибылова и многих других. Венцом этих исследований стало путешествие «Колумба русского» — Г. И. Шелихова, основавшего первое постоянное поселение русских на берегах Нового Света. В самом конце XVIII века его трудами была заложена Российско-Американская компания.

Наряду с купеческими экспедициями во второй половине XVIII века были организованы правительственные экспедиции П. К. Креницына — М. Д. Левашова и И. И. Биллингса — Г. А. Сарычева. Они закрепили усилия русских мореходов, нанесли на карту Алеутские острова и побережье Аляски, заявили о принадлежности этих территорий Российскому государству.

Ну а затем началась удивительная эпопея русской жизни на американской земле. Одни за другими появлялись и росли поселения на неприступных когда-то тихоокеанских берегах. Преемник Г. И. Шелихова легендарный Александр Баранов вел торговлю практически со всеми странами тихоокеанского бассейна, а усилиями его славного сподвижника Ивана Кускова в Северной Калифорнии недалеко от современного Сан-Франциско на высоком откосе горделиво вознесся форт Росс. Его остатки и по сей день охраняются правительством США и являются местом паломничества американских и иностранных туристов.

В Русской Америке появились судостроительные верфи, повсюду велись промыслы морского и пушного зверя. В столице Русской Америки Ново-Архангельске (теперь Ситха) строились добротные дома, храмы, на рейде стояли корабли. Одни из них строились тут же, другие приходили из Кронштадта. Сменялись правители Русской Америки, среди которых было немало славных исследователей, мореплавателей, а русская жизнь продолжалась.

Кому не известны теперь имена славных героев-моряков Николая Хвостова и Гавриила Давыдова, «юконского ворона» Лаврентия Загоскина, неутомимого препаратора Академии наук Ильи Вознесенского, мореплавателя и картографа Михаила Тебенюкова, полярного исследователя Фердинанда Врангеля, бесстрашного креола Александра Кашеварова, ученого Александра Ротчева, штурмана Ивана Васильева? Обо всех них, о подвигах многих и многих других рассказано в рецензируемой книге.

Академик А. П. Окладников во вступлении к ней пишет: «Она замечательным образом, живо и колоритно передает своеобразие истории этого отдаленнейшего заморского края старой России, насыщена множеством интересных фактов, волнующих событий, ценных документов, многие из которых вообще впервые становятся известными миру. Автор собрал также уникальные карты, виды местностей, портреты жителей Русской Америки, общественных и государственных деятелей того времени. Такие мате-

риалы не только оживляют книгу, но и органически входят в текст повествования как ее документальная часть».

Лучше не скажешь. Книга А. Алексеева — подлинная энциклопедия Русской Америки, историко-географическое повествование обо всех сторонах ее жизни, об освоении этих территорий, о подвигах русских людей, о причинах продажи Русской Америки.

Память о Русской Америке хранится на Аляске, на Алеутских островах, в легендарном форте Росс в Северной Калифорнии. Самым романтическим городом Аляски называют американцы Ситху — бывший Ново-Архангельск. Каждый год 18 октября отмечается традиционный День Аляски, когда жители наряжаются в старинные национальные одежды и исполняют памятные обряды и танцы. В Капитанской гавани сохраняется старая русская церковь, остатки бывших строений. В форте Росс реставрированы часовня, сторожевые башни, колокол, дом Ивана Кускова. Напоминают о русской жизни и многочисленные географические названия — свидетели прошлого.

Добрые семена посеяли русские на американской земле, и память о них жива среди американцев. Рецензируемая книга — хороший вклад в добрососедские советско-американские отношения.

Книга А. Алексеева, ученого и писателя, представляет собой превосходный образец научно-художественной литературы. Приходится лишь сожалеть о том, что такая увлекательная работа, содержащая огромный познавательный материал, не стала доступной широкому кругу читателей. Дальневосточное издательство и небольшой тираж (15 тысяч) — эти два фактора ограничили поступление ее в книжные магазины страны. Издательство, которое возьмет на себя труд по переизданию «Судьбы Русской Америки», сделает полезное и очень важное дело.

Сергей Марков.

★

**ИНОСТРАННЫЕ ИЗВЕСТИЯ О ВОССТАНИИ СТЕПАНА РАЗИНА.** Материалы и исследования. Л. «Наука». 1975. 191 стр.

«...и есть еще много Разиных...» Эти знаменательные слова приводятся в хронике Лейпцигской ярмарки за июль 1671 года и приписываются самому народному предводителю. В хронике мы читаем: «...большинство до сих пор не хочет верить, что это был подлинный! главный мятежник Разин, поскольку сам [казненный] перед смертью сказал: «Вы думаете, что убили Разина, но настоящего вы не поймали, и есть еще много Разиных, которые отомстят за мою смерть».

Приведенное свидетельство еще раз говорит о широком общественном резонансе движения Степана Разина. Какое впечатление оно произвело на общественное мнение европейских стран, на правящие круги, какую реакцию вызвало у них? На эти вопро-

сы позволяют ответить газеты, хроники, ярмарочные известия, дневники и сочинения иностранцев, хранящиеся во многих отечественных библиотеках и архивах, а также за рубежом. По инициативе советского историка профессора А. Г. Манькова на протяжении ряда лет коллективом авторов велась напряженная поисковая, переводческая, комментаторская работа. Теперь можно подвести ее итоги.

Еще в 1968 году в сборнике «Записки иностранцев о восстании Степана Разина» был опубликован ряд материалов: записки наемного офицера в России голландца Л. Фабрициуса, повествующие о событиях в Астрахани и Черном Яре, «Сообщение касательно подробностей мятежа, недавно произведенного в Москве Стенькой Разиным» неизвестного автора и письмо английского купца Т. Хебдона с привозе Разина в Москву и его казни. Особенно ценными из них представляются данные Фабрициуса. Ясно подчеркивающего социальную направленность движения Разина: «Он сумел вскоре освободить всех от ярма и рабства боярского, к чему простолюдины охотно прислушивались, заверяя его, что все они не пожаляются сил, чтобы прийти к нему на помощь, только бы он начал».

В рецензируемый сборник, также вышедший под редакцией А. Г. Манькова, включены: брошюра о восстании, изданная в Лондоне в начале 1671 года, диссертация о Разине, защищенная в 1671 году в Германии, отклики на восстание западноевропейской прессы 1670—1671 годов и записки Кемпфера о персидском походе Разина.

В зарубежных периодических изданиях имя Разина сопровождалось различными эпитетами: «известный мятежник», «всемирно известный, главный и первейший мятежник». Однажды его удачно сравнили с Мазанелло, руководителем крупного народного восстания в Неаполитанском королевстве в середине XVII века. Преобладают все же негативные оценки.

Уже в 1671 году в Лондоне появилась брошюра — текст письма какого-то доверенного лица своему хозяину, содержащего собирательное описание победоносного сражения царских войск с разинцами. Здесь много недостоверного, почти фантастического. Но важно другое. В первых строках письма говорится: «Долгое время мы здесь ежедневно бывали в страхе». Автор письма считает, что в ходе описываемого им сражения решалась судьба русского престола, и желает своему королю никогда не испытывать подобных потрясений.

В 1674 году в Виттенберге была защищена первая магистерская диссертация о Рази-

не, выдержавшая в XVII веке четыре издания. Автор ее — Йоганн Юстус Марций, уроженец Большштедта, — до 1672 года был учителем в школе при Немецкой слободе в Москве. Вероятно, он очевидец казни Разина, который «был так непреклонен духом, что не слабел з своим упорстве и не страшился худшего и, уже без рук и без ног, сохранил свой обычный голос и выражение лица, когда, поглядев на оставшегося в живых брата, которого вели в цепях, окрикнул его: «Молчи, собака!»...» Именуя Разина тираном, Марций вместе с тем пишет о нем как способном предводителе, умело обещавшем тыл своим отрядам, понимающем настроение народа. Марций однажды называл Разина русским Катилиной, убеждающим всех, кто хочет мстить боярам, сходиться к нему. Диссертант сравнивал Разина с предводителем восставшего имперского рыцарства XVI века Вильгельмом Грумбахом, который «исполнился такой дерзости и гордыни, что угрожал спокойствию не одной только Саксонии, но и всей Германии». Важен сам факт сравнения Разина с историческими деятелями как далекого, так и недавнего прошлого. Говоря о воздействии разинского движения на европейское общественное мнение, автор отмечает, что «страхом была охвачена не одна Московия — вся Европа некоторое время жила в ожидании того, какой оборот примет эти события». «Действительно, — пишет он, — мятеж, ослабить который не было средств, должен был кончиться гибелью либо царя, либо Разина». Заметим, что Пушкину было известно «Сообщение касательно подробностей мятежа...», привлекало его внимание и сочинение Марция.

Материалы двух сборников с иностранными известиями о движении Разина — еще одно яркое подтверждение возросшей в XVII веке международной роли России, включения ее в орбиту европейской политики, дипломатии и идеологии. Если, по подсчетам современного немецкого историка М. Вельке, на 36 тысячах страниц сохранившихся за 1609—1649 годы немецких газет Россия упоминается 750 раз (одно известие на 48 страниц!), то в 1650—1689 годах количество информации о «московитских делах» увеличивается примерно втрое. Выход материалов явится стимулом для усиления научных поисков в перспективном направлении — выяснении огромного международного резонанса народных движений эпохи феодализма в России.

**Ю. Курсков,**

*кандидат исторических наук.*

Чита.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 1. 1897 — сентябрь 1916 г. 843 стр. Цена 1 р. 53 к.

**В. И. Ленин.** Социализм и религия. Об отношении рабочей партии к религии. 23 стр. Цена 3 к.

**М. Барышев.** Особые полномочия. Повесть о Вячеславе Менжинском. («Пламенные революционеры») 446 стр. Цена 83 к.

**Ю. Волков и Ю. Лошарев.** Трудовое воспитание молодежи. 128 стр. Цена 21 к.

**Т. Живнов.** Избранные статьи и речи. 1965—1975. Перевод с болгарского. 583 стр. Цена 1 р. 33 к.

**А. Лихолат.** Содружество народов СССР в борьбе за построение социализма. 1917—1937. 368 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Б. Маркушин.** Советология: расчеты и просчеты. 160 стр. Цена 26 к.

**Материалы XXV съезда КПСС.** 256 стр. Цена 56 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Алесеев.** На мосту. Стихи и поэма. Предисловие М. Дудина. 85 стр. Цена 25 к.

**А. Броделе.** Тихий городок. Роман.— Это мое время. Повесть. Перевод с латышского. 511 стр. Цена 96 к.

**С. Владимиров.** Об эстетических взглядах Маяковского. 240 стр. Цена 71 к.

**Н. Глазков.** Вокзал. Стихотворения и поэма. 135 стр. Цена 44 к.

**И. Есенберлин.** Прикрой своим щитом. Роман. Перевод с казахского. 256 стр. Цена 49 к.

**А. Кривичий.** Точка в конце... Очерки. 271 стр. Цена 59 к.

**А. Крон.** Вечная проблема. Очерки. 263 стр. Цена 34 к.

**Н. Панченко.** Уходит дерево. Стихи. 190 стр. Цена 49 к.

**В. Писнунов.** Советский роман-эпопея. Жанр и его эволюция. 366 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Пути в неизвестное.** Писатели рассказывают о науке. Сборник 12. 416 стр. Цена 1 р. 5 к.

**М. Рашид.** Чудо. Перевод с курдского. 112 стр. Цена 27 к.

**С. Сартанов.** А ты гори, звезда. Роман. 719 стр. Цена 1 р. 75 к.

**М. Слонимский.** Повести и рассказы. 559 стр. Цена 1 р. 5 к.

**И. Соколов-Микитов.** Давние встречи. Воспоминания. 318 стр. Цена 58 к.

**А. Талвир.** До войны, на войне, после войны. Повести. Перевод с чувашского. 432 стр. Цена 89 к.

**Л. Теракопан.** Миколаас Слудкис. Очерк творчества. 295 стр. Цена 70 к.

**А. Тимонен.** Мы карелы. Роман. 511 стр. Цена 98 к.

**М. Чернолусский.** До конца дней. Роман. 287 стр. Цена 60 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Анастасьев.** Фолкнер. Очерк творчества. 221 стр. Цена 53 к.

**В. Богословский.** 12 миниатюр. От Рудак до Джами. Изд. 2-е, дополненное. 303 стр. Цена 94 к.

**М. Коцюбинский.** Лошади не виноваты. Рассказы. Перевод с украинского. («Народная библиотека») 288 стр. Цена 38 к.

**Кыз-Жибек.** Казахская народная лиро-эпическая поэма. Перевод Л. Пенъковского. 136 стр. Цена 1 р. 63 к.

**Миртемир.** Стихи. Перевод с узбекского. («Библиотека современной поэзии») 182 стр. Цена 47 к.

**А. Моравиа.** Равнодушные. Роман. Перевод с итальянского. («Зарубежный роман XX века») 302 стр. Цена 84 к.

**М. Пуйманова.** Игра с огнем. Жизнь против смерти. Романы. Перевод с чешского. («Библиотека литературы ЧССР») 655 стр. Цена 2 р. 30 к.

**В. Тельпугов.** Журавли над Москвой. Повесть и рассказы. 368 стр. Цена 1 р. 2 к.

**А. К. Толстой.** Стихотворения. («Народная библиотека») 158 стр. Цена 20 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Атаджанов.** Осенние этюды. Перевод с туркменского. 111 стр. Цена 33 к.

**В. Борисенков.** Они защищали Родину. Очерки о героях Великой Отечественной войны. 240 стр. Цена 54 к.

**Война и Победа.** «Комсомольская правда» о Великой Отечественной войне. 367 стр. Цена 84 к.

**С. Высоцкий.** Пропавшие среди живых. Повести. 304 стр. Цена 64 к.

**С. Есин.** Живем только два раза. Повесть и рассказы. Предисловие В. Кожевникова. 144 стр. Цена 22 к.

**Колокола венок.** Сборник поэм, баллад, стихотворений, посвященных истории нашей Родины. 239 стр. Цена 1 р. 89 к.

**Ф. Миронов.** Не забывайте нас, люди! Повесть и рассказы. 110 стр. Цена 19 к.

**Н. Рубцов.** Подорожники. Стихотворения. 302 стр. Цена 1 р. 39 к.

**В. Синорский.** Веление. Стихи. 80 стр. Цена 25 к.

**Д. Таками.** Избранная лирика. Перевод с японского. 78 стр. Цена 15 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

**Э. Бояршинова.** Не исчезнет Добро. Стихи. («Новинки «Современника») 77 стр. Цена 24 к.

**А. Бушмин.** Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры. («Любителям российской словесности») 253 стр. Цена 83 к.

**И. Волобуева.** День-деньской. Стихи и поэма. («Новинки «Современника») 143 стр. Цена 42 к.

**Л. Вьюнкин.** Косые паруса. Стихи. Предисловие В. Цыбина. («Новинки «Современника») 94 стр. Цена 33 к.

**П. Лебеденко.** Лыды уходят в океан. Роман. 511 стр. Цена 1 р. 5 к.

**М. Лисянский.** За горами, за лесами. Новая книга стихотворений. («Новинки «Современника») 158 стр. Цена 64 к.

**С. Наровчатов.** Берега времени. Статьи и рецензии. 301 стр. Цена 71 к.



**В. Сапронов.** Журавлиные колокола. Стихи. Предисловие С. Михалкова. («Первая книга в столице») 79 стр. Цена 26 к.

**Д. Сергеев.** В сорок первом... Повесть и рассказы. («Новинки «Современника») 236 стр. Цена 46 к.

**Ф. Чуев.** Выражи. Стихи. («Новинки «Современника») 110 стр. Цена 41 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**Готовность у нас боевая.** Сборник повестей и рассказов. 247 стр. Цена 59 к.  
**Освободительная миссия на Востоке.** Сборник статей. Составитель А. Е. Зорин. 246 стр. Цена. 53 к.

#### «ИСКУССТВО»

**П. Гуревич и В. Ружников.** Советское радиовещание. Страницы истории. 382 стр. Цена 1 р. 77 к.

**А. Лебедев и А. Солодовников.** Владимир Васильевич Стасов. Жизнь и творчество. 399 стр. Цена 2 р. 29 к.

**Р. Соболев.** Голливуд. 60-е годы. Очерки. 239 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Я. Фельдман.** Драматургия Афанасия Салянского. 278 стр. Цена 1 р. 34 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Карпов.** Маршальский жезл. Повесть. (Серия «Подвиг») 268 стр. Цена 74 к.

**В. Луговской.** Лирика. Предисловие Н. Тихонова. 333 стр. Цена 1 р. 22 к.

**С. Орлов.** Верность. Стихи. 78 стр. Цена 23 к.

**А. Перфильева.** Десять дней с папой. Повесть. 135 стр. Цена 69 к.

**Ю. Рытхэу.** Голубые песцы. Роман и повесть. 316 стр. Цена 63 к.

**А. Серафимович.** Из истории «Железного потока». («Писатели о творчестве») 110 стр. Цена 20 к.

**С. Шуртанов.** За все в ответе. Рассказы и повести. Предисловие Е. Осетрова. 540 стр. Цена 1 р. 20 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Вашим, товарищ, сердцем и именем...** Писатели и деятели искусства мира о В. И. Ленине. Составитель Г. Злобин. 466 стр. Цена 6 р. 84 к.

**Л. Гинзбург.** Колесо фортуны. Стихи немецких поэтов. Предисловие М. Алигер. («Мастера поэтического перевода») 245 стр. Цена 1 р. 11 к.

**Б. Селигмен.** Сильные мира сего: бизнес и бизнесмены в американской истории. Перевод с английского. 455 стр. Цена 2 р. 64 к.

**Л. Энхаут.** Это было в Дахау. Роман. Перевод с фламанского. 221 стр. Цена 45 к.

#### «НАУКА»

**А. Иванский.** Нет прекарной назначенья... Документальное повествование об Илье Николаевиче Ульянове. 127 стр. Цена 23 к.

**История немецкой литературы.** В 5-ти тт. Под общей редакцией Н. Балашова и др. Т. 5. 1918—1945. 696 стр. Цена 4 р. 31 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**А. Ахматова.** Стихи и проза. Лениздат. 616 стр. Цена 1 р. 56 к.

**В. Белов.** Утром в субботу. Повести и рассказы. Вологда Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение. 278 стр. Цена 62 к.

**К. Воробьев.** Крик. Повести. Вильнюс. «Вага». 463 стр. Цена 84 к.

**Г. Маларчун.** Бадя Козма. Роман. Перевод с молдавского. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 367 стр. Цена 52 к.

**Р. Маргани.** Лилэ. Стихи разных лет. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 255 стр. Цена. 93 к.

**А. Медников.** В первой шеренге. Повести. «Московский рабочий». 351 стр. Цена 63 к.

**П. Межирицкий.** В поле напряжения. Роман. Львов. «Каменяр». 223 стр. Цена 42 к.

**Б. Никольский.** Жду и надеюсь. Роман. Лениздат. 271 стр. Цена 52 к.

**М. Раджабов.** Фирдоуси и современность. Анализ мировоззрения. Душанбе. «Ирфон». 136 стр. Цена 19 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, Ъ. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 27/IV 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/VI 1976 г. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 09164. Тираж 175.000 экз. Заказ 1409.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03135.

Цена 70 коп.

70636